

ISSN 0130-7673

# НОВЫЙ МИР

НОВЫЙ  
МИР

2001

3

2001

# НОВЫЙ ВЕК, НОВЫЙ МИР

**В 2001 ГОДУ «НОВЫЙ МИР»  
ПРЕДПОЛАГАЕТ ОПУБЛИКОВАТЬ:**

**АНАТОЛИЙ АЗОЛЬСКИЙ. Диверсант (роман);**  
**ВИКТОР АСТАФЬЕВ. Приключения Спирьки (повесть); Затеси;**

**Рассказы;**

**СЭМЮЭЛ БЕККЕТ. Мерсье и Камье (роман; перевод с английского Михаила Бутова);**

**АНДРЕЙ БИТОВ. Общество охраны героев (повесть);**

**ЮРИЙ БУЙДА. Меконг (роман);**

**МИХАИЛ БУТОВ. Новая повесть;**

**РАВИЛЬ БУХАРАЕВ. Гость случайный (роман-эссе);**

**АЛЕКСЕЙ ВАРЛАМОВ. Зимняя рыбалка на озере Воже (повесть);**

**СВЕТЛАНА ВАСИЛЕНКО. Мария из Магдалы (повесть);**

**РЕНАТА ГАЛЬЦЕВА. Русский узел и Ален Безансон (актуальные заметки);**

**ВЛАДИМИР ГЛОЦЕР. Я помню;**

**МИХАИЛ ГОРЕЛИК. Проекция Борхеса (эссе);**

**БОРИС ЕКИМОВ. Рассказы и очерки;**

**ВАЛЕРИЙ ЗАЛОТУХА. Свечка (роман);**

**ТАТЬЯНА КАСАТКИНА. Русский читатель над японским романом;**

**АНАТОЛИЙ КИМ. Остров Ионы (роман);**

**НИКОЛАЙ КОНОНОВ. Кортик луны (стихи);**

**ИЛЬЯ КОЧЕРГИН. Помощник китайца (повесть);**

**ВИКТОР КУЛЛЭ. Послесловие к первой любви (стихи);**

**МИХАИЛ КУРАЕВ. Дом без адреса (повесть);**

**БОРИС ЛЮБИМОВ. Очерк современной сцены и зрительских реакций;**

**ВЛАДИМИР МАКАНИН. Новая повесть;**

**ЮРИЙ МАЛЕЦКИЙ. Физиология духа (роман в письмах);**

**АННА МАТВЕЕВА. Восьмая Марта (повесть);**

(См. на обороте)

**АЛЕКСАНДР МЕЛИХОВ. Любовь к отеческим гробам** (роман);  
**ВЛ. НОВИКОВ. Филологическая поэзия; Высоцкий** (главы из книги);

**ЮЛИЯ ПЕСКОВА. Привет, красавица!** (повесть);

**ЮРИЙ ПЕТКЕВИЧ. Заморозки** (повесть);

**ГРИГОРИЙ ПЕТРОВ. Такая вот любовь** (рассказы);

**ИРИНА ПОВОЛОЦКАЯ. Новые рассказы;**

**ИРИНА ПОЛЯНСКАЯ. Новый роман;**

**ВАЛЕРИЙ ПОПОВ. Очаровательное захолустье** (повесть);

**РУСТАМ РАХМАТУЛЛИН. Облюбование Москвы** (эссе);

**ЕВГЕНИЙ РЕЙН. Призрак среди руин** (повествование в рассказах);

**МАРК РОЗОВСКИЙ. Театральный человек** (документальное повествование);

**ГЕОРГИЙ СЕМЕНОВ. Спасение** (из наследия);

**ОЛЬГА СЛАВНИКОВА. Период** (роман);

**АЛЕКСАНДР СОЛЖЕНИЦЫН. Угодило зёрнышко промеж двух жерновов. Очерки изгнания;**

**МИХАИЛ ТАРКОВСКИЙ. Гостиница «Океан»** (повесть);

**ЛЮДМИЛА УЛИЦКАЯ. Сансаныч** (повесть);

**ТАТЬЯНА ЧЕРЕДНИЧЕНКО. Фрагменты книги «Музыкальный запас»: композиторы, проблемы, случаи;**

**ЕВГЕНИЙ ШКЛОВСКИЙ. Лапландия** (история одной болезни);

**ГАЛИНА ЩЕРБАКОВА. Мальчик и девочка** (роман);

а также романы, повести, рассказы **ВЛАДИМИРА БОГОМОЛОВА, АНДРЕЯ ВОЛОСА, ДАНИИЛА ГРАНИНА, ФАЗИЛЯ ИСКАНДЕРА, МАРИНЫ ПАЛЕЙ, ВЯЧЕСЛАВА ПЬЕЦУХА, АЛЕКСЕЯ СЛАПОВСКОГО, АНТОНА УТКИНА, СЕРГЕЯ ШАРГУНОВА;** стихи **МАКСИМА АМЕЛИНА, ТАТЬЯНЫ БЕК, БАХЫТА КЕНЖЕЕВА, ВЛАДИМИРА КОРНИЛОВА, ЮРИЯ КУБЛАНОВСКОГО, АЛЕКСАНДРА КУШНЕРА, СЕМЕНА ЛИПКИНА, ИННЫ ЛИСНЯНСКОЙ, ОЛЕСИ НИКОЛАЕВОЙ, ОЛЬГИ ПОСТНИКОВОЙ;** статьи, очерки, эссе **СЕРГЕЯ АВЕРИНЦЕВА, СЕРГЕЯ БОЧАРОВА, НИКИТЫ ЕЛИСЕЕВА, АЛЛЫ МАРЧЕНКО, ВАЛЕНТИНА НЕПОМНЯЩЕГО, ВЛАДИМИРА ОШЕРОВА, МАРИИ РЕМИЗОВОЙ, ИРИНЫ СУРАТ, СЕМЕНА ФАЙБИСОВИЧА, МАРИЭТТЫ ЧУДАКОВОЙ** и других авторов.

## NEW!

Частные лица и организации, находящиеся в любой точке земного шара за пределами Российской Федерации и стран СНГ, могут подписаться на журнал «НОВЫЙ МИР» без посредников, круглый год, с любого месяца, на любой срок и на любое количество экземпляров.

**СПОСОБ ЗАКАЗА:** по факсу, по электронной почте или по Заявке (см. ниже).

**СПОСОБ ОПЛАТЫ:** 100 % предоплаты на счет АОЗТ «Редакция журнала „Новый мир“» № 40702840938040101095 в Московском банке Сбербанка г. Москвы, Российская Федерация, Тверское отделение 7982, корр. счет 30301840638000603804.

Tverskoe OSB 7982 MB SBERBANK PF, Moscow, Russia, ACC. 30301840638000603804, ACC. Beneficiary: 40702840938040101095.

Заявка принимается к исполнению с момента поступления денег на счет редакции. О возможности купить номера журнала за прошлые годы можно узнать в редакции.

**СТОИМОСТЬ** одного экземпляра в 2001 году: \$ 14,

**СТОИМОСТЬ** годового комплекта: \$ 168.

АОЗТ «Редакция журнала „Новый мир“» обязуется: отправлять заказчикам журналы в экспортном исполнении (белой обложке) по почте бандеролью в течение 5 дней с момента выхода тиража за счет редакции, обменивать бракованные экземпляры или повторно высылать не полученные заказчиком экземпляры за счет редакции, немедленно информировать заказчиков о всех затрагивающих их изменениях (объем журнала, периодичность, цена и проч.).

С момента передачи оплаченного тиража журнала на Московский почтамт обязательства продавца считаются выполненными и право собственности переходит к подписчику.

Адрес редакции: Россия, 103806, ГСП, Москва, К-6,  
Малый Путинковский переулок, 1/2, Редакция журнала «Новый мир».  
Телефон/факс: (095) 200-08-29, (095) 209-62-13.  
E-mail: novy-mir@mtu-net.ru



### Заявка на подписку на журнал «НОВЫЙ МИР»

*(вырезать или ксерокопировать Заявку, заполнить и отправить в редакцию по почте или по факсу либо отправить все требуемые в Заявке сведения по факсу или по электронной почте)*

Я (фамилия, имя или название организации) \_\_\_\_\_

прошу подписать меня на ежемесячный журнал «Новый мир»  
с \_\_\_\_\_ (месяц, год) на \_\_\_\_\_ месяцев.

Количество экземпляров \_\_\_\_\_

Стоимость заказа \_\_\_\_\_ (число месяцев x число экземпляров x \$ 14).

Дата оплаты (Заявка заполняется и отправляется в редакцию после оплаты) \_\_\_\_\_

Контактный телефон (факс, e-mail) \_\_\_\_\_

Адрес для отправки журнала (почтовый индекс, страна, город, улица, дом, имя и фамилия получателя) \_\_\_\_\_

Подпись заказчика и дата заполнения Заявки \_\_\_\_\_



## УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!

Подписной индекс «Нового мира» — 70636 в зеленом Объединенном каталоге «Подписка — 2001». Спрашивайте этот каталог во всех отделениях связи. Каталогная стоимость подписки на второе полугодие 2001 года — 270 рублей плюс стоимость доставки.

Те из вас, кто имеет возможность приходить за журналом в редакцию «Нового мира», могут оформить *льготную* подписку на первую половину 2001 года по адресу: Малый Путинковский переулок, 1/2 (м. «Пушкинская», «Чеховская», «Тверская»), в понедельник, вторник, среду, четверг с 10 до 17 часов. Для членов творческих союзов, преподавателей высших и средних учебных заведений, студентов вузов, постоянных подписчиков, пенсионеров и инвалидов предусмотрены дополнительные льготы.

В редакции можно приобрести отдельные номера «Нового мира». Журналы выдаются подписчикам в понедельник, вторник, среду, четверг с 10 до 18 часов. (Справки по тел. 200-08-29.)

Спрашивайте наш журнал в московских книжных магазинах «Ad marginem» (1-й Новокузнецкий переулок, 5/7), «Библио-глобус» (Мясницкая, 6), «Гилея» (Большая Садовая, 4), «Графоман» (1-й Крутицкий переулок, 3), «Летний сад» (Большая Никитская, 46), «Мир печати» (2-я Тверская-Ямская, 54), «Эйдос» (Татарская, 5, стр. 2).

Распространением журнала «Новый мир» за рубежом занимаются: германская фирма «Кубон унд Загнер» (Kubon & Sagner. D-80328 München Germany. Tel. (089) 54-218-130. Telex: 5216711 kusa d. Fax (089) 54-218-218; Электронная почта: postmaster@kubon-sagner.de Адрес в Сети: <http://www.kubon-sagner.de/ksinfo>)

американская фирма «Ист Вью Пабליкейшенз» (East View Publications, Inc. 3020 Harbor Lane North Minneapolis, MN 55447 USA. Tel. (612) 550-0961. Fax (612) 559-2931. В Москве тел. (095) 318-08-81, факс (095) 318-09-37).

### *Уважаемые зарубежные подписчики!*

*Экземпляры журнала, предназначенные для распространения за пределами России и стран СНГ, выходят в обложке белого цвета с надписью «Novy Mir».*

*Приобретая «Новый мир» в голубой обложке, вы отдаете свои деньги фирмам, не связанным официальным контрактом с журналом, что наносит редакции финансовый ущерб.*

*Вы очень поможете «Новому миру», оформляя подписку через наших официальных распространителей (см. стр. 4) или через редакцию журнала (см. стр. 3).*

### СОДЕРЖАНИЕ

СВЕТЛАНА КЕКОВА — На семи холмах, стихи	7
ДМИТРИЙ БЫКОВ — Оправдание, роман	12
АЛЕКСАНДР ТРУНИН — Сильный ветер, стихи	85
ВЯЧЕСЛАВ ПЬЕЦУХ — Бог в городе, маленькая повесть	88
АНАТОЛИЙ НАЙМАН — Львы и гимнасты, стихи	107
АННА МАТВЕЕВА — Остров Святой Елены, рассказ	113
МАРИЯ ВАТУТИНА — Пурга с незнакомых звезд, стихи	121

#### ДАЛЕКОЕ БЛИЗКОЕ

ДМИТРИЙ ШЕВАРОВ — Очарованные жители. Размышления на полях альманахов из серии «Старинные города Вологодской области» (Вологда, 1992 — 2000)	126
--	-----

#### ФИЛОСОФИЯ. ИСТОРИЯ. ПОЛИТИКА

АЛЕКСАНДР НЕКЛЕССА — Глобальный град: творение и разрушение	135
---	-----

#### ПИСЬМА ИЗДАЛЕКА

ВЛАДИМИР ОШЕРОВ — Предел демократии?	147
--------------------------------------	-----

#### ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

ВИКТОР МЯСНИКОВ — Экономика мейнстрима	153
ИРИНА РОДНЯНСКАЯ — Гамбургский ежик в тумане. Кое-что о плохой хорошей литературе	159

#### РЕЦЕНЗИИ. ОБЗОРЫ

Ольга Славникова. Пушкин с маленькой буквы	177
Александр Люсый. Праздник, который всегда с	183
Юрий Кублановский. От Озириса — к Апокалипсису	186
Елена Ознобкина. Истина, скрывающая, что ее нет...	190
А. Плущер-Сарно. Словари мертвых слов	193

(См. на обороте)

## СОДЕРЖАНИЕ (окончание)

КНИЖНАЯ ПОЛКА АЛЕКСАНДРА НОСОВА	205
КИНООБОЗРЕНИЕ ДМИТРИЯ БЫКОВА	211
WWW-ОБОЗРЕНИЕ СЕРГЕЯ КОСТЫРКО	217

### ИЗ РЕДАКЦИОННОЙ ПОЧТЫ

О КНИГЕ АЛЕКСАНДРА СОЛЖЕНИЦЫНА «УГОДИЛО ЗЁРНЫШКО ПРОМЕЖ ДВУХ ЖЕРНОВОВ»	222
--	-----

### БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЕ ЛИСТКИ

Книги (составитель Сергей Костырко)	225
Периодика (составитель Андрей Василевский)	227
SUMMARY	240

---

**ПОЗДРАВЛЯЕМ НАШЕГО АВТОРА,  
ЧЛЕНА ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА ЖУРНАЛА  
СЕРГЕЯ СЕРГЕЕВИЧА АВЕРИНЦЕВА  
С ПРИСУЖДЕНИЕМ ЕМУ  
МЕЖДУНАРОДНОЙ ПРЕМИИ ФОНДА ДЖОВАННИ АНЬЕЛЛИ  
«ДИАЛОГ МЕЖДУ КУЛЬТУРАМИ!»**

---

**РЕДАКЦИЯ ЖУРНАЛА «НОВЫЙ МИР»  
ВЫРАЖАЕТ ПРИЗНАТЕЛЬНОСТЬ СОТРУДНИКАМ  
МОСКОВСКОЙ БИБЛИОТЕКИ-ЧИТАЛЬНИ  
ИМЕНИ И. С. ТУРГЕНЕВА ЗА ПОМОЩЬ В ПРОВЕДЕНИИ  
ЗАСЕДАНИЙ КЛУБА ДРУЗЕЙ «НОВОГО МИРА».**

**Встречи наших читателей с авторами и сотрудниками журнала  
проходят каждый первый вторник месяца в 18.30 в гостиной  
Тургеневской библиотеки (метро «Тургеневская», «Чистые пруды»,  
Бобров переулок, 6, строение 2, вход свободный).**

Из общего тиража каждого номера Институт «Открытое общество» в рамках мегапроекта «Пушкинская библиотека» выкупает и безвозмездно направляет в сельские библиотеки России 1700 экземпляров журнала «Новый мир».

Из общего тиража каждого номера Министерство культуры Российской Федерации при посредничестве Российской Государственной библиотеки выкупает и безвозмездно направляет в библиотеки России 1000 экземпляров журнала «Новый мир».

---

---

СВЕТЛАНА КЕКОВА



## НА СЕМИ ХОЛМАХ

\* \*  
\*

На органе гор исполняли мессу  
в тот момент, как мы проходили мимо  
по болотной топи, глухому лесу  
у семи холмов до эпохи Рима.

Знак шатра чертили крылами птицы,  
похвалялся коршун своим гаремом,  
теребили дети сосцы волчицы —  
Трувор рядом с Рюриком, Ромул с Ремом.

У семи холмов говорить по-русски  
со своей невестой ты был не в силах,  
потому что после грозы этрусски  
хоронили молнии в их могилах.

И, усвоив прочно обычай местный,  
у семи холмов мы построим терем  
в византийском духе — и свод небесный  
на шестнадцать равных частей поделим.

Отправляясь вместе со мной на битву,  
в глубине морской и в небесной выси,  
постарайся выбить резцом молитву  
на лице камней о рабе Борисе.

Крона молний стволу мирового древа  
не дает сегодня расти продольно...

Мы с тобой бежим от Господня гнева —  
но тебе не страшно, и мне не больно.

\* \*  
\*

Нам везли большие кресты с погоста,  
из Китая — шелк, из Коринфа — вазы,  
а в итоге было совсем непросто  
ловить событие в невод фразы.



В горний мир прямая вела дорога,  
 рассекая надвое мир наш дольний.  
 Узнавали жители волю Бога  
 по полету птиц и по форме молний.

Нам везли слоновую кость с Востока,  
 огибал верблюд соляные копи,  
 а хозяева били рабов жестоко  
 и сжигали мертвых, как ведьм в Европе.

Лили реки слез, обнажая груди,  
 уделяли время спортивной гребле,  
 а на дне озерном лежали люди,  
 равнодушным небом дыша сквозь стебли.

Иногда ладья задевала днищем  
 то, что вдруг сияло нездешним светом, —  
 и тогда еда, что давали нищим,  
 доставалась, Боже, Твоим поэтам,

их грошовым снам, камышовым лирам,  
 их дешевым лютням, нарядным тогам...

Город Рим возник, чтоб царить над миром,  
 но придуман мир, чтоб ходить под Богом.

\* \*  
 \*

Ты бродил по миру, его ложбинам,  
 по китайским храмам, холмам, оврагам,  
 по волнам морским, по дельфиньим спинам,  
 бороздя простор под зеленым флагом?

Ты заметил облака белый парус  
 и гребцов незримых в небесной яхте?  
 И тогда ты понял, что речь без пауз  
 служит жалкой лжи и великой правде?

Где-то в Индии лотос рождает солнце,  
 но на солнце тоже бывают пятна...  
 Мир устроен Богом, как речь японца,  
 что звучит красиво и непонятно.

Все смешалось: Нил, Амазонка, Припять,  
 египтяне, турки, монголы, россы,  
 человеку хочется Бога видеть,  
 и поэтому я задаю вопросы:

Как великий грешник висит на дыбе?  
 Как гуляет ангел в лесу зеленом?  
 Что рыбак не пойманной скажет рыбе,  
 осеняя невод земным поклоном?

Что пастух прикажет своей отаре  
 ястребинным взглядом, осанкой горца?  
 Кто летит по воздуху в город Бари  
 под покров великого чудотворца?

Кто нам тихо руки кладет на плечи,  
ставит в воду свечи тебе в подмогу?

Только ты, мой друг, на такие речи  
ничего не скажешь — и слава Богу.

\* \*  
\*

Ты бывал когда-нибудь в Третьем Риме?  
Пил степной кумыс, молоко овечье?  
Смог ли ты понять, что чужое имя  
хорошо звучит на чужом наречье?

Помолился ль ты — и какому богу?  
Ты закрыл глаза от речного блеска?  
И какой ты взял инструмент в дорогу,  
чтоб измерить точно длину отрезка

жизни, ждущей пахаря, землемера?  
Что ты видел ночью во сне невольном?  
Понял ты, что только любовь и вера  
держат мир, как нитку в ушке игольном?

Спят курганы, насыпи свежей глины,  
бродит сборщик податей в царстве Кору,  
а на самом дне голубой долины  
Боровицкий холм, Воробьевы горы:

создает Господь для известных целей  
в голубых долинах холмы сухие —  
Елеон, Синай, Капитолий, Целий,  
Византийский купол Святой Софии...

\* \*  
\*

На семи холмах, в голубых лесах  
царь-трава растет о семи листах,  
на семи холмах, у семи ветров —

и один листок у травы багров,  
а другой листок — как трава полынь,  
но не горек он, а как небо синь.

Третий лист червлен, а четвертый — бел,  
ведь над ним, наверное, Ангел пел,  
но под конский топот, разбойный свист  
народился пятый — зеленый лист.

А шестой листок — золотой росток,  
а седьмой — шершав, как в избе шесток.

Над травкою птица поет тень-тень,  
нужно брать траву на Иванов день,  
в голубых лесах, на скрещенье рек —

под травой скрывается человек.  
Та трава растет из его ребра,  
это только часть из его добра.

И, в его добре пробивая брешь,  
ты один листок осторожно срежь.

У семи холмов, у ветров семи  
человека в руки свои возьми,  
у него, сердечного, сердце вынь,

оторви листок — тот, который синь,  
и носи его на своей груди,  
и пиши стихи, и детей плоды...

\* \*  
\*

От речей зазорных, от звезд тлетворных,  
от отрогов горных, от их камней,  
от лугов прохладных, от пастбищ сорных  
в золотой цепи не хватает звеньев.

Выйдешь к людям разным со словом праздным —  
от ключей горячих, от ив плакучих,  
и, пронзенный светом крестообразным,  
будешь жить как муха в сетях паучьих.

От ненужных страхов, ветров и прахов,  
испарений вод на морских просторах  
сколько нужно сделать косе размахов,  
сколько трав сгрести в разноцветный ворох?

Собирает странник медовый донник,  
а отшельник с хлебным зерном в ладони  
по дороге в храм составляет дольник,  
где слова стоят как вода в поддоне.

А цветок относится к крестоцветным —  
поцелуй, объятие, звезда, сурепка,  
утешенье бледным, подарок бедным:  
воду часто пьет, а скучает редко...

\* \*  
\*

Вершины деревьев пустыньны и голы,  
рябиновый куст — как отшельник в затворе,  
который увидел высокие горы,  
среди их подножий — великое море.

Я буду волною — и голос услышу,  
что каменным гулом идет по ущелью:  
о, Кто Он, устроивший небо, как крышу,  
а землю соделавший нам колыбелью?

Что создано Словом — то сделалось светом,  
 что было молчаньем — молчит без усилья...  
 Он, жизнь подаривший различным предметам,  
 и рыбам — их перья, и птицам — их крылья,

и льву — его силу, и зяблику — слабость,  
 и иволге голос, и хобот тапиру,  
 земному созданию — плавучесть, крылатость  
 и дивную святость небесному миру,

где Он укрывается — в брачном чертоге  
 за видимой гранью закатного неба,  
 а может, стоит у тебя на пороге  
 и просит, как нищий, водицы и хлеба?

Как Господа славит содружество птичье —  
 кукушка на иве, кулик на болоте,  
 а Он улыбнется, скрывая величье  
 и свет Божества под покровами плоти.

И грянут, как молния, ангелов хоры:  
 «Великому счастью предшествует горе!»...  
 Внутри океана — высокие горы,  
 среди их подножий — великое море.

\* \*  
 \*

Муравьи ли меня между делом  
 спросят, строя свои города:  
 — Где душа, не покрытая телом,  
 обитает в преддверье Суда?

Или, может быть, бабочка мая,  
 глядя бархатной черной каймой,  
 ничего мне не скажет, не мая,  
 только сядет на численник мой?

Или, может быть, ангелов племя,  
 вдруг слетевшихся в сад  
 небольшой,  
 нас утешит: в последнее время  
 будет тело покрыто душой?

О, любимые! Если б могли вы  
 видеть, лежа в прохладной земле,

как цвели вавилонские ивы,  
 как играла вода в хрустале!

Если б вы, драгоценные, знали,  
 как в трехмерном пространстве  
 земном  
 мы рыдали — и вас поминали  
 нежно-алым церковным вином!

Минет все, что звалось  
 круговертью,  
 и, неведомым светом дыша,  
 будет тело очищено смертью  
 и огнем осолится душа.

И невестой в сияющем платье,  
 не скрывая фатою лица,  
 ты пойдешь — и откроют объятья  
 руки матери, сердце отца.



---

---

ДМИТРИЙ БЫКОВ

\*

## ОПРАВДАНИЕ

*Роман*

*Памяти Нонны Слепаковой.*

К 1938 году в НКВД скопился материал, достаточный для того, чтобы арестовать все население СССР.

*Р. Конквист.*

Холод — это наша естественная жизнь. Надо сознательно искать холодное и плохое и им огородиться. Вот тогда-то и будут силы твои, ты будешь Победитель Природы. Как хорошее и теплое умирало, так умирает и будет умирать до тех пор, пока не возмутся люди за врага и не дадут ему сокрушительный отпор. Это делает все холодное и плохое.

Желаю тебе счастья, здоровья хорошего.

*Порфирий Иванов.*

Я вам скажу, только вы на меня не сердитесь: я очень люблю царственную пышность.

*Тэффи.*

### 1

**Д**оцента Московской сельскохозяйственной академии Ивана Антоновича Скалдина взяли в декабре тридцать восьмого года по известному «михайловскому делу». Сам Михайлов успел умереть за неделю до того, как начали арестовывать всю его школу. Жизнь — а точнее, смерть — спас ему как раз Скалдин: огромного роста, сильный, редко в чем сомневающийся, он пришел на квартиру к учителю и застал его в прискорбном состоянии. Не смеяшая возразить семья жалась по углам: старик был крут. Врач «скорой» настаивал на госпитализации, но семидесятилетний академик прогнал его. О больнице он не желал слышать. Его отец, дед, прадед — все померли дома и не снисходили до того, чтобы обманывать судьбу. Скалдин недолго думая вызвал карету «скорой помощи», подхватил слабо отбивавшегося академика на руки (если бы не уважение к основателю школы, он бы вовсе перекинул его через плечо) и так снес в машину. Старик под конец, покоряясь чужой и доброжелательной воле, испытал даже облегчение и поверил было, что выкарабкается. Но врачи «скорой» не знали, где больница Академии наук, и повезли туда, куда было ближе. Пока Скалдин созванивался с лечащим врачом академика, пока больного перекладывали из машины в коридор, из коридора снова в машину, пока до-

---

Дмитрий Львович Быков родился в 1967 году в Москве, окончил факультет журналистики МГУ. Работает в еженедельниках «Собеседник» и «Огонек». Поэт, прозаик, критик, публицист. Автор четырех поэтических книг, повести «Гонорар» (1992). Постоянный автор «Нового мира».

везли до отдельной палаты — ноябрьский ледяной ветер его продул, и к вечеру другого дня Михайлов после короткой агонии умер. Дочь его проклинала Скалдина, кричала, что дома и стены свои, и он, может, был бы жив, что он не перенес волнения, — и сам Скалдин себя жестоко корил, хотя на гражданской панихиде в академии его и назвали наследником «михайловского дела». Но слова «михайловское дело» имели уже другой смысл, и в первых числах декабря старика пришли брать. Опухшая от слез жена и насмерть перепуганная дочь объяснили приехавшим, что Михайлова уже взяли, и трое — один стертый и вежливый, двое мордатых — отбыли то ли в некотором разочаровании, то ли в испуге. Впервые на их глазах неподконтрольная сила так явно вмешивалась в судьбу жертвы.

А Скалдина взяли пятого декабря, в день новой конституции, потому что ни праздников, ни выходных в НКВД теперь не было. Он не испугался и ни на секунду не усомнился в том, что будет выпущен. У него, как и у Михайлова, остались на воле жена и дочь, и во время обыска он успокаивал их, как только мог. В то, что дело его разъяснится, он верил, пока сознавал себя, потому что слишком уж странные вещи ему предъявляли в качестве доказательств вины и слишком мало понимал следователь в том, чем они в академии вообще занимались. На обыске у него нашли опытные семена и предъявили как доказательство хищения народной собственности. Когда же он, не переставая широко улыбаться, рассказал следователю, что и дома продолжал работать, изучая и проращивая образцы, что так делали все, что они спешили к годовщине конституции рапортовать о новом сорте, — следователь решил, что семена он брал для передачи иностранным агентам. Скалдин весело расхохотался и сказал, что ни одного агента он никогда не видел, работа еще только в завершающей стадии и довести ее до ума мог лишь Михайлов, а после Михайлова только он. За границей же, насколько ему известно, таких специалистов нет. Поняв, что Скалдину что-то известно о загранице, следователь разъярился окончательно и в первый раз ударил его кулаком в зубы.

Ивана Антоновича никто никогда не бил, разве что в детстве, когда он и сам дрался очень часто. При его богатырском сложении, а главное, добродушном характере врагов у него не было, и он так дружелюбно, естественно ставил себя с людьми, что и завистников не нашл. Он убежден был, что работает на благо Родины, что лучше его страны нет на свете и что издеваться над людьми здесь не будет никто и никогда. Слухи, доходившие о том, что делали с исчезнувшими коллегами и соседями, он считал недостоверными. Поколебать Ивана Антоновича в его вере было невозможно. Следователь не встречал еще таких людей и потому совершенно не ожидал, что Скалдин в ответ набросится на него и начнет колотить со всей крестьянской мочи. Хотя крестьянином был только его дед, а уже отец выбился в люди и выучился на агронома, но сила и упрямство были у них в роду, и за это Михайлов, сам из рода поволжских крестьян, Скалдина выделял особо.

Ивана Антоновича, конечно, за такое убили бы сразу, но он нужен был для большого сельскохозяйственного процесса, на котором объяснились бы все неурожаи и голод начиная чуть ли не с двадцать второго года. Сходные процессы бывали, но задумывался главный спектакль, и потому каждый специалист с именем был на счету. Следователь успел нажать кнопку. Скалдина с того допроса держали в наручниках, не давали спать, ставили в клетку с гвоздями и вообще подвергали пыткам такой тяжести, что и сами не понимали, на чем он держится. Держался он на своем крестьянском характере, добродушии и искренней вере, что все разъяснится. Пока ему не сломали правую руку, он писал бесконечные письма, в которых подробно, доступно, доброжелательно раскрывал суть своих и михайловских опытов. В результате чудовищного недоразумения ценный работник был выключен из важного дела, и дело могло теперь — нет, не по-

гибнуть, конечно, незаменимых нет, и к тем же выводам непременно придут другие, но это случится позже, а ведь дорог каждый день. Их пшеница сулила Родине возрастание урожайности по меньшей мере в полтора раза, причем климатически была приспособлена к суровым условиям русского Севера, — письма его походили на популярные брошюры, такие же ясные и благожелательные, и следовательно читал их с интересом, не переставая, однако, недоумевать: что ж он, и в самом деле ничего не понял? Следователь тоже не понимал главного, он не догадывался о цели, да и запретил себе о ней думать, но некоторые детали генерального плана уже были ему ясны — и прежде всего он сообразил, хоть и не сразу, что если кто к ним попался, то обратного хода нет. А Скалдин все не понимал, и это одно давало ему силы писать свои письма, которые страшно раздражали следователя. Только поэтому ему и сломали правую руку. Обычно правую берегли, чтобы хоть осталось чем подписываться, но Скалдин уж очень достал органы дознания своей доброжелательностью и страстью все объяснять. Не барин, в случае чего накалякает левой. Каллиграфии не требуется.

Однако даже потом, со сломанной рукой и отбитыми почками, он не желал сотрудничать со следствием, то есть оговаривать себя. И когда ему пригрозили, что возьмут жену, он опять не понял, потому что жене было двадцать два года, а дочери на двадцать лет меньше, и он представить себе не мог, чтобы в его стране были возможны такие фашистские методы дознания. С тем, что такое творили с ним, он смирился — похоже, кто-то ввел людей в ужасное заблуждение, но он-то был здоровый тридцатилетний мужчина, а с женщинами, даже в заблуждении, ничего такого делать нельзя. В его стране не было людей, которые могли бы делать такое с женщинами. И он засмеялся.

Он смеялся и тогда, когда ему дали почитать показания ближайшего его друга, тоже михайловского ученика (в их группе не было зависти, старых и молодых объединяло дело, и все признавали скалдинское первенство среди равных). Показали ему и самого друга. У того пол-лица занимал багровый кровоподтек, и он еле слышно повторил, что Скалдин в разговорах вечно сетовал: вот, мол, приходится работать на советскую власть, а в Германии, например, их труд оценили бы совсем иначе. И Скалдин смеялся, и смеялся после, когда ему опять не давали спать, и через неделю следователь понял, что он теперь всегда будет смеяться. Он забыл свое имя, забыл все. Следователь знал по опыту, что такие очень долго не гнутся, а потом ломаются в одночасье, но тогда от них уже никакого толку. О том, чтобы вывести Скалдина на процесс, и речи не было. Можно было попробовать привести к нему жену — вдруг идиот очухается, перепугается, — но санкции не давали, и вообще интерес к «михайловскому делу» с апреля почему-то заглох. Такие вещи происходили непредсказуемо. Заинтересовались военными, и агрономы отпали: отработанных, их пустили по «тройке», без публичного процесса.

Случись иначе, жену Скалдина, Марину, скорее всего действительно взяли бы, тем более что происхождение ее было двусмысленное, интеллигентское: она была дочерью учителя гимназии, взятого в заложники после убийства Урицкого в восемнадцатом году и расстрелянного через две недели. Ей было тогда два с половиной года, и она ничего не помнила, но атмосферу безнадежности, поселившуюся с тех пор в доме, впитала навсегда. Поэтому и ареста мужа Марина ждала с самого начала, еще когда у нее на работе (она печатала на машинке в той же академии, и там ее полюбил Скалдин) взяли старшую машинистку. Это была строгая, суровая женщина, всегда отчитывавшая девушек, если они в погоне за нормой делали слишком большие поля или раньше времени выкручивали из каретки лист, в котором вполне хватало бы места еще на две строчки, а ведь в стране и до сих пор не хватало хорошей бумаги (Марине по ее добросове-

стности попадало за другое — она допечатывала лист до самой кромки). Марина знала таких женщин: они не могли быть замешаны ни в чем преступном. Говорили, что старшая машинистка передавала врагам какие-то данные, к которым имела доступ по работе, и девочки шептались, что гримзе так и надо, но Марина помнила, как начальница отпустила ее с работы, когда у нее на втором месяце закружилась голова, и как она уважала Скалдина, и главное — она даже под пыткой никогда и ничего не передала бы врагам. И с того самого момента, как Наталью Семеновну взяли, она уже ничего хорошего не ждала.

Кстати, тогда же выяснилось, что старуха вовсе и не старуха, что ей сорок восемь лет и что вместе с ней живет племянник, сын ее умершей от рака сестры. Племяннику было шестнадцать лет, она никогда не приводила его на работу и ни словом о нем не проговаривалась, не желая, видимо, приоткрывать свою жизнь перед подчиненными, и объявился он впервые только через месяц после того, как ее взяли. Это было в тридцать седьмом, когда нескольких человек вдруг выпустили, и тогда женщина, бывшая в камере с ней и вышедшая на волю, этого племянника по просьбе Натальи Семеновны нашла. Она передала ему, что Наталью Семеновну оговорили, что если вступятся коллеги, то ее, может быть, отпустят и что все это только ужасное недоразумение. Племянник оказался хромоножкой, у него была родовая травма — сестра Натальи Семеновны была партийным работником, много ездила, долго недоедала и потому рожала трудно. Еще у него после шока, вызванного арестом тетки, немного подергивалось лицо, словно он пытался стряхнуть с него выражение униженности и мольбы, с которым пришел за нее просить. Он побывал в машбюро, пытался добаться и до какого-то начальства и всех уверял, что им стоит пойти к следователю — и Наталью Семеновну освободят, надо только добиться, чтобы их выслушали. Ему обязательно надо было, чтобы коллеги подтвердили ее невиновность, ведь все они хорошо ее знали, и все кивали в ответ, а девочки-машинистки даже напоили его сладким чаем (новая старшая машинистка, Клавдия Степановна, была добрая, не то что гримза), и все обещали пойти поговорить, но никто, конечно, не пошел. Марина некоторое время казнилась, но она с самого начала понимала, что ходить никуда не надо, потому что выбор сделан и заместить жертву нельзя, это такой закон. Наталья Семеновна обладала какими-то чертами, за которые надо было взять именно ее, она была уместна в этой жизни и годилась ей в пищу. Тем не менее Марина ласково поговорила с мальчиком, который, кажется, ее не слышал, и рассказала ему про крошечную дочь, словно подсознательно оправдываясь, почему никуда не пойдет (впрочем, тут же оборвала себя, потому что нехорошо было рассказывать про свою семью бедному хромоножке, у которого никого не было), и даже дала свой телефон — на случай какой-нибудь нужды — и сунула денег. Деньги мальчик взял, страшно краснея и подергиваясь лицом, — ему, видно, приходилось совсем туго, — но не позвонил ни разу. Что случилось с Натальей Семеновной, Марина так и не узнала, и мальчик тоже никогда уже не появился.

Марина не знала, и никто не знал, что шестнадцатилетний хромой мальчик действительно пытался пробиться на прием к следователю, потому что одна его одноклассница, самая красивая девочка в школе, такого приема добилась и ходила, говорят, к самому наркому. Нарком ее выслушал, тоже напоил чаем и переправил к своему заместителю, а заместитель затребовал дело, и вскоре ее отец, директор мебельной фабрики, был на свободе. Правда, на фабрику он не вернулся, а уехал к родителям в Брянск и увез туда же всю семью, и никто в школе больше не видел девочку. Но пересказывали про ее удачу часто и говорили даже, что замнаркома, погладив ее по голове, сказал, что вот если бы у всех были такие дочери, то меньше было бы судебных ошибок, из-за которых враги очерняют органы. И мальчик стал добиваться, чтобы его пустили к следователю, — но он



был один и, конечно, ничего не добился. Он отстаивал очереди, у него брали передачи, но ничего не говорили. И в очереди его не любили, потому что он дергался лицом и загнанно косился.

Из школы он ушел; денег в доме не было, как не было и никакой родни. Он устроился грузчиком на ту самую мебельную фабрику, директор которой уехал в Брянск, и его взяли на работу, хотя по возрасту и положению он не имел на нее никакого права. Тогда он понял, что единственный способ помочь тетке — это оказаться рядом с ней, то есть быть арестованным как ее пособник и открыть следователям глаза, и он пошел в главную приемную на Лубянке и заявил, что был теткинским сообщником. Вот тогда его наконец и взяли, но Марина ничего этого не знала.

Она не знала и того, зачем всех берут, но чувствовала только, что так надо, что это органическим образом вытекает из самого порядка вещей. Она все-таки была дочерью гимназического учителя словесности и, хотя совсем не помнила его, с рождения усвоила чувство гармонической цельности мира, его подчиненности художественным законам. И мир, в котором она со Скалдиным жила, в котором он катал ее в лодке по Москвереке, угощал шоколадом и рассказывал о великих планах по преобразованию почв, — предполагал и изнанку, страшный черный подвал, куда время от времени по случайному, но безошибочному выбору сволакивали всех этих только что веселившихся, а теперь навеки выселившихся людей. Никакого разумного обоснования у выбора не было, но был количественный показатель, непрременный процент, обусловленный не статистикой, а гармонией, как вот теплые или холодные краски, и позволявший поддерживать в остальных все нараставшее лихорадочное веселье. И яркость красок, и даже повторившееся дважды кряду рекордно жаркое лето, когда в Москве плавился асфальт, обеспечивались наличием изнанки, о которой никто ничего достоверно не знал, но Марина угадывала. И потому ей было ясно, что Скалдина возьмут, — их жизнь была слишком хороша, чтобы кончиться иначе. Очередь была за ней, потому что расплачиваться предстояло всем счастливым; она страшилась только за ребенка, но у нее была старая мать, которая жила отдельно, и после скалдинского ареста Марина упросила ее приехать. Старуху, верила она, не возьмет никто. Добрая, слезливая и на всю жизнь испуганная старуха никому не нужна. Брали сильных, красивых, как Скалдин, или упрямых и строгих, как Наталья Семеновна, или молодых и догадавшихся, как она сама.

Но ее не взяли. Случилась, как это нередко тогда бывало, непредвиденная перемена ветра, и вместо «михайловского дела» все силы были брошены на очередной военный заговор. Конечно, выпускать Скалдина, полуживого, седого и даже в тюремной больнице не перестававшего хохотать, никто не стал бы. Но Марина была спасена: в июле тридцать девятого года у нее просто не приняли очередную передачу. На иное она и не рассчитывала. Она похоронила Скалдина в тот самый день, когда он спускался по лестнице их арбатского дома (они жили в коммуналке на втором этаже) и несколько раз оглянулся, чтобы широко улыбнуться ей.

Ее никто не выгонял с работы — Скалдина любили все, как-никак он был главной надеждой Михайлова, а Михайлов был корифеем, и многие верили, что разберутся. Она ушла сама и по знакомству, через профессора-почвоведа, нанялась в секретари к известному писателю Савину, писавшему для пионеров о достижениях науки. Однажды ей случилось перепечатывать его статью о Михайлове для «Пионерской правды», Михайлова там называли светочем отечественной науки, человеком кристальной чистоты, представителем передового отряда дореволюционной интеллигенции, который одним из первых понял и признал советскую власть. Оказалось, что его книга о переустройстве почв нравилась Ленину — об этом вспоминал Бонч-Бруевич. Перепечатывая эту статью, Марина лихорадочно искала упоминаний об учениках, но учеников словно и не было — на Михайлове

агрономическая наука закончилась, и дальше ее предстояло развивать массам в своем творческом дерзании. Марина хотела объяснить Савину, что ученик у Михайлова был, и если бы ей еще не сказали тогда, что с мужем все решено и надежды нет, она бы, конечно, попыталась вступить, что-то сделать, хотя и понимала безнадежность попытки. У Савина были знакомства на самом верху, его приглашали на целый день на какие-то дачи, откуда он возвращался мертвецки пьяным, — Марина тогда сразу уходила, бросая неоконченную работу. Но вступаться не имело уже смысла, а главное — она понимала, что мужа взяли не за группу Михайлова, и Михайлова взяли бы не за его опыты. Оба сильные, веселые и упрямые, они представлялись любимыми детьми этой новой жизни и по ее неформулируемому, но естественному закону должны были ее собою окупить или, вернее, удобрить. Если бы они не были плоть от плоти и кость от кости ее, им ничто бы не угрожало. Это было так же естественно, как то, что мы не едим камней, а питаемся органической пищей, из которой, по сути, построены. Только Михайлов успел умереть, а мертвые не годились в еду, потому что переставали быть живой материей, становясь камнем, почвой, водой.

Во время войны Савин бросил Марину, не похлопотав ни о ней, ни о ее дочери, ни о ее матери. Ей самой пришлось устраиваться с эвакуацией, в академии ее помнили и взяли в поезд. До сорок четвертого года она прожила в Ташкенте, а потом вернулась на Арбат. Мать ее в Ташкенте умерла, не выдержав переезда, голода и жары. Марина словно закаменела и не плакала, когда ее зарывали. Ей было жаль только, что вокруг чужая, сухая земля, что в ней должно быть неудобно телу, построенному из другого вещества. Здешние люди сухи, а мать ее была тяжела, сыра и слезлива.

У Марины осталась на свете одна Катя, не похожая ни на нее, ни на Скалдина, но славная и смышленная девочка, только тихая, словно с самого рождения знавшая, что защищать ее некому. Лишь в Ташкенте Марина вдруг догадалась, что и она, и Катя потеряли отцов в одинаковом возрасте и что это может стать их родовым проклятьем, но и об этом она подумала вскользь, не позволяя себе развивать мысль. Секретарствовать у Савина Марина не вернулась, хотя знала, что он жив-здоров, пересидел войну на Урале, откуда писал в «Пионерскую правду» о маленьких тружениках тыла. Она работала теперь в отделе кадров на заводе имени Сталина. От красоты ее мало что осталось: она сжалась, высохла, стала меньше ростом и почти не читала ни книг, ни газет. Когда она подолгу сидела в их маленькой комнате, глядя в окно, Катя, поднимавшая голову от тетради, боялась задать матери вопрос и тем нарушить течение ее мыслей. Она сильно удивилась бы, узнав, что никаких мыслей не было, а было какое-то безнадежное и послушное ожидание. Иногда же Марина про себя разговаривала с мужем, рассказывала ему, что и как она делала сегодня, потому что в душе понимала, что больше с мужем разговаривать некому. Если он где-то и был, то только в ней, и постепенно в ее мыслях он оформился в какое-то внутреннее существо, единственным убежищем которого была ее, Маринина, голова. Он сидел там, словно в капсуле, потому что не мог же такой большой Скалдин исчезнуть целиком, это было бы неправильно, — и если тело его легло в фундамент того яркого и насыщенного мира, естественной частью которого он был, то ведь было же что-то в его душе, принадлежавшее только ей, и это что-то никуда не могло деться, потому что никому больше не было нужно. Она разговаривала с мужем нечасто, но знала, что если о нем не вспоминать, он обидится и может умереть, как вот если вовремя не покормить собаку. Нельзя сказать, чтобы эти разговоры были ей в тягость, но они напоминали о прежней жизни, в которой она еще жила, а не доживала, и потому слишком часто тревожить себя Марине не хотелось. Она научилась говорить с мужем очень скрытно, ничем себя не выдавая. У них выработался особый кодовый язык, происхож-

дения отдельных понятий в котором она уже и не помнила, однако ей достаточно было намекнуть, и муж понимал. Но он требовал подробностей, ему скучно было в ее заторможенной, всегда полусонной голове, где давно не было мыслей, а только ожидание и призраки — его, мамы, Натальи Семеновны, где-то ютились и добрые узбеки, и хромоногий мальчик, но очень многих выдуло. Слишком много народу там и не могло поместиться: чтобы подкармливать такую капсулу и продлевать ее существование, нужна сила, а силы у Марины больше не было. Хозяйство было на дочери, с ранних лет выучившейся мыть пол, готовить, читать в углу не приставая. Она все делала отлично и тихо и боялась только, что матери однажды станет плохо. Но Марина не могла себе такого позволить, и девочка каким-то чутьем об этом догадывалась.

Однажды, пятого сентября сорок восьмого года, двенадцатилетняя Катя делала уроки, и вдруг ее позвали к телефону. Она испугалась — ей показалось, что заболела мать. Но это была не мать и не кто-то с работы матери, а незнакомый и сильный мужской голос:

— Это ты, Снегурка? Мама дома?

— Нет, — ответила Катя и хотела уже спросить, кто это и что передать, но тут поняла, что знает, кто это. Мать редко рассказывала ей про отца, и Катя знала только, что он погиб на фронте, а до этого два года был вдали от дома с особым заданием. Отец и называл ее Снегуркой, потому что она была беленькая, а они с матерью — темноволосые. Скалдин действительно шутил, что дочь ни в мать, ни в отца, но про проезжего молодца не добавлял, потому что не хотел обидеть Марину. Сама Марина никогда так не называла дочь, но в немногих рассказах про отца обязательно упоминала Снегурку. Больше от него, собственно, ничего не осталось: был игрушечный песик, сделанный из целлулоида, но он потерялся в песочнице, когда Кате было три года. Мать тогда очень сердилась на нее.

— Катька! — весело сказал голос. — Передай матери, что я буду ждать ее сегодня, в восемь, около Почтамта. Я приехал ненадолго, мне еще тут надо кое-что сделать, а потом я к вам зайду. Но сначала мы должны с ней увидеться, обязательно. Я ей кое-что должен отдать. Поняла? Только обязательно запомни: в восемь часов, около Почтамта. Она где сейчас работает?

— На заводе имени Сталина, — задыхаясь, ответила Катя. Она не могла позвать отца домой, потому что он, видимо, все еще был на задании. Но как это он, выполняя такое важное задание, не знает, куда перевелась мать? — Я могу дать телефон, можно позвонить, ее позовут... — Она старательно избегала любых конструкций, в которых требовались «ты» или «вы».

— Нет, я звоню от друга и не хочу его обременять, — сказал веселый голос. — Позвони ей сама, а может, лучше ее и не тревожить. Она ведь придет часов в шесть?

— Да, она обычно приходит в шесть. — Катя обрадовалась, что отец по крайней мере знает, во сколько мать приходит с работы.

— Ну вот, тогда и передашь ей. Скоро увидимся, Снегурка. Будь здорова. — И отец повесил трубку.

Катя долго еще стояла в коридоре у телефона, и боясь, и надеясь, что он еще перезвонит. Мимо прошаркала туфлями старуха-соседка, недавно поселившаяся к ним вместо прежнего соседа, — она иногда пускала ее в свою комнату полюбоваться картинами и попить чаю из старинных тонких чашечек, так называемых кузнецовских. Непонятно было, как они уцелели в войну, в пустом доме. Наверное, старуха куда-то спрятала их, как клад, а потом достала.

— Мама звонила? — спросила старуха.

— Нет, — ответила девочка, но про отца ничего не сказала. Отец был на задании, сейчас шел самый ответственный, последний его этап, и если он даже не может зайти домой — значит, ничего про него говорить пока нельзя. — Это подруга, спрашивает уроки.

— Вам очень много задают, — посочувствовала старуха. — Разве нам столько задавали? — и, вздыхая, пошла на кухню.

Катя попыталась вернуться к урокам, но учеба не шла, даты из Смутного времени не запоминались, так и оставаясь смутными. Один раз ей вдруг показалось, что отец уже тут, стоит за дверью, только почему-то не может войти. С сильно бьющимся сердцем она подошла к двери, постояла у нее, но открыть не решилась.

Мать пришла без десяти шесть, когда Кате уже начинало мерещиться, что она видит, как стрелка на ее маленьких наручных часах (подарок к окончанию четвертого класса) двигается: медленно-медленно, но различимо. Ей было страшно, только что какой-то мужчина — видимо, пьяный, — громко и зло кричал за окном. На улице шел дождь, мать была в старом прорезиненном плаще. Зонта она не брала с собой, потому что по рассеянности часто забывала его в трамвае или метро. В другое время Катя сразу кинулась бы разогревать ей обед — ведь мать очень устала. Потом они сели бы есть, Катя расчистила бы стол от своих учебников и стала рассказывать школьные новости, они как раз проходили «Дубровского», и она хотела спросить мать, почему Дубровский не увез Машу с собой, а так и оставил неизвестно на кого. Но теперь, конечно, было не до Дубровского.

— Мама, — начала она осторожно, боясь напугать Марину. — Ты не волнуйся, пожалуйста. Папа звонил.

Марина ничего не поняла и потому переспросила, какой папа. Катя объяснила ей все, с самого начала, постоянно умоляя не волноваться. Марина как раз всю дорогу домой от метро — долгую, осеннюю, дождливую, мимо луж, по дробящимся на асфальте отражениям фонарей и окон — рассказывала мужу, что живут они неплохо, поэтому переход к Катиному сообщению был ей странным образом облегчен. Муж мог позвонить, ничего необычного, ведь она только что с ним долго разговаривала. И ей понадобилось минут двадцать, чтобы заново осознать, что позвонить он не мог. Впрочем, она тут же отняла десять от сорока восьми и поняла, что в июле у него истек срок, а ведь что такое десять лет без права переписки — ей все объясняли по-разному. Обращивалось по-всякому, и Марина знала это, хотя каким-то тайным и единственно верным чутьем давно поняла, что Скалдина могли только убить, а вернуть не могли, потому что для поддержания той жизни он был нужен весь, и именно такой, а про нее и Снегурку никто не подумал.

И все-таки Марина так привыкла быть неправой, то есть так часто убеждалась в том, что ее правота, как и она сама, никому не нужна, — что могла же она, в конце концов, и ошибиться, а значит, Скалдин мог быть жив.

В капсуле ее сознания он валил лес, дробил камни, его использовали в каких-то страшных медицинских экспериментах (ведь фашисты экспериментировали на людях, значит, это зачем-то нужно). В ее снах он водил машины по горным дорогам, осушал болота, горел в топке, которую отчего-то можно было топить только людьми, и непременно еще живыми. Он мог вернуться при одном условии — от него должны были целиком взять ту веселую силу, к которой она так захотела прислониться в свои девятнадцать лет, — а потом его, наверное, можно было отрыгнуть.

— Катя, — спросила она строго, — какой у него был голос? Это очень важно.

— Веселый, — недоуменно ответила Катя. — Нормальный голос. — Как будто она могла помнить обычный голос отца.

— Хорошо, — с трудом проговорила Марина. — Сиди смирно, никому не открывай, а я пойду.

— Рано еще, мамочка, — попыталась удержать ее Катя. — Посиди, поешь. Ты ведь устала.

— Нет, нет, Почтамт далеко, я пойду.

Она вышла из дома. Из булочной, что на первом этаже, выносили огромные овальные торты. Рядом стояла карета «скорой помощи». Вероятно, кому-то плохо стало на сеансе в душном зальчике арбатского «Арса». Марина давно не ходила в кино.

К Почтамту, на Кирова, она шла пешком, чтобы успокоиться, но никакого успокоения не наступало — она даже чуть не попала под зеленую «Победу», обрызгавшую ее с ног до головы, и все это время в ней не унималась внутренняя дрожь, от которой трудно было не только идти, но и дышать. Она старалась идти медленно и все равно пришла на полчаса раньше условленного времени. Перед поворотом на Кирова, у Сретенского собора, пришлось долго подниматься в гору, и она никак не могла справиться с дыханием. Часы на Почтамте показали без пяти восемь, восемь, пять минут девятого. Она боялась привлечь внимание своей неподвижностью, поэтому принималась ходить вдоль фасада, но боялась и пропустить мужа — и застывала снова. У нее мерзли ноги, странно дрожало что-то за глазами и чесался почему-то язык. В четверть девятого все еще никто не пришел, но ей уже казалось, что постовой-регулирующий странно поглядывает на нее, — хотя до нее ли было регулировщику в такой дождь?

Москва вокруг нее была совсем не та, в которой брали Скалдина. Из нее навсегда ушла праздничность, которую только и могли подпитывать непрерывным отбором веселых и сильных людей, исчезавших неизвестно куда. Их лица глядели с каждого листочка, и потому листочки были такие свежие. Теперь люди тоже исчезали, хотя и не так часто, но прежней радости уже не было ни в чем. Сила, которую она раньше чувствовала вокруг себя, словно надорвалась на войне. А может, вся она ушла в землю, бесполезно потратилась во время боев, когда жизнь проливалась из человека в никуда, а не усваивалась тем божеством, которое всех их хранило и обеспечивало. В общем, Москва стала серая, и даже новые здания, отстроены взамен разрушенных, не добавляли ей красоты и света. Марина не могла этого объяснить, но чувствовала. Если бы в такой Москве появился прежний Скалдин, на него все оглядывались бы. Но таких, как он, больше не было, а другие мало годились в пищу. Их ели нехотя, без радости, чтобы не умереть.

В половине девятого никто не пришел, но она твердо решила ждать до девяти. Скалдин никогда не опаздывал, но мало ли какие у него могли быть обстоятельства. Только без четверти девять незнакомый мужской голос вдруг окликнул ее:

— Маруся!

Так называл ее он. С бешено заколотившимся сердцем она обернулась, но тут же увидела высокого молодого человека, навстречу которому бежала худенькая девушка с зонтом. Зонт вырывался у нее из рук, но она не смеялась, как смеялась бы Марина десять лет назад. Лицо у нее было хмурое и сосредоточенное, словно и ловить зонт, и бежать к молодому человеку — работа. Молодой человек не обнял ее, как обнял бы Скалдин, а только коротко прижал к себе, потом взял за руку, сунул ее в свой карман — согреть, — и они быстро пошли в сторону центра.

После этого Марина отчего-то не стала дожидаться девяти, а медленно, снова пешком, пошла прочь. Именно тут ей стало ясно, что никто не придет. Она могла доехать до Арбата на метро, с пересадкой, но хотела именно идти, и только на ходу, на углу Петровки, ей вспомнилось, что в Москве есть и другой, новый почтамт. Так иногда называли Центральный телеграф, построенный лет десять назад на улице Горького, наискось от Художественного театра. Может быть, Скалдин ждал ее там, а может быть, и до сих пор стоял там, но все то же тайное знание сказало ей, что никакого Скалдина нигде нет. Словно эта другая, чужая Маруся раз навсегда подтвердила ей, что ждать больше нечего. Это же тайное знание говорило

ей раньше, что бесполезно хлопотать за Наталью Семеновну и Скалдина, и бесполезно просить Савина, и не нужно ничего ждать. Все происходило навсегда.

Дома она сказала Кате, что папа не пришел, что это была чья-то плохая шутка или кто-то ошибся номером. Он погиб на войне, и ждать больше не надо.

— Но ведь находятся! У Сони отец нашелся, он был в плену и вернулся! — сказала Катя, которая к приходу отца убрала квартиру и вырезала три бумажные салфетки — для их первого тройственного чаепития.

— Это чья-то ошибка, Катя, — отрезала мать.

— А Снегурка? — воскликнула Катя чуть не плача.

— Многих девочек называют Снегурками... — И машинально, для убедительности, Марина добавила: — И меня так в детстве звали.

Тут же она вспомнила, что мать действительно назвала ее так однажды, когда она, вся в снегу, пришла домой после прогулки с первым своим кавалером. Ей было тогда тринадцать лет. Но больше никто и никогда не называл ее так. Ее поразило только, что почти все, что она говорит, оказывается правдой, словно ей откуда-то заранее все известно.

Катя с мамой сели пить чай и больше не говорили об отце. Но самое странное, что наутро в песочнице нашелся красный целлулоидный пес. Катя шла в школу через двор и увидела его случайно. Она почти забыла эту игрушку, но сейчас вдруг вспомнила с необыкновенной ясностью. Конечно, это был он. Откуда он взялся? Может быть, отец купил такого же и передал привет, чтобы они не думали, будто он опять уехал навсегда? Или просто малыши рылись в песке и нашли игрушку, которую не сумели отыскать Катя с мамой девять лет назад?

Она бережно взяла пса, поцеловала его и положила в портфель, а дома показала маме. Мама долго плакала и сказала, что это, конечно, дети, кто же еще. С тех пор он снова жил у них в квартире, смешной, нелепый, — стоял на почетном месте, на буфете, и Катя иногда тайком брала его в постель, а когда она вышла замуж и родила сына, и ему иногда давала поиграть красного пса.

Катя никогда не расспрашивала мать, шадя ее, а когда выросла — расспросить не могла, потому что через год после Катиного замужества Марина потеряла рассудок. Она никому не позволяла прикасаться к себе, ибо это могло повредить живущим внутри нее существам, у которых любое чужое прикосновение отбирало силы. Все и трогали ее только потому, что хотели зарядиться их силой, а больше силы нигде не было. В психиатрической больнице она перестала есть, потому что это была плохая еда, вредная для них, и умерла за месяц.

Все это случилось задолго до рождения внука, в пятьдесят шестом году. Слава носил фамилию Катиного мужа — Рогов — и о деде знал только, что тот пропал. Конечно, в пятьдесят седьмом его реабилитировали, выдали справку с фальшивой датой и странной причиной смерти без указания ее места (сорок третий год, сердечная недостаточность, — словно дед воевал, был под Сталинградом и умер там от сердечного приступа). В шестьдесят третьем году Скалдина даже включили в список любимых учеников Михайлова, когда о том вышла подробная книжка в серии «Жизнь замечательных людей». Оказалось, правда, что последние опыты Михайлова и учеников, прерванные смертью старшего и арестом почти всех младших, были обречены с самого начала, никакой сверхустойчивой пшеницы у них не получилось, о чем их всех предупреждал другой молодой профессор, ученик Вавилова, арестованный за год до «михайловского дела». Перед расстрелом он оговорил всех своих родственников в надежде, что эти абсурдные показания докажут абсурдность и его собственного ареста. Так рассуждали многие, но никого это не спасло, и молодой ученик Вавилова был расстрелян за попытку затормозить прогресс. Затормозить про-

гресс нельзя, поэтому все когда-нибудь окажутся не правы. Просто одни сначала мучаются и смеются в ответ на все вопросы, другие оговаривают себя и всех родственников, а третьи успевают умереть.

У самой Кати не было сомнений в том, что отец погиб, но история эта продолжала ее томить, и в восемьдесят пятом году она рассказала ее сыну. Так Рогов узнал о посмертном звонке своего деда. А в восемнадцать лет он услышал другую историю. У его одноклассника, к которому он часто заходил в гости и где иногда оставался обедать, была бабушка Ира, толстая, но статная старуха, в свои немалые уже годы казавшаяся Рогову чем-то бодрее его матери. Бабушка Ира привечала его и за что-то жалела. Он напоминал первую ее любовь — мальчика с редким именем Иммануил, Има. Этот Има учился с ней в одном классе в тридцатые годы, когда не было еще отдельного обучения. Он был сыном высокопоставленных, таинственных родителей, о которых в классе почти ничего не знали, но трепетали, когда полный, густобровый отец Имы, казавшийся очень старым (Има был поздним ребенком), заходил в школу. Директор лично выбегал встретить его и не мог нахвалиться на сына, в самом деле круглого отличника. Фамилия Имы была Заславский.

В него были влюблены все девочки класса: высокий полноватый еврей с ярко-синими глазами, он был со всеми дружелюбен, охотно давал почитать книги из огромной отцовской библиотеки, помогал с уроками, но никого особенно не приближал. Дружил он только с Марком, который и стал впоследствии дедом роговского одноклассника. Вместе они ставили какие-то химические опыты у Имы дома, в огромной квартире на Ордынке.

Лето он обычно, по слабости здоровья, проводил на юге, куда ездил со старшей сестрой, в противоположность ему очень некрасивой и сердитой девушкой, иногда приходившей на родительские собрания, когда мать и отец бывали заняты. Родителей из города даже на лето не отпускали дела. Тогда все очень много работали.

Однажды — класса после седьмого — Има пообещал бабушке, а тогда девочке Ире, что по дороге на юг, когда поедет мимо Царицына, выбросит ей письмо. В Царицыне девочка Ира жила на даче, которую ее мать снимала за невеликие деньги. Поезд проходил мимо их станции поздней ночью, потому что из Москвы отправлялся в одиннадцать. Место было таинственное, с легендами, с темным силуэтом недостроенного дворца, который царица отвергла из-за того, что он ей напоминал гроб — кстати, совершенно бесосновательно. Дачные дети у костра рассказывали о привидениях. В одиночку Ире было страшно идти на станцию, и она взяла с собой подругу. Без четверти двенадцать мимо Царицына прошумел скорый поезд, и из желтого, уютно освещенного окна вылетел камень, обернутый в бумажку. Стекло тут же поднялось: Име были опасны сквозняки. Девочки долго искали камень в колючих кустах, царапая руки и колени, но наконец нашли и прочитали письмо. Бабушка Ира помнила из него только одну строчку, которая потрясла ее до глубины души: «Поезд мчится в даль, а я — в неизвестность!»

— Ну и что такого? — подзуживал ее внук. — Подумаешь! На улице идет дождь, а у нас идет концерт!

— Заткнись, дурак, — беззлобно отвечала бабушка. — Ничего ты не понимаешь. Слушай дальше.

Насчет неизвестности, в которую мчался поезд, все оказалось правдой. В десятом классе Има исчез, потому что исчезли его родители. Говорили, что отца и мать взяли в одну ночь (они и работали вместе), а самого Иму отвезла к себе на Украину бабушка. Это потом не подтвердилось. Учитель математики, единственный в школе мужчина, кроме преподавателя военного дела, сказал, что Има — любимый его ученик, кстати, — прислал ему письмо и что он вместе с бабушкой в ссылке. Письма, впрочем, не пока-

зал и вообще больше на эту тему не распространялся. Рассказал он про письмо только Ире, да и то в походе. Походы были его страстью.

А летом сорок восьмого года Ира прибирала в двухкомнатной квартире мужа неподалеку от станции метро «Парк культуры» (там они жили с Марком, чьи родители почти одновременно умерли вскоре после войны), и тут в дверь позвонили. Она открыла. На пороге стоял Има.

Она узнала его сразу — по огромным синим глазам и густым бровям, — хотя больше в нем не осталось ничего прежнего. Даже волосы его, прекрасные черные волосы, пропали, — на голове кустами топорщилась серая короткая поросль. Выпирал огромный костистый нос. Парусиновый пиджак болтался на Име, как на пугале. У ног его стоял неуклюжий фанерный чемодан, похожий на самодельный.

— Имка! — ахнула бабушка. — Заславский! Где же ты был?

— Эх, Ира. — Он отвел глаза. — Легче сказать, где я не был. А Марик дома? Я хотел ему кое-что передать.

— Марик в командировке, в Алма-Ате. Он будет через три дня. Да заходи же ты, ради Бога! Он там гостиницу строит. Слушай, вот он обрадуется! Заходи, поживешь у нас, пока его нет.

— Ира, я зайду вечером. Мне сейчас бежать надо. — Има подхватил чемодан и повернулся уходить.

— Да постой ты! Хочешь, оставь мне, что нужно, — он вернется, и я все передам!

— Нет, нет, Ирочка, — ответил Има полуобернувшись. — Это я могу только лично. Я зайду через три дня. — И он пошел к лифту.

— Има! — окликнула Ира. — А помнишь, как ты мне письмо писал? «Поезд мчится в даль, а я — в неизвестность».

— Помню. — Има даже остановился от неожиданности. — Помню! Слушай, столько всего забыл, а это — нет.

— Да ты останься хоть пообедай, что мы на лестничной клетке разговариваем!

— Я зайду, Ирушка. Обязательно зайду. — И лифт поглотил его.

Но он, конечно, никогда не зашел. Марик, когда узнал об этом визите, очень расстроился и даже ходил к Име домой, но там давно жили другие люди.

А в восемьдесят девятом году Рогов прочел в «Вечерней Москве» воспоминания о Бабеле, написанные сыном журналиста-правдинца Козаева, благополучно пережившего и репрессии, и войну. Больше всего в этих воспоминаниях его поразила история, приключившаяся летом того же сорок восьмого — спустя восемь лет после официальной даты бабелевской смерти. Тогда пятнадцатилетний сын журналиста сидел дома один — отец, как всегда, был в разъездах, мать зашла к соседке за мукой и заболталась. Раздался телефонный звонок, и мальчик узнал голос Бабеля.

— Это ты, Леша? — Даже по телефону слышно было, как Бабель улыбается. — Ты больше не хочешь стать бибизяной? — И сын журналиста узнал его короткий смешок.

Этого не мог знать никто, кроме ближайших друзей семьи. Леша в пять лет действительно мечтал стать «бибизяной», потому что она может не ходить в сад и на работу, а только скакать в джунглях и есть за бананом банан.

— Это вы, Исаак Эммануилович? — спросил Леша, который никогда не верил, что такой хороший человек может пропасть насовсем.

— Я, я. Узнал, хитрец. Скажи, пожалуйста, папа дома?

— Он уехал, Исаак Эммануилович! В командировку. Хотите, подойдет мама? Она у соседей, я сейчас позову...

— Да не надо. Я думаю, у нас будет еще время встретиться. Передай им... а впрочем, я сам передам. Вечером зайду и передам.



Но он не зашел, хотя о звонках его в это же время вспоминали еще три человека. Всем он хотел что-то передать, но всякий раз откладывал визит. Он был спокоен, сдержан и, казалось, куда-то торопился.

Таких историй Рогов за пятнадцать лет скопил множество. Совершенно достоверны из них были, правда, только пятнадцать — остальные напоминали апокрифы, и получил он их из третьих рук. Но те, которые он слышал от участников и не подвергал сомнению, были почти одинаковы, сходясь в большинстве деталей. Лишь два случая несколько отличались от прочих: один он услышал от дальнего родственника с отцовской стороны, когда отец возил его к себе на родину в Ленинград, а второй — от попутчика в поезде. Эти истории стекались к нему по какому-то странному закону, а может, люди просто чувствовали его интерес. В обоих случаях никакого телефонного звонка не было и никто ничего не передавал, тогда как в семи из тринадцати прочих историй фигурировало обещание передать что-то, на словах или в виде свертка, но непременно лично. Оба возвращенца появлялись въеве — одного видели в трамвае в начале сорок девятого (он исчез в августе сорок первого года, взятый при начале блокады за поразительные слухи), а второй померещился случайному роговскому попутчику уже в пятидесятом, в телефонной будке. Он звонил кому-то, не забывая спокойно, но внимательно оглядываться по сторонам. Заметил он и давнего фронтового знакомого. Этот самый знакомец сорок лет спустя ехал на встречу с однополчанами по тридцать пятой дивизии, собиравшимися в Калаче-на-Дону. Дело было осенью девяностого года, и третьекурсник Рогов, младший сержант запаса, не дослуживший год по милосердию Минобороны (всех призванных студентов отпустили домой), ехал в Ростов на конференцию истфака местного университета. В вагоне-ресторане они и разговорились.

— Его арестовали за какие-то письма, — рассказывал старик. — Он был отличный офицер, хотя человек высокомерный и со странностями, как многие москвичи. Но я уважал его за храбрость, и мы часто разговаривали. Он знал много стихов, некоторые я попросил списать, чтобы послать жене. Что-то Блока, кажется... Пойдите, я, кажется, даже наизусть помню. «Дуют четыре ветра, волнуются семь морей, все неизменно в мире, кроме души моей...»

— Это не Блок, — покачал головой Рогов.

— Да? Ну, может быть, он сам писал... Я ведь военный, не специалист. — Старик задумался. — Да, может, и сам. Его вызвали в особый отдел, и больше он не вернулся. Я знал, что у него арестованы родители, какие-то московские шишки, и он надеялся выслужить им прощение. На фронте рассказывали про такие случаи. В нем было что-то такое, знаете... какой-то слом, предназначение, если хотите. Я за войну и потом, когда остался в армии, такие вещи научился различать лучше любой гадалки. Но все-таки мне обидно было, что он гибнет ни за что, и жалко было родителей — он немного про них рассказывал. Он писал отцу в лагерь и матери в ссылку, мать отвечала, а от отца давно ничего не было. В начале войны многих заключенных утопили на баржах, — вы, наверное, знаете.

Рогов кивнул.

— Обратиться напрямую к особисту я, конечно, не мог, — продолжал попутчик. — Я был обычный старший лейтенант, пусть уже и представленный к ордену, и никто не стал бы передо мной отчитываться. Но слухи до меня доходили, и я узнал, что его как раз и взяли за переписку с отцом. Это показалось подозрительным, да и мало ли что он мог там писать. Больше о нем не было никаких сведений, но я его не забывал, хотел даже матери его отписать, но не знал адреса. Искал, не нашел. Однажды, году в сорок седьмом, я случайно встретил того особиста — пересеклись у нашего помпотеха, он демобилизовывался. Особист наш был не такой, как те-

перь про них пишут, а человек смелый, и я даже уважал его вчуже. Выпили крепко. И я набрался храбрости, спросил: ну а как старший лейтенант Сутормин? Может быть, вы помните его? И представьте себе, он помнил. Сутормина трудно было забыть. Красавец, бледный... Он сказал, что его затребовали в Москву, дело оказалось серьезное, как-то он попал под кампанию, что ли, — все отрицал, ни в чем не признался и сгинул. Особист мне намекнул, что в живых его бы не оставили. Сорок четвертый год, что вы хотите.

И вот представьте, я летом сорок восьмого приезжаю в Москву по делам, остановился в гостинице, иду на ВДНХ — и что вижу? Его, живого, невредимого! То есть мне сначала так показалось, что невредимого. Стоит в телефонной будке, накручивает диск, потом что-то говорит, но сам поглядывает по сторонам, словно опасается слезки. Одет кое-как, костюм поношенный, какого, знаете, бродяга постыдился бы, — но на нем прилично сидит, на нем все прилично сидело, даже гимнастерка прожженная, — представляете, какие у нас в сорок четвертом были гимнастерки? Сами не мылись месяцами, чего уж тут... И вот, знаете, когда водил он глазами по сторонам, вдруг заметил меня. Ни один мускул в лице не дрогнул. Он продолжал говорить, но глаз с меня уже не сводил — у него были черные пронзительные глаза, огромные, я по ним-то и увидел при первом знакомстве, что он не жилец. Демон, мы так и звали его. И вот смотрит, говорит, а рукой делает мне знак: подойди! Вы меня, конечно, осудите, да я и сам себе теперь простить не могу, — но я словно врос в землю. Смотрю на него, глаз не отвожу, а шагнуть боюсь. Я и сейчас вам не объясню, что это было... хотя с конца сорок второго, с семнадцати лет был на фронте и видел всякое. И даже скажу вам, что боялся мало. Это был обычный страх, где-то даже привычка. Поначалу он ощущался, а потом приходила осторожность, навык, — в общем, знали уже, что если не лезть на рожон, так, может, и обойдется. Но тут я смотрел в эту будку — лето, люди кругом, шум стоит, машины, говор, какие-то узбеки в халатах, — а я стою от него в десяти метрах, и мороз дерет меня по коже. Потому что это был и Сутормин — и не Сутормин.

Самое страшное, что он стал будто меньше ростом, сплющило его и пришибло. Он был высокий, тонкий, а тут — словно вырубленный из дерева, обкорнанный какой-то обрубком, фигура неуклюжая, квадратная. Лицо бледное, как всегда, но надулось: то ли вода под кожей, то ли он как-то весь оплыл, опустился. Не потолстел, нет, но именно что оплыл. Он и сейчас был демон, но даже не демон поверженный, а — как бы сказать — если бы из демона вдруг стал бес, обычный бес, — вот так оно точнее всего. Он словно смотрел на меня из такого ада, который только и есть настоящий ад — не с кострами и сковородками, а вот, простите за сравнение, одна огромная параша, из которой нету выхода, а если и есть, то он уже не нужен. И вот я до сих пор думаю: кому же он мог звонить?

— Наверное, хотел что-то передать, — машинально сказал Рогов.

— Что вы говорите? — перегнулся к нему старик.

— Нет, так. А что дальше было?

— Ничего не было. Он поманил меня пальцем, а сам смотрит в упор, и такое глянуло на меня из его глаз, что собрал я все силы да и дернул прочь, как заяц. Боевой офицер, с наградами, майор артиллерии. А бежал не оглядываясь, очнулся уже на какой-то окраине, куда и трамвай не ходил. Смотрю — вечер, бараки вокруг — длинные, безглазые. И мерещится мне, что в них все такие, как он... На мое счастье, ехал мимо таксист. Как его туда занесло? Не иначе, ангела с машиной прислали по мою душу. «Садись, майор, подвезу». Вернулся я в гостиницу, пошел в ресторан, напился, как давно не напивался, и всю ночь проспал как убитый. Только утром отпустило, но на ВДНХ в тот раз я так и не побывал.

— И Сутормина больше не видели?

— И не видел, и сведений не имел. Хотел было запрос подать, но знаете — страх взял. Мне легче думать, что обознался. Все-таки любил же я его — где мне было с ним таким заново встречаться? Ну сами вы посудите, молодой человек?

— Нет, вы скорее всего не обознались, — задумчиво сказал Рогов.

— А почему вы так думаете?

— Не знаю. Тогда многие вернулись...

— Это верно, — кивнул старик. — Многие. И видел я многих оттуда. Но по ним, знаете, и не сказать было иногда. Как законсервировались они в мерзлоте этой. Веселые, отличные мужики... А таких я не видел, нет, таких больше не видел. Ну правда, и досталось же ему — сперва родителей взяли, потом фронт...

— Лазарь, — сказал про себя Рогов, но старик расслышал.

— Вы думаете, все Каганович?

— Нет, другой Лазарь. Помните, Христос воскресил Лазаря, и никто не мог выдержать его взгляда?

— Не читал, — виновато признался старик. — Видите, до сих пор не удосужился...

— Жаль, что вы не подошли, — сказал Рогов. — Нет, нет, не платите, пожалуйста. Позвольте мне. Вы сами не представляете, как мне важен ваш рассказ.

— Вы не родня ему? — Старик прищурился. — Бывают такие совпадения, что ни в одной книжке не вычитаешь...

— Нет, — ответил Рогов, — не родня.

Это свидетельство было тем ценнее, что речь шла о единственной личной встрече с вернувшимся: в остальных случаях визуального контакта не было, не считая, впрочем, того мимолежного ленинградского эпизода в трамвае, — но родственник отца был близорук и мало что успел разглядеть. Видел он только, что ехавший в трамвае двоюродный брат его жены, которого он и до войны видел мельком, два-три раза, был занят странным для своего возраста делом: держал в руке маленькое карманное зеркальце и показывал его кому-то в окне. Трамвай, в котором ехал двоюродный брат, проходил по Петроградской стороне, мимо улицы Барочной, и в старинном доме на углу кто-то смотрел в окно. Кажется, девочка, кажется, славная. Но все это близорукий родственник роговского отца видел мельком, а достоверно заметил только, что двоюродный шурин (кажется, это так называется? я путаюсь во всех этих отношениях...) пускает солнечного зайчика по стене. Родственника он не заметил — тот стоял на остановке и ждал другого трамвая. Двоюродный брат жены казался сосредоточенным, и вид у него был слишком серьезный для человека, занятого таким легкомысленным делом.

Этот зайчик и эта сосредоточенность были единственными звеньями, для которых Рогов не находил места в своей цепи. Остальное он, кажется, понимал. Он понимал то, о чем боялся задумываться следовательно его деда, и то, чего не могла выразить словами его бабка Марина, всю жизнь медленно терявшая рассудок и забывавшая то, что было вчера. Он понимал, почему их брали и почему они возвращались. Но нужны были годы, чтобы все встало на места.

## 2

Летом Рогов с родителями жил на даче. Крошечный садовый участок получил в семьдесят втором году его отец, инженер на большом московском заводе. Все давалось отцу с трудом, но в конце концов он обзавелся набором советского благосостояния — правда, в самом жалком его варианте: у них с Катериной Ивановной появилась двухкомнатная квартира, за год до рождения сына они купили машину — первую «Волгу», с передача-

ми на руле, — а когда Славе исполнилось три года, получили и дачу, чтобы ребенку было где дышать свежим воздухом и есть незагазованный, выращенный без химии витамин. Участки заводу дали в сырой и кочковатой местности, километрах в восьмидесяти к югу от Москвы, и дачный поселок имени Станюковича, имевшего когда-то усадьбу в этих местах, стал расти и обстраиваться. Строились кто во что горазд, из среды заводских немедленно выделились люди с незабытыми или генетически усвоенными сельскими навыками, население мигом расслоилось на тех, у кого почва осушалась и в огороде все родилось, и тех, кто, подобно Роговым, тщетно вбухивал в болотистую местность песок и время. Песок немедленно проседал, гряды зарастали, а если их от сорняков покрывали рубероидом, вырезая в нем пятиугольные дырки для клубничных усов или смородинных саженцев, то сорняки перли и сквозь рубероид. В парниках, под немедленно рвавшейся пленкой, отчего-то урождалась одна влажная, белесая трава. Памятником бесплодному усилию для Рогова навеки остался отец с тачкой, только что вываливший в грядку очередную порцию песка или навоза и отирающий лоб; он скалился от усталости, тяжело дышал, и лицо его выражало при этом не гордую радость и даже не здоровую злость, а почему-то мольбу. Природа его мольбы не слышала, и съесть огурец, выращенный собственным трудом, ему удалось, кажется, единожды в жизни. Но и огурец этот он ел с выражением жалобным, словно умоляя не растаять вдруг, как мираж.

После выхода на пенсию отец окончательно разуверился в любых своих усилиях и начинаниях (он работал бы и еще, но его выпихнули, — правда, сын уже поступил на истфак, и можно было расслабиться). Он проводил на даче все больше времени, но вместо того, чтобы высвободившееся время посвятить обработке земли, пристрастился к походам за грибами. Впрочем, и тут ему не везло, земля его не любила; и когда соседи приносили гигантские плетеные корзины, полные доверху и прикрасытые папоротником от завистливых взглядов, он еле набирал пакет лисичек и сыроежек, которые от сдавливания еще и крошились. Рогов-младший с детства недолюбливал соседей, но стыдился и отца. Сам он, рослый, светло-русый, с широко поставленными глазами и неторопливой речью, — пошел в Скалдиных — умел и любил повозиться в земле, но тщета отцовских усилий вечно стояла у него перед глазами. Дача была для всей семьи чем-то вроде навязчивого ритуала, от которого не хватало духу отделаться: каждое лето мать выпалывала тут же стремительно зараставшую, выродившуюся клубнику, отец в тачке развозил по участку и рассыпал кучками очередную машину песка, а Рогов, когда его удавалось затащить на дачу, принимал во всем этом посильное и неохотное участие. Он любил дачу не за это, а за то же, что и все книжные дети его времени: тут было искаженное, отдаленное напоминание об усадьбе, свидание с той книжной Родиной, которая для всякого думающего человека давно уже свелась к пейзажу, потому что все остальные столкновения с ней были слишком скучны или страшны.

Со временем дачный поселок менялся, старые владельцы умирали или продавали участки, новые на месте старых полутораэтных халуп-курятников возводили краснокирпичные коттеджи с пристроенными парниками, и весь путь от станции до дома, проходивший когда-то через колхозное поле, петлял теперь между тесно поставленными новорусскими домами, одинаковых и почти жалких на фоне дальнего леса. Из былых дачников на всей их улице остались только Роговы да старик Кретов, который заходил к ним иногда поболтать. Жизнь у Кретова была бурная. Он любил выпить, от выпитого добрел и рассказывал про свои странствия. В конце двадцатых он гонялся за какими-то басмачами по Средней Азии, потом возводил завод на Урале, занимался журналистикой в Москве, хитростью избежал фронта, вдруг заинтересовался геологией, получил первое в жизни

высшее образование (было ему уже за тридцать) и после этого изъездил всю страну, от Певека до Горного Алтая. Благодаря общительному нраву он сходилась со страшным количеством людей, помнил все их фамилии и истории, и именно от него Рогов впервые услышал множество полудостоверных, увлекательнейших сплетен — от истории убийства Кирова до тайны летающей тарелки, которую наши сбили в семьдесят втором под Новосибирском и тут же навсегда засекретили. Тарелку эту Кретов часто видел, работая в Сибири, и уверял, что одного юношу из их партии инопланетяне похитили, потому что, взятый ими в Новосибирске, он очнулся потом в Астрахани на автовокзале и не помнил ничего, кроме собственного имени да еще того, что какой-то трехглазый делал ему укол.

Рассказывать все это маленькому Рогову было для Кретова особым наслаждением, потому что маленький Рогов боялся. По большей части их беседы происходили в лесу, куда Кретов уходил в шесть утра и долго блуждал какими-то своими, заповедными тропами. После его смерти Рогов множество раз пытался пройти тем же маршрутом, но выходил всякий раз в какие-то скучные, прозаические и давно известные места — постоянно пропускал развилку. Только Кретов знал, куда повернуть, чтобы после трехчасового петляния и блуждания по грибному осиннику выйти вдруг на крутой обрыв, с которого открывалась недостоверной красоты деревушка на берегу реки, с церковью и краснокирпичным зданием, похожим на станционное, — без всякой, однако, железной дороги. Только Кретов однажды привел Славу Рогова в земляничник, про который наказывал никому не говорить, — на огромной поляне среди густого елового леса двенадцатилетний Рогов увидел столько ягод, сколько не встречал никогда ни до, ни после. Это было то самое, сказочное: «Одну ягодку беру, на другую смотрю, третью примечаю, а четвертая мерещится». Он отлично помнил дорогу, но сколько ни ходил потом, все сворачивал в какое-то болото. Кретов всегда присаживался перекусить на один и тот же пенек, доставал бутерброд из черного хлеба с венгерским салом, а перед входом в ельник, кряхтя, бормотал про себя одно и то же: «Эхма, была бы денег тьма, купил бы баб деревеньку да и драл бы их помаленьку». Рогов на полном серьезе пытался копировать его, повторял и про баб деревеньку, но никогда больше не видел земляничной поляны.

Родители отпускали его с Кретовым легко, хотя отец и ругался беззлбно, называя геологические рассказы бредом. Для маленького Рогова именно эти рассказы были первой отечественной историей, как дача была первой Родиной. Это была Родина билибинская, с острыми еловыми верхушками на алом рассвете, с буреломом, с паутиной, липшей к лицу. Там желтые березовые листья были похожи на грибные шляпки, там легко было представить брошенную, а на деле обитаемую невидимыми существами избу (про такие избы, рассыпанные по тайге, часто рассказывал Кретов). Там, за поваленным бурей деревом, упавшим как будто куда попало, без всякого закона, — вдруг начинался совсем другой лес, словно этот рухнувший дуб и обозначал границу другого мира. В том мире, который Кретову был известен и открыт, а Рогову в одиночку недоступен, было огромное черное озеро в глубине светлого, дружелюбного березняка, и Кретов всерьез уверял, что дна у озера нет, специально искали они вдвоем с приехавшим товарищем, выплывали на резиновой лодке на середину, производили замеры и ничего не нашли. А однажды, еще в семьдесят пятом году, когда сам Кретов только-только купил тут участок (на котором, кстати, проводил весь год, кроме зимы, уютно устроившись в бревенчатом доме, питаясь кашей из разных круп и курия свою носогреюку), — он нашел в этом озере обломок доски с выгравированными на ней буквами «The Em», что могло означать только «The Empire», название славного британского фрегата, затонувшего у берегов Америки в середине прошлого века; и говорило это, конечно, о том, что в черном озере была дыра на-

сквозь. Рогов умолял показать ему эту доску, но Кретов, увы, сжег ее в своей голландке прошлой холодной осенью. Тем не менее он успел показать ее другу, и в Москве он непременно познакомит Рогова с этим другом, чтобы тот подтвердил.

Однако в Москве они отчего-то никогда не встречались: здесь была совершенно другая жизнь, которая удивительным образом начиналась сразу после пересечения кольцевой. Не успевал маленький Рогов в отцовской «Волге» проехать мимо огромных букв «Москва», встречавших их на въезде в город, как весь дачный мир с его чудесами отодвигался непонятно куда. Кретов мог существовать только в той жизни, как глубоководная рыба на километровой глубине. Вытащенный оттуда в обычную московскую жизнь, где была школа, ежедневная газета и горячая вода, он бы тут же потерял все свое очарование, поблек и, возможно, испарился. Он был представим только в высоких болотных сапогах, клетчатой ковбойке, старом пиджаке и непременной шляпе, обязательно небритый, в сивых усах, лучше бы с огромной плетеной корзиной, которая, как он уверял, сама притягивала грибы и тащила его в грибные места. Кретов слушался корзины, и Рогов лет до восьми всерьез верил, что это она, как компас, ведет его единственно верным путем.

Кретовские рассказы были неиссякаемы, и Рогову, который быстро вырос, никогда не становилось с ним скучно. Иногда Кретов запускал его на свой чердак, где лежали у него в огромном пыльном мешке журналы «Вокруг света» с незапамятных времен и никогда потом не встречавшийся Рогову даже в хороших библиотеках «Сибирский следопыт». Там, при свете карманного фонарика (на чердаке было темно, только пыльные лучики жаркого дня проникали сквозь щели меж смолистыми досками), Рогов перечитал тьму фантастических историй, которые в таком множестве писали в двадцатые годы. В этих историях был бодрый дух исканий, смесь наивной научной деловитости и счастливого авантюризма. Так видели мир хозяева первых радиоприемников, сосредоточенные очкастые мальчишки, которые непременно построили бы новый мир, если бы их всех не перебили. После одной такой истории, впрочем, Рогов не спал две ночи. Он был мальчик впечатлительный и на всю жизнь запомнил странный рассказ (к сожалению, ему было тогда не до фамилии автора, у тогдашних книг в его сознании вообще не было авторов — зачем?) — некий американский ученый открыл способ оживлять казненных на электрическом стуле. Ему дали для эксперимента банду из шести жестоких убийц — пятерых мужчин и одну женщину. После казни надо было выждать три часа (почему три часа? для чистоты эксперимента, чтобы уж никакой жизни в них не осталось? или чтобы с душой произошли какие-то необратимые перемены, вследствие которых она осознала бы всю мерзость убийства?). Потом профессор с красивой лаборанткой, изображенной тут же на густо зачерненном рисунке тушью, производил надрезы на ступнях убитых, вставлял туда электроды, делал какую-то инъекцию, включал ток... и трупы медленно оживали, приподнимались на своих стерильных кушетках и оглядывались мутным, ненавидящим взглядом, словно не в силах простить того, кто вернул их в эту юдоль скорби и порока. Таинственный профессор отселял воскресших убийц на пустынный остров, выкупленный в личную собственность. И там-то начиналось самое интересное, потому что шестеро убийц — пятеро мужчин и женщина — начали среди дикой природы строить новый мир, не похожий на наш, строить по тем законам, которые открылись им в страшные три часа, когда они были уже не здесь и еще не совсем там, — и автор, восклицая: «Но какой это был страшный мир!», умолкал до следующего номера. Этого-то следующего номера в кретовском мешке не было, и сам Кретов не знал, что случилось дальше. Вероятно, этот журнал он извел на растопку, потому что периодически залезал на чердак за бумагой для своей печурки, и на ритуал растопки Рогов

тоже иногда приглашался. Ему невероятно жаль было исчезающих в огне журналов, за которыми следовали крепкие, звонкие березовые дрова (Кретов ходил за ними в лес с удобным, как все его вещи, топориком), но радость от растопки стоила того. Маленький, а потом и не такой уж маленький Рогов с наслаждением смотрел, как с одной спички схватывается вся печь, как от умело уложенной бумаги огонь ползет все выше, по коре, бересте, и, наконец, как ровное гудение слышится в кретовской клетушке, по стенам которой пляшут тени.

Все, что рассказывал Кретов, было волшебным и достоверно, и все в его доме было так же полусказочно. Там стоял огромный ламповый приемник со шкалой, на которой таинственно поблескивали названия городов: Москва, Рим, Стокгольм. Там был и старый, давно не работающий телевизор «КВН» с огромной линзой, посредством которой Кретов учил Рогова добывать огонь (огонь добывался); было множество старых, громоздких, но добротных вещей, и вся советская жизнь представлялась Рогову громоздкой, таинственной и добротной, как эти вещи. Тут ничего не было прочного, кроме нее, и потому после нее стояло и работало только то, что было придумано или произведено при ней.

Эта жизнь, как и сам Кретов в его не знавших сноса сапогах, в его корабом стоявшем тулупе, который он надевал ближе к осени, выходя погулять по вечерам, — эта жизнь находилась в таинственном завете с окружающей природой и одна умела с ней договариваться. Она потому и победила всю эту природу, заставила ее служить себе, что была одной с ней крови и одного замеса, так же естественна и так же органически бесстыдна. Она не знала никакого закона, кроме закона жизни, и слепо следовала ему. Поэтому-то, пока эта советская жизнь была могуча и молода, она с такой легкостью подчиняла себе льды и леса, камни и пустыни: они договаривались, и меньшая сила уступала большей. Все, сделанное при этой советской жизни, было как природа — величественно и таинственно — и всегда обладало каким-то дополнительным, секретным предназначением помимо основного. По приемнику Кретова можно было ловить не только наши, но и вражеские голоса; больше того, Рогов был вполне убежден (хотя никогда не спросил об этом Кретова напрямик), что при случае по этому приемнику, как по рации, можно было бы связаться и с какой-нибудь большой землей — если бы они все, жители дачного поселка, оказались вдруг на малой, то есть, например, в особо дождливое лето их затопило бы. Именно для этих целей служила огромная суставчатая антенна, валявшаяся на чердаке и похожая на ус страшного с виду, но полезного и добродушного жука. Там же нашелся старый телефон, огромный, из плотного тяжелого эбонита, с матерчатым, а не резиновым даже шнуром, на срезе которого поблескивали желтые точки проводков круглого сечения. Но и телефон этот был вполне дееспособен и, даже будучи отключен от линии, мог соединить с кем-то, кому нельзя было дозвониться по линии. Каждая советская вещь имела двойное дно, иногда доброе, иногда злое, но в таких категориях мыслить не следовало. Было не доброе и не злое, а жизнеполезное и жизнеопасное, и даже не так, потому что и жизнь не была высшей ценностью. Было правильное и неправильное, но что правильно и что неправильно — мог знать только посвященный, а может быть, и никто, кроме того, кому можно было дозвониться по отключенному телефону. И маленький Рогов брал трубку и слышал в ней шорох. Он услышал бы и голос, но всегда боялся и швырял трубку на рычаг, а потом долго гладил ее, надеясь выпросить прощение.

В Империи, как она представлялась Рогову, стояла вечная ночь. Представление это, по-видимому, сформировалось не без влияния единственной довоенной книжки, которая была у них в доме, — полярных дневников Кренкеля. Книжка была черная, со множеством карт и иллюстраций, и дело в ней происходило главным образом полярной ночью; в Империи

все самое главное тоже делалось по ночам. Эта полночная страна рисовалась Рогову в виде огромной живой карты, на которой таинственно перемигивались телебашни, радиовышки, кремлевские звезды и летящие в низких тучах военные самолеты. Там шла гайдаровская, добротная и загадочная жизнь: по засекреченным адресам отбывали поезда, в которых пили чай немногословные светловолосые военные. Глубоко под землей строили метро — не то, карта которого висела у них в прихожей, а тайное, резервное, на какой-то особенный случай. Летчики в кожаных куртках с белыми меховыми воротниками, в шлемах с наушниками, в защитных очках толстого стекла направляли самолеты в пике прямо на льдины, успевая подхватить полярников. Все было черное и белое: ночь и зима стояли в Империи; только поезда были голубые, а самолеты зеленые.

Детское ощущение огромной бодрствующей страны не оставляло Рогова и после: он любил ночевать в поездах, легче засыпая оттого, что за окнами, на пролетающих мимо станциях, кто-то контролировал движение составов, связывался с Москвой, рассылал загадочные сообщения. На красных станционных зданиях горели белые ртутные лампы в жестяных конусах. На самом пустынном разъезде обязательно сидел специальный человек, осуществляя тайную связь, посылая сигналы, участвуя в непостижимом общем деле.

Эта же советская жизнь смотрела на Рогова с обложек старой «Юности», которую он стал почитать на том же чердаке лет в пятнадцать. В шестидесятые Кретов выписывал многие журналы — геологам хорошо платили. Получал он сразу по пять-шесть номеров: они дожидались его на почте, пока он в своих болотных сапогах пропадал в экспедиции. С каждой обложки смотрели огромные пустые пространства: то опоры ЛЭП-500 ровной, беглыми штрихами намеченной цепочкой уходили в снежную даль на фоне идеально круглого красного закатного солнца; то лыжники в голубых шапочках, он и она, скользили по замерзшей глади неведомого водохранилища; то рыбаки в таких же вязаных шапочках выбирали из сети рыбу у огромного сине-зеленого моря; то лопасть вертолета, бросая синюю тень, зависала над тайгой. Картинки занимали только половину обложки, и за их границей угадывалась какая-то бесконечность, но человек не терялся в ней, ибо знал к ней ключи и был того же нрава, так же мало ценил свою жизнь, как и она.

Теперь Империя исчезла, и природа задним числом мстила ей, справляясь с нею так же легко и нерассуждающе, как и та когда-то с природой. В лесах Рогов все чаще находил брошенные железные предметы непонятного назначения: иногда в них еще угадывался остов старой печки, труба, трансформатор, но чаще это была уже просто груда ржавчины, медленно уходящая в землю. Этот умирающий предмет был даже интереснее, чем мог он быть в своей силе и славе, — потому что как раз теперь он был и не печка, и не трансформатор, а что-то совсем другое, и, возможно, теперь из него начало бы торчать второе, тайно заложенное предназначение. Но целомудрие и детский страх смерти мешали Рогову толком его рассмотреть.

До самой армии Рогов проводил лето на даче, редко-редко выезжая с матерью на юг, когда в семье были деньги. После второго курса ему предстояло служить — студентов все еще брали, он угодил в последний призыв. Армии он боялся страшно, как все интеллигентские дети, и каждый поход с Кретовым казался ему последним. Призывался Рогов с другими студентами (сессия милосердно давали досдать — порадуйся напоследок!) под самый занавес набора, в июле, и уже вручена была ему под расписку последняя, окончательная, зеленая повестка, в которой неотвратимее всего были слова: «Приходить помытым и опрятно одетым». Непомытый и неопрятно одетый он не годился в пищу. Как назло, июль был прекрасный. Грибам еще не вышло время, и они с Кретовым просто ходили по лесам, собирали земля-



нику и редкую в Подмоскowie костянику, понемногу выпивали. Кретов всегда брал с собой старую, такую же добротную, как все его вещи, фляжку, — но прежде он Рогову не наливал, а теперь делился.

Шел восемьдесят девятый год, время больших разоблачений, Рогов был историк и внук репрессированного, поэтому читал много и с жадностью. Странно, что о репрессиях Кретов говорил мало, о всеобщем страхе вообще не упоминал и сам, казалось, его не испытывал. В таинственной и праздничной советской истории, похожей в его изложении на густую морозную ночь с гирляндами огней, страху не было места — вернее, то был именно детский святочный страх, ничего общего не имевший с серым ужасом очередей.

— И все-таки я не понимаю, — сказал однажды Рогов. — Может быть, для поддержания страха... или для разгрома оппозиции... действительно нужны были аресты, но не в таком же количестве? Не в том масштабе?

— А кто тут судья? — спросил Кретов, вкусно надкусывая неизменный свой бутерброд. Он сидел на пне, широко и прочно расставив крепкие ноги в сапогах и примостив рядом волшебную корзину, которую брал с собой, даже когда грибов явно еще не было. — Ты думаешь, они брали для страха? Или чтобы народу поменьше было? Я тут прочел, что Россию только тогда и можно накормить, когда половина ест, а половина сидит и бесплатно пашет. Ну не чушь ли собачья? Да Россия могла бы весь мир кормить, если б хотела... Очень ей это надо — кормить.

— Но тогда зачем? Какой смысл? — Рогов немного захмелел по молодости и стал разговорчив. — Понимаете, дядя Леша... Ну пусть бы брали самых талантливых, да? Но и этот критерий не работает. Сколько бездарей погибло. Сколько мрази, которая сама стучала, а потом попала под те же колеса. Хорошо, допустим, что гибнет потенциальная оппозиция. Но смотрите, сколько взяли вернейших! Ладно, представим, что берут именно вернейших, что он хочет вернуть империю. — Слово «он» в их разговорах давно означало только одного человека, и расшифровка не требовалась. — Но тогда чем объяснить уничтожение почти всей интеллигенции, которая была тайно против? Я не вижу принципа. Не могу понять, по какому параметру он отсеивал...

— Так и не было параметра. — Кретов спокойно вытер рот и по вечной своей привычке провел большим пальцем по усам. — Не было, Славушка. Ты ведь неглупый малый, мог бы и сам дотумкать. Ты думаешь, он тех брал, а этих не трогал? Бред, голубчик. Он брал ВСЕХ.

— В смысле?

— В том и смысле. Всех, без исключения.

— Но ведь вы же уцелели? Да две трети уцелели...

— Он просто не успел. Если бы он прожил еще год, друг милый, система была бы закончена. Он же фильтровал, пойми ты это. Одних выпускал — эти, значит, ни на что не сгодились. Других совал в лагеря. А третьи... про третьих разговор особый, тут мне самому не все ясно. Не время про это говорить.

Кретов был великий рассказчик и знал, на чем прервать разговор. Он всегда рассказывал страшное в несколько приемов, и его приходилось долго упрашивать, чтобы он вернулся к теме, — но и это входило в условия игры. Как раз теперь небо над ними потемнело, повеял ветерок, и вместо того, чтобы углубляться в любимый ельник, приговаривая про денег тьму, Кретов направился обратно. Он жаловался на боль в ногах, хотя шел по-прежнему ровно, без хромоты и одышки.

— Нет, но все-таки, дядя Леша? — спрашивал Рогов, поспевая следом. — В чем смысл-то?

— Вот почему сейчас в армию всех подряд стали брать? Раньше же тоже студентов не брали, а теперь тебя марш-марш — и в сапоги. Почему? — не оборачиваясь, спросил Кретов. Рогов любил его и за то, что он

говорил об этом «марш-марш в сапоги» легко и естественно, словно ничего особенного в армии не было, подумаешь, две зимы и две весны. Дома его кормили лучшими блюдами и разговаривали осторожно, соглашаясь во всем, как с покойником, и это Рогова пугало и злило дополнительно.

— Служить некому, — с усмешкой ответил Рогов.

— Да чего сейчас служить-то, кому мы нужны? Или у нас враг новый объявился? Не смейся... Или ты думаешь, что они армией будут прежний порядок наводить? Да какой же порядок наведет такая армия, а главное — у кого там наверху хватит сейчас пороху на такое дело? Нет, Славушка, это примерно то же самое, но в других масштабах. Поняли, черти, что он дело говорил.

— Да что за дело-то, дядя Леш? — не выдержал Рогов. — Всех пересажать — и все дело?

— Проверить, Слава, проверить, — терпеливо, как второгоднику, повторил старик. — Не пересажать, а всех посмотреть на свет. Знаешь, как нефть делят на фракции? Она тоже небось думает: и зачем ее добывают и потом мучают, так хорошо было в подземке-то... — И он пустился было в рассказ о нефтедобыче, которую знал как никто, потому что все шестидесятые годы провел в Западной Сибири.

— И что, дядя Леш, — не отставал Рогов. — Вы думаете, если б не помер — так пропустили бы через эту мясорубку всех?

— Да ведь вагоны уже стояли, — ответил Кретов, с неудовольствием отвлекаясь от нефти.

— Где?

— А ты не знал? На всех вокзалах. Развезить народ. С пятьдесят второго года.

— Да зачем, чего ради?! — почти выкрикнул Рогов, впервые отчаиваясь понять. — Работать, что ли, стало некому? Уран был нужен для бомбы? — Он навскидку припоминал все самые свежие мифы, но объяснения не находил.

— Да чтобы выбрать кого надо, смешной ты человек! Ну как ты в обычной жизни выберешь кого надо? Нешто тут человек на виду? Вот погоди, ты вернешься — поговорим. Специально доживу, тебя дождусь. Тебе не понять сейчас, извини уж, — не понять.

— А вернусь? — криво усмехнувшись, спросил Рогов, в душе уверенный, что его забьют ногами в сортире свои же сопризывники на другой день. Он много всякого слышал об армии и, хотя не жаловался на силу и выдержку, не выносил коллектива, распорядка и скуки. Ужаснее всего была непредсказуемость запретов, бессмысленность тысячи мелких ритуалов, цель которых, казалось, была только в воспитании повиновения.

— Вернешься, — уверенно сказал Кретов. — Я и бутылку припасу, разопьем в день возвращения. Тогда поговорим.

И Кретов не соврал. Он всегда откуда-то все знал. Через год их отпустили — вышел указ о возвращении студентам брони. Рогов отчасти даже жалел о таком скором избавлении: он чувствовал себя не демобилизованным, а комиссованным, помилованным, словно его покатали во рту, надкусили и выплюнули. Все самое трудное он успел перенести, а плоды этого годового терпения ему уже не достались.

Он всю жизнь, с самого раннего детства, ощущал себя чем-то вроде моста между домашней и внешней жизнью. Дома он, поздний и единственный ребенок, был окружен деспотической и в то же время робкой любовью; дома все было слабо, хрупко, ломалось, шаталось, держалось на честном слове. За стенами квартиры шла другая, куда более суровая жизнь, и она была для Рогова менее мучительна, чем домашняя, — как и зима была для него легче осени, потому что осень выглядела промежуток, межуточным временем колебаний и тягостного ожидания, а зима

бесповоротно: худшее наконец наступило, и его можно уже не бояться. Армия была легче, чем ожидание армии, и жизнь в ней была простая, безусловная, в отличие от тонкой, зависящей от тысячи оттенков жизни домашней. Там все боялись друг друга ранить, а здесь никто никого не берег — все было честней, голей и ближе к действительности. Можно было не врать. Рогов старался не вспоминать о доме — это разжалобило и ослабило бы его; он мучительно тосковал по отцу и особенно по матери, и жалость эта была тем надрывнее, чем беспомощнее казались они отсюда. Рогов был другой породы, он мог выдержать.

В армии, как ни странно, у него было много времени, чтобы думать. Собственно, это было единственное, чем он мог занять себя, потому что массу никому не нужной работы и бессмысленных строевых упражнений выполнял не он. Он только пытался вывести для себя законы мира, в котором оказался. Для него как историка это был любопытный, хотя и несколько затянувшийся эксперимент. Бессмысленно было все, бессмыслицу приняли как условие игры, которые не обсуждались. Наказания и поощрения также не мотивировались ничем, поскольку деды не снисходили до мотивации. Любимцем роты не обязательно становился остряк и силач, изгоем далеко не всегда оказывался слабейший, и сам Рогов, к великому своему удивлению, не только не был убит в первый же день за неуместную задумчивость, но благополучно дослужил свой год почти без серьезных стычек. Перед ним был принципиально иррациональный мир, в котором беда прилетала ниоткуда. Здесь бессмысленно было делать добро, выглядевшее признаком слабости, и так же бесполезно — творить зло, которое в силу тысячи случайных причин не успевало осуществиться. Здесь, как и в природе, не было добра или зла, но была возможна только последовательность, поскольку все другие критерии оказались утрачены. Последовательный неучастник в тотально непоследовательной игре, Рогов уцелел. Ему достаточно было хоть раз открыть рот, чтобы заступиться за травмиго или одернуть наглого, — и его оборона была бы разрушена, но он ни на секунду не перестал быть инопланетянином-наблюдателем и даже толком запомниться никому не успел. Зато ему запомнились многие.

Пополнять свою коллекцию таинственных возвращений ему не удавалось, но думать о механизмах отбора во время репрессий он не переставал ни на минуту и выработал целую теорию: случайность, непредсказуемость повода стала ему казаться главным признаком Божественной воли. Волю, управляемую обычными человеческими правилами, нельзя было уважать. Сержанта чтили исключительно до тех пор, пока он мог потребовать чего угодно, в том числе сверх устава, хотя сам по себе устав, если следовать ему детально, был олицетворением абсурда. На свое счастье, Рогов не должен был никем командовать. Он попал в связистскую учебку и благополучно провел последние пять месяцев службы на узле связи. Это не освобождало от периодической ссылки в роту, от строевых смотров и забегов, но в целом служба была сравнительно легкой. Он сильно тосковал по дому, впервые в жизни мучительно жалел отца и особенно мать. Раз в три месяца она приезжала к нему, и всякий раз ему надрывали сердце ее вопросы о службе. Он не мог ей объяснить, что мир этой службы описывается в иных категориях, нежели добро, зло, жалость и прочая. Единственное, что он мог сказать, почти не соврав, — это утешить мать тем, что кормят прилично. И действительно могло быть хуже.

В армии выработалась у него привычка подолгу задумываться, молчать, вполголоса разговаривать с самим собой; эта привычка была осознанной и ничем ему не грозила. Другая, неосознанная, была страшней: он окончательно привык отсчитывать от нуля, уверившись в том, что ни на кого надеяться не следует, что есть только сила — и сила эта сильна до тех пор, пока мотив ее не ясен и действия непредсказуемы. Именно в армии ему стала отвратительна слабость во всех ее видах, и не вступался за травмиго-

го он не из одной трусости. Трусости, собственно, и не было. Он так же понимал бесполезность заступничества, как его безумная бабка Марина. Жертва могла выжить только одним путем — сживаясь с этой ролью и находя в ней наслаждение; такую жертву никогда не добивали до конца, ибо она была нужна снова и снова. Самое изощренное мучительство, проистекавшее отнюдь не только от скуки, а скорее от того, что в пространстве казармы человека ничто не отвлекало от его истинной природы, основывалось на том, чтобы никогда не домучивать до известного предела, который палач и жертва чувствовали обоюдно. Вмешаться в этот расклад значило нарушить чистоту жанра. Если жертва начинала бунтовать — жалко, как все, что она могла делать, — это не вызывало уважения, а скорее усугубляло презрение, как любая измена. Здесь же, в армии, Рогов понял, что измена условному злу в пользу условного добра — точно такое же предательство, как всякое иное. Империя потому и была империей — со всем своим величием, с победой над природой, с изготовлением прекрасных, громоздких и добротных вещей множественного предназначения, — что упреждала добро и зло, деля всех на последовательных палачей и столь же последовательных жертв, и в этом была ее несравненная, ностальгически милая цельность. О последнем разговоре с Кретовым он не думал и на дачу в первое послеармейское лето тоже не поехал — как ни соблазнительна была перспектива распить со стариком его бутылку, хотелось оттянуться на юге. Да и бутылки, наверное, никакой не было.

Но бутылка была, и распили они ее с Кретовым совсем не так, как оба предполагали летом восемьдесят девятого. В девяносто первом у Рогова умер отец, и на дачу никто из семьи не ездил. Там все напоминало о нем, все было сделано его неумелыми худыми руками, вопреки судьбе, желанию и здравому смыслу. Старая «Волга», все еще бегавшая, тоже была отцовская, и сел в нее Рогов только в октябре: надо было поехать на дачу, как всегда перед зимой, и развинтить водопровод, чтобы при наступлении холодов лед не разорвал трубы.

Дача имела вид запущенный и жалкий, и отвоевывать ее у природы было так же бессмысленно, как просить за Скалдина или вступаться за рядового Массалитинова с его огромным носом и страдальческим взором. Трава заполонила участок, но в свою очередь сдалась заморозкам и пожухла. Заходить в дом было слишком тяжело, все вещи в нем были слабы и умоляли о защите — но ни для кого нельзя было ничего сделать. Рогов развинтил трубу, перекрыл воду, проверил замок. Все выло, все просило зайти и хотя бы погладить, потрогать, хоть как-то напомнить вещам, что они не забыты, не окончательно брошены, — но себя было жалче. Рогов вспомнил любимую фразу когдатошней своей пассии, девочки с биофака: «Высшие формы жизни имеют предпочтение». Она сама полагала себя высшей формой жизни и потому кинула Рогова очень быстро, а предпочтение получил третьекурсник МГИМО, растоптавший ее так, что она за всю жизнь не собрала костей. Рогов помнил об этом и не любил разговоров о высших формах жизни, но сейчас высшей формой был он, и растравлять себя видом несчастных вещей и пыльных поверхностей не было никаких сил.

Имущество тут было не кретовскому чета — ломаные, сосланные на доживание вещи шестидесятых и семидесятых годов, вообще удивительно хлипкие, хоть и с претензией на изящество, — как, впрочем, и люди тех времен. Рогову было жаль эти предметы и тогда, когда их сюда свозили, и он словно видел их молящие улыбки — мы сгодимся, мы послужим... Теперь, когда в дом за все лето никто не приехал, от них вовсе не было толку, и они должны были окончательно отчаяться. У Рогова не было сил заполнять жилище собственным хилым теплом. Дому предстояла зима, но вещь — она и есть вещь, и летом хозяева приедут снова. Так утешал он себя и свои вещи. Он съел горсть рябины, уже сладкой после первого хо-

лода, и подумал, что по-настоящему сейчас хорошо бы выпить, именно и только выпить.

Тут он заметил дым, поднимавшийся из трубы соседнего дома. Кретов еще не уехал. В пустом дачном поселке он остался один, топил печь, ходил в лес, выпивал, вероятно. Рогов постучал, и старик не удивился.

— Чего не приезжали в это лето?

Рогов рассказал про отца.

— Жалко, хороший мужик был, — просто и естественно, как всегда, сказал Кретов. — Что ж, ты теперь за хозяина. Не женился?

— Собираюсь, — признался Рогов.

— Что не привез?

— Да что ей сейчас тут делать...

— Это дело, это дело... Ну, по маленькой?

Кретов брал водку в ближайшем городке, до которого раз в месяц добирался на электричке, покупал сразу много и настаивал — на чесноке, сельдерее, перце. Получавшаяся настойка сочетала в себе выпивку и закуску. Рогов с наслаждением хряпнул стопку и заел венгерским салом.

— Как служилось? Мать вроде говорила — не жаловался?

— Не жаловался, сносно. Я думал — хуже будет...

— То-то. Глаза бояться, руки делают. Не стесняйся, закусывай, я запасаю.

Кретов подбрасывал дровец в печку, рассказывал, как один сумасшедший на участке завел двенадцать коз, а Рогов пил, не задумываясь особо, как будет возвращаться. Он водил прилично, дорога была пустая, а выпить ему сейчас требовалось, тем более что погода установилась на редкость промозглая. Добро бы настоящие холода — но они все не наступали, а вместо них стояло серое, сирое не пойми что.

Коротко поговорили о путче, Кретов весь его пересидел на даче, слушая радио, и расспрашивал о подробностях, но Рогов путчем не озаботился. Во-первых, он не выходил из дома, чтобы не пугать мать, а во-вторых, был все-таки историком, уже четверокурсником, и понимал, что из подобной затеи ничего выйти не могло. Шум вокруг августовской победы только раздражал его, а последствия могли оказаться хуже всякого путча — победители получили карт-бланш, о котором не смели и мечтать.

— Вот и я говорю, — удовлетворенно поддакнул Кретов. — Если бы кто сейчас и мог взять власть... да их, верно, не осталось никого.

— Подпольный обком? — спросил Рогов. — Стальная когорта? Золотая рота?

— А ты не смейся. — Старик кряхтя налил себе и ему. — Помнишь, был у нас с тобой разговор насчет того, как нефть делят на фракции?

— Помню. Перед самой армией.

— Так вот. Я объяснял тебе тогда, да ты не врубался. Посадки-то эти для чего нужны были? Ты небось наслушался: армия бесплатных рабов... Нет, голубчик, они бы и на обычных своих местах пахали как бесплатные рабы. Все это, Слава, был один большой фильтр, так я понимаю. И задача его была одна — отфильтровать тех, кто в случае чего и войну отразит, и страну поднимет, и мир завоюет. Прикидываешь?

— Это как же — отфильтровать?

— Да очень просто, милый. Проще не придумаешь.

— Кто выживет, что ли?

— Не-ет, кто выживет — те второй сорт. — Кретов разгладил усы большим пальцем правой руки. — Те жилистые, конечно, крепкие ребята, но они слабину дали — себя оговорили. Им веры мало. Подписал на себя показания, еще пару-тройку человек сдал — и ту-ту, поехал жопой клюкву давить. Эти годятся на исполнителей — максимум. А первый сорт, элита — те, кто ничего на себя не подписал. Ни единого словечка не признал. Не оговорил никого под пытками. Как ему еще было проверить население? Гитлер в Германии вовсю пытается своих, крепчайшие коммунисты ло-

маются, война неизбежна — как тут разберешь, кто сможет такой машине противостоять? Он и отбирал — жестоко, конечно, но если вдуматься, так способ его был не худший. Нет, не худший.

— Не может этого быть, — сказал Рогов не очень уверенно. — Ведь единицы же выдержали, остальные сломались...

— То-то и оно, что единицы. — Старик поднялся пошуровать в печке. — Единицы, а зачем ему остальные были нужны? Он так и решил для себя: остальных — не жалко. Если они все такие гнилые, с ними не то что светлого будущего, прочного настоящего не построишь. Вот и стал делить на сталь и шлак. Большинство — в лагеря: лучшего недостойны. Он бы всех потихоньку туда переместил. Жили бы, как в Камбодже при Пол Поте. Ты обрати внимание, что он ведь и окружение начал фильтровать: в последние годы под Берию подкапывался, на Молотова орал... Мы-то знали, как он на Девятнадцатом съезде ярился. Передали только официальную его речь, маленькую, — доклад Маленков делал, — а он потом на закрытом совещании еще три часа говорил! В семьдесят-то лет, прикинь... Он потому и тасовал их как хотел. Ягоду снял, расстрелял. Ежова снял, расстрелял. Берию не успел.

Чтобы избавиться от наваждения, Рогову понадобилось встряхнуть головой и заново осмотреть давно знакомую обстановку кретовского жилья — стол, печь, диван. Все было прежнее, никакой мистики. Но то, что говорил старик, выглядело не просто убедительным — все это совпадало с роговскими армейскими догадками, таимыми даже от себя.

— Ладно вам, дядь Лещ, — сказал он без особенной уверенности. — Эта вся мясорубка не при нем началась, не на нем и кончилась. Что ж, Брежнев диссидентов тоже фильтровал?

— Да Брежнев разве так фильтровал? — Старик махнул рукой и подбросил еще дровец.

— Ну черт с ним, с Брежневым. Но началось-то все при Ленине!

— О! — Кретов поднял палец. — Но заметь: при Ленине-то принцип прослеживается очень четко. Берут дворянство, так? Берут интеллигицию. Пусть без повода, пусть в заложники, — но не берут же они в заложники какого-нибудь еврейчика из черты оседлости, пьянчугу из рабочей слободы? Они хватают очень даже конкретную публику. И Сталин видит, как вся эта публика, еще вчера державшая в руках страну, учившая жить, писавшая во всякие журналы, на глазах обдeldывается! Да это что ж такое, господа хорошие? Хоть посопротивляйтесь для порядку! Нет — идут под нож и еще мучаются чувством вины. Тут он и понял: с нормальным народом, с прежними спецами никакой сверхдержавы не построить. Сверхстрану должны строить сверхчеловеки. А иначе — ну сам ты посуди, зачем через двадцать лет после революции перелопачивать всю Россию? Это он понял: подготовительный этап закончился, начали возводить башню... Отцеживать спецконтингент.

Рогов все еще не принимал этой гипотезы всерьез, но здоровое зерно в ней было — пусть даже исполнители сами до конца не понимали, что творят, но подспудный импульс вполне мог быть таков. Когда на их глазах кололся маршал, ползал по цементному полу недавний вершитель судеб, сдавал жену и детей любимый партийный фельетонист — даже самый тупой следователь не мог не испытывать, помимо обычной плебейской мстительности, еще и удовлетворения более высокого порядка — от исполнения какой-то высшей справедливости. Если такая гниль учила их всех жить или стояла во главе армии — так ей и надо! Кретовская догадка одна позволяла объяснить тотальность посадок и расстрелов, масштаб и непредсказуемость очередных кампаний, которые — как он знал теперь из документов — к пятьдесят четвертому году и впрямь коснулись бы всех уцелевших.

— И куда же они девались? Те, кто не подписывал?

— Вот это уже вопрос! — Старик назидательно поднял палец. — Это главный вопрос! И вышло так, что я знаю ответ. Я, видишь ли, в сорок седьмом разведывал нефть под Омском. Нефти там, конечно, никакой не оказалось, так что я уж готовился к разному, а то и к чему похуже. Тогда ведь всем клеили вредительство, я не знал еще, что ярлык этот только для виду. И один местный житель, у которого в избе я стоял, мне рассказал, что где-то под Омском есть поселение тех вроде как расстрелянных, а на самом деле туда тайно свезенных. У него кум там на строительстве работал. Построили поселок, не маленький, с хорошую воинскую часть, — верстах в десяти к северу от деревни. Там уже тайга еле проходима. И с тридцать седьмого года стали туда свозить — отфильтрованных, со смертными приговорами. Они для всех переставали существовать, и тут уж их должны были готовить по-настоящему.

— К чему?

— Кого к чему. По склонности. Одних — в какой-нибудь отряд смертников, так я полагаю. Других — в штабы, в военную элиту. Третьих — руководить производством в тылу, пуп рвать, но патроны давать... И знаешь — они-то ведь и выиграли войну! Они и есть те неизвестные солдаты. Ты думаешь, население в массе своей было готово так отражать нашествие? Население мне рассказывало, когда я под Питером был, что при немцах было очень даже замечательно. Порядок и жидов меньше. А как наши перебежали к немцам? Правы были эмигранты: ни у одной армии мира не было столько дезертиров. Дивизиями в плен сдавались. А этих Сталин берег как главный резерв, они в декабре и повернули ход войны. Помнишь сибирскую дивизию?

— Помню, — машинально сказал Рогов.

— Эти сибиряки и спасли положение. Как их ввели в бой — мигом все наладилось. Думаю, то омское поселение было не единственное.

Рогов хотел было спросить, откуда Кретов знает насчет сибиряков и что, собственно, сам он делал во время войны, но чувствовал, что эту тему трогать не стоит. Это было единственное, о чем старик не заговаривал никогда. Будет время — сам расскажет.

— А памятник в Александровском саду — ты думаешь, это неизвестному солдату? Дудки: они и были неизвестными солдатами. Секретный резерв смертников, которым возвращаться было некуда. Ну а кто выживет — тому домой. Прикидываешь, почему была нужна эта формулировка — «десять лет без права переписки»? Кто-то все равно должен был вернуться. Не может так, чтобы всех. Сталин прикидывал, что за десять лет — с тридцать седьмого-то — и с войной, и с восстановлением управятся. Разведка ведь, как говорит, доложила точно — он знал, когда начнется. Потому и армию всю перетряхнул — помнишь, как маршалов стали уничтожать? Буденного и Ворошилова оставил для символа, а прочих — в мясорубку. Кто выдержал — тех под Омск, кто предал, подписал на себя — тех, известное дело, под расстрел. На хрен нужна такая армия. Тухачевский все признал, а считался главной надеждой. Блюхер, остальные... Гамарник сам застрелился.

— А родню-то их за что было брать? — не выдержал Рогов. На его глазах людоедство обретало смысл и цель.

— А родня знала много, — усмехнулся старик. — Или догадывалась. А может, он думал: раз сами такие гнилые, так и родня гнилая... Он ведь жизнь им сохранил, только в ссылки да в лагерь отправил... А туда бы все и так пошли. Кроме тех, кто вынес. Выпускал он только такую гниль, что уж совсем ни на что не годилась: эти и сами бы померли.

— Это вам все в Омске рассказали? — спросил Рогов.

— Какое — в Омске... Сам с годами додумался. Окончательно убедился, когда в Александровском саду памятник Неизвестному солдату открыли. С вечным огнем. Останки-то брали под Москвой, как раз где сибиря-

ки сражались. Между прочим, двадцать восемь панфиловцев были тоже из смертников. Потому так долго и скрывали, что трое выжили. Я помню, только в шестьдесят пятом, кажется, возник вопрос: ежели все они погибли, кто же о подвиге-то рассказал? Вопрос, может, возникал и раньше, но рассекретили только тогда. Тут и дали слово этим троим. Ну, может, не все они были оттуда, из отфильтрованных, но Ключков точно оттуда. Ты не знаешь разве, что его в тридцать девятом брали?

— Впервые слышу, — удивился Рогов.

— А ты проверь, проверь. Я даже недавно читал где-то... Ну, под Омском, понятное дело, не знали этого ничего. Их ведь когда на фронт вывозили, то, явно, не всех, да и тайно. Так что хозяин мой ничего про их участие в войне не слышал. Они, мужики-то, сначала думали — на вредное производство или на опыты какие их прислали, но оказалось — они там стали жить своим вроде как колхозом. Переписываться им ни с кем, понятно, было нельзя. Доступа — никакого, охрана за версту не подпускает, район строго засекреченный. Я и сам тогда подумал, что не иначе как опыты ставят на них. В Москве, слава Богу, разнос меня миновал, но историю я эту запомнил и на будущий год опять туда поехал. По своей инициативе. Поздно ты, Алексей Степаныч, говорит мне мужик, у которого я стоял. Распустили их. То ли выслужили они себе свободу, то ли больше не нужны. Один, говорит, ко мне зашел, заночевал, расспросил, что в мире делается. Информации у них там не было, понятное дело. Сам я его на подводе на станцию отвез, в поезд посадил... И охрану сняли. Не веришь, говорит, — сам сходи, погляди. И рассказал мне примерно, как до поселка добираться.

Как всегда, на самом интересном месте Кретов сделал паузу, долго возился с носогрейкой, сопел, пыхтел... За окном начинало смеркаться, пора было садиться в машину и возвращаться в Москву, но Рогов привык дослушивать стариковские рассказы до конца. Они завораживали его. Тем более, что разговор был в тему.

— И вы пошли, дядь Леш? — спросил Рогов, выждав положенную паузу.

— Пошел, — кивнул Кретов. — Заблудился, долго ходил, но я в тайге ориентировался прилично — нашел. На совесть выстроено было. Да только пусто.

— Что, никаких следов?

— Никаких. Пустые дома как есть. Барачного типа, длинные, с крошечными оконцами. Внутри буржуйки ржавые. Электричества нет, проводов не подвели, — как уж они там жили, не представляю. Много странного я там видел, Слава. Плац не плац, а площадь — то ли для маршировки, то ли для собраний. Прудик выкопан вручную, как уж наполняли, не знаю, дождевой, что ли, водой... Стенды с картинками, которые видеть — Бог не приведи.

— А что?

— Ой, не спрашивай. Рисунки какие-то, а на них — пытки, уроды... Лозунга ни одного. Ерунды этой, которой в городах полно, вроде «Слава труду», близко не было. Только один лозунг на барачной стене, но такой, что лучше бы не было.

Рогов затаил дыхание. Рассказывать Кретов умел.

— Красной краской, ровными буквами, аккуратно, знаешь, и чтобы издалека видно, выведено: «Дома никого нет».

Рогов засмеялся:

— Все ушли на фронт.

— Э, нет. — Кретов погрозил пальцем. — Ты думаешь, это они перед уходом написали? Нет, брат, все не так просто. Лозунг-то старый был, краске лет уж десять. Это они себе напоминали о том, что их никто не ждет. Что та жизнь вся кончилась, вся за бортом. Отрезаны, для всего мира давно мертвы и заново родились. Все — с нуля. И то сказать — ка-



кая им была бы прежняя жизнь после всего, что с ними творили? Теперь уж только голый человек на голой земле... Передовой отряд строителей коммунизма...

— С чего же их распустили?

— Этого я знать не могу. Очень ты многого хочешь, голубчик. Я так думаю, действительно выслужили они чем-то себе свободу. А может, просто разочаровался он в этой затее — больно мало их было... Но тогда, думаю, брать перестали бы. Скорей всего эти просто свое дело сделали, вот их и пожалели. А новых набрали. Да только место не высвободилось — они все вернулись.

— Когда?

— Кто когда. Это уж мне тот самый мужик отписал, у которого я гос-тил. Я ему специально адрес оставил: узнаешь, мол, что новое, отпиши. Они в Сибири не так были запуганы, как в России. Куда их сошлешь? У них и так на тысячу верст тайга... Так что он скрывать не стал, отписал мне.

— И что отписал?

— Я в пятьдесят первом году письмо от него получил, может, и цело где. Писал, что еще в сорок восьмом первые стали возвращаться, тоже через деревню прошли. Все седые, серые, рожи — страшней не придумаешь. Не разговаривают почти, а между собой все больше на полупонятном каком-то языке, вроде лая. Может, и вправду там над ними эксперименты какие-то ставили?

— Могли, — в задумчивости сказал Рогов.

— Больше я туда не ездил. Долго добираться, да и страшно, знаешь, как-то. Но поселок тот пустой до сих пор передо мной, как вчера, стоит. И знаешь ты самое страшное?

— Куда уж страшней...

— Там, на плацу этом, стояло несколько скамей, как для зрителей. Я боялся отчего-то на них присесть, но на одной видел надпись. И запомнил. Да и как не запомнить — стихи...

— Ну! — почти крикнул Рогов.

— «Дуют четыре ветра, волнуются семь морей...»

— «Все неизменно в мире, кроме души моей», — закончил Рогов, сразу все поняв.

— Ты откуда знаешь? — Кретов посмотрел на него почти в испуге.

Вспоминая потом этот вечер, Рогов думал, что было ему чего испугаться, что, услышав от дачного соседа, мальчишки, стихи из своего давнего кошмара, — осенним вечером, в безлюдном поселке, без света, которого они не зажигали, сумерничая, а только в отблесках печки, в которой до-тлевали уголья, — сам он непременно сошел бы с ума. Но Кретов был старик крепкий. Рогов рассказал ему историю о Сутормине.

— Может быть, может быть... — Старик покачал головой. — Больно похоже... Но не забывай, эти стихи не обязательно написал тот офицер. Их просто могли знать два человека...

— Могли, — кивнул Рогов. — Но я в такие совпадения не верю, дядя Леш.

— А что, веришь в другие совпадения?

— Да. Видите ли, я несколько раз слышал истории о том, как расстрелянные возвращались. Да вы и сами мне говорили, что формула «десять лет без права переписки» могла означать вполне реальные десять лет на секретном заводе, если речь шла о ценном специалисте. Так что, похоже, вы и впрямь набрали на какой-то секретный отряд...

— Да не набрел, — вздохнул Кретов. — Я же только пустое место видел...

— Может, скажете, дядя Леша?

— Чего скажу?

— Название поселка.

— Да что ты, милый, какой же там теперь поселок... Той деревни давно нет. Там город теперь, Омск-то разросся... Я специально проверял, хоть и не ездил. И тайги там давно нет. Так что если и остались где-то те выжившие или их потомки — то явно ушли от людей гораздо дальше. Их сейчас не там искать надо...

— Лукавите, дядь Леш, — сказал Рогов уверенно. — Я по голосу слышу.

— Да какой смысл мне тебе врать? Был бы молодой, я сам бы съездил. Да и тебе это нужно — ты историк, сразу книгу бы написал...

— Так скажите!

— Да что я тебе скажу, если нет давно никакого поселка? Город там, говорю тебе, город.

Рогов посмотрел на часы. Дома мать, вероятно, уже тревожилась: он обещал вернуться к шести, а засиделся у Кретова до половины седьмого, и ехать ему предстояло по темной дороге не меньше двух часов. Гнать после двухсот граммов водки, пусть и настоянной на чесноке, он себе не разрешал.

— Еще-то приедешь? — спросил Кретов, как показалось Рогову, с надеждой.

— Да в этом году уже вряд ли, дядя Леша. Может, забрать вас в Москву?

— Нет, я до ноября побуду. Чего мне в Москве делать? Скука... Здесь я один — и никого кругом, а там я один — и вокруг люди. Напоминают. Нет, поживу здесь... Летом приезжай!

Только в машине Рогов протрезвел и понял, что старик скорее всего не врал. Услышав стихи, он действительно схватился за стену, словно боялся не устоять на ногах. Скорее всего он и впрямь наткнулся на поселение, в котором держали репрессированных. Впрочем, это еще не было окончательным доказательством кретовской версии о том, что под Омск свозили отфильтрованных и ни в чем не признавшихся. Рогов почти верил, но ему не хватало последнего аргумента — и он этот аргумент получил. Хорошая версия всегда притягивает нужные подтверждения.

В очередном альманахе «Былое» сотрудник Омского краеведческого музея опубликовал очерк о местном городском сумасшедшем, чье безумие давно не вызывало сомнений, но при общей деградации личности он отличался поразительной памятью на эпизоды серебряного века и стихи тогдашних поэтов. Умер он в шестидесятом в местной психиатрической больнице, а до этого десять лет скитался по Омску как юродивый. Богомольные старушки подкармливали его и считали провидцем. Он не называл своего имени, но утверждал, что знал Блока, видел Есенина, слушал Маяковского. Потом, говорил он, его сослали. Но Омск не был местом ссылки, и до пятидесятого года этого юродивого никто здесь не видел. С особенным упорством он повторял, что умер и живет теперь вторую жизнь, после смерти, но об этом ему свидетельствовать нельзя. Несколько приведенных в очерке рассказов юродивого о Блоке, с точным цитированием его реплик и стихов, выглядели поразительно достоверно — Рогов, хорошо зная серебряный век, не сомневался, что перед ним один из жителей странного поселка.

— Они хотели, чтобы я их оговорил. Всех оговорил: и живых, и мертвых. И Александра Александровича, — говорил юродивый. — Но я ничего им не сказал. Ничего не сказал. Дудки!

Это явно был один из тех, ничего не подписавших и никого не оговоривших. Бежать ему было некуда: он лишился памяти и рассудка и жил в Омске подаяннем. Но в том, что сумасшедший видел и слышал живого Блока, не было сомнений. Именно Блок мог сказать в десятом году: «Все мы не те, за кого себя выдаем, и те, которые понимают это, лгут вдвое больше. А тех, кто не лжет, вообще следовало убить при рождении».

Рогов, возможно, сомневался бы и после этого, но открылся доступ к архивам КГБ, и ему как внуку репрессированного и вдобавок молодому историку быстро дали допуск. Все факты о Клочкове были закрыты, получить его воинские документы он не смог. Это не подтверждало, но и не опровергало Кретова. По возрасту Клочков вполне мог успеть сесть в тридцать девятом.

Получил Рогов и дело деда, которое ему выдали после известного приказа Бакатина. Странно было, что о его деде, который в конце тридцатых занимался безнадежным экспериментом, так заботятся — хранят дело, например... Теперь, когда он был мертв, то есть принес главную жертву, заботиться уже было можно. Рогов вспомнил, что и в армии, в первый день, когда майор в военкомате в последний раз досматривал их вещи перед отправкой на городской сборный пункт, в интонациях его просматривалась почти отеческая нежность. Они были тут, никуда не делись, привезли и принесли себя, — пища была доступна и вызывала теперь дружеские чувства. Забота о деле Скалдина была как замена надгробия, которое тому не полагалось, как уход за могилой, хотя теперь Рогов отнюдь не был убежден, что пепел доцента ссыпали в общую яму в Донском крематории. Дед держался фанатически, Рогов ощутил прилив внезапной гордости за него, и особенно его умилило, что на фотографии в следственном деле Скалдин улыбался. Пожалуй, сходство между ними действительно было налицо. В деле над ней словно не властно было время, и она выглядела как снятая вчера. Никакой печати обреченности Рогов на этом лице не прочитал. Скалдина фотографировали до всяких допросов, он был еще полон жизни, и Рогов впервые заподозрил, что не только бабка его была безумна, дед тоже страдал странной формой душевного заболевания, чем и объяснялась его патологическая стойкость. Скалдин в самом деле ничего не понимал. Он пересказывал всю свою биографию, подробно, как для «Пионерской правды», излагал теорию Михайлова (согласно которой, кстати, растения реагировали на тембр голоса садовода и агронома, так что общаться с ними следовало ласково, — антропософский взгляд, заметил про себя Рогов: доктор Штайнер тоже занят был выведением метафизики навоза...). Так держаться в самом деле мог только человек безграничной наивности, переходящей в идиотизм. Правда, протоколы последних допросов были ужасны. Там дед уже не говорил ничего: страшны были эти однообразные листы без ответов и подписи. Подшита была (работали честно) и справка из тюремной больницы о реактивном психозе, который, как выяснилось, излечению не поддавался. В июне тридцать девятого Скалдина расстреляли, хотя в этом-то Рогов теперь сомневался серьезнее всего. На папке стоял жирный красный крест, и ни один архивист не мог объяснить его значения.

Правда, на деле Бабеля никакого креста не было, но Бабель поначалу себя оговорил и только в тридцать девятом взял все показания обратно. Акт о его расстреле был отпечатан на машинке, никаких указаний на судьбу рукописей Рогов в нем не обнаружил. Но последним в деле — уже после акта об исполнении приговора — был подшит странный бумажный лист, на котором наискось, слева направо, прямым острым почерком было крупно выведено: «Рассмотреть». Что тут было рассматривать после того, как в феврале сорокового года Бабель, столько раз в молодости избежавший расстрела, все-таки был убит, Рогов понять не мог. Возможно, речь шла как раз о судьбе рукописей. Если так, надеяться было не на что: рассмотрение вряд ли оставляло им шансы.

Никаких документов на старшего лейтенанта Сутормина Рогову получить не удалось. Архивы Министерства обороны, правда, не рассекречены и по сю пору, но в справке, которую Рогову выдали, говорилось, что в период с 1943 по 1945 год человека с такой фамилией и в таком звании никто не арестовывал. Ветеран в поезде мог ошибиться.

Разумеется, был и некоторый процент несознавшихся, которые, однако, общим неизменным порядком поехали в лагеря: это несколько нарушало стройность теории. Рогов прочел несметное количество «мемориальных» сборников, в которых печатались воспоминания таких героев. Для очистки совести некоторые из них он проверил, если, конечно, выдавали дело: выяснилось, что большая часть авторов героизировала себя задним числом. Отказываясь признать самый опасный пункт обвинения — типа террора, — они почти без нажима брали на себя агитацию или любой другой менее гибельный подпункт пятьдесят восьмой, получали свой пятерик или семерик и отбраковывались в лагерники — фракцию второго сорта. Существовали, правда, и те, кто действительно ничего не признал и все равно получил срок: видимо, что-то главное о них стало ясно уже в процессе следствия, и их просто не стали додавливать до конца. Такое случилось в основном до переломного, костоломного сорок восьмого года, в начале которого проверка стала жесточе, чем когда-либо. С чем это было связано, Рогов не знал: видимо, Верховный опасался новой войны и слишком еще помнил, как бесславно начал эту. Слабаков надо было выбраковать заблаговременно. После сорок девятого тех, кто ничего не подписывал, додавливали уже до конца — либо вырывали признание, либо гнали по всем кругам: большинство упершихся после этого значились «умершими от сердечной недостаточности» (Рогов уже почти не сомневался, что это означало отправку в «золотой легион»). Смертная казнь была к тому времени гуманно отменена, ввели четвертак, но как раз четвертака-то никому из таких отказников не давали: они, так сказать, успевали умереть.

Правда, и процент упорствующих в своей невинности значительно уменьшился: признавались почти все, причем в вещах столь фантастических, что это наводило уже на мысль о полном безразличии и следователей, и обвиняемых к истинному положению дел. Большая проверка на глазах становилась бессмысленной уже потому, что чувство вины вошло в кровь, все ощущали себя если не виновными, то обреченными, и отстаивать свою чистоту в этих обстоятельствах не имело смысла. Невинный в одном был непременно замешан в другом, да и ясно было, что мотивом ареста является никак не вина. Из этой новой генерации, выросшей в результате послевоенного разочарования и нового террора, нельзя уже было выковать никакого «золотого легиона». То-то Верховный и перестал их жалеть: брали больше и неразборчивее, чем в тридцать седьмом.

Судя по всему, сам Верховный не ждал такого результата. Он учел все, кроме того, что после пятнадцати лет отбора станет не из кого выбирать. Людям тридцатых было для чего отстаивать свою невинность, люди сороковых готовы были с равной легкостью принимать пытки за несуществующую вину или за отказ от нее: им ясно было, что никакой вины нет или что все — вина, а это по большому счету одно и то же. Из этого нового поколения, безразличного к собственной участи, никак не получалась бесстрашная когорта: случился тот перебор страха, после которого ужас сделался буднями и превратился в равнодушие. Это и было концом эксперимента и вероятной причиной роспуска тех, кого отобрали в тридцать седьмом.

Проживи он чуть дольше, анекдоты стали бы рассказывать ему в лицо.

За всеми этими делами, за несколькими беглыми студенческими романами, за поездками на пару зарубежных конгрессов (в начале девяностых наши были приглашаемы охотно и повсеместно) прошли два года, в которые Рогов не выезжал на дачу. Он хотел кое о чем порасспросить Кретова, но догадывался, что старик сказал все или почти все — допытываться было бессмысленно. Кроме всего прочего, в девяносто третьем Рогов женился, а в девяносто пятом развелся, потому что жена, в его классификации, была как раз олицетворением слабости. Его злила ее беспомощность, робость,

детскость, ему не льстила роль столпа и защитника, и он не любил, когда ему смотрели в рот, — тем более, что был абсолютно уверен в лицемерии жены, которая не понимала ни слова из того, о чем он говорил, а значит, в душе должна была его презирать, потому что — в этом он не сомневался — люди презирают все, что выше их понимания.

К двадцати четырем годам он вообще стал тяготиться людьми. Даже мать иногда раздражала его, хотя к ней одной он и был по-настоящему привязан. Мать он не подвергал своей вечной пробе на слабость или силу, потому что сильна была ее любовь к нему и его любовь к ней, сильна была их связь, а прочее не имело значения. Прочие люди, окружавшие его, не выдерживали даже самой снисходительной пробы: настали времена попустительства, слабость возвели в принцип, идея любой иерархии отвергалась с порога. Слово ничего не значило, клятва ничего не весила, понятие долга на глазах упразднилось, и больше всего это было похоже на загнивание тела, отвергнувшего душу за ее обременительностью. В этом мире не то что не к кому было прислониться — Рогов давно выучился самодостаточности, — но и некого было ненавидеть, потому что ненавидеть пришлось бы всех.

Рогов, однако, не впадал ни в злобу, ни в панику. Он был историком и понимал, что всякая тирания растит умников, которым становится тесно, а всякая свобода поощряет глупцов, которым она не нужна. Каждая эпоха в собственных недрах взращивала своих могильщиков, и этим обеспечивался их вечный круговорот, опровергавший плоскую теорию формаций. Никаких формаций не было — была одна безвыходная смена диктатур и попустительств, сглаженная на Западе, чересчур откровенная на Востоке. С годами она, как и все в истории, убыстрялась, чем наводила на мысль о неизбежности конца света: ежедневной смены мир бы не выдержал. Хотя эту модель стоило обдумать: день казней сменялся ночью реабилитаций, оргиастическое самоистребление — оргиастической свободой. Год вмещал сотни эпох. Беда была в одном: не хватало населения. Оно должно было бы вымереть после полугода таких смен: публичные казни требовали сырья, свобода требовала вредных излишеств. Получалось что-то среднее между гитлеровским Берлином и нероновским Римом с некоторой примесью Ивана Грозного. Но и эта жизнь — непрерывная оргия на руинах, окончательно сближавшая крайности, — была бы лучше, чем тотальное расслабление, которому Рогов был свидетелем и посильным хроникером.

Он неплохо зарабатывал, сочиняя «исторические календари» и фривольные очерки для глянцевого журналов; не был обделен женским вниманием, хотя долгими отношениями тяготился; много времени проводил один. Он продолжал — сначала из любопытства, потом словно по обязанности — пополнять свою картотеку загадочных возвращений 1948 года и все чаще задумывался над гипотезой Кретова. Гипотеза по-прежнему объясняла все, исследования Суворова и Авторханова только подтверждали ее. Пройти через аресты предстояло не отдельным жертвам случайного выбора, а народу в целом — в этом Рогов не сомневался; он не до конца верил только в «золотую когорту», в поселение под Омском, но понимал, что иначе весь фильм не имел смысла.

За это время он побывал на даче считанные разы, привозя и увозя мать. Один раз он Кретова не застал: тот как раз уехал за продуктами и новой порцией водки, в другой раз бегло с ним поздоровался, а летом девяносто пятого старик вообще не решился поехать на дачу: хворал и отлеживался в городе. Рогову прихода мысль его навестить, тем более, что и больной Кретов все-таки ассоциировался у него не со слабостью, а с силой, — но не было времени, и вряд ли теперешний, преждевременно повзрослевший, замкнутый Рогов был старику по-настоящему нужен. Он умел не требовать и даже не вызывать сочувствие — в этом было его до-

стоинство, и Рогов уважал это редкое по нынешним временам свойство. Для очистки совести он все-таки позвонил. Телефон Кретова был записан в телефонной книжке отцовским крупным и тоже как бы просящим подчерком. Рогов позвал дядю Лешу и усмехнулся про себя: какой он ему теперь дядя? Соседка сказала, что старика нет дома.

Тем не менее ранним летом девяносто шестого Рогову все-таки пришлось поехать к тому домой, на Красные ворота, но живого Кретова он уже не увидел. Позвонила соседка — Кретов жил в коммуналке — и сказала, что Алексей Алексеевич (Рогов впервые услышал его отчество) просил кое-что передать ему. Это совпадение Рогова смутило. Большинство вернувшихся тоже хотели кое-что передать. Он почувствовал укол совести — мог бы и навестить старика, тот был неотъемлемой и, может быть, лучшей частью его детства, и вместе с ним это детство ушло совсем уж невозвратно, хотя видеть слабость и дряхлость Кретова было бы, наверное, еще страшней. Так он по крайней мере останется для Рогова олицетворением той прочности и загадочности, которую оба они так ценили в старых вещах. И Рогов подумал, что именно что-то из этих старых вещей Кретов и завещал ему.

Против всех его ожиданий в Москве Кретов жил бедно, почти скудно. Старая соседка провела Рогова в маленькую комнату, которую теперь получал соседкин внук (видимо, так и ждавший кретовской смерти). Стены были голые, в отставших обоях, — только на одной висела огромная и подробнейшая географическая карта СССР. Вместо кровати был топчан, тогда как на даче Кретов спал на уютнейшем, добротном черном кожаном диване, словно впитавшем усталость нескольких поколений и оттого так и манившем прилечь. Бывают намоленные иконы, бывают и належанные постели, на которых перебивало много усталых людей и на которых слаще всего спится.

Все лучшее старик явно свез на дачу, и грустно было Рогову стоять среди убожества, которое того окружало. Кретов жил совсем один, хотя на дачу нашлась наследница — какая-то внучатая племянница, седьмая вода на киселе, которая в больнице не навестила старика ни разу, а ведь умирал он долго и тяжело — от нефрита, но после его смерти объявилась буквально на другой день и предъявила права на наследство. За год до смерти, в девяносто пятом, старик на месяц ездил куда-то — соседке сказал, что по местам бывлых экспедиций, где у него остались друзья. В Москве у него был единственный друг, заходивший изредка, тот самый, о котором он рассказывал Рогову, когда они вышли к бездонному озеру. По словам соседки, это был тоже бодрый еще, сухой и крепкий старик, но в последнее время не появлялся и он. Видно, тоже болел. А может, Кретов не хотел показываться ему в своей немощи.

Дачное соседство внучатой племянницы Рогова опечалило: ему грустно было думать, что вещи его детства вышвырнут на свалку или пропитают своим, чужим, запахом. Чувство вины перед стариком было у него даже острее, чем вина перед отцом. Все-таки я свинья, подумал Рогов. В комнате не слышалось никакого запаха, кроме сыроватой затхлости: квартира была старая. Даже кретовской носогрежкой тут не пахло. Трубка лежала на столе. Соседка вышла, на минуту оставив Рогова одного, а потом принесла что-то плоское, в газете.

— Вот, он просил передать вам, — сказала она. — Прямо так, в газете, специально завернул.

Газета была обычная, полстраницы из «Комсомолки» семидесятых, судя по шрифту, годов: Кретов хранил старые подшивки, утверждая, что интересуется этими напластованиями как геолог. Рогов развернул плоский сверток. В руках у него оказалось круглое карманное зеркальце.

Он умел держать себя в руках, но тут кровь прилила к голове и застучала в ушах. Кретов мог оставить ему любую из своих вещей, но только не эту. В этой не было никакого видимого смысла, кроме того, о котором он

мог лишь смутно догадываться. Такое же круглое карманное зеркальце показывал какой-то девочке в окне петербургский дальний-предальний родственник отца — выходит, он не просто так пускал своего зайчика. В руках у Рогова был пароль, неизвестно о чем говорящий, неизвестно кому предназначенный. Он осмотрел газетную страницу с обеих сторон. В глаза ему бросился крупный заголовок — «Чистое сердце наставника»; на обороте был другой, помельче, — «чистое небо над Анголой». Слово «чистое» было оба раза подчеркнуто красным фломастером.

— Он сказал, что вы поймете, — тихим голосом предупредила его вопрос соседка.

— Я понял, — неожиданно для себя отозвался Рогов. — Тут все, что надо. Спасибо вам.

Поселок, о котором говорил Кретов, и не мог называться иначе. «Чистое» было единственно возможным названием, и если место выбирали со смыслом, а не случайно и не в силу труднодоступности, то и названием было сказано все, что нужно. Непонятно было только, при чем тут зеркальце, — об истории с ленинградским родственником Кретов ничего сколько-нибудь внятного не знал. Рогов на всякий случай приложил зеркальце к газете, но никакая тайнопись в ней не обнаружилась — обычные перевернутые буквы.

Рогов, естественно, навел необходимые справки. Он пролистал подшивки «Комсомолки» за семидесятые годы и обнаружил, что Кретов завернул зеркальце в клочок газеты от 27 марта 1973 года, но ему эта дата ни о чем не говорила. Проверил он по автомобильному атласу СССР и наличие деревни или поселка с названием «Чистое» в Омской области. Таких Чистых было три, и которое имел в виду старик — неизвестно. Все три были порядочно удалены от города и находились в местах, малодоступных даже по нынешним временам.

Отпугнуть Рогова это не могло. Он не рассчитывал на встречу с кем-то из уцелевших — дожить до девяносто шестого могли единицы, а после таких пыток и таких условий в глухом сибирском поселке это представлялось почти невероятным. Но поселение было цело — не зря Кретов ездил туда. В августе, когда в тайге уже не так много мошкеры, Рогов взял отпуск, сказал матери, что едет в Сибирь погостить к бывшей однокурснице, быстро собрался и вылетел в Омск.

Утром последнего своего дня в Москве Рогов вышел на балкон и со странным, прощальным чувством оглядел двор. Он почему-то делал так перед каждой поездкой: ощущение собственной хрупкости и смертности было ему знакомо с детства. Мог разбиться самолет, мог перевернуться автобус, да, в конце концов, он мог просто остаться в Чистом, если найдет его. Это настроение тихого прощания усугублялось общей августовской грустью, яркой синевой неба с большими неподвижными облаками, прохладой, рябиной. В детском городке малышей не было, какой-то великовозрастный детина пощипывал струны обшарпанной гитары, у соседа внизу орал телевизор. Шло обычное, мирное и сладостное утро городской окраины, радостно-печальное, как всякий погожий день в конце лета; прекрасны были березы с прожелтью, старухи на скамейках, тополя с их пыльной листвой, дом напротив с его голубыми балконами, завешанными бельем, — все было прекрасно, но делать здесь больше было нечего.

### 3

#### РЕКОНСТРУКЦИЯ—1

В августе сорок восьмого года капитан Иммануил Заславский, по новым документам Григорий Абраменко, приехал в Москву.

На Казанском вокзале было шумно, но чисто. Мороженое не продавалось: торговля у станций метро или вокзалов, во избежание людских скоп-

лений, была запрещена. Милиция щеголяла в новой форме. На улицах было тесно от блестящих, лакированных машин, многие из которых он видел раньше только на фотографиях в иностранных журналах, поступавших к отцу для ознакомления.

Их предупредили, что Москва давно не та и вообще мало что осталось тем. Предупреждение, впрочем, исходило от нового зрителя, которого прислали из центра взамен убитого Голубева в сорок пятом году. Голубев ни за что не употребил бы формулировки «не удивляйтесь»: он знал, что в Чистом давно никто и ничему не удивляется.

Голубев вообще считался приличным человеком. Погиб он под Кёнигсбергом, совершенно по-дурачки. Кёнигсберг был его последним делом, после него он рассчитывал вернуться домой, к семье, жившей где-то в Куйбышеве. Заславский, честно говоря, был уверен, что тогда же их и распустят, — но именно новый зритель, которого так и называли Новым, хотя фамилия его была Добров, с темным намеком поведал о далеко идущих планах по развертыванию нескольких операций в Европе: видимо, имелось в виду закрепление успеха.

Тем не менее до новой войны дело не дошло — то ли сыграла роль американская бомба, то ли Черчилль добился своего и запугал всех в Фултоне, — решено было пока помедлить, и весь первый призыв, изрядно повыбитый тридцать восьмой год, распустили по домам, которых у большинства давно не было. Заславскому-то уж точно некуда было возвращаться. Его родители умерли почти одновременно, в первый же свой лагерный год: отец надорвался раньше, мать пережила его на три месяца. Точной даты их гибели Заславскому, естественно, не сообщили, но о том, что ждать его будет некому, намекнул в сороковом году Голубев — возможно, в нарушение инструкций.

Голубева прислали в январе сорокового вместо Файнштейна, убитого Коротыным за издевательства. Только тогда наверху сообразили, что обращаться с ними после всего следовало чуть иначе: заметно смягчился режим, стали кормить не только сытно, но и вкусно, начали даже сообщать о судьбах родственников, хотя и в самых общих словах. Файнштейн был зеленый, многого не понимал. Он не понимал, что терять им всем нечего. Дело было не в гордости, после всего, что было, никто не гордился, попав в «золотой легион», который они между собой, не чинясь, называли «золотой ротой». Какая тут гордость: Михайлова в камере изнасиловали (он не подписал и после этого, но человеком себя уже не считал), Эскину мочились в рот, Гальпериной выжгли волосы на лобке, а уж о насилии и говорить не приходилось — она, на беду свою, уродилась красивой, цыганистой. Нет, гордость была ни при чем, но, видимо, в человеческую природу очень уж глубоко, с рождения кем-то вложено уважение к мертвым. С покойниками следовало обращаться прилично, а Файнштейн гонял их на бега, топал ногами, ругался по матери. Это посягало на единственное, что у них оставалось, — на гордость, на своеобразное достоинство мертвеца, который заслуживал уважения живых уже потому, что они были живы, а он нет.

Выяснилась неожиданная вещь: выдержать любые пытки способен не только силач Бамбула, но и стопроцентный хиляк, из тех, кого травили в школе и тем закаляли до полного отвращения к жизни. Наверху рассудили правильно: главное — душок, а выучить можно всему... В Москве это понимали, а Файнштейн не понимал. Он не верил, что перед ним элита нации, которой предстоит отразить нападение фашистов, возродить страну и, возможно, покорить Европу. Пока перед ним была инвалидная команда, едва подлеченная после пыток и не умевшая толком ни бегать, ни стрелять. Публика подобралась самая разношерстная, так что приятель Заславского, некто Кузнецов, при жизни врач, просто терялся: выстаивали и коренные сибиряки, угрюмая туповатая деревенщина, и совершенные



хлюпки с огромными еврейскими носами (у всех, кстати, перебитыми в первые же дни после ареста). Более того: интеллигентские недобитки держались приличнее всех, и уж совсем поражала Кузнецова, как, впрочем, и Заславского, худая строгая дама из бывшей богемы: ее готовили теперь на военврача — должен же будет кто-то и оперировать под огнем. Однажды у костра они разговорились, и Заславский выразил восхищение ее спокойным достоинством. «Ничего особенного, — просто ответила она, — мы еще в тринадцатом году понимали, что жизнь ничего не стоит». В тюрьме ей высверлили, а затем выбили все зубы и перебили обе ноги.

Заславский понимал ее. Он был гордым балованным мальчиком, советским принцем, и по всем раскладам ему полагалось сломаться первым. Но именно кичливость советского принца не позволяла ему поддаваться мучителям. Часто балованные дети и изнеженные дамы оказываются выносливее самых упрямых и красношеих простолюдинов, потому что презируют жизнь, а любят по-настоящему только пирожные.

А родители Имы Заславского, надеясь спасти сына, подписывали все, что требовалось, и погибли в голоде и холоде, в избиениях конвоя и нечеловеческой работе, при этом врозь, а не спасли все равно никого. Сам Заславский ничего не подписал и попал в Чистое. Впрочем, может быть, в том, что ближайшие родственники почти у всех чистовских были уничтожены, тоже имелся некий смысл: писать некому, на свете ничто не держит, в случае чего легче будет умирать за Родину.

Первое время он еще надеялся, что родители живы, а после их смерти непременно покончил бы с собой, но Голубев провел с ним долгую беседу, в которой пытался обосновать происшедшее. Он почти убедил Иму, что никак иначе спасти от внешнего врага первую в мире справедливую страну было невозможно, что эксперимента, подобного этому, не было в мире, что разделить человечество на сталь и шлак пора уже давно, — Заславский не проникся величием эксперимента, но разницы между жизнью и смертью уже настолько не ощущал, что от попыток прежде времени уничтожить себя пока отказался. Тем более, что никто в Чистом не сомневался: весь их эксперимент — до первого боя. Из покойников не готовят солдат. Из покойников готовят смертников.

Большинство было уверено, что и Коротина после того, как он в буквальном смысле свернул Файнштейну шею (Файнштейн был тренированной, но Коротин — здоровей, шире), не расстреляли, а отправили в какое-то еще более элитное, еще более Чистое. Расстрел устроили бы показательный, на плацу — там же, где поощряли отличившихся в стрельбе или рукопашном бою. Поощрения были словесные, чисто символические: смешно объявлять увольнение в тайге или баловать покойника сгущенкой. Правда, грех жаловаться — в город вывозили, водили в кино; никто из горожан ни о чем не догадывался — идет строй солдатиков (по этому случаю всех передевали в неудобную общевойсковую парадку). Фильмы в большинстве своем казались Заславскому чужды: то ли действительно стали хуже снимать (всех, кто снимать умел, вероятно, отобрали и теперь готовили к более серьезным делам), то ли после случившегося выглядело мелким любое кино. Хороша, правда, была молоденькая артистка по фамилии Целиковская. Чем-то похожа на Иру, но, конечно, поэффектней.

То, что их рано или поздно распустят, было для Заславского очевидно давно — с того самого момента, как он понял, что убьют не всех. Их вообще почти не убивали: есть странный закон, по которому бомба не падает дважды в одну воронку. Голубев погиб именно потому, что был зрителем, присланным в Чистое сверху для координации (и, вероятно, вообще мог откосить от фронта, но на все операции вылетал с чистовскими).

Непонятно было, что Верховный собирается с ними делать после войны. Убивать они годились, строить — навряд ли. Был процент идейных, которых даже в Чистом называли красными, и процент порядочный — они прошли через все, получили подтверждение, что ни в чем перед Родиной не виновны, с гордостью носили в нагрудных карманах возвращенные партбилеты и испытывали благодарность к Верховному, который выделил их из миллионов других и призвал для выполнения своих великих задач. Но красных было куда меньше половины — остальным, как и положено после смерти, стало решительно все равно, что будет дальше, и зажечь их идеей великой стройки не сумел бы и самый пламенный трибун. В Чистом обычным делом было встать и отойти, не дослушав собеседника, — и собеседник понимающе замолкал, потому что и ему было все равно, рассказывать дальше или нет. Мужчины и женщины жили рядом и общались на равных, как души: естественно, в женский барак мужчин не пускали, да мужчины бы и не пошли, но на отлучки в лес охрана смотрела сквозь пальцы. Спаривались где попало, хоть и на скотном дворе (Заславский стал мужчиной в кухонном наряде; вольных не было — готовили свои, первой его женщиной была ленинградка Клара, троцкистка, которой на допросе выбили глаз). При такой простоте нравов и необязательности отношений сплоченного коллектива не получалось, как не могло бы его быть и на кладбище: пугать нечем, объединять, стало быть, — тоже, а общий пыточный опыт не сплачивает, скорей разъединяет, как всякое подспудное, постыдное знание друг о друге. Дружбы в Чистом завязывались редко. Умирать в бою — умирали, потому что за три месяца (а кто и за полгода) привыкли умирать. Но вот строители из них были никудышные — подправлять бараки, латать щели, налаживать печи приходилось охране.

Дело забывчиво, а тело заплывчиво, и всякая рана со временем рубцуется: раз уж привелось жить, то надо жить; многих, как и Заславского одно время, выручало сознание исключительности и величия собственной судьбы. Но жить надо куда-то, зачем-то, им же, вырванным из семей, ввергнутым в чуждую среду, лишенным надежды на возвращение, доживать было незачем и нечем, и не будь их день так заполнен изучением шифров, борьбы, новейшей техники — многие переубивали бы друг друга от скуки. Вражда народа и интеллигенции и после смерти никуда не делась — не многие, как Коротин, уважали книжников и хлюпиков, прочие считали, что городских привезли в Чистое по ошибке, и понадобился год, чтобы они поняли: городские дают им хорошую фору по части терпения, а временами и злобы. В общем, с такой командой нечего было делать после войны.

Хотя — если вспомнить то, чему учили в Чистом, и то, что ему приходилось потом делать с другими: так ли жестоко их испытывали? За десять лет, проведенных в Чистом и на фронте, плюс операция в Японии, плюс Западная Украина, — Заславский понял, что их еще, в сущности, берегли. Есть вещи, вынести которые свыше человеческих сил; есть вещи, перенести которые человек утрачивает желание и силу жить; есть пытки, непоправимо уродующие тело. Он с особенным интересом прочитывал фронтовые очерки и смотрел фильмы, где были сцены в фашистских застенках: немцы во многом шли дальше. У них, впрочем, было зверство от обреченности, думал Заславский; они поняли, что проиграли, и попросту отыгрывались на жертвах, — у нас же не отыгрывались, а растили, можно даже сказать, ковали. Потому большинство их пыток странным образом восходило к опыту Грозного (с историей которого вряд ли из них кто был знаком), а большинство наших — к «Молоту ведьм»: Грозный мучил кого попало за то, что у него ничего не получалось с опричниной, а ведьм очищали для будущей жизни — совсем другой коленкор. Проверялась-то, как он понял довольно скоро после прибытия в Чистое и отрывочных разговоров

с товарищами по участи, вовсе не способность терпеть боль: проверялась способность стоять на своем в заведомо безнадежной ситуации, без смысла, ради самой своей правоты, до которой, в конце концов, никому уже не было дела.

Но именно люди, способные гибнуть за бесполезную, никому не нужную правоту, гибнуть ради собственной совести, — совершенно не годились для какого бы то ни было строительства, ибо всякая жизнь есть один большой компромисс. Или не очень большой, как кому повезет.

Заславский не знал одного — как именно от них избавятся. Если перебьют, то поодиночке: массовый расстрел у них не пройдет. Отправлять «золотую роту» на войну в этом смысле было ошибкой: при попытке массовой расправы сработал бы инстинкт сопротивления. Они со своим боевым опытом до сих пор не разоружили охрану только потому, что некуда было бежать, — но за посмертную свою жизнь дрались бы как бешеные. Конечно, потом их все равно переловили бы, но стягивать войска, устраивать поиски и облавы под Омском, в густых лесах... нет, это громоздко. Стало быть, или убивать по одному, или отпускать. Но когда отпустили, Заславский, хоть и ожидавший такого исхода, все-таки удивился.

Новый выстроил всех на плацу ясным и горячим июньским днем. Он был при полном параде. Впрочем, он на все праздники был при полном параде: Седьмое ноября, Первое мая, Тридцатое июля — день открытия Чистого... Слов «коммуна», «колония» или «лагерь» тут не употребляли: говорили — «Чистое», и всё.

— Товарищи! — зычно крикнул он. — Сегодня для всех нас... для нас с вами... знаменательный день! Истек срок вашего пребывания на службе Родине, и Верховное главнокомандование... приняло решение... вернуть вас в мирную, трудовую жизнь!

Все пятьсот человек — население Чистого, на четверть выбитое войной, в остальном же невредимое, — не шелохнулись. Новый знал, что от них можно ожидать всего, а потому считал за лучшее не ожидать ничего. Он выдержал паузу и продолжил:

— Каждый из вас... начнет жизнь с нуля! Новую жизнь, товарищи! Вы послужили Родине, и она не забудет вас! Те из вас... у кого есть семьи... вернутся в семьи! Те, кого некому ждать... потому что так получилось... — Он замаялся. — Те же, чьи семьи, к сожалению, не выдержали Верховной проверки... и по разным обстоятельствам оказались в соответствующих местах... те получают новые документы и будут обеспечены жилплощадью! Мною лично получен приказ... в течение трех месяцев... осуществить полное расформирование поселка Чистое!

При этих словах Заславский подумал, до чего неистребим в человеке инстинкт дома: всякий раз, возвращаясь в Чистое с задания (а таких возвращений у него за войну было три — после Севастополя, Сталинграда и Кёнигсберга, да после войны кое-что), он все-таки радовался знакомому месту. Другого дома у него на свете не было, и покидать этот, как ни странно, будет жаль. Зря, кстати, их — москвичей — боялись в сорок первом посылать под Москву. Опасались, что сбегут. Куда им было бежать?.. Впрочем, такие опасения бытовали не только в Чистом — поселки с «золотыми ротами» были еще в нескольких местах, на что неоднократно намекал Голубев, да и ясно было, что проверку никак не могли выдержать только несколько сот человек. Речь шла о десятках тысяч — но где размещались остальные, Заславский не знал (и Рогов, в чьей голове разворачивалась по дороге в Омск эта реконструкция, не знал тоже).

Заславского отпустили в первой партии. Понятие партии, впрочем, было условно — они уходили поодиночке. Даже до Омска каждый добирался своим ходом: все словно торопились расстаться побыстрее. Вместе их уже ничто не удерживало. Новыми адресами не обменивались, и про-

щальное «Пиши!» звучало чистой условностью. Клара не уронила и слезы из единственного глаза.

Только один человек при прощании повел себя необычно: был он, как правило, молчалив, а если открывал рот, на собеседника перла такая циничная похабщина, что Заславский иногда, стыдясь себя, краснел. Ничто его не брало, а это брало. Подобная грязь особенно неприятна была потому, что марала их посмертную честь: как бы грязны ни были иные дела, которыми приходилось заниматься, — общее и главное их дело, в конце концов, было чистое. Кто забывал об этом — воевал на порядок хуже.

Правда, как раз изрыгатель похабщины был диверсант отличного класса, получавший, видимо, удовольствие от самого процесса. Он трижды летал в белорусские командировки налаживать партизанское движение и в конце войны получил майора. Человек он был неприятный, с маленькими острыми глазками в круглых очках, с неуместной и неопределенной улыбочкой — так улыбаются подтверждению самых постыдных своих мыслей. Этот-то майор, подойдя к Заславскому проститься, сказал неожиданно серьезно:

— Я вот чего думаю, юноша...

— Я не юноша, майор, — хмуро оборвал Заславский. — Мне двадцать семь лет, какой я, к дьяволу, юноша...

— Вечный, — усмехнулся майор. — Есть такой тип чистого и горячего, страшно самолюбивого русского мальчика, в массе своей еврея. — Он неприятно хихикнул. — Так-то, мальчик.

Не надо возражать, подумал Заславский. Майор всегда играл на повышение — вякну еще чего-нибудь, младенцем назовет.

— Так я вот чего думаю, — продолжал майор, хитро блестя глазками. — Я до всех дел немного сочинял и вот прикидываю: если все это — одна большая проверка, что же нас там-то ждет? А?

Он кнулся в небо коротким толстым пальцем.

— Кого что, — пожал плечами Заславский. — Кто похабные анекдоты рассказывал — точно на лесоповал пойдет. — (На тебе, кушай.)

— Да я, может, и хочу на лесоповал, — невозмутимо ответил майор. — Потому что самые-то упертые для таких дел готовятся, что нам здесь, грешным, и подумать страшно. Мы все думаем: там рай. А там опять надо будет поезда взрывать, представляешь? Сатану бомбить, мелких бесов агитировать. Вот тебе и весь рай, девственные гурии. Слыхал про девственных гурий? — (Заславский торопливо кивнул, чтобы избежать очередной гнусной лекции.) — А самое обидное, что выслужиться нельзя. Чем лучше будешь воевать, тем более крутые места будут тебе там предложены. А как там всех перебьешь — опять куда-нибудь переведут, Господнего дерьма не перетаскать, как говорил товарищ Балмашев... — (Товарищ Балмашев, верно, тоже был изрядной скотиной.) — Вот нас к чему готовят, представляешь, голубчик? Худшим — рудники, а лучшим — войнушка. Небесное воинство, а? Ты подумай на досуге, стоит ли в эти игры играть. Бывай, однако. Желаю тебе счастья, здоровья хорошего. Главное — жену добрую, русскую и кучу детей. Дети — они, знаешь, для нашего брата жиды главное.

И отошел.

Новый вручил Заславскому документы на новое имя и ордер на комнату в Москве. Видимо, подумал Заславский, я все-таки прилично воевал, — комната была хоть уже и не на Ордынке, а в Марьиной Роще, но ведь могли закатать вообще не пойми куда, а так он все-таки возвращался в город своего детства. И имя, и комната почти наверняка принадлежали человеку, которого собирались брать в ближайшее время. Вероятнее всего, родни у Абраменко не было. Впрочем, может быть, его уже взяли, и он либо умер, не выдержав пыток, либо все подписал и поехал в лагерь. К тем, кто подписал, большинство населения Чистого относилось презри-

тельно, даже если речь шла о родне: презирать выживших было их единственной привилегией. Между тем Заславский не знал, кому было трудней: им ли, которых полгода пытали, заставляя подписывать самооговоры, или тем, кто оговорил себя немедленно и потом годами мучился в забоях и на лесоповалах. Были, впрочем, и те, которые подписали всё и тем не менее получили расстрельные приговоры: так Верховный расправлялся с теми, кому верил. Он им верил, а они сломались после первого спецдопроса. Да и не резон было маршалов, как-никак знавших очень много, отправлять в один лагерь со всякой шушерой. Так, во всяком случае, понимал Заславский, и так объяснял Голубев, вообще не считавший нужным скрывать слишком многое. Он, видимо, не думал, что кто-то из них выйдет отсюда живым. Получилось иначе. Не зря говорили, что Верховный к старости смягчился.

Вообще-то Заславскому в Москве надо было встретиться с одним человеком. Точнее, с двумя. Во-первых, ему интересно было повидать свою первую любовь Иру. Честно говоря, теряя невинность с троцкисткой Кларой, он представлял именно ее. Иру любил Марик — единственный человек в классе, с которым Заславский по-настоящему дружил, и раз Заславского забрали, Марик наверняка на ней женился. Иму это совершенно не обижало, в Чистом предрассудков не признавали, но повидаться с друзьями ему хотелось. Новый предупредил, что разглашение информации о Верховных проверках нежелательно, — но предупредил нестрого, поскольку версия такая давно бытовала и слух о Всеобщей проверке на вшивость муссировался во многих очередях. Обитателям Чистого все равно никто бы не поверил, а если бы кто и поверил и поспешил посетить засекреченный поселок, на его месте все равно осталась бы только пустая поляна с пятью бараками. Поди пойми, что тут было: поселок? лагерь? деревня староверов? Да и кто поперся бы в Омск проверять...

Заславский, впрочем, был не настолько наивен, чтобы предполагать, будто за ним никто не следит. Их учили распознавать слежку (многие из Чистого оказались потом в разведке), но учили явно не всему, да и слежка наверняка должна была начаться уже в Москве. Не зря же им сразу выдали ордера. Все квартиры точно под контролем, наверху даже интересно, как они поведут себя теперь.

Собственно, встречаться с Ирой и Мариком было незачем. Важно было узнать, брали их или еще нет. Очень возможно, что не брали. Тех, кто как следует воевал в опасных местах, могли и не тронуть, зря им за проверку боевой опыт. Но тех, кто избежал фронта благодаря брони или иным хитрым способом, должны были тягать полным ходом. Наверняка Верховный в очередной раз растасовал свою колоду, низвергая тех, кто оказался сверху. Если Марика еще не взяли, надо было деликатно объяснить ему, что это ждет всех и что вести себя там надо по возможности твердо. Попытки не бесконечны, до смерти не запытают — если, конечно, Марик был теперь не слишком хлипок, — а после полугода мучений начнется вполне приличная жизнь с перспективой возвращения, так что не надо ничего подписывать. Это было все, что он хотел ему сказать. Естественно, делиться всем этим с Ирой он не собирался: она женщина, ей труднее будет удержать язык за зубами. Говорить следовало с Мариком. Марик был его другом, достойным того, чтобы очутиться в поселке типа Чистого, а не гнить в городе типа Магадана.

Новый адрес Марика Има разыскал на диво легко. В первом же адресном столе ему указали дом близ Парка культуры. Туда он и направился — что-то мешало ему сначала поехать в Марьину Рощу. В Марьиной Роще, подозревал он, все вещи еще пахнут хозяином.

Иру он легко узнал бы и на улице. Как все девочки-хулиганки, она расцвела, но не слишком потолстела и не поблекла за те десять лет, что

они не виделись. Это была женщина во всем блеске двадцативосьмилетней красоты, женщина умелая и ловкая, отлично державшая дом (ему хватило одного взгляда на квартиру). Долго живя в бараке, в окопах, потом ночуя в поезде пять последних ночей, другой счел бы роскошной и самую простую обстановку, но глаз советского принца был наметан и придирчив. Марику повезло. И хорошо, что угадал: конечно, они поженились. А кто другой, кроме лучшего друга Имы Заславского, заслуживал бы ее?

Она тоже узнала его с первого взгляда, и это было лучшим доказательством того, что предназначены они были друг другу, да вон как оно все вышло.

— Има! — Она выронила тряпку. — Имка! Да где же ты был?!

— Эх, Ира, — ответил он (ему казалось, что браво, вышло горько). — Легче сказать, где я не был.

— Да зайди же, я сейчас тебя накормлю! — (И точно, пахло едой, запах был домашний. Нет, там, в Чистом, он не расслаблялся ни на секунду, но здесь, в Москве, пожалуй, были еще вещи, способные его размягчить, — вещи, которые нельзя вообразить на расстоянии, потому что ими наслаждается плоть, а у плоти воображения нет: ванна с горячей водой и пеной, море, еда, которая в действительности всегда оказывается вкуснее, чем в самом голодном воображении). — Сейчас все будет готово.

— Ирочка, я спешу. Надо бы мне с Мариком поговорить, кое-что передать ему.

— Заходи же наконец! Марик в Алма-Ате, в командировке. Гостиницу строит. Он все время в разъездах, я уж и не помню, когда он жил дома дольше недели...

Шанс, машинально отметил Заславский. Остаться, и к вечеру она моя. У него было много женщин кроме одноглазой Клары: в Европе в конце войны не принято было церемониться. Но Ира была его женщиной, и он мог получить свое. Правда, потом, если у них дойдет до того, для чего в его словаре не было слова, придется с ней говорить, а он пока не знает, что ей сказать.

— Нет, Ира, я еще зайду. Говоришь, через три дня?

— Да, но пообедай сейчас! Что же ты, сразу уйдешь?

Он подхватил чемодан, в котором лежала только смена белья, и пошел к лифту.

— Има! — окликнула она его совершенно прежним голосом. — А помнишь, ты письмо мне выбросил, из поезда? «Поезд мчится в даль, а я — в неизвестность».

Словно ток высокого напряжения прошел через него. Вся прежняя жизнь нахлынула разом, вернулась от одной этой фразы — и тут он понял, что у него отняли. Никакое величие участи не компенсировало такой потери. Он вспомнил жаркое мягкое купе, и вечно брюзжащую сестру, которая вышла замуж за летчика, уехала на Дальний Восток и через год умерла от энцефалита, и себя, восьмиклассника, за два года до исчезновения, выбрасывающего письмо, в которое обернут заранее подобранный на вокзале камень. За окном стремительно пронеслись мокрые кусты, колючие даже на вид, — на темно-синем небе июньской ночи чернели их лохматые силуэты, — и сестра опустила стекло. Он никогда не вспоминал об этом. Вспоминать во время проверки — значило проиграть сразу, разнюниться, распознаться, разрешить себе понимать происходящее. Этого было нельзя. А потом, после удара, от которого он на всю жизнь оглох на левое ухо, воспоминания вообще приходили редко и стали гораздо неразборчивее.

Но он умел держать себя в руках.

— Помню, — сказал Има Заславский, ныне Григорий Абраменко. — Знаешь, столько всего забыл, а это помню.

Подожел лифт.

Он отправился в Парк культуры, съел мороженое (деньги еще оставались, а Новый обещал, что проблем с трудоустройством не будет: в паспорте поставлен специальный знак, возьмут и в вуз, и, если он захочет, на производство). Прошел Нескучным садом. Думал зайти на Ордынку, но решил побережь себя. Хватало удара от невыносимо яркого воспоминания, которое вернула ему Ира. А интересно было бы посмотреть на сволочей, которые жили в его квартире. Тут же одернул себя: он уже лет восемь не думал ни о ком с такой горячей ненавистью.

Город был в цвету, но люди казались пыльными, несколько пришибленными. В его время все были ярче. Сперва он списал это на войну, потом понял, что не меньше половины страны уже прошло проверку, а она не добавляет жизнерадостности.

Было много новых домов, сплошь серых, похожих на вертикально поставленные длинные бараки, и немало начатого строительства. Заславский не понимал, зачем столько строить, если все равно в результате проверки останется не больше четверти народу. Остальные если и будут где-то жить, то уж явно не в столице. Сколько времени может занять эксперимент? Примерно пятая часть населения осталась на войне, еще столько же профильтровали до нее — стало быть, все кончится лет за двадцать.

Но кому тогда строят эти дома? Неужели их всех действительно вернут — тех, кто выдержал, и тех, кто сломался, тех, кого по году уродовали и потом по десять лет учили убийству, и тех, кто ублажал блатных? Ведь и у них кончатся сроки, а у кого-то, может, уже и кончились, — и теперь они ходят в той же толпе, что и он? Хмурые люди, умеющие молчать; люди, приученные к терпению. Проверка имела целью поделить население на первых, не готовых подписать ничего, и вторых, готовых подписать все. От кого больше толку — вот единственный вопрос: первые годятся для войны, вторые — для мира. Но как они будут сосуществовать?

Эту мысль он отогнал тут же. Конечно, никто не вернется. Жителей Чистого отпустили только потому, что они уже не представляют опасности, а какое-никакое величие души Верховному все же присуще. Благодарность, если угодно. Они ничего не попытаются изменить, большинство не заведет семей — вот почему пытки задумывались не столько мучительными, сколько унижительными: измученный оклемается, растоптанный не восстанет. Двадцать убийств, тридцать карательных операций, в которых ты, железный диверсант, победоносно поучаствуешь, не окупят тебе тридцати секунд, когда ты разъявленным распоркой ртом глотал следовательскую мочу. После этого можно отпускать безбоязненно — хоть в Чистое, хоть обратно домой. Иное дело — работяги, оговорившие себя и теперь медленно доходящие на Севере: рабы не перестанут быть нужны, а отпускать их незачем и не за что. Публика второго сорта Верховному была неинтересна. Но тогда получалось, что дома строят просто так — без надежды их заселить? Заславский даже усмехнулся тому, что эта простейшая мысль не пришла ему в голову. Их строят, чтобы строить, как и их мучили, чтобы мучить, а вовсе не для того, чтобы они в чем-то признались. Результат перестал быть важен давно — главенствовал процесс.

Правда, по хмурым лицам, на которых давно не было никакого энтузиазма, а только усталость и тоска, Заславский легко мог догадаться, что — вечен или нет Верховный — затеянное им точно не вечно. Человеческая порода, не прошедшая закалки в Чистом, была все той же бедной человеческой породой; если они, нежизнеспособный и бесполезный теперь призыв тридцать восьмого года, знали все-таки и настоящие страсти, и настоящую боль — в том террариуме, в который превратилась Москва, чувств не испытывали вообще, а жили подделками. Верховная проверка еще могла бы сделать людей из этого населения, но и то вряд ли. И потому рано или поздно они должны были выйти из-под гипноза этой жизни — не взбунтоваться, а просто вяло выползти, перестать сначала ходить

на работу, а потом и просто обслуживать себя, — и это станет не триумфом свободы, а выражением бесконечной скуки и усталости. Это будет победа гнили, потому что железо побеждается только ржавчиной, все прочее против него бессильно.

Так-то вот, пока Заславский ходил по парку, в нем поднималось сначала раздражение, а потом живое, горячее бешенство, причины которого он сам сначала не понимал, но, сидя на скамейке среди пыльных кустов давно отцветшей сирени, вдруг понял. Он любил Иру, любил сильно. Воспоминание давно выщвело, но живая Ира была тут как тут. А вместе с ней, с ее живой прелестью, воскресла и ненависть к Марику, в которой он себе не признавался, и жажда жизни, на которую он уже не надеялся.

Злоба умирает последней, он знал это: она жива, когда все чувства давно отмерли. И потому воскресение его начиналось с возвращения живой злобы, которую давно вытеснила спокойная, привычная тоска. Злоба хлопотала в горле, он не знал, что с ней делать. Сломал ветку, снова сел на лавку. Надо было успокоиться. Ведь что тут случилось на самом-то деле? Пока из него делали элиту страны, последнюю ее надежду, — женщина, предназначенная ему самой судьбой, попала в руки к другому. Это не входило в расчеты, этого не учли. В конце концов, никто не виноват, что его взяли первым. То, что Марика это не минует, — несомненно. Но тогда, значит, это грозит и ей, и тогда он потеряет ее снова. Это уже никуда не годилось, он встал и быстро пошел к выходу. Надо было немедленно что-то делать, куда-то идти, тратить силы, разгонять кровь, жарко прилившую к голове.

Стоп, стоп. Всех ли проверяют? А дети? Но он знал, что как раз с тридцать восьмого, в котором проверка приняла небывалые масштабы, снят был возрастной ценз и для детей: их брали с двенадцати, кое-где и с десяти... Собственно, на фронте до него доходили слухи о детском лагере, народу там было много — в конце концов, как было в той балладе? «Мальчику жизни не жалко, гибель ему ничем, мне продавать свою совесть совестно будет при нем». (Проверить, когда это переведено, сказал себе Рогов.) Из этих детей получались потом превосходные диверсанты, так называемые сыны полков, о происхождении которых впоследствии не сумели придумать ни одной внятной легенды. Дети, взятые в тридцать восьмом, бывшие тремя годами младше его, в сорок первом творили чудеса: восемнадцатилетний Матросов, арестованный как раз тогда, сделался легендой, хотя о том, что его сажали, нигде не упоминалось; естественная вещь. Да, если берут детей, у нее подавно нет ни малейшего шанса: всех, так уж всех. Разве что...

Он, привыкший за десять лет считать проверку единственным спасением для страны во враждебном окружении, он, со сладострастием мечтавший в первые свои дни в Чистом, как никто из бывших одноклассников и отвратительных дворовых мальчишек ее не минует, — сам не замечал теперь, что в уме яростно защищает Иру от общей судьбы.

Заславский не знал еще (у него не было времени это узнать), что принадлежал к счастливому и немногочисленному отряду людей, которых в старину называли положительными: любовь рисовалась ему как царство взаимного доверия и уюта. Оттого и мысли, приходящие ему по поводу Иры, были самого мирного свойства: Крым, укладывать и будить, дети... Обычные мысли семейного, чадолюбивого и женолюбивого существа — нашего брата жида, прав был чертов майор. У Заславского никогда не было времени задуматься о собственной необоримой природе, и страшный, глухой инстинкт защиты своего рода только теперь заговорил в нем. Не троцкистку же Клару было беречь для будущей жизни.

Постой, постой. Конечно, если первым возьмут Марика... детей у них пока нет? Нет. До детей ли было. Если берут Марика, тогда все просто.



Тогда он окажется рядом, подставит плечо, она привыкнет, будет ему благодарна за помощь и защиту, и все решится само собой. Но если возьмут ее? Черт, надо уезжать, уезжать: возвращаясь из Омска и глядя в окно поезда, он видел гигантские, невообразимые пространства, до которых добрались бы в последнюю очередь, а может, и не добрались бы вообще. Надо им сказать, чтобы уехали, и уехать с ними... а с другой стороны, почему с ними? С ней. Она поедет с ним, он это видел по ее глазам. Он придет к ней завтра же. Возвращаться сегодня нелепо, да и действовать надо с умом, с оглядкой. Марик в Алма-Ате еще две недели, можно успеть многое. Он был теперь совершенно уверен, что думает именно о ее спасении, а не о собственном счастье.

Вдруг захотелось есть; никогда со времен школы, когда он стремглав несся домой, размахивая заграничным черным кожаным портфелем, ему так не хотелось есть. Только что отменили карточки, открылось несколько новых кафе; одно, неподалеку от парка, звалось «Южное». Поедим южного. Из кавказской кухни, однако, наличествовала одна манная каша да запеканка «лапшевник»; давайте лапшевник. Мать готовила божественную запеканку. Вдруг, впервые за десять лет, ему с небывалой ясностью вспомнилась эта запеканка; как она уговаривала ее съесть! Как она любила его! Страшный избыток вложенной в него любви до сих пор ждал на дне его сознания неприкосновенным запасом; часть этой любви переродилась в ненависть, помогая ему воевать, но основной ее капитал был перерождениям не подвержен и, как зарытое золото, ждал своего часа. Теперь этот избыток надо было перенести на другое существо, потому что таков закон жизни и другого нет.

На удивительные мысли способен был навести лапшевник, кислый, оклизлый лапшевник, нежный, невыразимый, таявший во рту.

Только когда стало темнеть, Заславский на дребезжащем трамвае, натужливо певшем на разгоне, как самолет на взлете, поехал в Марьину Рошу. Трамвай был почти пустой, совершенно довоенный, со скользкими по поручням кожаными петлями, на которых так неудобно было висеть, но в давке московского трамвая обычно можно было обходиться без поручня, держала толпа. Теперь он ехал один, если не считать довольно поганого старика на заднем сиденье и молодой парочки впереди. На него оглядывались: видимо, привлекал внимание поношенный парусиновый пиджак, купленный в Омске на барахолке, и худоба. До войны Има Заславский никогда не бывал в Марьиной Роше. Этот район пользовался дурной славой, как почти все московские окраины. Он и вправду выглядел мрачно, но это была не романтическая мрачность школьных легенд, а убожество приплюснутой, скудной жизни, в которой должны кипеть свои приплюснутые, как кепка, и такие же засаленные страсти.

Заторможенный, замороженный, он только теперь понял, до чего отвык от человеческой жизни и до чего больно ему будет возвращаться к ней, зная, что после очередной Верховной проверки (где гарантия, что эта была последней?) он может все потерять в одночасье. Полгода его пытали, два года учили убивать, пять лет он убивал, еще два года прожил как во сне и ничего не знал о человеческой жизни. В человеческой жизни была не только твердая кость, на которую была похожа вся его жизнь, а и жалкая мякоть, о которой он запретил себе думать. Можно было позволить себе пожить этой жизнью, но, но, но?! Жизнь кончена, и если возобновлять ее — то уж никак не в затхловатом и уязвимом уюте. Нужно попробовать иначе — может быть, путешествовать? Рисковать? Главное — быть одному, чтобы избежать соблазна слабости, чтобы никто не смог его шантажировать чужой судьбой, чтобы на выжженном поле не появилось нового ростка. Глупо было снова дать себя завлечь. Но тут он вспомнил Иру и понял, что выбор сделан, думать поздно.

Он успел уже про себя сто раз прокрутить все подробности этого разговора с нею, вспомнил, каким золотым светом зажглись у нее глаза, как она уговаривала остаться — не без намека, конечно, не без намека; нет, она думала о нем все эти годы, раз помнила даже его письмо, выброшенное из поезда, — какие могут быть сомнения? Все прочие варианты жизни сразу показались ему невозможной ерундой. Путешествовать, рисковать... во имя чего, собственно, он мог рисковать? Полуребенком, восемнадцатилетним избитым узником, приходившим в себя в закрытом санатории под Москвой вместе с сотней таких же, как он, все выдержавших москвичей из лубянской и прочих тюрем, неподвижно лежа на койке целыми днями и обретая какое-никакое понятие о будущем, то есть впервые за полгода допуская мысль о нем, — Заславский мечтал: вот выйду, вот отомщу... Кому было мстить и где была граница между проверкой и самопроизвольным мелким злом? Где-то в реальности первого порядка она наличествовала, но в реальности истинной, на которую при прощании намекал майор, отсутствовала. Всякое испытание было проверкой, и спастись от него было так же бессмысленно, как просить за арестованного. Дальше выбор был за тобой: покоряйся или отбивайся. Он выбрал, будет теперь отбиваться. Заславский искренне пожалел тех, кто встанет у него на пути.

Трамвай дальше не шел. Старик объяснил, что здесь конечная, а ему от конечной надо еще минут десять идти дворами, ну пять, если хорошим ходом... Хорошего хода не получалось: туфли жали ногу, привычную к сапогу, да он и находился за этот день. Указывая ориентиры, старик смотрел на него особенно пристально — и Заславский вдруг снова, в третий раз за день, заподозрил наблюдение. Он помнил инструкцию Нового на случай проверки, ареста или любого уличного недоразумения с милицией. Пароль лежал в нагрудном кармане, его выдавали при отъезде из Чистого. Новый уверял, что органы по всей стране предупреждены. Заславский достал круглое карманное зеркальце и показал его старику.

Некоторое время тот изучал собственную небритую физиономию, потом поднял глаза на Заславского:

— Продаете? Не интересуюсь.

— Жалко, — машинально ответил Заславский и спрятал зеркальце обратно в карман.

Во дворах пахло мокрой листвой. Несколько раз он вынужден был обходить белье, развешанное на веревках между деревьями. Небо было темно-синее, позднее июньское небо, но все-таки не такое, как двенадцать лет назад, когда он бросал письмо. Тогда он смотрел на него из мягкого купе, вот в чем было дело.

— Слышь, — окликнули его.

Он ни на секунду не сомневался, что окрик адресован ему. Больше вокруг никого не было. Он едва различал темные двухэтажные дома. Марьяна Роща в легендах его детства славилась отсутствием фонарей, и в этом смысле ничего не изменилось. Но людей он умел видеть в любой темноте — навык полезный — и опасность тоже ощущал сразу. Опасность была, не слишком серьезная, но была.

— Не слышит, — сказали сзади. — Глухой дядя.

Он заметил, что окружают его быстро и что драться предстоит с пятью, а может, и с шестью противниками, в чьих намерениях сомневаться не приходилось. Одного он видел перед собой ясно, тот придвинулся и теперь вонял на Заславского чесноком. Примерно так же дышал на него его первый следователь (он, впрочем, оказался слабохарактерным, и за дело принялся второй). На лоб стоявшего перед Заславским парня лет двадцати пяти была низко надвинута кепка, та самая, о которой он думал, когда только ехал сюда. Лицо было гладкое, круглое, спокойное, с перебитым носом. Заславский часто видел такие лица.

Если бы он был обычной жертвой, над ним поглумились бы да прирезали, потому что щадить поздних прохожих в Москве сорок восьмого года было не принято. Разочарования ему уж точно не простили бы, а разочарование оказывалось неизбежным: в чемодане Заславского, кроме смены белья и повседневной формы, принятой в Чистом (черное хебе, сапоги, портянки), ничего не было. Денег у него хватило бы еще на неделю очень экономной жизни. Останавливать его стоило только для того, чтобы покушаться. Заславский благодаря чутью хорошо подготовленного диверсанта знал, что сейчас его сзади схватят за руки. У стоящего перед ним парня был нож, Заславский не видел ножа, но чувствовал его.

В такие минуты, точнее, секунды он соображал очень быстро. Файнштейн, конечно, был дурковат, а вот Голубев знал свое дело, да и другие инструкторы у них были не общеармейским чета. Заславский не боялся. Но у него мелькнула мысль: если проверка? Если старик следил? Если он доложил? Вот его проверяют, и как он себя поведет — даст ли над собой надругаться, как десять лет назад, или раскидает противников, или позовет на помощь? Чистое продолжалось, из него не было выхода. Вырвался на пару часов, воспарил, возмечтал — так вот тебе. Он был на вечном учете, на вечной проверке, и мучить его, закаляя до последней крепости, предстояло всю жизнь таким вот приплюснутым людям с запахом чеснока. Это была их привилегия, не обеспеченная ничем. Это была их работа, и далеко не все они потом выдерживали Большую проверку. Ведь никто не предупреждал их, что проверка касается всех. И теперь они считали, что человечество будет делиться на тех, кого проверяют, и на проверяющих, получивших это право от рождения. Но кто-то должен был им объяснить.

Правда, подстраховаться не мешало никогда. Еще оставался шанс избежать столкновения (Ира! Ира!), и Заславский достал зеркальце, заметив, как блеснули глаза у главного в кепке. Он, верно, решил, что жертва полезла за деньгами. Заславский вынул зеркало и поднес к лицу жоака. Тот уставился, не понимая.

— Слепит, падла! — хрипло крикнул он своим, хотя кого могло ослепить карманное зеркальце в кромешной тьме без единого фонаря?

Нет, понял Заславский, это не проверка, бить надо первым и сразу. Выбить зеркальце он уже не дал. Его реакцией восхищался даже Файнштейн, который редко чем восхищался. Откуда что берется в этих московских мальчиках.

Рогов поймал себя на том, что реконструирует этот эпизод в лучших традициях современного боевика, героем которого непременно был тайно обученный, строго засекреченный советский диверсант, из какого-то самого последнего резерва, в существовании которого был уверен любой житель Империи. Все могло кончиться, но в последний момент вводился в действие последний и сверхсекретнейший план, ибо допустить, что не все предусмотрено, житель Империи не мог. В боевиках, которыми наводнились все книжные лотки и киоски, действовал офицер — почему-то особенно часто майор — из расформированного сверхсекретного подразделения, предназначенного именно для действий в экстремальнейших, последних обстоятельствах. Может быть, этой надеждой — тоже очень советской, а откуда было взяться другой — диктовалось и роговское желание найти Чистое. Там и было спрятано второе дно Империи, ее последний резерв, который предохранил бы ее от полного гниения и окончательного распада. Что для человека из Чистого были эти пять кентов?

Стратегия Заславского была проста: следовало вырубить одного — остальные разбегутся. Он понимал, что серьезный противник — один, перед ним. Молниеносно сунув зеркало в карман, Заславский тут же кинулся на жоака с ножом и в кепке; отбиваться приходилось действительно от пятерых, он не ошибся, но учили его все-таки прилично. Не учили одно-

му — останавливаться, потому что от смертника ничего подобного не требовалось. Несколько раз в короткой драке его обожгла густая, белая боль — но он любил боль. Он даже ответил себе когда-то, почему так было: она напоминала о тюрьме, о допросах, о временах его безоговорочной правоты. И она же — уже в Чистом, во время диверсионной подготовки — делала из него зверя: это было сладостное чувство. Когда он пришел в себя, трое из пятерых лежали на земле: один еще стонал, двое других молчали и были неподвижны. Остальные (двое, как он прикидывал) убежали — видимо, за подмогой, а может, прятаться.

Заславский даже устыдился того, что принял их за проверяющих. Это была обычная сытая шпана — с ней легко справился бы любой тренированный десантник, а не только покойник. Группа Заславского бывала в переплетах много хуже. Заславский лишь на миг почувствовал ту дикую, блаженную злобу, которая просыпалась только в бою. Все-таки Верховный знал, что делал, когда пропускал их через свою мясорубку: ничего не было, ни любви, ни страха, но злоба была. Злоба была древнее любви и страха. Она где-то гнездилась и до пыток, но они не знали о ней. Теперь знали.

Заславский нагнулся к жоваку в кепке. Он был несомненно мертв: собственный нож торчал у него из горла. Такие вещи Голубев учил делать не раз. Второй был столь же недвусмысленно готов, а третий корчился. Добивать его Заславский не стал.

Этот третий принадлежал к хорошо ему известному типу — такие водились и на Ордынке времен его детства, хотя из какого-то древнего холопского инстинкта советских принцев они не трогали. Это был малый с изнеженным, девичьим лицом, широко расставленными глазами, почти полным отсутствием волос на подбородке и теле. Такие были страшнее всего, и именно таков был второй следователь Заславского. Этот тип отличался паразитической легкостью и внезапностью перехода от дружелюбия к ярости: если обычному бандиту (каких Заславский повидал, когда его кинули к уголовникам) для самоподзавода требовалась небольшая истерика, то розовые и ласковые наносили первый удар, не переставая улыбаться. Было в них что-то педерастическое, и древние герои, эталоны мужества и красоты вроде Патрокла с его девичьим румянцем и девичьей же насмешливостью, наверняка были таковы. Розовые и ласковые не повышали голоса. Заславский подозревал, что они необыкновенно сентиментальны, — у его второго следователя на столе стояла фотография дочери с плюшевым мишкой, а блатарь этого типа, которого он видел в камере, переписывал в тетрадь песни и сам тоскливо, жалостно пел что-то народное. Эта любовь к народному — узорным словечкам, каким-то бабым, пригорюнившимся позам — вообще была удивительна; ласковость, с которой они убивали, и наслаждение, с которым мучили, выдавали подлинный, чистый садизм, граничащий с нежностью к жертве. Второй следователь часто называл Заславского голубком и сладко улыбался, ломая ему пальцы. Заславский постоял секунд десять, вглядываясь в искаженное лицо красавца. Тот корчился и поскуливал, тоже по-бабы, но и в этом поскуливании Заславскому чудилась игра, тот почти неприменный артистизм и наигрыш, без которого розовые и ласковые не делали ни шагу. Впрочем, если тот и переигрывал, то несильно. В Чистом готовили на совесть, и до утра красавец скорее всего не протянул бы.

Долго торчать тут, однако, тоже не следовало. Через минуту нагрянут люди — подмога или милиция. Разумеется, в темноте его толком не разглядят, но запомнили хорошо — парусиновый пиджак, например, от которого, впрочем, мало что осталось. Заславский сбросил его и остался в застиранной сорочке, купленной там же и тогда же. Идти по указанному адресу было бессмысленно. И вообще ему больше не хотелось жить в Марьиной Роще.

Заславский подхватил чемодан и побежал обратно, к трамвайной остановке. Там стоял одинокий трамвай, светясь в сгустившейся сырой темноте, — видимо, последний. Через полчаса Заславский был на вокзале.

У касс он не заметил ничего подозрительного. Слежки, похоже, не было. Еще через пять минут он взял билет до Омска. Это было единственное место, куда он мог вернуться, — соблазн мирной жизни исчез сам собой. Он жалел только, что не поговорил с Мариком. Все-таки надо его предупредить. Ничего, пошлет письмо с дороги.

Поезд на Омск отходил в два часа ночи. Все деньги ушли на билет. Не страшно, в поезде умереть с голоду не дадут. Поезд мчится в даль, а я — в неизвестность, подумал он. Вот тебе и вся неизвестность.

В плацкарте долго не спали, возбужденно переговаривались, как всегда бывает в первый час в ночных поездах. Заславский попросил у хорошенькой попутчицы — видимо, студентки — лист из блокнота и ручку и стал писать письмо Марику, надеясь опустить его на ближайшей станции, но после первой строчки понял, что писать бессмысленно. Он вернул ручку, скомкал листок и пошел в тамбур курить. Стекло было выбито. Заславский достал зеркальце, завернул его в смятый листок и выбросил в пролетающие кусты.

#### 4

В омской гостинице «Юбилейная», сидя над картой области, купленной в газетном киоске, Рогов курил и намечал маршруты. Близость цели, неясность собственного статуса и азарт первопроходца — все делало его легким и смелым.

Первое Чистое, которое он еще в Москве наметил для начала, было ближайшим к городу, доступнейшим и маловероятнейшим местом предполагаемого поселения. Маловероятна, впрочем, была удача всей затеи, но еще в самолете, реконструируя историю Заславского, он понял со всей определенностью: среди людей им места не было. Они могли только вернуться и зажечь своим обособленным миром. Вернулись бы и женщины, которым точно было не приспособиться к роли тихих домохозяек, послушных жен и кротких совслужащих. Пошли бы дети. Скорее всего любовь случалась и до войны, но за тем, чтобы никаких детей, следили наверняка — и сами, и приставленные. Какие дети у диверсионной группы? Радистка Кэт — бред, сюжетный ход...

Этих потомков, выросших на поселении, на которое не распространялся ни один из человеческих законов, Рогов и рассчитывал найти. Он знал, что для достижения совершенства «золотая когорта» должна была пройти через последнее испытание — через мирную жизнь, которая обречена была их отвергнуть, как и они отвергли бы ее. Нужен был последний, высший подвиг: омский затвор, в который их ввергли искусственно, должен был превратиться в добровольный. Здесь для Заславского, каким его видел Рогов, должна была начаться истинная жизнь — жизнь без изнурительных тренировок, драк и стрельб. И в ней, возможно, они поняли бы замысел о себе Верховного, а возможно, и Высочайшего главнокомандующего, который решил на пепелище их жизней выстроить новый мир. Этот новый мир, возводимый их детьми вне соблазнов большой земли, Рогов мог увидеть уже завтра. Но в душе он был уверен, что истинная встреча с ним состоится не в первом и даже не во втором, а в третьем Чистом — самом отдаленном, отстоявшем от города на триста километров. Первое, по сибирским меркам, находилось под боком — каких-то сто пятьдесят: до Кулемина автобусом, а там, сказали на автовокзале, надо искать, кто подвезет. До этого Чистого автобус не ходил давно: там и жили-то, объяснил ему разговорчивый охотник в ожидании автобуса, полтора человека.

Через три часа разболтанный тупорылый автобус старосоветского образца, заляпанный грязью до полной неразличимости его истинного цвета, высадил десяток пассажиров в Кулеmine.

Удаляясь от Москвы, Рогов почти физически чувствовал, как удаляется он и от современности, погружаясь в какое-то среднее и неизменное общероссийское время. В Кулеmine стоял примерно год семьдесят пятый. Здесь было спокойно, жизнь шла медленно, и, несмотря на хронический неуют, который Рогов, подобно всем домашним детям, испытывал поначалу в чужих местах, угрозы для себя он не чувствовал никакой. Если Москва была предельно уязвимым пространством, через которое тянулись тысячи силовых линий, неся опасность и новизну, — здесь царила та полузабытая, идиллическая стабильность, от которой большинство чувствовало себя как в теплой ванне, а меньшинство сходило с ума. Здесь поразительно легко было поверить, что ничто и никогда не изменится, — и либо так и прожить всю жизнь, не просыпаясь, либо спиться от этого сознания. Это была часть Омской области, больше всего похожая на среднюю Россию: смешанный лес, пологие равнины, вдоль которых полз автобус, резкая синева неба, пыль и запах сухой травы.

Кулемино представляло собой не город, и не райцентр, и не поселок городского типа, а какой-то универсальный населенный пункт с признаками всего перечисленного — выродившийся город среди выродившихся деревень. Рогов непонятно зачем походил по нему, пытаясь, по всей вероятности, отсрочить разочарование или шок от находки. На местном базаре, насчитывавшем два ряда, торговали семечками, облепихой и серой — палочками горькой смолы; серы Рогов, экзотики ради, купил: просто желая почувствовать, что вокруг Сибирь. На вкус смола была отвратительна и жестоко липла к зубам. Наконец он начал спрашивать, как ему проехать в Чистое, но сначала никакого Чистого никто не мог вспомнить, а потом некоторые с трудом припомнили, что да, есть неподалеку такая деревня, то есть она была, но что с ней сейчас — сказать невозможно, поскольку туда давно никто не ездил за ненадобностью. Уже пять лет назад там жили три старика и пять старух, изредка добиравшиеся до Кулемина, а кто жив сейчас — поди пойми. В Кулеmine было три старообразных «Волги» с шашечками, но в Чистое ехать не хотел никто. Дорога, как сказали Рогову на базаре, размыта и разбита, а главное — поездка не имела никакого смысла: пустых деревень по области полно. Слишком больших денег Рогов предложить не мог.

В конце концов ему пояснили, что всей дороги до Чистого будет километров двенадцать и он с легкостью их преодолет еще до обеда, если выйдет засветло; теперь же наилучшим для него было устроиться в местный дом для приезжих. Он так и назывался — видимо потому, что на гостиницу не тянул. Это было двухэтажное строение, облупленное, но изначально крашенное отчего-то розовой краской. Рогов оказался в нем вторым постояльцем. Первым был военный моряк, старший лейтенант, приехавший к отцу в отпуск. Ночевать у отца он, однако, не стал — у него была давняя, первая любовь в родном Кулеmine, и встретиться с ней, теперь разведенной и в одиночку поднимающей десятилетнего сына, он мог только в доме для приезжих, — отец, видимо, был старых правил, не такой, чтобы приводить к нему в дом бабу, хотя бы и разведенную. Кроме того, под Мурманском на базе у моряка остались жена и дочка (он не повез их к батю: нечего таскаться через всю страну), отец о них знал и измену не одобрил бы; к бабе тоже было нельзя: у нее сын. Пришлось соврать, что ушел выпивать к однокласснику, и ждать, когда первая любовь уложит сына. Со скуки моряк был невероятно разговорчив. Они сошлись в комнате у дежурной, которая пила чай из железной кружки и смотрела черно-белый, дребезжащий от громкого звука телевизор, принимавшийся гудеть при появлении любых титров — вернейшая примета старости. Старлей, по

счастью, ни о чем не спрашивал и говорил только сам — в основном о невыносимой службе, об идиотизме начальства, отсутствии денег и жилья. Рогов был неинтересным собеседником. Он только кивал и никак не разделял возмущения старлея, потому что вообще не очень умел поддерживать разговор с незнакомыми людьми; да и не до того ему было. Завтра он мог увидеть собственного деда или хоть тех, кто его знал. Рогов ловил себя на том, что к деду почти ничего не испытывает, кроме смутной вины за то, что тому пришлось вынести, — нормальный человек всегда чувствует себя виноватым перед тем, кто много вынес, и из-за этого тысячи мерзавцев, которых много и заслуженно били люди без предрассудков, преуспевают во все новых и новых мерзостях, не встречая сопротивления.

Об этом Рогов успел путано подумать тем долгим вечером в Кулеmine, отойдя наконец от телевизора, выглядевшего здесь единственным напоминанием о реальности, и избавившись от моряка. Один в комнате на троих (других в доме для приезжих вообще не было, человек, добравшийся до Кулемина, был по определению неприхотлив), он долго смотрел в лиловое окно и в который уже раз пытался понять: есть ли в страдании хоть какой-то смысл и можно ли обойтись без этого опыта? Он и сам втайне мечтал о Верховной проверке: без нее любая доброта казалась ему неполной и неподлинной. Да он и не любил доброты. Чаще всего она была ограниченной, напористой и агрессивной. Он ценил не доброту, а надежность, добротность — то, что чувствовалось в Крето́ве и в хорошо сохранившихся вещах пятидесятих годов. Доброта потакала человеку и расслабляла его до того невыносимого состояния, в котором находился теперь весь мир вокруг Рогова — мир попустительства, необязательности и осыпающихся зданий. Заснул он, однако, быстро. В сильной тоске у него включался какой-то защитный механизм, отрубавший сознание.

Утро обещало жаркий день. Рогов проснулся в восьмом часу. Дежурная спала на диване внизу, не раздеваясь: какое непостижимое чувство долга заставляло ее ночевать тут, где она все равно была никому не нужна (и откуда могли в Кулемино приехать ночью, если автобус ходил раз в сутки?), понять было невозможно, но Рогов порадовался этому беспричинному и бесполезному самопожертвованию. Это было одно из явлений, свидетельствовавших, что не все еще на свете свелось к слабости или выгоде. Рогов вышел на улицу с длинными резкими тенями. Всех вещей у него был рюкзак с двумя свитерами, сменой белья, банкой консервов, ножом и спичками. В нагрудном кармане он с самой Москвы держал кретовское зеркальце, которое на ночь клал под подушку.

Направление ему указали накануне: на запад от Кулемина, вдоль линии электропередачи. Электричество в Чистое провели еще в тридцатые годы, — что ж, все совпадало, хотя об электричестве Кретов не говорил ни слова.

Чтобы преодолеть двенадцать километров, ему требовалось обычно два с половиной часа, но до Чистого он шел добрых четыре, останавливаясь передохнуть. Чем ближе была деревня, тем труднее становилось ему идти. Он словно преодолевал чье-то сопротивление, задыхался — то ли от волнения, то ли от странной для августа жары, — и останавливался на дороге, петляющей среди ровного поля. Иногда встречались полосы леса, по небу медленно ползли высокие, пышные кучевые облака со свинцовым плоским исподом. Низко, словно на самом поле, вдали лежала пыльно-сизая туча. Ни одной деревни между Кулемином и Чистым не было — это подтверждало слова Кретова о том, что поселок разбили в безлюдном месте, — но Кретов говорил о лесах, тогда как тут было поле, ровное, похожее на степь. Не мог же лес исчезнуть? Возможно, он начинался ближе к Чистому, ведь не со стороны же Кулемина подходил к нему Кретов пятьдесят лет назад! Никаких следов человека — ни домов, ни стогов — в поле не было, только линия электропередачи тянулась дальше и дальше. Было же

кому когда-то осваивать эти пространства! Теперешний мир сконцентрировался, сузился, тогда как главной задачей того было непрерывно расширяться, отвоевывая себе место для жизни, а иногда и просто оставляя следы. Провода вполне могли обрываться где-то, а линия — никуда не вести: важно было обозначить, что и тут проходил человек. Линия и обрывалась километров через семь от города, провода доходили до последней башни — и все; но направление уже было задано, так что теперь он не мог бы сбиться.

К полудню Рогов дошел наконец до жилья — до семи черных изб, которые, верно, выглядели не слишком добротными и в лучшие свои годы. Авралью строили, подумал Рогов. Сразу за деревней начинался редкий желтеющий смешанный лес, подступивший к ней вплотную. Никакой таблички с названием населенного пункта не было. Рогов несколько раз кричал «ау» и «эй», но никто не отзывался.

Он подошел к избам ближе и хотел уже обходить их по одной, когда из самой дальней, стоявшей у леса, вышла девушка с ведром в руке. Ни о какой девушке он в Кулемине не слышал, все, кто помнил о Чистом, говорили о стариках. Не туда зашел?

— Скажите, это Чистое? — спросил Рогов.

Девушка подняла на него глаза — серо-зеленые и совершенно прозрачные — и кивнула. Что еще сказать, Рогов не знал. Она прошла мимо него к колодцу, но оглянулась, и он принял это за приглашение идти с ней.

Он не взялся бы сказать, хороша она или некрасива, но и обычным назвать ее лицо он не решился бы. Вся она — и голые руки, и ноги, и лицо — была не бледной, а белой, такая белизна бывает у разбавленного молока. Росту в ней было не больше метра шестидесяти. Пушистые соломенные волосы, выбивавшиеся из-под такой же, как кожа, белой косынки, светились в солнечном луче, но во всем облике была какая-то покорная, кроткая грусть — видимо, так казалось еще и оттого, что она не говорила ни слова. Они дошли до колодца, мятое ведро спустилось в сырость, пахнущую полусгнившей древесиной, и поднялось, гулко плеща. Рогов попытался взять у нее ведро, чтобы донести обратно, но она так же молча покачала головой и понесла его сама, словно выполняя только ей определенную повинность.

Рогов шел за ней — девушка не звала, но и не возражала. На пороге избы она обернулась и поманила его. Будь на ее месте другая или другой, он испугался или, во всяком случае, напрягся бы, но от нее и самый подозрительный гость не мог ожидать дурного. Опустив голову, она шагнула в полумрак старого разошедшегося дома, в котором пахло какими-то травами и сухими цветами, но запах полусгнившего дерева — не такой резкий, как от колодца, — пробивался и тут. У стола сидел высокий белобородый старик в линялых кальсонах и такой же белой, как снятое молоко, рубахе на выпуск. Ласково улыбаясь, он встал Рогову навстречу.

По всему полу была разложена сухая степная трава и полевые цветы, все это сохло и пахло, но какой смысл было сушить в избе эту траву, когда на дворе жарко, а вдобавок и трава самая обычная — полынь, степные злаки, никакого целебного действия, — он не постигал. Старик улыбался молча, как-то виновато. Рогов несколько раз громко назвал себя, сказал, что приехал поискать сосланных, среди которых в этих краях мог быть и его дед, — но старик только смотрел на него, даже не кивая; девушка подошла к старику и встала рядом, чуть впереди, словно желая защитить того от роговского громкого голоса, и так они, не переглядываясь, кротко глядя на Рогова, стояли минут пять, пока он говорил. Опомнившись, он вынул зеркальце. Девушка улыбнулась, подошла, мягко взяла зеркальце из его рук и, поймав солнечный луч, пустила зайчика, словно показывая ему этот фокус впервые. Доверчиво улыбаясь, она вернула круглое стеклышко, и он, не понимая, получил ли отзыв на свой пароль, сунул его обратно в



карман. Девушка без тени стеснения взяла его за руку, подвела к столу и указала на грубую деревянную табуретку. Рогов сел, и на такую же табуретку напротив опустился старик. По-прежнему не говоря ни слова и улыбаясь, девушка налила молока из большого глиняного кувшина, достала из прибитого к стене расписного, как в детском саду, шкафчика краюху хлеба и отрезала толстый ломоть. Рогов поблагодарил и отпил молока, тоже белого, чистого, нежирного, и откусил черствого, но вкусного хлеба. Только тут он понял, как хочет пить, а напившись (девушка тихо подливала), ощутил и голод, до того изгоняемый жаждой.

Он не представлял, как себя вести, хотя не чувствовал особого напряжения: встретили его по крайней мере приветливо. Молчание девушки, стоявшей за спиной старика, и самого старика, не сводившего ласковых глаз с Рогова, покуда он ел, было одинаково не похоже на обет молчания, на испытание, которому подвергают новичка, или на болезнь — например, глухонмоту. Рогов видывал глухонемых, знал их беспокойные, судорожные жесты, которыми они мучительно пытались показать собеседнику всю силу не находящих выхода, бушевающих их желаний, надежд и кошмаров. Здесь же был покой и тихий внутренний лад, заставляющий, однако, подозревать, что это не столько гармония, сколько деградация, медленное превращение в растение, в дерево, в собственную избу. Язык тут был не нужен, и его забыли за ненадобностью, заместили глухотой и тишиной, словно избавились от лишней составляющей и теперь торопились освободиться от прочих ненужностей вроде мышления.

Допив вторую кружку молока и прожевав ломоть, Рогов хотел было пуститься в объяснения и расспросы, но почувствовал их ненужность и промолчал, не сводя глаз со старика, словно боясь пропустить какой-то знак. Старик встал и, ничего не объясняя, вышел. Рогов выглянул: хозяин сел на крыльцо и глядел куда-то вдаль; самым естественным Рогову показалось сесть рядом. Он все ждал, когда с ним наконец заговорят, разъясняя глубокую и важную тайну, ради которой он добрался сюда, — но если тайна и была, ее предлагалось постичь самостоятельно. Здесь происходило что-то простое, но чрезвычайно серьезное, требующее замкнутости и тишины. В бесшумном жарком воздухе только кричал иногда большой рыжий петух на дворе да жужжала очнувшаяся вдруг муха, но в молчании этом чувствовалась не сонливость, а сосредоточенность все на той же тайне. Чтобы постичь ее, нужно было всего-навсего отказаться от слов, воспоминаний, всего ненасущного и сиюминутного: опуститься на ступеньку ниже, к траве, дереву, мухе, к их бессловесной и сосредоточенной жизни; но Рогов не мог сделать этого усилия — он был не отсюда и шел, по всей видимости, не сюда. Может быть, произведи он над собой эту единственную и такую нехитрую операцию, он понял бы, что и идти никуда не надо, и искать больше нечего, потому что вся беда наша в какой-то избыточности, зря гоняющей нас с места на место, — но он не был еще готов зажить такой сокращенной, травянистой жизнью. Ему все еще казалось, что человеку зачем-то даны слово и мысль, а в Чистом уже догадались, что все это ни к чему.

Он не знал, сколько так просидел рядом со стариком — минуту ли, час ли. Из соседней избы вышла сгорбленная, подслеповатая старуха с темным ласковым лицом и принялась кормить кур, а потом снова скрылась в доме, успев, однако, пристально поглядеть на Рогова и улыбнуться ему, словножданному гостю, который не мог не прийти, — и оттого слишком-то радоваться его появлению не обязательно. Вскоре вдали показалось небольшое, голов на девять, стадо, которое так же сосредоточенно и послушно, как все здесь, шло к избам, напылая из медленно меркнущего солнечного сияния. За стадом, забросив кнут на плечо, шел невысокий пыльный пастух. Как и все деревенские пастухи, виданные Роговым в жизни (эта-то похожесть всего вокруг на его собственные представления и заставляла его потом думать,

что Чистое ему только привиделось), этот шел в разбитых, рыжих от старости кирзачах, одет был в пузырястые штаны и латаный серый пиджак, а на голове носил серую парусиновую кепку. На вид ему было не меньше шестидесяти лет, во рту поблескивали железные зубы. Он смолил беломорину, но, подойдя к деревне, заплелал и выбросил ее. Загнав коров в длинный сарай на самом краю деревни (этот край Рогов назвал про себя степным в отличие от лесного), пастух зашел в небольшую, самую древнюю и хлипкую на вид избу и больше не показывался.

Девушка, которая все это время с чем-то возилась в избе, тоже вышла и села на крыльцо, и Рогов обрадовался ей. Она взяла его левую руку, долго рассматривала ладонь, словно собиралась гадать, но вместо этого только провела по ней легкими и ласковыми пальцами, так что он поморщился от щекотки. Улыбалась она при этом так, как улыбаются незлые, тихие дети, вечно думающие одну свою думу, но не обижающиеся, когда их отвлекают. Рогов вспомнил, где и когда видел такую улыбку.

Однажды, когда он был влюблен в студентку мединститута, она взяла его в загорский интернат для слепоглухонемых; были там и другие дети с врожденными патологиями, одна страдала каким-то странным заболеванием лобных долей мозга — они медленно разрушались без видимой причины. В детстве она еще запоминала стишки, участвовала в играх, но к началу отрочества почти совсем перестала реагировать на внешний мир. Воспитательница, водившая их по интернату, в котором Рогов, против обыкновения, не боялся уродов, а горячо жалел их, попросила его обратить особое внимание на тонкие, аристократические пальцы девочки, всю ее гибкую и длинную фигуру, на благодное и сосредоточенное выражение лица: трудно было поверить, что у этого ребенка нет никакой тайны, есть только тихая жизнь растения (хотя, возможно, жизнь растения и есть самая большая тайна — вот почему посмертный распад тела, превращение его в грязь, камни и траву обставляется в нашем сознании такой таинственностью и надеждой). Взгляд девочки, ни на минуту не фокусируясь, бродил по стенам. Она почти не чувствовала боли или холода, легко обходилась без прогулок, скоро должна была перестать самостоятельно ходить в уборную, — но обо всех этих страшных вещах Рогов, глядя на нее, не думал, а чувствовал только кротость и благодсть, исходящие от этого полурастительного существа. И это Чистое напоминало ему весь загорский интернат, потому что, когда он вместе с воспитательницей ходил по тому, тоже безмолвному, дому, он ощущал невероятно напряженное поле, словно дети, лишённые речи, непрерывно обменивались какой-то внесловесной информацией. Тут не говорили, тут ловили сигналы, — и точно так же, вспомнил он, его вдруг взял за руку глухонемой, но хорошо видящий мальчик лет восьми, который несся куда-то мимо и вдруг задержался, пристально посмотрел на Рогова и захотел с ним поздороваться. Что мальчик мог прочесть по его руке? Почему сразу отошел в сторону, погрузился, постоял секунд десять и опрометью бросился обратно — туда, откуда только что прибежал? И какую невыразимо печальную правду поняла о нем эта девушка, долго вглядывавшаяся в его ладонь и погладившая ее словно в утешение?

Все вокруг жалело его: пыльное поле, опускавшееся солнце, бледная, но на глазах сгущавшаяся голубизна. Все вдруг стало туманным и бледно-синим, и в этом тумане, млечном, как синяя акварельная краска, разведенная в только что налитой из крана воде с еще не осевшей мутью, двигались неопасные, дружелюбные тени. Из домов выходили люди, тянулись к старику, который встал с крыльца и жестом позвал Рогова за собой. Старик снял с пузатого буфета керосиновую лампу, поставил ее на стол и засветил. Тотчас в теплом вечернем воздухе, воздухе последних теплых вечеров, закружились над столом бледнокрылые, белые и бежевые бабочки. Девушка достала из печи чугунок картошки (Рогов именно так и представ-

лял себе никогда не виденный чугунок). В избу — видимо, посмотреть на гостя — сходились новые и новые люди, общим числом девять: Рогов разглядел старуху, кормившую кур, и еще двух, таких же древних, согбенных и ласковых. Последним пришел пастух, ему не хватило табуретки, и он встал в углу, около двери. Девушка не присаживалась ни на минуту, она хлопотала у стола, доставала миски, накладывала картошку и квашеную капусту, резала хлеб, потом бесшумно прошла к печке и встала, прислонившись к ней спиной.

Стол стоял у окна, и синий свет, медленно загустевая и темнея, падал на миски с картошкой, на глечик и хлеб. Полоса прохладного тумана протянулась между домом и лесом. Запахло землистой сыростью. Мотыльки неутомимо бились о лампу. Рогов сам не заметил, как возник в воздухе тягучий, высокий звук, похожий и на стон проводов, и на гудок далекого поезда, — такие звуки слышатся иногда ночами в степи. Он рос, то повышаясь, то понижаясь, и только когда это протяжное мычание подхватил второй голос, Рогов понял, что старики поют.

Это была песня без слов и как будто без мотива — или с мотивом настолько сложным, что непривычное ухо не могло его уловить. Невозможно было понять, ведет ли каждый свою отдельную партию потому, что не слышит других и не хочет подстраиваться к ним, или потому, что это так надо. Нет, понял Рогов, они слышат, иногда в плетении голосов возникало что-то похожее на диалог — один делал паузу, другой подхватывал, — но уловить фразировку было невозможно: ритм тоже либо отсутствовал, либо был слишком сложен и разнообразен, как непериодическая дробь. Старики, однако, мычали истово, вытягивая шеи, напрягая пальцы рук, сложенных на коленях, и глядя в окно, все в одну сторону и как будто даже в одну точку. Рогов не взялся бы определить, сколько времени это продолжалось. Уже совсем стемнело в степи, а они все не расходились: стон стихал, прерывался, певцы откашливались и сморкались, но начинали через минуту ровно с той же ноты, на которой смолкли. Молчала только девушка. Она стояла у печи не двигаясь, иногда только переводя ласкающий, нежный взгляд с одного лица на другое; скользили ее глаза и по Рогову.

Вдруг все повернулись к ней: она, видно, ждала этого, четко зная момент, когда должна вступить, — но все-таки вздрогнула, напряглась и сжала опущенные руки в кулачки. Потом она выпрямилась, странно запрокинула голову и взяла горловую высокую ноту, словно вскрикнула гортанно, и замолчала опять. Вскрик повторился, пальцы ее сжимались и разжимались. На лицах стариков выражалось напряженное внимание.

С третьей попытки она повела вдруг мелодию — Рогову впервые показалось, что он ее уловил, впервые в ее течении, подъемах и спадах появилось какое-то подобие ритма, — и чем-то невыносимо прекрасным должна была обернуться эта тема в своем развитии. В ней чувствовалось огромное, бесконечное пространство, не казавшееся, однако, величественным: выпевалась горькая жалоба, которую на всем этом бескрайнем пространстве некому услышать, а степь и небо умолять бесполезно. Но из самой тщетности этой жалобы могла родиться и вот уже рождалась неизреченная, ни в каких словах не нуждавшаяся красота, и Рогов даже привстал на своей табуретке, подаваясь ей навстречу, — как вдруг девушка оборвала мелодию и громко закашлялась, прижимая руки ко рту и глядя на всех с выражением вины и испуга.

Видимо, так было не в первый раз. Каждый день старики исподволь вели неясную, неуловимую песню, подводя ее к главному соло, и каждый раз все срывалось, когда, казалось бы, уже должно было родиться что-то небывалое. Чем могло обернуться преодоление этого незримого порога? Речь бы вернулась, степь ли зазеленела бы новыми всходами, небо ли засияло бы всеми звездами? Рогов не знал, но чувство близкого, обещанно-

го и не случившегося чуда было так явственно, что он не шевелился, боясь спугнуть его. Минут пять все молчали. Потом старик подошел к девушке, обнял ее, и она спрятала голову у него на груди.

Все принялись прощаться — подходили к девушке, гладили ее по голове, плечам, рукам, быстро припадали к груди старика и выходили, на пороге оглядываясь с тревожным сожалением. Одна из старух, направляясь к двери, мелко кивала. Скоро Рогов остался в избе с девушкой и стариком. Старик вышел на крыльцо и снова долго сидел там, глядя куда-то в степь. Туман рассеялся, по горизонту ходили тихие бледные зарницы.

Девушка, сразу ставшая еще более кроткой и виноватой, быстро вышла в сени и вернулась со старинным пестрым тюфяком, набитым сухой травой: точно такой был у Рогова на даче. Она положила его у печи и быстро, не раздеваясь, забралась на лежанку. Рогов скинул куртку, лег и укрылся ею. Он еще слышал, как вернулся старик и, тихо вздыхая, устроился на лавке. С лежанки не доносилось ни звука. Рогов забылся и спал без снов, пока чье-то легкое прикосновение не разбудило его.

Он открыл глаза. Девушка сидела у его изголовья на полу, положив легкую теплую ладонь ему на голову. Пальцы ее вздрагивали, словно улавливали какие-то тайные и мучительные его мысли, не понятные даже ему самому. Бледный рассвет занимался за окнами, девушка, видно, сидела так уже давно. На лице ее было такое сострадание и мука, что Рогов почувствовал отчаянную жалость и к ней, и к себе самому. Ни о чем, хоть отдаленно похожем на близость, он и подумать не мог. Ее губы беззвучно шевелились, и непонятно было — то ли она лепит слова, то ли просто покусывает губу от боли, которую причиняет ей соприкосновение с его душой.

Рогов потерял счет времени и незаметно забылся опять. Когда он проснулся снова, на этот раз окончательно, было уже совсем светло. День намечался золотой и горячий. Старик сидел у стола и приветливо улыбался. Рогов вскочил, скатал тюфяк, кивнул старику и вышел на улицу.

Старуха из соседнего дома молчаливо и сосредоточенно набрасывала на траву густую мелкочаеистую сеть; потом поднимала ее и набрасывала снова. Сначала Рогову показалось, что она кого-то ловит, но сеть падала и поднималась без всяких следов улова. Старуха поворачивалась на месте и снова забрасывала в траву свой невод, и опять он был пуст — только травинки, случалось, застревали в ячейках. Это занятие по бессмысленности — или по непостижимости смысла — было сродни сушению травы на полу, в избе. Еще одна старуха копалась в своем огороде — копалась в самом буквальном смысле, расковыривая палкой какую-то ямку в земле. Еще один старик вышел из ближайшей к лесу избы, повернулся прямо к лесу и принялся мочиться; Рогов подошел к нему и присоединился. Ни одной уборной он около домов не заметил — видимо, здесь давно обходились так.

Девушки нигде не было видно. Когда Рогов вернулся в избу, старик осторожно и вдумчиво втыкал в стены бумажные флажки, вроде тех, которыми военачальники в советских фильмах обильно кропят карты. Флажки были изготовлены из булавок и неровно вырезанных квадратиков алой бумаги для аппликаций; иногда старик задумывался и перемещал только что воткнутый флажок по ему одному ведомому закону — чуть выше или ниже по косяку, дальше или ближе от окна. Он виновато посмотрел на Рогова и продолжил свое таинственное занятие. Рогов ободряюще кивнул и, не желая мешать ему, вышел на крыльцо.

Он не знал, что здесь делать. Делать можно было что угодно: носить решетом воду, конопатить щели блинами, поджигать воду и тушить ее соломой, — но он не дозрел еще до этих занятий и потому понимал, что в Чистом ему не место. Понимал он и то, что люди, которых он искал, живут не здесь. Бог весть когда он понял это: во время ли бессловесного пения, ночью ли, тепер ли, когда каждый из них занят методичной, но бес-

смысленной и таинственной работой (он знал, что это распространяется на всех жителей деревни: тех, что в домах, и тех, что, быть может, в лесу), но «золотая когорта» избранных не могла доживать в таком идиллическом распаде, и старческая кротость не должна была стать их уделом. Может быть, он и встретил чудо — новую ступень в эволюции человека на обратном его пути к бессловесной твари, — но это было не то чудо, которое он искал.

Девушка вышла из леса с корзиной грибов, издали улыбнулась Рогову и, подходя, уже не отводила от него глаз. Потом поставила корзину перед крыльцом и встала перед ним, словно ожидая чего-то. Ему вдруг захотелось рассказать о себе, хотя все главное она откуда-то знала и так, — может, действительно ночью пальцами прочла его мысли. Он взял ее за руку — она не отняла ее — и повел за собой в степь.

От деревни отошли метров на триста. Девушка шла безропотно, ни о чем не спрашивая и все так же ласково поглядывая на него сбоку и снизу. Бог знает чего она ожидала. Наконец Рогов сел на жесткую траву и указал ей место рядом с собой.

Он долго сидел молча, глядя на эту сухую, колкую осеннюю траву, которую вообще любил больше весенней: весенняя была беззащитна, ничего не понимала и радовалась неизвестно чему, а эта уже что-то знала, до чего-то доросла и переставала быть просто травой. Она ужесточалась, деревенела, колелась, при попытках выполоть ее резала руки. Еще немного — и она перешла бы в другое качество: стебли репейника, татарника, зверобоя становились твердыми и ломкими, целый лес репьев вырастал на даче, сухими бодьями торчала московская мимоза, — это были почти деревья, уже знающие что-то главное, но одеревенение их означало смерть. Никакой другой ценой понять главное было нельзя.

Рогов посмотрел на девушку: она не сводила с него глаз и не двигалась с места.

— Вот что, — сказал он. — Спасибо тебе, я уйду сейчас. Я, понимаешь ли, ищу таких людей, которые уже не совсем люди. Их много мучили, они многое видели. Их специально отбирали, чтобы спасти всех остальных, понимаешь?

Она не кивнула и не пошевелилась, но он знал, что ей понятно все сказанное, а может быть, и не сказанное.

— Я не очень представляю себе, какие это должны быть люди, — продолжал он, улегшись на живот и чувствуя покалывание сухих стеблей сквозь рубашку. — Совсем не знаю их. Я только знаю, что если кто-то сегодня и спасет всех — то исключительно они или те, кого они вырастили вместо себя. Иначе мы все погибнем, а может, выродимся. Или станем как ваши старики, которые траву сетью ловят. Они очень хорошие старики, но я с такими жить не хочу.

Она опустила глаза — в первый раз отреагировав на его слова чем-то внешним; ей было неприятно слышать это.

— Я остался бы с тобой, — торопливо оправдывался он. — Я понимаю, что без тебя им конец, а может, ты сама отсюда и не можешь жить нигде больше. Но я не хочу так. Это, конечно, тоже не совсем человеческое, но мне нужно другое...

Девушка по-прежнему смотрела на него; тень тревоги как будто мелькнула в ее глазах, хотя могло и показаться.

— В общем, я уйду, — сказал он твердо. — Я еще вернусь, конечно. — Он отлично знал, что не вернется, но от этих несчастных нельзя было уйти просто так, не поблагодарив, не оставив надежды. Может быть, они ждали кого-то вроде него, как ждут Мессию, — чем иначе объяснить их странное гостеприимство, их песню, которую, быть может, они пели только ради него? Нет, нет, он не мог уйти, не обещав вернуться. — Я приду потом, когда найду. Или не найду. Тогда и скажу тебе — нашел или нет.

Он встал, но она, оставаясь на земле, обеими руками поймала его руку и потянула вниз; она тянула слабо, но упорно, и на лице ее показалось умоляющее, слезное выражение — такое беспомощное и робкое, что еще немного, и у него опять защипало бы в носу.

— Надо, — сказал он. — Мне так надо, понимаешь?

Она отчаянно затрясла головой.

— Надо, — повторил Рогов. — Я тут у вас жить не смогу и там, — он махнул рукой в сторону далекого Кулемина, — тоже не смогу. Ты в городе-то бываешь? Хлеб иногда купить, пенсию за них получить?

Она кивнула.

— Ну, значит, сама все видишь.

Девушка опустила голову и отпустила его руку.

— Вставай, пойдем. — Он нагнулся к ней и заглянул ей в лицо. Выражение его было теперь странным — тупым, застывшим; глаза смотрели в землю, но вряд ли что видели. — Пошли, пошли. — Рогов тронул ее за плечо.

Медленно и неловко она встала и побрела за ним. Они вернулись в деревню, Рогов взял рюкзак, с порога поклонился старику и вышел. Девушка, как ватная кукла, стояла у косяка. Она не шелохнулась, когда он вышел. Словно костяк вынули, подумал он.

Кем он был для этих людей, да и людей ли? Чаемым принцем, за которого они отдали бы свою единственную спасительницу, свою последнюю радость? Или действительно тем пророком, с приходом которого они наконец смогли бы целиком спеть свою вечно обрывающуюся песню? Или здесь настолько отвыкли от людей, что в радость был каждый новый пришелец?

Рогов надел рюкзак, еще раз оглянулся и пошел к городу. Несколько раз он оборачивался с дороги: девушка стояла в дверях, старуха ковырялась в земле палкой. Он отошел уже метров на восемьсот, когда вслед ему от деревни вдруг донеслось глухое, жалобное мычание. Он посмотрел назад: к деревне брели коровы. Некоторые уже дошли до домов и стояли там, вытянув шеи ему вслед и беспомощно, жалобно мыча.

Он зажал уши и стремительно побежал прочь. Кто останется тут на два дня — вообще не уйдет отсюда. Но и когда Рогов, задыхаясь, перешел на шаг, а дома исчезли из виду, он все еще слышал тонкий протяжный стон и не знал, снаружи доносится он или вечно теперь будет звучать в его голове.

## 5

### РЕКОНСТРУКЦИЯ—2

— Папы нет дома, — ответил ломающийся голос, и тепло, трогательно прозвучало «папа», сказанное этим юношеским баритоном. Остро толкнулась зависть, но сам виноват, сам бросил Мишку. — Он в командировке, будет через две недели. Хотите, Исаак Эммануилович, я маму позову? Она у соседней...

— Не надо, — сказал Бабель. — Я вечером зайду и передам.

Нет, говорить с женой Козаева он не собирался, с его сыном — тоже. Показать в Москве нужно было как можно меньшему числу людей из прежней жизни: ненужные расспросы и слухи только во вред. Он давно знал, что будет делать, выйдя из Чистого (что Чистое не вечно — не сомневался, сомневался только, доживет ли). Анонимность, полная безымянность, другой человек с другой судьбой. Его и предупредили: писать пишите, но помните: вы Тернович. У них там были забавные представления о писательстве и о говорящих фамилиях. Он никогда не позволил бы себе такой безвкусицы в повести о своих скитаниях: Тернович.

Заплатить только кое-какие старые долги. Предупредить, чтобы знали, как себя вести: в том, что как-то себя вести рано или поздно придется всем, он не сомневался. Первый эксперимент — тот, что поставлен над ними, — во время войны принес блестящие результаты, а война была не последняя: будет и еще, и скоро; не внешняя, так внутренняя.

Он вышел из будки и направился на почту — низенький, очкастый, незаметный в любой толпе; на круглом лице блестит нееврейский нос-пуговица, на плече брезентовая сумка.

В почтовом отделении пахло расплавленным сургучом, под двумя портретами кисла сонная девушка. Он купил конверт и к нему сдвоенный лист почтовой бумаги с изображением деревенского домика наверху. Перья были из рук вон, корябали бумагу. Он писал, как всегда, медленно, выбирая слова: не было гарантий, что не читают уже ВСЮ почту. С ним больше ничего нельзя было сделать, с ним и с самого начала мало что можно было сделать, — но вредить Козаеву не хотелось. Устная речь — другое дело, на словах он мог бы многое объяснить, теперь же приходилось быть осторожным. Письмецо отняло у него полчаса времени, один раз на него пристально взглянул старик, зашедший узнать, почему ему в ящик не положили «Гудок», который он вот уже двадцать лет выписывает, стыдно! — но, не найдя ничего интересного в круглом, по-безуховски небритом лице, кивнул каким-то своим мыслям и вышел. Бабель посмотрел ему вслед, подождал — и перо снова пошло повизгивать и царапать (как женщина, которая нас не хочет, добавил бы он в юношеские годы).

«Милый друг мой, — писал он, ставя по неискоренимой привычке „мой” после „друг”, вообще любя постпозитивы, — милый друг мой, пишу коротко, вы поймете. Письмо это уничтожьте сразу. Я был на работе, трудной и сопряженной с опасностью. Не все можно рассказать. Будет время, и мы обо всем поговорим, как раньше. Мы тогда спорили с вами, есть ли замысел во всем, что происходит. — (Формулировка казалась ему достаточно обтекаемой, можно было понять и в метафизическом смысле, но Козаев поймет в буквальном, ибо разговоров явно не забыл.) — Мне кажется, что он есть, и потому не удивляйтесь, если и вас коснется судьба. Об одном прошу: соглашайтесь со всем, что вам будут говорить. Не упорствуйте. Помните, как мы предположили с вами: если не будет упорствовать никто, то общая участь, быть может, смягчится. Вы были правы, хотя и не буквально. Помните: упорствуя, вы никого не спасете. Мы никогда не знаем общего плана, можем лишь посылить не мешать ему. Я вернулся ненадолго, и никто не должен знать об этом отпуске. Предупреждая вас, я не превышаю своих полномочий и все же прошу никому не говорить об этом письме. Но если вы найдете нужным передать мой совет еще кому-то, это будет только к лучшему. Вы можете сказать, что получили его от надежного человека. Я знаю теперь, что определение это имеет ко мне кое-какое отношение.

Не грустите и будьте бодры, мы еще увидимся. Вспоминаю чудесную Валечку и милого Лешу и верю, что всякое горе минует вас. Но если участь многих окажется и вашей, — (он спросил себя, не слишком ли это ясно, и нашел, что не слишком), — знайте, что ничто не делается без смысла и учета наших свойств. Не случайна была и моя судьба, вовсе не столь безысходная, как можно было думать. Если же сейчас вам покажется, — (это был важный, тонкий момент, и его следовало как-то подчеркнуть), — что я передаю вам не свое мнение или склоняю вас к ошибке, вспомните мое обещание никогда не хитрить с вами. Я обязан вам, и помню это, и ценю сказанное слово. Если когда-то и в чем-то вы верили мне, если помните вечера в славном вашем доме, о котором я часто думал вдалеке от него, — прошу вас поверить и сейчас.

Обнимаю вас и верю — нет, знаю, — что впереди у нас много еще встреч и радостей, и родной наш юг еще увидит нас веселыми, жирными стариками, которым будет тогда что вспомнить. Ваш ребе Исаак».

Тут было два пароля: ссылка на жирных стариков (Козаев немало тогда забавлялся этой фразе) и «ребе Исаак», принятая в их разговорах шутивно-почтительная форма. Они должны были уничтожить любое сомнение.

Он вдруг с усмешкой подумал, что никогда не писал Козаеву. Общие их было устным, свободным от этикета письменной речи. Беседовали чаще всего наедине, не особенно поэтому заботясь об иносказаниях. Козаев был простой малый, Бабель любил цельных и ясных людей, не доверяя эстетам — обычно слабакам и истерикам. Но нехитрую тайнопись журналист должен был понять, не ясно только, мог ли еще поверить. Мало было теперь людей, которые бы чему-нибудь верили — особенно если речь шла о старых, давно не виденных друзьях. Прошлое отдалялось с каждым новым днем страха, с каждой бессонной ночью. Иногда Бабель жалел тех, кто прожил эти десять лет на свободе. Их непрерывное и бессмысленное ожидание было страшней всякой пытки. Думал он подчас и о том, что мертвые жалеют живых, — но мертвые никого не жалели, это он знал наверняка.

Да, сегодня люди не верили, что они существовали и как-то действовали вчера и позавчера, время растягивалось, и сам он сомневался, что жил когда-то с людьми, не в тайге, не в Чистом. Но Козаев был не из тех, кто отказывается от прошлого, он видел это по немногим его публикациям, которые успел просмотреть на фронте и потом, в Москве. Конечно, ушла свежесть и радость и тот наивный задор, с которым все козаевские ровесники, толком не видавшие Гражданской, писали о пустынях, колхозах и самолетах. Наивный и радостный пафос странствий и освоений, детский их конструктивизм, недолгое упоение безобидным и благотворным, казалось, насилием над реками и пустошами быстро вытеснялись болезненной восторженностью, истерической экзальтацией самоуничтожения. Тон как будто остался тот же — восторг и священная оторопь, но мощь была уже не своя, чужая, и восхищались все эти юные счастливицы уже не человеком как таковым, но вполне конкретным человеком, в котором словно слились все их таланты и воли. Козаев, пожалуй, еще продержался дольше других. Непостижимо было, как все эти первопроходцы и преобразователи за каких-то пять лет превратились в беспомощных, насмерть перепуганных детей, как повелители песчаных бурь сами низвели себя до песка: он и теперь не вполне понимал, как это сделалось. Никаким страхом нельзя было этого добиться — видно, работала другая закономерность. Стоило ощутить себя всемогущим, сделаться господином рек и дорог, как тотчас рождалась мечта и о самоподчинении. Нет господина, который тут же не сотворил бы себе другого, верховного господина, — наверняка его видел над собой и Сам, и Бабель не удивился бы, узнав, что к концу жизни (не может же она, в самом деле, длиться вечно) он думает удалиться в монастырь, поручив ответственность за паству господину всего. Тот, кто более всех упивался собственной мощью, проходя безводной равниной или взлетая в облака с летчиком, затянутым в черную кожу, — тот был первым и в упоении собственным ничтожеством перед лицом власти и не лгал ни раньше, ни после. Не было иерархии, в которой хоть один участник пирамиды оказался бы свободен от чувства всевластия над обитателями нижней ступеньки и беспомощного преклонения перед хозяевами верхней, все звенья бамбукового ствола были намертво впаяны друг в друга, Козаев ни в чем не виноват.

Он заклеил письмо, надписал адрес, опустил конверт в ящик и вышел в умытую ливнем, посвежевшую Москву. Август сорок восьмого был горячий, душный, с частыми грозами. Только после них ненадолго и можно было вздохнуть. Так во всем. Как ни было погано в девятнадцатом году, а все-таки дышалось как никогда, и сквозь истончившуюся ткань почти исчезнувшего быта просвечивала изнанка, различались узелки. Он плохо



смотрел тогда, глаза его слишком часто туманились жадой оправдания, но дышалось, дышалось — вольнее, чем прежде и потом. Если бы возможна была эта волшебная свежесть без грозы! — но, сама служба грозе единственным оправданием, она не могла возникнуть ниоткуда.

Он шел по Москве и думал: почему в новой ее архитектуре разлито такое величие, а в литературе — такая невыносимая пошлость? Почему эти огромные кирпичи, сложенные в просторные здания, прекрасны и будут прекрасны даже на будущий вкус (может быть, на него-то и станут особенно хороши, очистившись от времени, его примет и наслоений), а такие же многопудовые громады нынешних эпопей из колхозно-индустриальной жизни вызовут только хохот?

Он вспомнил, как в Омске первым делом зашел в книжный магазин: ненавидя себя за это, он так и не нашел за всю жизнь ничего интереснее литературы. В Чистом новые книги были редкостью, не надо им было читать книг. Только после долгих и назойливых его просьб стали что-то присылать, но тут уже началась война и стало не до чтения. В Омске, конечно, не достать свежих журналов, но книжный выбор изрядный, солидный: он пролистал несколько суконных эпопей и понял, что за время его отсутствия изменилось немного. Новый гений не родился из всего этого пламени, да и пламя оказалось не тем, что в девятнадцатом году. Из одного огня выпархивает феникс, из другого выскальзывает саламандра, из третьего вообще ничего не добудешь, кроме пепла и костей.

Скорее всего разгадка была в том, что во всех изобразительных искусствах, от живописи до кино, в котором он много халтурил в предвоенные годы, мертвая натура была прекрасна и величественна, а в литературе — единственном из всех искусств, имевшем дело с живой душой, — мертвечина оставалась мертвечиной. Все, даже музыка, было телом культуры, монументальным и музейным телом, в одной литературе дышала душа — и если переставала дышать, слово было только бесчувственной материей. Нечто подобное он еще в начале двадцатых понял об авангарде. Авангард был прекрасен в живописи, в архитектуре, в теории, но в литературе невыносим — нельзя было читать футуристов, немыслимо скучны были эпигоны Белого, так и сяк ломавшие язык. Это была мертвая масса, нечем вздохнуть. Поэтому он не любил романа, не верил больше в роман. Роман был домом новой постройки, многопудовым, каменным, с тою только разницей, что жили в нем такие же мертвые кирпичи под разными именами. Теперь надо было писать совсем коротко, он знал уже, как надо, но не спешил. Сперва уехать очень далеко, спрятаться.

Эренбургу он позвонил из уличной телефонной кабинки. Было странно, что столько всего изменилось в городе, а телефоны прежние. Пожалуй, ни в ком Бабель не был уверен так, как в Эренбурге: менялись те, кто мог ломаться, а этот всегда только гнулся. Вода принимает форму колбы, стакана, шприца, но форма сосуда не влияет на состав воды. Это свойство стоило уважать: он и в Париже, и у нас, и, верно, в первой своей загранице, году в пятнадцатом, когда они еще не знали друг о друге, был один и тот же.

В сущности, слово «еврей» ни о чем не говорит, оно еще шире, размытее, чем слово «русский». Есть иудей, есть жид, есть хасид, рабби, шлимазл, жовиальный одессит, есть несколько женских типов, которые он склонен был называть скорее по именам, ибо типы эти ему встречались, со многими был он близок. Но если был на свете еврей, именно еврей, чистый еврей, то это был Эренбург.

В нем доминировала единственная еврейская черта — точнее, сплав их, чудный синтез независимости и приспособляемости не только не исключających, но обуславливающих друг друга. Он соглашался на все, прилаживался к любой среде — лишь бы сохранить что-то свое, совершенно

от среды не зависящее. Бабель и сам затруднился бы сказать, что это было: вольномыслие? скепсис? жалоба? Печально-юродивое «нет», которое еврей говорит Творцу, тогда как все говорят только «да», тысячу раз «да» и «спасибо»? Бабель любил этот его анекдот, любил и всю эту книгу, в которой сквозь газетную скоропись проглядывала неодолимая тоска внутренней пустоты. Может быть, евреев гнали во все времена именно за то, что они догадались об этой пустоте и служили миру вечным напоминанием о ней; во всяком случае, бешеная их деятельность шла только отсюда. Все это — забалтывание бездны, заплетание ее нитями кропотливого и бессмысленного труда, вся цель которого была в том, чтобы забыть про отсутствие цели. Эту сосущую, свербящую пустоту чувствовали в них, и ей-то благодаря они были так неуловимы, неистребимы. Еврей на всем рисовал вопрос. Иудей знал, зачем живет, и чувствовал в тощих своих чреслах великую мощь Творца; одесский налетчик знал, зачем он живет, и даже иной шлимазл умудрялся выстроить себе мироздание по мерке; но еврей, истинный еврей, трусливый и независимый, неутомимый и робкий, знал, что ничего нет. Для него материя мироздания исчезла задолго до ошеломляющих открытий молодого века. Эренбург был такой еврей — лихорадочно-пустой, и за одно то, что никакому убеждению, никакой цельной системе не позволял он заполнить свою бездну, вечно носимую внутри, Бабель уважал его особо. Не важно было, что он пишет. Все, что он писал, только подчеркивало свистящую эту пустоту, как гипс, залитый в пустоты помпейского пепла, лишь яснее обозначал их.

Даже война ничего не изменила в нем, хотя сделала ему имя, настоящее имя, которого не сделали ни стихи, ни проза. Его фельетоны и передовицы, часто водянистые, всегда избыточные, потому только и читались, что он со своей вечной незаполненностью пытался понять всех: для него и немцы были люди, жалкие, обманутые люди, и потому чтение его статей было утешительно. Враги в его показе были не иноприродными существами, которых так боялись поначалу, а конкретные, со своими семьями и страхами курты и фрицы, и уж обычных-то людей нам, все-таки не совсем людям, грешно было не побить.

Бабель знал, что сам Эренбург к телефону не подойдет, не тот масштаб. Но знал он и то, что Эренбург в Москве: позавчера выступал на конгрессе, он всегда выступал на конгрессах, для того и держали. Ему все равно было, о чем говорить и с кем. Скулящая от огромности мировой пустоты душа его не принимала в этом участия.

— Вас слушают, — казенно сказал женский голос — секретарша или домработница.

— Скажите Илье Григорьевичу, что с ним хочет говорить Исаак Эммануилович, он знает, — быстро проговорил Бабель, не забывая поглядывать по сторонам маленькими, но зоркими глазами в круглых очках.

Эренбург, конечно, ничего не понял. Бабель услышал его ворчание.

— Илья, я в Москве и хочу вас видеть, — так же быстро сказал Бабель в ответ на его хмурое «Слушаю». Этой фразой — «Я в Москве и хочу вас видеть» — начинал он всегда их все более редкие разговоры; вечно один не заставлял в Москве другого.

Эренбург осип от волнения, Бабель услышал, как он прочищает горло.

— Иса, — выдавил он со второй попытки, — Иса, я знал. Ничего не говорите. Или вы можете?

— Я могу говорить, но надо увидеться. К вам лучше не надо. Где и когда вам будет удобно?

— Может быть, у Герцена? — привычно спросил Эренбург, но тут же смешался: — Простите, я просто... я всегда знал, но сейчас стал совсем дураком от неожиданности.

— Ильюша, вы неисправимы. И я даже рад, что вы так неисправимы. Вы забыли, что я и раньше никогда не ходил к Герцену. Если вас не сму-

щает такая перспектива, встретимся на Гоголевском бульваре, у фотоклуба. У вас ведь теперь автомобиль с шофером?

— Да, — ответил Эренбург с гордостью, которую не успел спрятать.

— Так оставьте ваш автомобиль где-нибудь в начале бульвара и подходите пешком. Мы с вами на этой лавочке однажды сидели, помните, когда встретили старуху...

— Господи! — воскликнул Эренбург. — Он помнит старуху! Скажите, но где вы остановились?

Голос его ничуть не изменился, и такая же, почти женская, наседочья забота звучала в нем иногда.

— Мне останавливаться незачем, — сказал Бабель. — Если есть дела, отменяйте: я завтра уеду, а поговорить надо.

Он действительно ничуть не изменился, и та же нераздельная смесь трогательного и отталкивающего, трогательно-отталкивающего была в нем. Это сочеталось, как полет и шарканье его походки — хлопотливая устремленность вперед. Так же шаркали отступления в его романах, хороших репортерских романах, испорченных потугами на эпос. И так же он говорил «Иса». Всегда хотел быть немного европейцем, или азиатом, или кем угодно, но только не тем, кем был. Вода искала сосуд, боялась пролиться... Однажды даже Павленку назвал Пьером — тот дернулся, как дернулся бы русский рабочий, предложи ему собственная жена французскую любовь. Иса — это было скорее по-кавказски, угадывались бурка, шашка, словно намек на кавалерийское прошлое.

Когда-то на этой же лавке, шестой от храма Христа Спасителя, сидели они с ним, только что посетив «Землю и фабрику», выпив чаю в кабинете уютного, по-хохлацки располневшего Нарбута, обреченность которого как-то стусевалась и заплывла, перестала напоминать о себе. (Он знал про Нарбута, его взяли раньше; думал спасти жену, подписал все и выжил бы, но он был калека, а у калеки шансов не было. Калеке надо было стоять до конца, терять нечего. Впрочем, много ли знаем мы о том, что делают с другими?) Тогда, в апреле, звонким и блещущим днем они вышли из «ЗИФа», что располагался на Варварке, и побрели, беседуя, благо делать было нечего, по Бульварному кольцу — до «Художественного» и дальше; здесь присели, и Эренбург закурил отвратительно зловонный «Норд». Он и курил быстро, жадно и так же ел и не мог наесться.

Шел разговор, чуть ли не первый у них настоящий, — Илья, конечно, играл немного в ученика, подшучивал, обращался «мэтр» (Францию любил оба). Мимо спешили какие-то счастливые люди, гулко щелкали копытами лошади, пахло навозом, землей, мокрой корой, — но тут напротив них остановилась высокая грузная старуха, явно из бывших, хотя такое же величавое достоинство видывал он подчас и у самых простых крестьянок. Она остановилась, пристально взгляделась и сказала неожиданно высоким для ее фигуры голосом:

— Вы думаете, мы всю жизнь будем за вас платить? Нет, любезные, сперва мы за вас, потом вы за нас. Так колесико и движется.

Оба они смутились, хотя Эренбург и крикнул в ответ что-то дерзкое: мол, пошла вон, карга, мы по субботам не подаем, — но настроение было испорчено надолго. Не в обиде на жидов было дело, понял потом Бабель. Колесико действительно так и двигалось, только ускорилося до того, что между «ними» и «нами» почти не осталось разницы.

Теперь они стояли перед той же лавкой; Эренбург неуклюже обнял его и сразу отстранился. Бабель было это больно. Он совсем было позабыл при виде не меняющегося друга, что сам-то теперь построен из другого вещества, людям неуютно рядом с ним. Нет, к Тоне нельзя ни в коем случае...

— Вы совсем вернулись? — спросил Эренбург, чтобы заполнить паузу.

— Я был не в лагере, — ответил Бабель, — была одна работа, она и есть, она еще не кончена.

— Рудники? — с ужасом спросил Эренбург. Он, как всегда, знал все слухи.

— И не рудники. Будет время, я скажу вам. Как вы, Ильюша, что вы? Я мало знаю о вашей жизни, хотя много читал...

— Последний роман не читали? — оживился Эренбург. — Думаю, стоящий. Впервые за много лет почувствовал, что дал Европу, живую Европу. — (Выражения типа «дать» или даже «дать вещь» остались от конструктивистов: тот же производственный подход, делатели вещей, дежурная просьба о включении литературы в пятилетний план, чтобы потом отчитаться...) — Но что я! О себе говорите, о себе! — И он стеснительным жестом погладил рукав бабелевского пропыленного пиджака.

Бабель покачал головой, глядя поверх очков. Ильюша не менялся, и не менялось все кокетливое, комическое, неприятное в нем. Впрочем, одно неприятное и не меняется, спасибо ему, низкий поклон! Что в нем-то самом изменилось, кроме страсти все за всеми замечать? Читал ли он последний роман! Допустим даже, что там, где он был (мало ли какие бывают опасные задания), у него находилось время и возможность читать советские новинки, — но начать разговор с этого... Эренбург и у известной стенки спрашивал бы целящихся, читали ли они последний роман и что о нем думают. Проклятое ремесло, заставляющее считать свои буковки смыслом и оправданием мира. Люди, люди, что с вами сделаешь! Как говаривал один его неслучившийся персонаж, все дожидавшийся очереди, но так, кажется, никуда и не вставленный, — гомельский сапожник, нещадно колотивший ученика: «Сколько ни колоти, толку не выколотишь. Если бить мясо, так можно сделать отбивную, но осетрину вы уже не делаете. Если бы наверху это понимали, так все давно бы уже было иначе. Но если все только гладить и облизывать мясо, то и отбивной не получится», — добавлял сапожник. Что ж, в словах его был резон. Интересно, какие у него вырастали ученики. Скорей всего как у всех — из имеющих склонность к ремеслу толк получался, из остальных выходили мученики.

— Ильюша, — помолчав, заговорил Бабель, — я не могу вам всего рассказать, но многие догадки наши были верны. Я вижу, вас узнают. Пройдемся, что сидеть у всех на виду.

— Ждет машина, — предложил Эренбург. — Едем ко мне?

— Нет, не нужно. Погулять хочу, давно не был в Москве.

Они встали и чинно пошли по бульвару, свернули на Сивцев Вражек — там меньше было народу, — и Эренбург закурил; он курил теперь длинные, изящные папиросы с золотым ободком, из коробки с надписью «Советская Украина». Вероятно, их подарили ему на каком-то юбилее советской Украины. Он порывался заскочить в маленький книжный магазин на Арбате, купить Бабеля свой последний роман, но Бабель спешил. Он не забывал поглядывать по сторонам: нет, слезки все не было.

— Вы хотя бы пишете там, Иса? — спросил Эренбург.

— Пишу, пишу. Я напечатаю скоро. Но позвал я вас не для того, чтобы говорить о литературе. Я вас должен предупредить: вас могут взять.

Лицо Эренбурга побелело, колени подогнулись. Странно, что он до сих пор так боится.

— Я знаю, — пролепетал он.

— Не вас лично, — поморщился Бабель, — взять могут любого. У вас столько же оснований бояться, как у всех. Я только хочу сказать: если вас возьмут, подписывайте все. Не больше, чем вам предъявят, но и не меньше. Рассказывайте, кайтесь, придумывайте подробности. Они не очень хорошо умеют придумывать подробности. Помогайте следствию, вы же писатель. Главное — не упорствуйте, что ни в чем не виноваты. Будут пы-

тать, а конец все равно один. Если во всем сознаетесь, что было и чего не было, поедете в лагерь, ну, дадут вам пять или семь... Выживают люди.

— Я знаю, — кивнул Эренбург, — Заболоцкий вернулся... Я думал, что и вы вернулись...

— А он вернулся? — оживился Бабель. — И что, печатается?

— Да, у него взяли два стихотворения, чтобы разругать. Он теперь долго не высунется. Переводит в основном. Переменился очень, постарел, худой...

— Ну, худой — не страшно. А то совсем был поросенок. Видите, पिшет... Главное, помните: если вас берут — это не значит, что вы провинились. Это значит, что вы нужны, что идет проверка — и надо соглашаться, понимаете, соглашаться. Вы, может быть, думаете, что меня подослали. Нет, Ильюша, хотя я не знаю, какие вам дать доказательства. Поверьте мне, ведь вы знали меня.

Он отметил про себя это «знали» в прошедшем времени и подумал, что его язык умнее его.

— Я думал, вас нет больше, — тихо сказал Илья.

— В известном смысле нет, то есть здесь нет, в литературе нет... Ну, в литературе давно не было — так, обозначался, чтоб не подумали, будто совсем потерял дар речи. Я ведь не писал ничего, вы знаете? Роман, новый цикл — все вздор: было тридцать папок начал и концов, набросков, цельного куска ни одного. Я только там опять начал писать, там много любопытного.

— Вы — там? — мотнул головой Эренбург, указывая куда-то, где, видимо, рисовалась ему граница.

— Нет, я внутри страны, тоже дел хватает. Был во время войны в Белоруссии, был в Польше, прошел по старым конармейским местам... Думаю сделать добавления в книгу, — легко соврал он, хотя про Белоруссию и Польшу — правда: был туда заброшен, организовывал партизанский отряд. Отряд действовал удачно, много деревень пожгли за его удачные действия. — Я немного знаю вас, Ильюша, и люблю, поверьте мне. Именно поэтому я не говорю вам всего, легкая, открытая вы душа. Вы ни одного услышанного слова не можете удержать в себе: бурлите, клекочете. Иногда надо поверить на слово. Меня к вам не подсылали, я не агент, не шпион, я не работаю в разведке. Я был довольно близок ко всем этим делам, ходил в известные дома, но их человеком никогда не был, вы знаете. Мне только хочется вас избавить от лишних мучений. Многие из тех, кто упорствовал, спасли себя, купили жизнь. Так купил ее и я, хотя заплатил дороже, чем надо: она не стоит столько. Я не признал ничего. Но вы до конца не выдержите, а тех, кто сдается на полпути, не ждет ничего хорошего. Поэтому я говорю вам: сдавайтесь сразу. Этим вы ничего не измените, никого не предадите. Сами не называйте имен, но если они про кого-то спрашивают, значит, человек уже на карандаше и вы не навредите ему.

— Вас спрашивали про меня? — снова бледнея, прошептал Эренбург.

— Про вас — нет, — соврал Бабель. — Но слушайте дальше, я перехожу к трудным вещам. Они берут не для того, чтобы осудить. Они просто расставляют людей по местам, потому что только так можно проверить, кто к чему годен. Им кажется, что такой предельной проверкой можно правильно разделить общество. Молоку, верно, тоже несладко в сепараторе, а? Раньше был принцип: кто сколько сделает; потом пришли суровые времена, и они придумали принцип: кто сколько выдержит. Тех, кто выдержит все, они используют, тех, кто ломается, — выбрасывают; правильнее всего поведут себя те, кто сразу откажется играть в эту игру и предоставит им наговаривать на себя что вздумается. Такие получают по пять или семь лет и вернутся.

Они шли мимо школы, в которой заканчивались приготовления к началу осени: дети, уже вернувшиеся с каникул, подметали площадку перед

входом и собирали ветки, другие украшали лозунгом вход, два мальчика красили решетки.

— А что, девочек теперь не берут на субботники? — спросил Бабель. — Берегут?

— Вы не знаете? — вопросом на вопрос ответил Эренбург. — Теперь обучают раздельно. Где же вы все-таки были, что не знаете таких базовых вещей?

— Там детей не было, — вздохнул Бабель. — Вы не думайте, Ильюша, — это же отдельный, особенный мир, в нем своя иерархия и множество провинций. В аду есть истопники, есть наблюдатели и есть грешники. Я думаю, грешникам лучше всего. Их помучают, очистят от грехов и выпускают. А истопникам и наблюдателям торчать там вечно. В аду лучше быть гостем, чем хозяином, вы не находите?

— Пожалуй, — как бы нехотя согласился Эренбург. — А вы меньше изменились, чем кажется. Я хотел бы почитать, что вы пишете.

— Почитаете, — пообещал Бабель. — Но если я действительно мало изменился, вы поверите мне и не будете играть в их игры. Знаете, что самое главное? Главное — не принимать их условия. Я пытался это делать тут, но там не сразу сориентировался. Ведь они действуют как? Я тоже не сразу это понял, но теперь могу примерно сказать: главное — они хотят, чтобы вы играли по правилам. А сами могут делать что угодно. Они хотят, чтобы вы были последовательны, а сами сделают свою прямую такой извилистой, что вы концов не найдете. Главная задача — повернуть так, чтобы вы были не правы. Так будьте не правы с самого начала — тогда с вами уже никто не сделает ничего.

— А вы? — спросил Эренбург. — Как было с вами?

— Я — другое дело, — неохотно отвечал Бабель, — я думал сначала, что если упереться, то можно их заставить пойти на попятный. В результате они сохранили мне жизнь, дали даже работу, но это только мой вариант, другим он не годится. Они все равно возьмут свое. Если вы выдержите все, — предположим такой немыслимый случай, — они заставят вас делать все, что угодно, думая, что вам теперь все равно, раз вы железный. И вы будете это делать ради них. Все, что вы делаете, будет ради них, в томто и штука. Вы все равно не поймете сейчас, о чем я говорю. Поэтому просто послушайтесь и сразу признайтесь: тогда они по крайней мере не смогут сначала мучить, а потом использовать вас.

— Нет, я пойму, — неожиданно сказал Эренбург, — я давно догадываюсь. Знаете, Иса, это к лучшему, что вы сейчас не в Москве и что вас вообще не видно. Я знаю по некоторым признакам... и говорят... — Он прилизил губы к уху Бабеля и зашептал с лихорадочной быстротой: — Скоро возьмусь за нас. Будет государственный погром.

Бабель в изумлении посмотрел на него поверх очков. Он не совсем еще разучился удивляться.

— Очень интересно.

— Да, да... Они готовят большой погром, мы уже не смогли напечатать книгу о фашистских зверствах на оккупированных территориях, уже считается, что победил один русский народ... Они начинают издали, но метят в нас. Сначала ругают Запад, потом преклонение перед Западом... я знаю, знаю. Следующие будем мы. Может быть, это тоже испытание — в конце концов, он семинарист, он мог читать, что Бог испытывает свой народ. Но скорее всего мы ему просто надоели. Я думаю, вы преувеличиваете, говоря про испытание. Вас одного могли оставить в живых чудом, вспомнить заслуги, талант... Может быть, им нужен свидетель их небывалых дел, когда можно будет рассказать... Они же так любят дарить писателю бесценный опыт. Но здесь все будет без испытаний, они просто возьмут и натравят на нас остальных, — (он даже тут не сказал «русских», он любит русских, подумал Бабель). — Вы знаете, это легко.

Насчет испытания Бабель разубеждать не стал. Ни к чему рассказывать про Чистое: не запрет, но стыд подсказывал ему молчать о поселке. Вообще говоря, идея разобраться с евреями была по-своему красива, была роскошной иллюстрацией той непоследовательности, которая составляла главное условие всех побед. Только что мы спасли еврейский народ и тут же показали ему, кто теперь Бог Израиля. В этом внезапном повороте чувствовалась почти библейская мощь. Значит, рассортировать евреев, сделать отряд НАШИХ евреев... остальных можно в пыль — ненадежный сорт... Черт, может, они это смекнули, глядя на меня? Я ведь был у них на хорошем счету, говорили, что такого подрывника поискать... Да, что бы ты ни делал, всегда играешь в их игры. Но с другой стороны... с другой стороны, тут была последовательность особого рода — последовательность неумолимого, самого точного выбора; он знал ее за Верховным и сейчас опять поразился его чутью. Отбирать из уже избранных, отфильтрованных веками гонений, закаленных тысячелетиями скитаний... странно, что он не начал с нас, но поначалу еще надо было соблюдать видимость всеобщего равенства. Теперь можно переходить к нам; да, да, прицел был таков с самого начала. Как странно, что даже в худших своих предположениях я до сих пор не поспеваю за ним! Все дело в том, что он всегда играет на повышении: не успеваешь научиться жить без одной руки, как тебе обрубают ноги...

— Я не исключаю, — медленно проговорил Бабель, — хотя не знаю всего. Но думаю, что мой совет верен и в этой ситуации. Кайтесь в любых грехах.

— Как Бухарин, — прошептал Эренбург еле слышно.

— Бухарин — отдельный случай, сам из них, — быстро ответил Бабель. — Бухарин был ближний круг и так легко сломался, им это казалось предательством. Остальные — совсем не то, их не убивали. И вас не убьют, не та вы шишка, чтобы они считали вас своим. А если убьют — надо иметь в виду и такой вариант, его всегда надо иметь в виду, — вы по крайней мере умрете человеком. Не животным, ползающим в своих испражнениях, а человеком.

— Человеком?! — возмущенно переспросил Эренбург. — Все признать, оговорить себя — это вы называете хорошей смертью?

— Хорошей смерти не бывает, — улыбнулся Бабель. — Бывает плохая и очень плохая. Та, о которой я говорю вам, — не худшая.

— Иса, вы живы? — спросил вдруг Эренбург. — Мне кажется, что вас послали не они, а какая-то, — он усмехнулся, — более высокая инстанция.

— Это опасное заблуждение, — сказал Бабель. — Чрезвычайно опасное. Большой наш порок, что мы все время думали, будто они имеют какое-то отношение к более высокой инстанции. Будто она посылает нам что-то через них. Нет, Ильяша, у них свои промыслы, а там — свои.

— Там мы тоже всегда проигрываем, — скептически улыбнулся Эренбург. Он был все тот же Эренбург, трусливый, но говорящий «нет»; очень может быть, что и «нет» свое он говорил из трусости, не желая признать правоты за кипящей, кровавой, огненной лавой жизни, — но за этой лавой и не было никакой правоты. Надо ли было вариться в ней всю жизнь, чтобы понять это? Не всегда надежный, тщеславный, как все данники их постыдного литературного дела, он во всех компромиссах сохранил свое отрицание — такое отрицание, что на фоне его было все равно, к чему приспособливаться. Да, это был все тот же Эренбург, но они не виделись десять лет, и он понял теперь, как все-таки любил его, бедного.

— Не думаю, — ответил Бабель. — Там мы проигрываем не всегда. Ну, поговорим позже.

Странно, что Илья не победил еще в себе страха. Не дай Бог, чтобы страх этот из него выбили следовательскими кулаками. Пора было идти. Бабель не знал, увидятся ли они еще, но почти не сомневался, что Эренбург

гу придется идти по своим кругам: кажется, он сделал все, чтобы дать ему шанс на спасение. Страшно было отпускать его туда, но и прятать некуда.

— Вас они не убьют, — вдруг успокоил его Бабель. — Вы слишком фигура, чтобы вас убить, сделать врагом. Вы им нужны будете живой. Сделайте, как я сказал, и будете живы. Это я говорю вам верно. Ну, свидимся.

Он быстро и неловко обнял Эренбурга и пошел прочь.

— Иса! — крикнул Эренбург вслед. — Вы появитесь еще?

Он обернулся, кивнул и ускорил шаг.

Только одного еще человека надо было повидать непременно, и человек этот был Олеша — чудом уцелевший, обреченный еще в тридцать седьмом. Все, кого Бабель в тех кругах знал, прозрачно намекали: Олеша ведет себя неправильно. Одно время Бабель думал, что это хитрость (он во всем тогда видел многослойную, сложную хитрость, пока не догадался, до чего все просто). Многие думали, что Олешу, со всеми его ресторанными филиппиками и салонной фрондой, не трогали именно из-за этого: ходил в осведомителях... Но в осведомителях он не ходил. Бабель был уверен на протяжении своей жизни в пяти-шести друзьях, из них до сего дня дожили трое, двоих он уже предупредил.

У Олеша телефон сменился, но Бабель знал, где можно найти друга. Был никому не ведомый шалманчик у Белорусского вокзала, туда Олеша ходил во дни безденежья. Судя по атмосфере, дела его не могли быть блестящи. Это до войны он хаживал в «Националь». В сущности, предупредить его было ни к чему: он был теперь, видимо, почти руина, таких не брали. Разрушать себя он начал давно и целенаправленно, вообще был педантом, и это был лучший выход: опередить на ход, успеть раньше, чем тебя разрушат они. Его потому и не взяли в тридцать восьмом, что, по сути, уже и в тридцать шестом-то нечего было брать. Эренбурга Бабель уважал за самосохранение, Олешу — за самоуничтожение, в котором он опередил собственную судьбу. Такая игра дорогого стоила.

Бабель успел выпить две кружки пива, стоя за грязным мраморным столиком. Неопрятный старик, сутулившийся рядом, предложил ему вяленого леща, Бабель поблагодарил и взял. За окном стал сеять дождь, уже не тот, что утром, — буйный, освежающий, — а мелкий, тихий. Бабель не услышал, а увидел его косою пунктир на стекле, которое с каждой минутой мутнело и синело. Бабель никогда не понимал, как можно написать московский пейзаж: в московском пейзаже не было красок.

Олеша пришел к девяти вечера, уже пьяный, в грязном черном пальто, несмотря на теплынь: пусть дождь, но не ходить же летом в этом убожестве! Первый признак разрушения — все время мерзнешь: все виденные Бабелем бродяги и старые, потерявшие удачу воры были в салых тряпках, облезлых кацавейках. Олеша постоял на пороге, выискивая знакомые лица, увидел Бабеля и без тени изумления или страха направился к нему.

— Здравствуйте, Бабель, — сказал он.

Старик рядом кивнул Олеше и не обратил ни малейшего внимания на произнесенную фамилию: был поглощен своей рыбой.

— Хорошо, что вы пришли. В последнее время все такая дрянь ходит. Вчера был Авербах.

Авербах подписал все, оговорил тьму народу, каялся, но его пощадить не могли: своих не щадили. Дали власть, а он не оправдал.

— Ходит кто попало, — продолжал Олеша, не делая пауз для возможного ответа собеседника. Он давно привык работать в режиме монолога: некому было поддерживать блестящий разговор, и не призраку же представлять слово для ответа. — Был Воронский, был Дементьев. Мейерхольд никогда не придет, он мне не может простить, что я не защитил Зину. Что же я мог? Маяковский не ходит, он верил в меня, а я не оправдал его надежд. Но то, что я делаю здесь, тоже искусство.



Это было немного театрально, но, в общем, неплохо. В конце концов, лучше, чем эпопея. В некотором смысле он изобрел новый жанр, но в нем мог работать только сам. Хорошо, что меньше стало метафор: они отвлекали от сути и резали глаз, в то время как основной язык, язык чувств и характеристик, был бедноват. Олеша умел сравнить так, чтобы было видно, как он умеет сравнить, но не так, чтобы было видно предмет.

— Неплохо, — честно одобрил Бабель. — Но надо записывать, или это умрет с вами. Может быть пьеса, монопьеса. Вы один говорите со всеми, их не видно, зритель видит только вас, но для вас они реальность.

— Я остыл к театру, потому что мне не нравятся его люди. — Олеша достал из кармана ополовиненную чекушку и прикончил в один глоток. — Я любил Мейерхольда, но он бросил меня. У Мейерхольдов было так: они брали человека, приближали к себе, делали своим, а потом выбрасывали, потому что увлеклись новым. Я должен был к этому готовиться, но я — другое. Лисица знает множество вещей, еж знает одну большую вещь. Я всю жизнь думаю об одном и том же — о моем праве на жизнь. Мейерхольд думал о тысяче разных вещей, и я быстро наскучил ему. Я наскучил всем, а вы меня терпите только потому, что вас тоже интересует одна большая вещь. Вас интересует гибель, а я гибну. И вы смотрите.

— Я бы даже сказал — люблю, — ответил Бабель, действительно любовавшийся.

— И что, узнали вы там наконец, как это бывает?

— Как это бывает, я знал и здесь. Но что это такое, не понял до сих пор. Самое обидное, что ты и там этого не понимаешь. Более того: чаще всего даже не замечаешь, в какой именно момент это с тобой происходит.

— Но вы в раю? Я надеюсь, что вы в раю.

— Нет, друг мой, все не так просто.

— Минуту, минуту... Это интересно. Вы подождете, пока я возьму себе пива?

Бабель хотел было попросить, чтобы он взял и ему, но понял, что это будет нарушением правил, и молча кивнул. Олеша вернулся с двумя кружками, обе поставил перед собой и тщательно сдул пену с первой.

— Ну так продолжайте. Вы начали про рай.

— Я не был еще в раю, — ответил Бабель. — Был в аду, поварился там, надоел всем. Полагаю, что главные грехи мои искуплены. Теперь я в чистилище — какой-то полусвет, столы, кружки... Сегодня ночью меня переводят в рай.

— Остро... — Олеша взглянул на него исподлобья. — Из вас не выварили яда в вашем аду. Если это чистилище, то здесь неплохо. Пиво только дрянное, но оно везде теперь дрянное. Все теперь дрянное. Раньше было качественнее: и мучители, и мученики, и пытки. Теперь так себе, отработывают жизнь спустя рукава...

— Имеете двадцать копеек, — сказал Бабель.

— Нет, нет, меня тоже коснулось это обесценивание. Разве так я говорил раньше? Впрочем, вы не помните, там, говорят, отмирает память...

— Врут.

Олеша его не услышал — шел новый монолог:

— Но я еще могу придумать сюжет. Хотите сюжет? Вам все равно не пригодится, но если вдруг в раю потянет писать — берите. Некий изобретатель... психолог... вдруг открывает, что каждого человека можно свести с ума, подобрав к его рассудку особый код. Сказать несколько слов, и вы ребенок, или маньяк, или растение — без чувств, без мыслей... Он забавляется, подбирая эти ключи, изучая биографии, ставя опыты... И знаете ли, что выясняется? Чтобы девушка, чьей любви он домогался, утратила всякую волю к сопротивлению, ей надо прочесть древний воинственный гимн — настолько сильна ее ненависть, настолько тверда воля. Гимн войдет в резонанс с ее ненавистью, как рота солдат с мостом, и сопротивле-

ние рухнет. Но самое странное, что надо сделать, чтобы свести с ума местного тирана. Надо прочесть ему детскую считалку: эники-беники ели вареники. Ведь он дитя, всего только обиженное дитя... Самые страшные существа в мире — обиженные дети. В сущности, я всю жизнь только тем и занимаюсь, что ищу такие ключи, но пока свел с ума только себя самого...

Старик, предложивший Бабелю вяленого леща, в испуге взглянул на Олешу и, не допив кружки, с неожиданной для него быстротой вышел.

— Вот еще один, — улыбнулся Бабель.

— Да, я мог бы написать это... но теперь большие вещи уже не для меня. Я могу теперь писать только крошечные кусочки — по одной, по две фразы. Это конец, распад. — Олеша сделал огромный глоток.

— Вы напоминаете мне птицу, — по привычке оглянулся Бабель. — Вы напоминаете мне птицу, которая научилась летать и жалуется, что не может больше ходить. Зачем писать романы? Это мертвый жанр, жанр детства человечества. Посмотрите, все уменьшается, стремится к миниатюре. Мы доживем еще до переносных радио, до крошечных пишмашинок, которые сами бегают по листу, управляемые, может быть, движением вашего глаза... Литература сведется к рассказу, а рассказ — к слову, знаку. Пишите свои отрывки, составьте из них книгу, и это будет книга вашей жизни.

В глазах Олеша, впервые за время разговора, загорелась надежда.

— Вы думаете? — спросил он.

— Думаете вы, — ответил Бабель. — Я только выражаю ваши собственные тайные мысли.

— Но что, если вы живой? — спросил Олеша. Как все настоящие, законченные алкоголики, он ненадолго трезвел от выпитого, чтобы потом окончательно обвалиться в беспамятство.

Бабель опять усмехнулся: забавно. Эренбург боялся, что он мертвый. Олеша боится, что он живой.

— Я вам подарю сюжет для пьесы. — Бабель снова оглянулся. — Разговаривают двое, и каждый уверен, что собеседник мертв. В некотором смысле оба правы. По крайней мере можно ничего не скрывать. Это единственная форма откровенного разговора.

— Слушайте, — сказал Олеша с неожиданной жалобной нотой в голосе. — Почему меня не берут? Я что, полное ничтожество?

— Будет вам, — успокоил его Бабель. — Это не критерий. А насчет книги отрывков правда подумайте. Я с удовольствием прочел бы ее. Мне пора. Будете в Одессе, заглядывайте.

— Так вы в Одессу?

— Думаю, да, — сказал Бабель. — Какой еще рай они выдумают, кроме Одессы? Впрочем, знаете, иногда я думаю: а вдруг и в раю все то же, только более высокого порядка? Опять кого-нибудь убивать... Мне начинает даже казаться, что у вас в чистилище лучше. Как на ваш вкус?

Но Олеша уже не ответил ему. Кратковременное оживление прошло, взгляд его сделался бессмысленным, нижняя губа безобразно отвисла. Красивого разложения не бывает. Бабель положил под его кружку несколько купюр и вышел в дождь.

Наутро Олеша проснулся и смутно припомнил разговор. Приходил Бабель, да; подсказал идею с книгой короткой прозы... Но Бабеля давно нет. Это говорил его собственный большой рассудок, ведь слова его галлюцинации — его слова. Значит, мозг нащупал выход. Надо только писать каждый день, пусть хоть строчку, но каждый день. Он так и думал до конца дней, что сам это изобрел.

Поезд в Одессу отходил с Киевского вокзала в двадцать три пятнадцать. Бабель взял билеты еще с утра, дел в Москве больше не было, он не спеша добрался на троллейбусе «Б» до Смоленской площади и пешком перешел

Бородинский мост. Вокзальная площадь была перегорожена: строилось метро. Он подходил уже к башне вокзала, когда услышал сзади окрик:

— Майор!

Народу в этот час было мало. Окрик мог относиться только к нему, надежду следовало оставить. Майора он получил после Кракова. Обернулся.

— Большой город, а не разминешься, — сказал Сутормин.

Сутормин попал к нему в группу в конце сорок третьего, когда набора в Чистое уже почти не было. Серьезный был малый, потому и взяли.

— Здоров, лейтенант, — сказал Бабель.

— Куда собрался?

— Что мне тут делать, я на родину поеду.

— А жена, дети?

— Сын давно с другим папой, жену пугать не хочу.

— А я гуляю, майор. Тут в вокзальном буфете до утра наливают, икорка, культурненько... Слышь, пошли бы опрокинули грамм по двести.

— Не могу, поезд скоро.

— А... Ты понимаешь, я уж думал — все, ничем меня не возьмешь. Но тут гулял я сегодня по Москве и вдруг вижу — он! Который сдал-то меня тогда. Я знаю, он донес, больше никому. Особист, конечно, не говорил — кто; там вообще разговоры были короткие. Но я-то чуял, я о многом только с ним говорил. Может, письма еще... но письма я аккуратные писал. И представляешь — идет гладкий, в форме, остался, стало быть, в армии... Еще стихи мы с ним друг другу читали, ты представляешь? Я много стихов знал... Идет прямо мне навстречу, а? Я юркнул в будочку телефонную, там стою, и тут словно кто взгляд его направил — как упрется в меня! Слушай, побелел весь. Тут-то у меня сомнений не осталось: все, точно он. Он донес. Я его подманиваю, а сам глазами шнырк-шнырк: если народу много, так никто и не заметит, как я его... Конечно, хорошо бы помучить, чтоб понимал, но где ж ты его помучаешь? Со мной не пойдет никуда, тоже не дурак... А так бы я его аккуратненько положил, подруга-то верная вот она. — Сутормин сделал неуловимое движение, тоненько блеснуло лезвие. Эти штуки он умел хорошо. — Ну вот. А он как дернет от меня... Думаю, укалсся, не иначе. Теперь гуляю. Имею я право, майор?

— Имеешь, лейтенант, — ответил Бабель. — Имеешь, Костя.

Он мог теперь назвать его по имени. Сутормин слишком мало пробыл в Чистом, он был еще слишком живой, в нем жива была ненависть и смешной дух мщения. Никому нельзя отомстить: все, кто был там с довойны, это понимали.

— Пойду я, — сказал Бабель. — Ты бы подругу-то не распускал.

— А кто меня теперь тронет? Мы ж неприкасаемые. Отслужили. Дальше Чистого не пошлют.

— Пошлют, Костя. — Бабель прямо посмотрел в его сплошь черные, чуть навывкате глаза. — Никто ни на что не посмотрит, и вся их благодарность — может, сразу шлепнут. Ты думаешь, у тебя здесь индульгенция лежит? — Он хлопнул его по нагрудному карману. — У тебя, может, здесь смертный твой приговор лежит.

— Индуль... что?

— Ладно, Константин, передо мной-то не играй. Я своего брата книжника за версту чую. Это там мы еле говорили — поди-подай, целься-пли... Ты ведь вузовец, верно?

— Догадлив, майор. С исторического.

— А если с исторического, так вдвойне должен все понимать про их благодарность. И мой тебе совет — уезжай из Москвы подальше. Мама жива?

— Жива. Вернулась недавно.

— Вот и уезжайте, пока целы оба. Подальше, подальше. Лучше бы в деревню. Тебе на виду ходить не надо, тебе прятаться надо.

— Думаешь?

— Я не только думаю, я и делаю. — Бабель взглянул на часы: у него оставалось десять минут — ровно столько, чтобы пройти к поезду. — Бывай здоров, лейтенант.

— Ты куда теперь?

— В Брянск, — схитрил Бабель. Нечего слишком откровенничать, даже и с таким хорошим парнем, как Сутормин. Встречи с прошлым хороши, но утомительны.

— Буду в Брянске — поищу.

— Поищи. — Бабель хлопнул его по плечу, повернулся и пошел к поезду.

— Слышь, майор! — крикнул Сутормин ему вслед. — Как тебя звать-то? Теперь-то?

— Симен, — отозвался Бабель не оборачиваясь.

В Одессе он снял комнату близ порта, устроился в «Маяк», где ответственным секретарем служил верный человек, помнивший его, и тихо прожил еще двадцать лет, работая правщиком — то есть придавая ума и блеска чужим газетным писаниям, в которых за угрюмой скукой канцелярита не так уж трудно было разглядеть ироническую и пылкую душу южанина. Он выпускал эту душу, счищал с нее шелуху, и ничего прибавлять не требовалось. «Маяк» стало можно читать, им начали гордиться.

Он увидел любимую свою Молдаванку, и Привоз, и Дюка, и Екатерининскую, и Пушкинскую. И он увидел море. У моря он проводил теперь почти все свободное время, додумывая свою московскую мысль о том, что монументальная архитектура прекрасна, а монументальная литература невыносима. Он брал теперь шире. Сидя у моря, он понимал, что пленившая его когда-то эпоха только и делала, что подражала природе, перенимала ее законы — или, вернее, единственный ее закон целесообразности. В мире природы нет незаменимых, одна морская волна не хуже другой, и он жил в мире, где никто не считался единственным. Природа не знает нравственного закона, но знает глухой и слепой инстинкт жизни: он прекрасен в траве, в плюще, заплетающем развалины, прекрасен даже тогда, когда природа жадно и быстро уничтожает дело рук человека. Но общество людей, руководимых только этим инстинктом, невыносимо для живой души.

Природа знает примеры взаимопомощи и примеры борьбы за выживание, она гениально непоследовательна и этим неотразимо обаятельна. Природе нельзя верить, ее смешно наделять душой и мыслью. Душа и мысль даны только нам, и если в погоне за величию природы мы подражаем ее равнодушию и жадной, ползучей воле к жизни, единственным доступным нам величию становится величие зверства. Он понимал теперь, что восхищало его в крупных и сильных характерах девятнадцатого года. Перед ним была людская масса, отринувшая все людское, живущая темным и необоримым инстинктом выживания, целесообразности и равновесия; он был мыслящей щепкой, носимой по этому морю, но слезы страха и восторга мешали ему видеть истину. Истина заключалась в том, что страна, полагавшая высшей добродетелью приспособление и цепкость, была обречена пожирать самое себя, с болью и мукой вновь рождая человека. И как мертвеет литература, перенимая каменное монументальное величие нового ампира, так мертвеет жизнь, когда общество распространяет на себя критерии дочеловеческого тварного мира, в котором нет совести и сознания, хотя есть дикая мощь и подлинное величие.

Он любил смотреть на море, наслаждаясь тем, как уместно и гармонично здесь было все то, что мучило его в истории. Он полюбил пустые пляжи, пустыри и ржавчину окраин, торжество травы и песка над следами человека, победу круга над прямой, силу и беспощадность природы в предельном ее выражении. Его вечно тянуло к противоположности, к слепой

и могучей жажде, к бессмертию ползучей силы. Он любил все это, как можно любить абсолютно и безнадежно другое. Все это нас переживет, и правильно сделает. Человека всегда тянет к морю, пустыне и джунглям, к жадному росту, пышному цветению, ломким сочным стеблям, к бессовестным и лживым женщинам, которые одни умеют внушить истинную страсть; но пока человек жив, он другой породы.

В пятьдесят втором он женился на молоденькой, только из школы, и за последующие шестнадцать лет своей жизни рассказал ей все. Он написал две книги коротких рассказов и несколько писем к старым друзьям, якобы от читателей. Получил участок за городом, с удовольствием там возился. Сын его, родившийся в этом браке, эмигрировал в начале восьмидесятых, сейчас в Лос-Анджелесе, программист. Проза лежит у жены, готовая к публикации, но время ее еще не пришло.

*(Окончание следует.)*



---

---

АЛЕКСАНДР ТРУНИН

\*

## СИЛЬНЫЙ ВЕТЕР

\* \*  
\*

Так вот отчего наступает рассвет  
и время приходит, которого нет  
ни в памяти, ни в анналах,  
и будит великих и малых.

К опасному промыслу сердцем привык —  
ныряю в родимый бездонный язык  
навстречу шипенью и гуду —  
насущное слово добуду.

Так рыбьими тропами плыть вразнойбой  
и дна рокового касаться судьбой  
до самого черного ила —  
нам скудное время ссудило.

\* \*  
\*

Только всего и зная, что снег  
снегопадом бывает и вьюгой,  
и одну вполне признавая из мекк —  
деревеньку малую под Калугой,

где заезжий кот беспечно играл  
в скорлупу ореховую чуть свет  
и наивный блеск ледяных зеркал  
обещал с три короба — да и нет,

где дрожала ветка в раме двойной,  
торопясь сказать, — и бежала дрожь...  
И какая связь между ней и мной —  
до сих пор как следует не разберешь.

\* \*  
\*

Слеза дорогу знает —  
скупа или щедра, —  
ее влечет земная  
засохшая кора.

Она ползет морщиной  
и складкой у губы  
с надеждой беспричинной  
достичь морской воды.

\* \*  
\*

Сквозь февральскую серую вьюгу,  
чтобы стало кому-то тепло,  
кто-нибудь, позвоните в Калугу,  
просто так позвоните... Алло.

Сквозь неявную жизнь, сквозь вопросы,  
на которые брезжит ответ,  
сквозь бездомные сны, сквозь белесый  
ниоткуда струящийся свет,

сквозь последнее наше дыханье,  
сквозь оправу, что ночи черней,  
просто прозой и просто стихами,  
просто музыкой — это верней.

\* \*  
\*

Мне б хотелось чего-нибудь вам подарить,  
всем, кому я должник безнадежный,  
потому и листаю во сне словари  
и плутаю, как в чаще таежной.

Мы живем удивительно, вот расскажи,  
как живем, ну кому-нибудь, только без лоска,  
засмеется, пожалуй... Дружок, не тужи,  
видно, черная в жизни полоска.

Мы живем без того, без сего, без всего,  
и в заначке ни доллара нету, ни цента,  
на обшарпанной улочке имени -го,  
но в отличном районе, возле самого центра.

Мы живем, в самом деле живем, не шучу,  
а с чего умирать-то, с какого испугу...  
Разве съехать с квартиры — минутку, лечу —  
да Саратов сменять на Калугу.

Все провинция, почва, черемуха вдрызг,  
 окочурился век золотой ненароком.  
 Мы живем... Это голубь слетел на карниз —  
 это ангел в молчанье глубококом.

\* \*  
 \*

Все было так, как было надо  
 кому-нибудь да как-нибудь.  
 А нам — последняя отрада,  
 последний вздох, последний путь.

Хотя бы это нам оставьте,  
 когда уйти придет пора:  
 еловых веток на асфальте  
 не убирайте до утра.

\* \*  
 \*

Ветер силен, но можно стоять на ногах,  
 даже пройти осторожно от дома к дому,  
 то напирая грудью на воздух, то делая взмах  
 вместо крыла рукой навстречу порыву тугому;  
 лучше всего сидеть в четырех стенах,

бить баклуши, не целясь, или играть с котом,  
 свет погаснет — зажечь запыленный огарок —  
 как там в Михайловском Пушкин? — выберу нужный том,  
 Собр. соч. в десяти томах, книга лучший подарок,  
 так нас учили когда-то, да перестали потом;

мудрость, она ведь в чем — отсидеться всласть,  
 если никто не зовет и никому нет дела,  
 если родные, близкие, сослуживцы, начальство, власть  
 не претендуют на душу твою и тело;  
 как хорошо исчезнуть для всех, пропасть

где-то на малой родине, в милом своем закутке,  
 лучше еще, если сошлют в родовое имение,  
 между прогулкой и сном смотришь — перо в руке,  
 глянешь — стишок готов между бездельем и ленью;  
 так и живешь безгрешно с музой накоротке,

слушаешь ветер, жмешься поближе к печи,  
 думаешь: дом ветшает, надо б заняться ремонтом  
 как-нибудь летом. От чая во рту горчит.  
 Ветер шумит словно над древним Понтом.  
 Да ковыляет фонарик чужой в черной ночи.





---

---

ВЯЧЕСЛАВ ПЬЕЦУХ

\*

## БОГ В ГОРОДЕ

*Маленькая повесть*

1

**Д**амский мастер Александр Иванович Пыжиков украл ножницы, причем бывшие в употреблении и самого обыкновенного образца. Зачем они ему понадобились, он и сам толком не мог сказать, поскольку дома у него этот инструмент имелся в нескольких экземплярах, и все производства фабрики № 2 Всероссийского общества слепых, на которой еще делают английские булавки и бигуди. Хищение это, имевшее на удивление грозные и фантастические последствия, было совершено 22 января 1994 года в парикмахерской на углу улицы Карла Либкнехта и Хлебного тупика. Но в котором именно городе это было — следует утаить во избежание кривотолков и нашествия паломников; скажем только, что было это в нечерноземной России, ближе к Уральскому хребту, в пределах третьего часового пояса, а там будь это хоть Вятка, хоть Усть-Орда.

История города... — это к тому, что вне исторического обзора у нас много невинного явления не понять, — так вот, история города, в котором родился, живет по сю пору и скорее всего умрет дамский мастер Александр Иванович Пыжиков, в кратком изложении такова...

Он был заложен не так давно, как коренные русские города, в самом начале Смутного времени, когда еще на престоле сидел царь Борис Годунов, известный градостроитель, и долгое время был славен тем, что тут приготавливали лучшие в России соленые огурцы. Несколько позже в городе было основано мыловаренное производство, которое первое время не задавалось, так как с золой случались постоянные перебои, хотя вокруг стояли непролазные смешанные леса. Однако с тех самых пор местная промышленность приняла именно химическое направление, и уже при большевиках оно увенчалось сооружением огромного волоконного комбината, получившего в просторечии название — Химзавод. Понятное дело, вокруг него вращалась вся городская жизнь, и даже восточная половина города прозывалась этим именем — Химзавод, равно как прочие части горожане окрестили в честь предприятий помельче: Мелькомбинат, Биостанция и Депо. То есть поэтической здешнюю топонимику не назвать, и это по-своему странно, потому что вообще в русской жизни поэзии, как говорится, невпроворот.

Итак, чем же достопамятна история этого города? А ничем. На протяжении четырех столетий люди рождались, трудились, перебивались с петельки на пуговку и умирали во цвете лет. Время от времени давало о себе знать движение технической мысли — например, на смену соевым свечам

пришли спермацетовые, потом стеариновые, потом появилось керосиновое освещение и, наконец, восторжествовала «лампочка Ильича». Однако на течении жизни это не сказывалось никак, горожане по-прежнему рождались, трудились, перебивались с петельки на пуговку, умирали во цвете лет, и только в периоды болезненных припадков, которые составляют событийную сторону истории, жизнь отчасти выпадала из проторенной колеи. Так, в Смутное время чуть ли не половина мужского населения города, по наущению казачьего атамана Сороки, разбойничала на большой дороге Москва — Тобольск.

Степан Разин до города не дошел, но при первых же слухах о его приближении обыватели самосильно сбросили с колокольни воеводу Мартына Прозоровского и дотла разграбили его двор. В эпоху Петра Великого каждого третьего горожанина забрили в драгуны и впоследствии положили в Персидском походе, который был предпринят из видов расширения империи на восток. Вообще город сильно пострадал из-за внешнеполитического курса романовской династии: местные и Дербент держали в осаде, и Берлин зачем-то брали в Семилетнюю войну, и участвовали в переходе через Швейцарские Альпы (?!), и в Родопах замерзали насмерть в предпоследнюю русско-турецкую кампанию, даром что Родопы и российское Нечерноземье куда как друг от друга удалены.

Емельян Пугачев также до города не дошел, но при первых же слухах о его приближении горожане повесили на воротах градоначальника Матвея Ивановича Птицына, его жену, сына, пасынка и сноху. Кстати заметить, местные всегда отличались загадочным, прямо-таки непостижимым комплексом чувств по отношению к городским властям, если, конечно, исходить из общепринятой логики и возможностей заурядного человеческого ума. Так, в вёдреную погоду и при атмосферном давлении в 760 миллиметров ртутного столба они благоговели даже перед лычками и выпушками на мундире здешнего градоначальника, но в переменчивую погоду, в полнолуние и в период с августа по ноябрь свободно могли разорвать его на куски.

Восстание декабристов никак тут не отозвалось, но, правду сказать, в холерные бунты 1830 года горожане утопили в колодце двух врачей, прибывших на эпидемию из столицы, и разнесли до фундамента богоугодное заведение, где кое-как подлечивали сумасшедших, сифилитиков и донельзя одряхлевшее старичье. Эпоха революционных потрясений обозначилась в городе только тем, что как-то застрелили вице-губернатора Поцелуева, который не был замечен ни в особенных строгостях против обывателей, ни во взятках, ни в покушениях на казну. Дело было в субботу: выходит вице-губернатор Поцелуев из дворянского отделения местных торговых бань, разнеженный и краснолицкий, как помидор, и желает сесть в вице-губернаторскую коляску, но тут к нему подбегает девушка, из хорошей, даже купеческой фамилии, делает два выстрела из револьвера «бульдог» и убивает администратора наповал. Но Пятый год прошел незаметно, даже мастеровые с мыловаренного завода ни разу не забастовали во все три года революции, и только неизвестные злоумышленники, скорее всего из заезжих, однажды ночью демонтировали заводскую металлическую трубу; на что она им сдалась — это темно с девятьсот пятого года и по сейчас.

Настоящая жизнь в рассуждении разного рода приключений началась с утверждением идей Великого Октября. На первых порах горожане было взялись действовать по старинке, именно при первых же слухах о приближении войск красного генерала Гая они закопали живьем здешнего полицмейстера Иванова, но впоследствии большевики пресекали такого рода самодеятельность населения, и с середины 1918 года инициатива по линии безобразий исходила исключительно от властей. Эта инициатива оказалась настолько искрометной, затейливой, превышавшей силы воображения, то есть настолько в народном духе, что горожане пылко, даже до изнеможе-

ния полюбили большевиков, даром что им потом выборочно вгоняли в задний проход драчевые напильники и поголовно держали на сухарях.

Таковые большевистские начинания слишком известны, чтобы специально на них останавливаться, упомянем разве о том, что одно время в городе вместо денежных знаков ходило мыло, да укажем на любопытный колорит антиалкогольных кампаний, которые все сводились к лозунгу: «Не пей! С пьяных глаз ты можешь обнять классового врага». Как бы там ни было, к концу тридцатых годов население города уменьшилось примерно наполовину сообразно с урожайностью зерновых, но и этими сравнительно малыми силами удалось разобрать все городские церкви на кирпичи.

В начале Великой Отечественной войны в действующую армию призвали все мужское население города до последнего человека, и, поскольку тогдашний военный гений был у нас прост и прямолинеен, через четыре года назад вернулось ровным счетом одиннадцать мужиков. Так, вероятно, история города и пресеклась бы, кабы не баснословное чадолюбие русской женщины: еще не успели завершить вторую послевоенную пятилетку, как город усилиями одиннадцати ветеранов снова наполнился первоклашками и шпаной. А лет так за двадцать до крушения большевизма тут построили Химзавод.

Крушение большевизма произошло в городе на удивление безболезненно — видимо, нравы пожиже стали, — никто не встал грудью за давешних любимцев, так они надоели, но, с другой стороны, и здание обкома осталось цело, и не то что не закопали живьем первого секретаря, а даже из партаппарата ни один бездельник не пострадал. Просто-напросто в одночасье растворилось большевистское государственное устройство, как будто в результате особенной химической реакции, которая еще и скрала историческое пространство, поскольку вдруг возникло такое всеобщее впечатление, точно отречение последнего императора было подписано на станции Дно в прошлый понедельник, а не эпоху тому назад. Впечатление это подкреплялось еще и тем, что в здешних местах собирали мешок картофеля с сотки и при Николае II, и семьдесят лет спустя.

Пролетели годы — в России они почему-то не что-нибудь, а летят, — уже худо-бедно наладилось демократическое благоустройство, давно свирепствовала свобода слова в центре и на местах, а горожане по-прежнему рождались, трудились, перебивались с петельки на пуговку и умирали во цвете лет. Дни их единственно тем по-настоящему были омрачены, что из-за демократического благоустройства и свободы слова в городе произошли многие чудесные метаморфозы, какие даже мудрено было предугадать. Так, в центре города то и дело случались беспорядочные перестрелки, а Химзаводом, гигантом и гордостью отечественной промышленности, волшебным образом завладел один гражданин государства Израиль, в которое и верилось-то с трудом; этот гражданин, по слухам, выиграл его в обыкновенного «петуха».

## 2

Итак, дамский мастер Александр Иванович Пыжиков украл ножницы, причем бывшие в употреблении и самого обыкновенного образца. На другой день Александр Иванович проснулся в своей постели почему-то не в половине седьмого, как всегда с ним бывало, а в пятом часу утра. Он проснулся, внимательно посмотрел в потолок и подумал: «Чего это я проснулся в такую рань?..»

Ответа не было; накануне он пил умеренно, давешний день прошел без особенных приключений, совесть была чиста. Тем не менее что-то подавало ему тревожный сигнал, как будто поджелудочная железа, и на душе было беспокойно, нехорошо, точно само собой совершилось нечто чрезвычайно важное, огромное, а он знать не знает, что именно совершилось,

из каких видов и почему. Еще такое бывает, когда человек внезапно почувствует в себе неявный смертельный недуг; когда мать-одиночка мается день-деньской и удивляется, к чему бы это, а у нее сына убили на Колыме; когда полковник томится в ожидании генеральского чина и ежечасно задает вопрос: а вдруг я уже не полковник, а генерал...

Город еще спал, уткнувшись в свои подушки, постанывая и сопя, за окном слышно мела метель, скоро на химическом комбинате завоет заводская сирена, взывая к работникам первой смены, жуткая, как окончательный трубный глас. Главное, метель мела, которая всегда наводит на человека смятение и тоску.

В расчете заглушить неприятную тревогу, а то и заснуть до шести тридцати утра Пыжиков включил настольную лампу, поднял с пола книгу «Фрегат „Паллада”» и раскрыл ее наугад. Дочитал он только до фразы: «Без хлеба как-то странно было на желудке; сыт не сыт, а есть больше нельзя. После обеда одолевает не дремота, как обыкновенно, а только задумчивость...» — когда пришел к заключению: нет, и не читается, и не спится, а вот разве что не ко времени прорезался аппетит. Он сел на постели, помедлил, сунул ноги в домашние тапочки и отправился на кухню что-нибудь закусить. Как только он включил свет, несметная орда тараканов бросилась врассыпную и навяла вопрос о происхождении понятия «таракан».

В наличии был бородинский хлеб, яйца, полпакета молока и миниатюрный кусок краковской колбасы. Александр Иванович налил в сковородку масла, поставил ее на маленький огонь и направился в ванную, по пути размышляя о том, что в жизни одинокого мужчины, конечно, есть свои неудобства, но они ничего не значат по сравнению с правом есть когда заблагорассудится и вообще распоряжаться самим собой. Любопытно, что ни вопрос о происхождении понятия «таракан», ни рассуждения о преимуществах одиночества не могли заглушить того неясного, тяжелого беспокойства, которое посетило его в ту самую минуту, когда он проснулся в пятом часу утра, внимательно посмотрел в потолок и подумал: «Чего это я проснулся в такую рань?..» Все ему чудилось, будто бы стороной случилось нечто такое, что нарушало нормальное течение жизни и грозило крушением всех начал.

Александр Иванович пустил воду, взял обмылок из мыльницы, мельком посмотрел в зеркало на свое отражение... — и обомлел. Даже не обомлел: у него дыхание пресеклось, ноги обмякли, спина похолодела, под ложечкой образовалась щемящая пустота — и немудрено, потому что в зеркале отразился совсем не он, не Александр Иванович Пыжиков, а какой-то незнакомый и, надо сказать, гаденький мужичок. На него смотрело совершенно чужое лицо, не имеющее ничего общего с родным обликом, исхудалое, злое и с шишечкой на носу. Разумеется, первым поведением Александра Ивановича было обернуться и поглядеть, нет ли кого-нибудь за спиной, именно того, кто вместо него показывал в зеркале исхудалое, злое лицо с шишечкой на носу; он полуобернулся и глянул через плечо — за спиной не было никого. Александр Иванович подумал, что, может быть, он просто-напросто не проснулся, что происходящее с ним есть сон, но потом он припомнил несметную орду тараканов, которые бросились врассыпную от электричества, и понял, что это — явь.

Пыжиков не знал, что и подумать. Чужое отражение в зеркале настолько его потрясло, что он в панике сел на край ванны, обхватил руками голову и причудливо замычал. Очевидно было одно: его постигло нечто такое, что еще не случилось ни с одним из людей во всю историю человечества, и поэтому ужасу его не было степени и границ. Правда, сквозь ужас ему внятно припомнилась формула «человек, потерявший свое лицо», и что-то еще, кажется, из Золя, но чтобы с вечера у человека была одна физиономия, а утром другая — этого точно не было никогда. В кон-

це концов он решил, что захворал какой-то редчайшей болезнью, от которой облик приобретает неузнаваемые черты. И ему несколько полегчало, поскольку необъяснимое куда страшнее объяснимого, хотя бы за ясной причинностью стояли болезнь и смерть.

После ему открылась еще одна сторона катастрофы: поскольку лицо, отразившееся в зеркале, могло принадлежать кому угодно — пожарному, разнорабочему, милиционеру, истопнику, но только не особе, отмеченной ученой степенью, не специалисту в области холодной обработки металлов, — это обстоятельство показалось ему донельзя оскорбительным, и он опять причудливо замычал.

Действительно, Александр Иванович Пыжиков в свое время служил в одном режимном научно-исследовательском институте, в свое время защитил кандидатскую диссертацию, но потом в нем невзначай проснулось актерское дарование, и он очертя голову бросил все. Пыжиков показывался в драматические театры трех соседственных областей, пробовался на Свердловской киностудии, подвизался на радио — все впустую, и сначала он с горя опустился до гримера в Челябинском театре оперетты, а после до простого дамского мастера, у которого от прошлой жизни остались только любовь к металлу, страсть к чтению и способность отчетливо размышлять.

Из кухни потянуло тяжелой, нестерпимой вонью, которую производит только горящее подсолнечное масло, и Пыжиков отчасти пришел в себя.

### 3

Остаться один на один со своим горем было немого. Александр Иванович вымыл сковородку, открыл настежь форточку, из которой немедленно задуло студеным воздухом, колким, словно битое стекло, и отправился в гости к Вите Расческину, заведующему хозяйственной частью 2-й городской больницы, соседу по этажу. Поскольку было еще очень рано, Пыжиков робко нажал на кнопку звонка, и звонок зазвонил робко же, точно прощения попросил.

Несмотря на неурочное время, Расческин бодрствовал; он тотчас отворил дверь, и Пыжиков весь напрягся в ожидании — узнает или не узнает его сосед. Судя по тому, что тот равнодушно посмотрел на него мутными, непрспавшимися глазами, все было как обыкновенно, то есть Расческин его узнал. Они молча прошли на кухню, уселись за стол друг против друга, и Расческин принялся чистить ногти канцелярской скрепкой, а Пыжиков по столешнице пальцами застучал. Какое-то время прошло в молчании, потом Александр Иванович кашлянул и спросил:

— Чего поделываешь?..

Расческин ответил:

— Практически ничего. Впрочем, нет: водочкой занимаюсь... — И он указал канцелярской скрепкой на заварной чайник, из которого действительно несло сивухой, как от похмельного мужика.

— Ты что, осатанел — пить водку в такую рань?!

— Ну, во-первых, обстоятельства так сложились, а во-вторых, она все равно меня не берет.

— Интересно, что это за обстоятельства такие и каким манером они сложились, что ты до света залил глаза?

Расческин сделал губы трубочкой, поводит взглядом из стороны в сторону и сказал:

— Понимаешь, второй день что-то не по себе. Второй день просыпаюсь ни свет ни заря, и на душе такая ужасающая гадость, как будто спьяну зарезал свою жену...

— Тебя и жена-то бросила сто лет тому назад.

— Ну, чужую жену зарезал!

— Чужую жену резать — резонов нет.

— Одним словом, жутко мне и тяжело, хотя, казалось бы, все в порядке, ничего такого не произошло, на здоровье не жалуюсь, деньги есть.

— Так в чем же дело?

— А хрен его знает — в чем! Разве что вот в чем: позавчера к нам в нервное отделение интересного сумасшедшего привезли... Тихий такой, убогий, в допотопном пальто, босой, голова немывтая, и это самое... говорит!..

Слово «говорит» Расческин вымолвил чуть ли не шепотом и с чрезвычайно значительным выражением, в котором были и трепет отчасти, и удивление, и испуг.

— Что значит — говорит? — в некотором раздражении спросил Пыжиков и чихнул.

— Будь здоров! — отозвался на чих Расческин. — А то и значит, что говорит! Мы с тобой, положим, разговариваем, а он именно говорит. Ну, например, как речи произносят или про международное положение по радио говорят... И главное, все по делу! Сволочи вы, говорит, столько вам, сволочам, дано, такие открыты перед вами широкие горизонты, а вы существуете как отпетые босяки. Ведь все вам было сказано, до последнего слова: и про соль земли, и насчет того, чтобы не противиться злодейству, и про верблюда, и про родню. И что же?.. А ничего, как о стенку горох вам эти величественные слова, как были вы дикари, так и остались сущие дикари. В общем, говорит, торопитесь сказать последнее «прости», потому что существовать вам осталось максимум три часа.

Пыжиков подытожил:

— Стало быть, этот псих предсказывает конец света...

— Видимо, так его и следует понимать. Но сначала, по его словам, будут разные знамения — например, объявится монстр, который будет нападать на прохожих средь бела дня.

— Ну, это, положим, не в первый раз. То есть как только где объявится юродивый с даром слова, так обязательно предскажет Последний день. В другой раз газеты нельзя раскрыть без того, чтобы там не писали про идиота, который обещает конец света в ближайшее тринадцатое число.

— Когда в газетах пишут — это одно, — печально сказал Расческин, — а когда своими ушами слышишь такие откровения, тогда впечатление совсем другое, именно жутко и тяжело становится на душе. А ну как и вправду настанет Последний день?! Если бессмертия души нет, то наплевать, конечно, — а если есть? Ведь если душа бессмертна, то с тебя спросится на том свете: что же ты, гад такой, сделал с твоей единственной и неповторимой земной жизнью, которая, как ты хочешь, является пропуском в мир иной?! Не знаю, как тебе, а мне нечего ответить на сей вопрос. Потому что действительно я свою жизнь профукал, что называется, ни за грош. Ведь я в молодости мечтал о настоящей медицине, гнойной хирургией бредил, и, если бы не водка, может быть, вышел из меня знаменитый специалист...

— Спешу тебя успокоить, — сказал Пыжиков. — Не то что бессмертной души нет, а вообще никакой души нет, есть только биохимические процессы в подкорке и мозжечке. И смерть — это очень просто: как будто кто вошел и выключил электрическое освещение, — вот и все!

Расческин прильнул губами к носику своего заварного чайника, крикнул, перевел дыхание:

— Хорошо, коли так, а если совсем не так?! По крайней мере, на мой аршин, вероятность бессмертия души равняется очевидности тех самых биохимических процессов, которые происходят в подкорке и мозжечке. Я из чего исхожу? Я исхожу из того, что человечеству снятся сны!

— То есть?..

— То есть эти самые сны говорят о том, что душа-то как раз и есть! Ведь когда ты спишь, ты, считай, что на время помер — не видишь, не слышишь, не чувствуешь ничего, а между тем тебе снится жизнь.

— Ну, я не знаю... — сказал Пыжиков и механически смахнул со столешницы хлебные крошки на пол.

— А вот давай сходим к Муфелью, он все-таки мудрый человек, не нам чета, пускай Муфель рассудит, есть душа или нету ее...

— Давай.

— А то, понимаешь, мы здесь с тобой разводим ля-ля, а у Муфеля на все вопросы готов ответ!..

— Только я сначала переоденусь пойду...

— Давай.

## 4

Николай Николаевич Муфель, инженер-технолог, работал на Химзаводе в опытной лаборатории и у знавших его состоял на подозрительном счету, потому что он был одержимый, умница и чудака. Трудился он по шестнадцать часов в сутки — восемь на Химзаводе, восемь у себя дома, — зимою и летом ходил в какой-то немислимой кацавейке с воротником из леопарда, носил косичку, которую обыкновенно прятал за леопардовый воротник, круглый год ездил на велосипеде и мог любую гадость сказать в глаза. В общем, он считался в своем роде городской достопримечательностью, однако не столько по той причине, что имел двадцать четыре патента на разные изобретения и открытия, сколько оттого, что круглый год ездил на велосипеде и мог любую гадость сказать в глаза.

Сам же себя инженер Муфель считал несчастным человеком, обделенным по всем статьям. Статьи, собственно, было три: во-первых, ему не давали хода как ученому, и он вынужден был заниматься наукой по вечерам; во-вторых, его любимая женщина двенадцать лет тому назад вышла замуж за председателя Союза композиторов Бурятии и с тех пор проживала в Улан-Удэ; в-третьих, все наличные средства уходили у него на химические реактивы, и он без малого голодал. Одним словом, Муфель был выдающаяся особа, и отсюда неудивительно, что Пыжиков пожелал переодеться, прежде чем идти к нему разбираться насчет души.

Вернувшись в свою квартиру, Александр Иванович некоторое время стоял в прихожей, мучительно вспоминая, зачем он заходил к Вите Расческину, — по делу, за какой-нибудь хозяйственной надобностью или же просто так... Ах да! — наконец вспомнил он и ладонью слегка хлопнул себя по лбу. Ведь это у него появилось чужое лицо и он решил, что Расческин, имеющий косвенное отношение к медицине, разъяснит ему причину ужасной метаморфозы или по крайней мере скажет, не симптом ли тут какой-нибудь редкой болезни и нельзя ли ее если не вылечить, то лечить. Впрочем, по тому судя, что Расческин его узнал, чародейственная перемена незаметна чужому глазу, и, значит, медицина в настоящем случае ни при чем.

Александр Иванович опять направился в ванную и, опершись прямыми руками на раковину, долго рассматривал свое новое отражение в зеркале, резко несимпатичное да еще и с шишечкой на носу. «Но тогда в чем же дело? — размышлял он. — Что за глупое волшебство? И что, если оно как-то связано с появлением сумасшедшего, который предрекает Последний день? А вдруг и правда грядет этот самый Последний день и накануне его у всех людей меняются физиономии, то есть вдруг у человека спадет личина и проявится его истинное лицо?..»

Кто-то постучал в дверь. Пыжиков вздрогнул, нервным движением пригладил волосы и пошел открывать; совсем нехорошо у него сделалось на душе, тем более что он издавна боялся неурочных телефонных звонков, непонятных звуков с улицы и гостей.

По ту сторону порога стоял милиционер в чине младшего лейтенанта, хотя это был человек в годах.

— Чего это у вас звонок не работает? — спросил он.

Александр Иванович с испугу махнул рукой.

Милиционер прошел на кухню, сел на табурет, снял фуражку и околышем кверху положил ее рядом с собой на стол. Откуда ни возьмись прилетела муха и села на околыш милицейской фуражки, а Пыжиков подумал: «Ну вот! Только мухи зимой не хватало!» — имея в виду то старинное народное поверье, что мухи зимой предвещают смерть.

— Вы не беспокойтесь, — сказал милиционер, — у органов к вам персонально претензий нет.

Пыжиков сказал:

— Надеюсь...

— Я вот ни свет ни заря обхожу квартиры вашего дома и беспокою честной народ. Можно было бы, конечно, дожидаться собрания жильцов, но у нас ведь как: где трое соберутся, там толку нет.

— Что-то я про собрание не слышал...

— Ну как же! Внизу объявление висит: общее собрание членов жилищного кооператива «Вымпел», явка обязательна, начало в десять часов утра.

— Гм... — промычал Пыжиков и потрогал новоявленную шишечку на носу.

— Ну так вот: хожу, беспокою честной народ. Видите ли, какое дело — свидетелей я ищу. Свидетелей правонарушения, которое имело место четвертого января. Кстати, где вы были четвертого января?

— А какой это был день недели?

— Понедельник.

— По понедельникам я служу.

— Стало быть, в понедельник, четвертого января, как вам, наверное, известно, было совершено нападение на гражданку Попову, которая проживает в вашем доме, подъезд первый, квартира шесть.

— В первый раз слышу, — напуганно сказал Пыжиков, так как ему подумалось, что младший лейтенант именно его подозревает в нападении на гражданку Попову, но из профессиональных соображений манерничает и хитрит. Впрочем, он действительно слышал об этом происшествии в первый раз.

— Ну как же! В понедельник, четвертого января неподалеку от вашей детской площадки на гражданку Попову было совершено нападение, как говорится, средь бела дня. Неизвестный преступник сорвал с гражданки Поповой шубу, беличью, пятьдесят второго размера, и покусал потерпевшую в голову и в плечо.

— То есть как это — покусал? — справился Пыжиков в таком глубоком недоумении, как если бы милиционер изъяснялся на никому не известном, экзотическом языке.

— Обыкновенно, как собаки кусают, — ответил милиционер. — Только это еще полбеда. Настоящая беда в том, что после гражданка Попова скончалась во Второй городской больнице в результате отравления сильным ядом. То ли у этого мужика откуда-то взялись ядовитые железы, как у змеи, то ли он до того допился, что уже вырабатывал отравленную слюну.

— А с чего вы взяли, что это был мужик? — справился Пыжиков, внутренне холодея. — А, положим, не женщина, не сбесившаяся овчарка, не какой-нибудь леопард?

— Леопард с бабы шубу снимать не будет. А потом, на теле остались соответственные следы.

Пыжикову было нехорошо. Он припомнил давешний разговор с Витей Расческиным насчет сумасшедшего, который предрекал светопредставление, сидючи в нервном отделении 2-й городской больницы, и при этом напирал на то, что накануне в городе объявится монстр, который будет нападать на людей среди бела дня, — и ему стало сильно нехорошо. Все складывалось одно к одному: чужое лицо с утра, смертельно кусающийся



мужик, муха среди зимы, которая все еще ползала по милицейской фуражке, и вот, вот все никак не рассветало, хотя по времени вроде бы уже пора было бы рассвести...

— А который теперь час? — спросил Пыжиков, глядя в черное кухонное окно.

— Хрен его знает, — ответил милиционер. — Я свои часы еще в прошлый вторник отнес в ремонт.

— Все-таки это странно: такое из ряду вон выходящее происшествие, а я про него даже и не слышал...

— Самое странное не это, самое странное то, что непонятно: зачем этот придурок бабу до смерти покусал?! То есть не ясны мотивы преступления, хоть ты что! Если бы он взял ее шубу или забрал авоську с продуктами, тогда понятно, а так понять ничего нельзя! Вот на прошлой неделе убили пацаны одного пожарного с Химзавода: увидели, что ему в ларьке дали двадцать рублей сдачи, проследили до подъезда и забили насмерть обыкновеннейшим молотком. Это понятно, все-таки двадцать рублей — мотив. Но зачем женщину кусать просто так, из любви к искусству, — это понять нельзя!

Пыжиков нервным голосом произнес:

— Есть много, друг Горацио, на свете, что и не снилось нашим мудрецам...

— Это вы к чему?

— Да, собственно, ни к чему.

— Ну так вот: никто мне слова путного не сказал, хотя я с утра пораньше уже квартир двадцать обошел, беспокоя честной народ. Делать нечего, пойду в квартиру напротив — кто у нас там живет?

— Маня Холодкова.

— Еще, поди, дрыхнет дама без задних ног?..

— Да что вы! У нее такая несусветная жизнь, что я не уверен, спит ли она вообще!

Маня Холодкова, еще молодая, но, что называется, бесцветная женщина, действительно была страдальца, каких мало даже и на Руси. Еще школьницей она заболела сахарным диабетом, после три раза поступала в Лесотехническую академию, но так и не поступила по причине того же сахарного диабета, который у нее особенно разыгрывался в августе, когда держат вступительные экзамены, едят что ни попадя и не спят. Она была трижды замужем, однако первый ее муж пьяным делом утонул в Рыбинском водохранилище, второй сел в тюрьму за растление малолетней, третий бросил ее на шестом месяце беременности и исчез. От первого мужа у Мани была девочка и от третьего мужа была девочка — про обеих ничего хорошего не сказать. Кроме них на шее у Мани сидела мать, на которую время от времени находил загадочный паралич. Именно всякий раз, когда страдальца выходила замуж, у старухи, как по заказу, отнималась левая сторона. Но стоило Мане форменно или по-соломенному овдоветь, как старуха тотчас поднималась с одра болезни, словно после какой-нибудь невинной свинки, но никак не клинического паралича. В силу такого семейного положения Маня всю жизнь проработала в котельной Химзавода, где платили большие деньги, а с девяносто первого года служила ночной няней в детском саду, мыла два подъезда в соседнем доме да еще по-соседски обслуживала Пыжикова, даже и чисто по женской линии, что, впрочем, случалось приблизительно раз в квартал.

Когда за милиционером закрылась дверь, Пыжиков подошел к кухонному окну и, нарочно не обращая внимания на свое новое отражение в темном стекле, поглядел во двор. Черно было на дворе и не столько виделась, сколько угадывалась детская площадка, где четвертого января неизвестный злоумышленник смертельно покусал гражданку Попову, дальше прямоугольниками все пятиэтажных жилых домов, потом высоченные трубы

Химзавода, и вдруг стая ворон пронеслась над детской площадкой, словно чьи-то черные, преступные души дали о себе знать.

Не рассветало, даже полунамека не было на рассвет, и Александр Иванович со страхом и грустью думал о том, что если у людей ни с того ни с сего меняются физиономии, если прохожих насмерть забивают за двадцатку, если по улицам бродят чудовища, у которых какие-то железы вырабатывают отравленную слюну, то насколько не удивительно, что в конце концов должно наступить светопреставление и прекратиться любая жизнь. Тем более, что Судный день может совершиться выборочно, для отдельно взятой нации и страны. Ведь претерпели же конец света древние египтяне, которые утомили Создателя своими религиозными экспериментами, древние греки, которые погрязли в праздности и разврате, древние римляне, которые отказались принять Христа... И разве не светопреставление в своем роде есть отдельно взятая смерть, неотвратимо назначенная человеку за неизбежные в его положении несправедность и грехи...

Не рассветало; город коснел во тьме, какой-то злонамеренный и чужой.

## 5

Этот город был некрасив, как, впрочем, и почти все великорусские города. То, что в нашем отечестве строил Бог, — не Ривьера, конечно, но все же туда-сюда: есть неоглядные просторы, пречистые березовые рощи, игривые пригорки, зеркала озер, васильковые воды рек... Но то, что понагородил своими руками непосредственно русачок, по преимуществу безобразно, словно он с похмелья обустроивался или с намерением куда-то вскоре откочевать. О деревнях теперь разговора нет, промышленная архитектура, она везде одинаково неприглядна, но города... — святые угодники! какие же у нас на Руси постыдные города!

Начать с того, что все они, за двумя-тремя исключениями, похожи друг на друга, как телеграфные столбы, и, стоя где-нибудь посреди городской площади, ни за что не скажешь, где именно ты обретаешься — в Воронеже, Тамбове или в Орле. Все те же казенные здания под выцветшим флагом, простые и унылые, как канцелярская скрепка, остановку проедешь на трамвае, — все те же трехэтажные кирпичные дома, которые строили пленные итальянцы, еще одну остановку проедешь — все те же пятиэтажные бараки эпохи развенчания, облепленные какими-то деревянными балкончиками, пристроечками и надстроечками, которые делают их похожими одновременно на очень большой курятник, высокогорный аул и кухонную полку для всякой хозяйственной чепухи.

Но это еще не самое злое качество русского города, взятого как модель; самое злокачественное в нем то, что он производит впечатление безнадежной неухоженности, покинутости и тления, какое еще производят хворающие старики, которым некому, как говорится, подать воды. Всюду, словно нарочно, взломанный асфальт, чахлые деревца, слепленные бог весть из чего сараи по дворам, которых так много, что это даже странно, покосившиеся заборы, помойки, далеко распространяющие зловоние, жалкие палатки, торгующие всякой дрянью, и тяжелые, взявшиеся ржавчиной гаражи.

А впрочем, человеку привычному и не бывавшему на Ривьере эти убогие виды глаза не колют, он к ним давно пригляделся, как, бывает, приглядишься к забытой в углу метле; вроде бы ей не место в парадной комнате, но так давно и прочно позабыли в углу этот простой прибор, что он приобщился к мебели и не наводит хозяина на вопрос. Вот и Александр Иванович Пыжиков, стоя у кухонного окна, без особых чувств смотрел на родимый город, тем более что за предутренней мглой его было толком не разглядеть.

Он стоял, стоял и потом вдруг вспомнил, что его дожидается Витя Расческин, чтобы вместе нанести визит инженеру Муфелю и что-то чрезвычайно важное выяснить у этого мудреца. Александр Иванович не спеша влез в брюки, надел толстый свитер поверх розовой рубашки, вышел на лестничную площадку и позвонил в дверь к Расческину; в этот раз он равнодушно нажал на кнопку звонка, но тот все равно позвонил робко, точно прощения попросил.

Витя Расческин появился в тапочках на босу ногу, в махровом банном халате и с заварным чайником под мышкой, в котором он держал разведенный спирт.

Пыжиков сказал:

— Слушай, Вить! Ты сегодня в зеркало смотрелся?

— Я вообще в зеркало не смотрюсь.

— А я смотрюсь, и у меня в связи с этой привычкой назрел вопрос... Был ли такой случай в мировой медицинской практике, чтобы у человека вдруг изменились черты лица?

— До какой степени — вдруг? — бесстрастно спросил Расческин.

— Чтобы вечером человек был похож на самого себя, а утром — на трамвайного контролера.

— Нет.

— Что — нет?..

— Мировой медицинской практике такие случаи неизвестны, коренным образом черты лица изменяет только продолжительная болезнь.

— Значит, это у меня продолжительная болезнь. Да: а что, собственно, за болезнь?!

— Аденокарцинома, рожа, дистрофия, старение организма, то есть жизнь в виде старения организма, потому что жизнь в своем роде — тоже продолжительная болезнь. А почему тебя это интересует?

— Потому что сегодня утром я посмотрелся в зеркало и не узнал самого себя.

— Ну, положим, твой случай — это чисто нервное, бытовой психоз. Хотя выражение лица у человека иногда меняется настолько, что кажется, будто изменилось само лицо. Бывает, идет прохожий, на физиономии у него написано, как будто он только что из библиотеки, а на самом деле он бездельник и прохиндей. И что интересно: стоит его внезапно напугать, как на лице у него сразу обозначится, что он бездельник и прохиндей.

— Значит, по своей сути я трамвайный контролер, потому что я сегодня напуган как никогда.

— Что же тебя напугало?

Александр Иванович не ответил на этот вопрос, отчасти потому, что давеча Расческин сам завел разговор о бессмертии души и Последнем дне, а отчасти потому, что они уже с минуту стояли напротив двери в квартиру Муфеля и давно следовало позвонить.

## 6

В квартире у Николая Николаевича Муфеля витала какая-то особенная, едкая, сугубо химическая вонь и было так тесно от склянок, пробирок, реторт и предметов неизвестного предназначения, что, кажется, повернуться было нельзя, чтобы что-нибудь не разбить.

Пыжиков сказал:

— Какую вы, Николай Николаевич, у себя алхимию развели!..

— Великий Исаак Ньютон — вот тот действительно алхимией занимался, — сообщил Муфель. — Во всяком случае, этой псевдонауке он посвятил всю вторую половину своей полнокровной жизни. Моя же сфера — биотектура, то есть я создаю живые организмы из ничего.

Расческин поинтересовался:

— То есть как это — организмы из ничего?..

— А вот извольте взглянуть! — сказал Муфель и достал откуда-то из-за спины обыкновенную стеклянную пробирку, в которой сидел жучок с желтыми полосками на спине. — Что это, по-вашему?

— Ну, букашка, — сказал Расческин.

— Во-первых, не букашка, а колорадский жук. Во-вторых... вернее, не во-вторых, а как раз во-первых, — это первое в истории науки живое существо, выведенное искусственным путем, буквально из первичных химических элементов, или, если угодно, из ничего.

— А зачем? — спросил Пыжиков.

— Что — зачем?

— Зачем вы вывели искусственного колорадского жука, если этих тварей и так полно? Если от них стонут огородники от Бреста до Колымы? Вот я понимаю, если бы колорадского жука истребили, как стеллерову корову, тогда ваши опыты были бы кстати, а так зачем?

Видимо, этот вопрос никогда не приходил Муфелю в голову, ибо он призадумался, положив указательный палец на губы и вперившись в потолок. Витя Расческин, воспользовавшись паузой, сделал продолжительный глоток из своего заварного чайника и спрятал посудину под халат.

— Ну как — зачем... — завел Муфель. — Затем, что человечество вечно ищет торжества над природой, затем, что ему хочется самоутвердиться, сделавшись буквально всемогущим, всеобъемлющим божеством. Но вообще вопрос поставлен некорректно, нельзя так по-обывательски подходить к науке. Зачем, например, Николай Коперник открыл, что Земля вращается вокруг Солнца, а не наоборот? Разве в результате этого открытия повысилась урожайность зерновых, или конфеты стали дешевле, или жены перестали походя изменять?

— Так-то оно так, — как-то затаившись, чреватое сказал Расческин — видимо, он все же был несколько подшофе, — да только Коперник колорадских жуков в банке не выводил. Он, так сказать, констатировал явления природы, а вы — извините, конечно, — занимаетесь черт-те чем. Вообще у меня складывается такое впечатление, что люди на нашей планете главным образом занимаются черт-те чем.

— Что вы понимаете! — с чувством возразил Муфель. — За этот эксперимент буквально полагается Нобелевская премия, а вы городите сущую чепуху! Только никто мне, конечно, Нобелевскую премию не даст, потому что настоящая наука в загоне, а торжествуют бездари, обыватели и прочая сволота!

— Прочая сволота — это, видимо, про меня? — сказал Расческин и побледнел.

Пыжиков сообразил, что градус беседы приближается к опасной черте, и заговорил примирительно, как по радио прогноз погоды передают:

— Уж я не знаю, кто там у нас торжествует, только чует мое сердце — даром нам эта катавасия не пройдет. Вы поглядите в окно-то: ведь уже бог знает сколько времени, а не рассветает — по-вашему, это как?!

Расческин спросил:

— А который, действительно, теперь час?

— Не знаю, — рассеянно сказал Муфель. — У меня и часов-то сроду не было, жизнь прожил, а даже занюханного будильника не купил!

Пыжиков сказал:

— Внутреннее время мне говорит, что сейчас что-то около десяти.

Расческин ему возразил:

— Откуда?! Еще гудок на Химзаводе не гудел, значит, еще половины восьмого нет.

— Воскресенье сегодня, — сообщил Муфель. — По воскресеньям гудок химзаводовский не гудит.

Кто-то позвонил в дверь. Пыжиков решил, что это, должно быть, давешний младший лейтенант, но через пару мгновений на пороге обозначился председатель жилищного кооператива «Вымпел» Евгений Иванович Петухов. Это был приземистый одноглазый мужик, бывший секретарь парткома на Химзаводе, три года тому назад оставшийся не у дел. Как раз три года тому назад в результате сильнейшего нервного потрясения у него на правом глазном яблоке образовалась раковая опухоль, глаз удалили, и с тех пор зияющую впадину на лице прикрывала черная пиратская нашлепка из резины, державшаяся на черной же тесемочке, которая пересекала его голову под углом. В левом его глазу, глядевшем противоестественно широко, было что-то жертвенное, и немудрено, так как в свое время Евгений Иванович вынужден был расстаться с карьерой ученого как дисциплинированный коммунист, а карьера партийного работника не задалась в силу объективного исторического процесса, на который с того времени у него заимелся зуб.

— Так, товарищи! — сказал Петухов. — Попрошу всех на собрание членов нашего кооператива.

Пыжиков заметил:

— Я же говорил, что сейчас что-то около десяти!

Расческин спросил:

— А какая повестка дня?

— Там узнаете, — печально сказал Петухов, — какая повестка дня.

## 7

Когда Пыжиков с Расческиным оказались на лестничной площадке и уже стали подниматься на свой этаж, Расческин вдруг остановился и призадумался, уперев указательный палец в лоб.

— Слушай! — сказал он Пыжикову. — А чего мы, собственно, заходим к этому чудаку?

Если Пыжиков сердился, он обыкновенно поднимал глаза горé, — так вот, он поднял глаза горé.

— Мы заходили к Муфелю, — при этом сообщил он, — чтобы выяснить его мнение насчет бессмертия души. Пить надо меньше, Вить!

— Значит, зря заходили, потому что насчет бессмертия души все и так понятно: душа бессмертна как общественный организм. Я из чего исхожу? Из того, что человечеству снятся сны... Ведь когда ты спишь, ты, считай, на время помер — не видишь, не слышишь, не чувствуешь ничего, а между тем тебе снится жизнь. Кто-нибудь за тобою гонится, или ты занимаешься с первейшей красавицей, или ходишь голый промеж людей... Значит, что-то в тебе работает, независимое от тебя, когда ты, в принципе, не живешь. А что работает-то? Душа! Самостоятельная душа!

— Только кроме нее еще работает кишечник, печень, сердце гоняет кровь. Стало быть, душа тут ни при чем, а просто это мозги превратно функционируют, вот и все!

— Погоди: а зачем человек спит? Затем, что человеческому организму требуется отдых, у него во сне и кишечник расслабляется, и печень работает вполнакала, и сердце еле-еле гоняет кровь. А уж про мозг и говорить нечего: ему-то в первую очередь требуется передых! Между тем во время сна он такие переживает невыносимые треволнения, такие вырабатывает ситуации и картины, что невольно встает вопрос: неужели это спящий мозг такие приключения вытворяет, неужели не бессонная человеческая душа?! На мой аршин, по крайней мере ответ на этот вопрос таков: конечно же человеческая душа!

— Собакам тоже снятся сны. Вот Маня Холодкова мне рассказывала, что ее пес по ночам лапами перебирает, как бы бегаёт, и при этом еще скулит.

— А ты поживи рядом с человеком полмиллиона лет! Будь ты хоть бабочка махаон — не то что сны начнешь видеть, по-английски заговоришь! Но о собаках сейчас разговора нет. Сейчас разговор о том, что сны прямо свидетельствуют: в каждом человеке живет душа. Бессонная, бессмертная, самая что ни на есть метафизическая душа.

— Бессмертная-то почему?

— Потому что по ночам ты не живешь, а она живет! И обрати внимание: наяву ты голым на городскую площадь не выйдешь, а во сне это обыкновенно, значит, сон — не искаженное отражение жизни, а какая-то чудная, иная жизнь. И ведь, как правило, сны не просто снятся, а к чему-нибудь, то есть, может быть, они проникают в будущее и остерегают нас на тот или иной предмет. А прошлое, обрати внимание, не снится практически никогда.

— Мне институтские экзамены часто снятся, отец покойный, как будто я кандидатскую диссертацию так и не защитил...

— А вдруг это тебе будущее снится, а вовсе не прошлое — ты вот что возьми в расчет! Недаром же генеральше Тучковой приснилось сражение при Бородине, в котором погиб ее муж, за неделю примерно до сражения при Бородине, в котором ее муж действительно и погиб!..

— Короче говоря, — подытожил Пыжиков, — это еще бабушка надвое сказала, есть бессмертная душа или это рассказы для ребят. Вот устроят нам сегодня Последний день — и сразу будет ясно, чего нам грозит: бессмертие или смерть.

— Это совершенно свободно, — согласился Расческин, — что нам устроят Последний день! Ведь с чего началась человеческая цивилизация? А с кражи: Прометей похитил у богов огонь, и, значит, первый акт мировой культуры — преступление, первый культурный человек — вор! А уж нам-то, русским, Последний день просто гарантирован, потому что мы заслужили светопреставление как никто. Тут имеются две причины. Первая: из всего того, что в России может произойти, нет ничего такого, что у нас не могло бы произойти. Вторая: нет во всем мире другого такого богопротивного создания, как русак.

— Ну, это ты, положим, наводишь огульную критику на соотечественника...

— Отнюдь! Возьмем для примера бесплатный телефон-автомат, который стоит у нас на почте и дает двадцать тысяч дохода в год... Спрашивается, почему бесплатный телефон дает доход, и мыслимое ли это дело, скажем, в Японии: в Японии немислимое, у нас — да. Потому что на нашем грунте случается такое, что не может случиться ни с кем, нигде, ни при каких условиях, никогда. А дело вот в чем: когда телефон был платный, то народ в него всякую гадость норовил засунуть — то расплюсченную пивную пробку, то деревяшку какую-нибудь, то пилочку для ногтей. В результате на ремонт аппарата уходило двадцать тысяч целковых в год. Тогда сделали телефон бесплатным, и правильно сделали: и аппарат целехонек, и доход...

— Вообще-то, конечно, — раздумчиво сказал Пыжиков, — русский человек в среднем скотина и обормот. Вот возьмем тех же японцев: ну ничего у них нет, каждый куст смородины на учете, а между тем не существует на свете более процветающей и благоустроенной стороны. У них, поди, каждое утро рассветает и нет такого заведения, чтобы кусаться среди бела дня. Так что это будет даже справедливо, если нам устроят Последний день. Чего нам, действительно, небо коптить, вот выйдем все, как парфяне, — и поделом! А то владем неисчислимыми богатствами, каких ни у кого нету, — и в то же время не в состоянии справиться себе порядочные штаны...

— Шутки шутками, — сказал Расческин, — а ведь сегодня точно не рассветет, если сейчас и правда десять часов утра...

Собрание членов жилищного кооператива «Вымпел» происходило в полуподвале того самого дома, о котором стороною идет рассказ. Народ, явившийся во множестве, расселся по банкеткам, составленным в правильные ряды, в президиуме заседали давешний младший лейтенант и председатель правления Евгений Иванович Петухов.

Петухов прокашлялся, выпучил свой левый глаз и завел, предваритель- но постучав по графину карандашом:

— Товарищи! — И продолжал: — Вообще-то на повестке дня у нас по- вальные неплатежи — ну ни одна собака не желает платить за электриче- ство, газ, воду и телефон!..

— Из чего платить-то?! — сказал кто-то сзади, и сидевшие спереди под одинаковым углом обернулись на голос, как флюгеры на ветру.

— Как из чего?! Из пенсии, из зарплаты, ведь вы же, товарищи, не на подаяние существуете — или как?..

— Или как! — сказала Маня Холодкова, сидевшая во втором ряду меж- ду Пыжиковым и Расческиным и вязавшая на спицах предлинный шарф. — Именно что мы на подаяние существуем, потому что зарплатой это назвать нельзя.

— Удивительное дело! — добавил Пыжиков. — Ну всегда нам плохо — и при коммунистах, и при капиталистах, и в условиях демократических свобод, и под гнетом наследников Ильича!

— Это верно, — тот же послышался голос сзади. — Теперь что хочешь, то и мели, но почему-то жить от этого не стало ни сытнее, ни веселей.

Расческин сказал, зачем-то поднявшись со своего места:

— А потому что не в коня корм! Нам что ни устрой, хоть Третий Рим, хоть диктатуру пролетариата, — все невпопад и зря! Все-то нам не по нут- ру, и никуда-то нас ноги не несут, кроме как в пивную по улице Десяти- летия Октября. А дело в том, что мы, в сущности, больной народ, сидит в нас какая-то зараза, которая и сбивает страну с общеисторического пути! Правда, не сказать, хорошо это или нехорошо...

— А вы, товарищ Расческин, вообще что себе позволяете?! — восклик- нул Евгений Иванович Петухов. — Вы посмотрите, в каком виде вы яви- лись на собрание членов кооператива, — это же чистый срам!

Расческин нагнул голову и осмотрел себя снизу вверх. Действительно, он был в своем махровом банном халате, нечесаным, небритым, да еще с заварным чайником под мышкой, носик которого торчал из-под халата вроде дополнительного соска. Витя протяжно вздохнул и сел.

— Ну так вот, — продолжил Петухов, сердито окидывая собрание вы- пученным левым глазом, — на повестке дня у нас, товарищи, первонач- ально были неплатежи. Ну ни одна собака не желает платить за электри- чество, газ, воду и телефон...

— А с какой стати мы будем платить, например, за воду, — сказала одна дама в богатой меховой шапке чуть ли не из бобра, — если ее отклю- чают по несколько раз на дню?

— А с такой стати, что в принципе вода есть! Вот если бы ее совсем не было, тогда да...

— В принципе у нас в государстве и прикладная наука есть, — сказал инженер Муфель, заправляя свою косичку за леопардовый воротник. — А на деле ее растоптали бездари, обыватели и прочая сволота!

— Это вы к чему? — хищно спросил Расческин.

— Да все к тому же! Везде люди как люди, науками занимаются, про- изводство налаживают, а у нас предпочитают жульничать и вредить! То есть я солидарен с товарищем Расческиным в том смысле, что у нас бук- вально заклятая, противоестественная страна!

— Именно что она противоестественная, — сказал Пыжиков, — и поэтому ее ожидает плачевная историческая судьба. Я из чего исхожу — я исхожу из того, что в силу объективных законов общественного развития, в результате мучительных исканий и катастроф уже сложился, так сказать, человек окончательный, которому принадлежит будущее и мир. В итоге получился такой подростковый тип, что-то вроде нашего хорошиста, прилежный, покладистый, жизнерадостный — но дурак. То есть он дурак не в смысле недостатка умственных способностей, а в том смысле, что у него примитивные интересы, смешные потребности и эстетика дикаря. Итог, конечно, сомнительный, даже удручающий, но зато такому человеку окончательному не нужно мировое господство, он не зарится на чужое имущество и прекрасно себя чувствует в узком кругу семьи.

Расческин справился:

— Ну и что?

— А то, что русский человек не вписывается в этот конечный облик и никогда не впишется, как ты его туда ни втискивай, ни пихай! Потому что в результате мучительных исканий и катастроф он сложился как бы наоборот... Именно многоплановым, необтекаемым и сильно замешанным на беде. Вот поэтому-то Россия должна исчезнуть, поэтому ей во всей силе причитается Судный день! Это примерно как Древний Рим не вписался в систему ценностей варваров — и погиб!

Петухов воскликнул:

— В конце концов, вы мне дадите договорить, товарищи, или нет?! Я уже, наверное, полчаса не могу досказать про то, что первоначально на повестке дня у нас были неплатежи. Ну ни одна собака не желает платить за электричество, газ, воду и телефон...

Тут председатель машинально сделал испуганную паузу, полагая, что в этом месте его речь опять прервет какая-нибудь злостная реплика, но подвал молчал.

— Так вот, сначала у нас на повестке дня были неплатежи. Но потом пришел товарищ из органов и говорит: кто-то у нас до смерти женщину покусал. Сейчас будем выяснять, кто у нас женщину покусал.

Младший лейтенант, доселе молча сидевший слева от председателя Петухова, поднялся со своего места, оперся кулаками о столешницу и сказал:

— Стало быть, в понедельник, четвертого января неподалеку от детской площадки было совершено нападение на гражданку Попову, которая проживала в вашем доме, подъезд первый, квартира шесть. Неизвестный преступник сорвал с гражданки Поповой шубу, беличью, пятьдесят второго размера, и покусал потерпевшую в голову и в плечо.

— Дожили! — сказала дама в богатой меховой шапке чуть ли не из бобра. — Уже мужской контингент кусается почему зря!

— Кончилась страна! — послышался голос сзади. — И ведь какая была страна! Бывало, чуть что не так — любимый руководитель стукнет по столу кулаком, и сразу все станет так.

— А по-моему, ничего не изменилось, — сказала Маня Холодкова. — Как мы были дураки набитые, так и остались набитые дураки! Разве что раньше никто друг друга до смерти не кусал...

— Товарищи! Братья и сестры! — обратился к собранию Расческин, поднявшись со своего места. — По поводу этого загадочного происшествия я имею кое-что сообщить... Позавчера поместили в нервное отделение нашей больницы одного товарища, не сказать чтобы сумасшедшего, но был этот товарищ основательно не в себе. И выглядел он довольно странно: волосы длинные, пальто допотопное и босой... Так вот этот самый сумасшедший предсказывает конец света, так прямо и говорит: близок Последний день! Но сначала, говорит, будут разные знамения — например, объявится монстр, нападающий на людей среди бела дня, например, накануне Судного часа каждый обретет свое истинное лицо...



— Про лицо ты раньше не говорил, — заметил Пыжиков и побледнел, вернее, его физиономия приобрела такой оттенок, который еще дает несвежая простыня.

— Так вот, по моим наблюдениям, — продолжал Расческин, — сегодня двадцать третьего января одна тысяча девятьсот девяносто четвертого года, и пришел этот самый Последний день!

— Какую вы ерунду городите, товарищ Расческин! — сказал ему Петухов. — Вместо того чтобы распространять разные измышления, про сумасшедших нам рассказывать, вы бы лучше заплатили за телефон! Я уж не говорю про то, в каком виде вы являетесь на собрания, но хотя бы вы заплатили за телефон!

— Какой, к чертовой матери, телефон! — воскликнул Расческин и рванул на груди халат. При этом его заварной чайник выпал, треснулся об пол, и в воздухе явственно обозначился запах спирта.

— Какой, к чертовой матери, телефон, если нам, может быть, и жить-то осталось час! Вы посмотрите в окно-то: скоро одиннадцать, а по сю пору не рассвело!

Все подняли глаза вверх и направо, в сторону полукошек под потолком, которые чернели как закопченные, и у всех на лицах проявилось одно и то же замечание: а ведь действительно и не думает рассветать...

— Не берите в голову, товарищи, — сказал милиционер. — Быть такого не может, чтобы не рассвело.

Петухов добавил:

— Именно, что такого не может быть! Это все, товарищи, субъективный идеализм, поповские бредни, которые давно опровергли марксисты на Западе и у нас. Потом, за что нам-то конец света? Я понимаю, американцы его заслужили, поскольку они погрязли в коммерции, безобразно ведут себя на мировой арене, постоянно вооружаются и вообще! А нам-то он за что?!

— Нам, например, за то, что мы развалили СССР, — послышался голос сзади.

— Или, например, за то, — предположила дама в богатой меховой шапке чуть ли не из бобра, — что у нас мужики кусаются почем зря!

— Или за то, — сказала Маня Холодкова, — что какая-то беспросветная у нас жизнь!..

— Одним словом, есть за что! — подытожил Расческин и печально посмотрел на останки чайника, мутно белевшие у его ног. — Если человек прожил жизнь, то он за глаза заслужил кару по Страшному следствию и суду. Но шутки шутками, товарищи, а надо что-то делать, если, может быть, нам всей жизни остался час!

— А что делать-то?! — завел Пыжиков и умолк.

— Например, в оставшийся час времени, — сказал младший лейтенант, — можно было бы выяснить, нет ли среди присутствующих свидетелей происшествия от четвертого января... Как уже было сказано, в тот день неизвестный правонарушитель совершил нападение на гражданку Попову, которая проживала в вашем доме, подъезд первый, квартира шесть.

— А кто она была-то, — справилась Маня Холодкова, — эта самая гражданка, квартира шесть?

— В том-то все и дело, что она была заместителем директора Химзавода по науке, а то таскался бы я по квартирам в такую рань.

— Ну, тогда ее точно Муфель покусал! — засмеявшись, сказал Расческин. — Давай, Николай Николаевич, сознавайся, что это ты несчастную покусал.

Муфель не отвечал.

— Я не понимаю, — сказал Пыжиков, — какие могут быть смешки, когда, с одной стороны, человека убили, а с другой стороны, жизни остал-

ся час! Вы только представьте себе, господа, что, может быть, шестьдесят минут осталось на все про все! Действительно, нужно что-то делать... ну, я не знаю: попросить у всех прощения, завещание, что ли, написать или устроить прощальный пир!..

— Коли все погибнем, — раздался голос сзади, — то на кого завещание-то писать?..

— Это точно, — сказал Расческин. — Так что остается прощальный пир!

## 9

Между тем шел уже первый час пополудни, а в окошках настырно торчала ночь. Хотя ни один из членов жилищного кооператива «Вымпел» не мог смириться с мыслью о грядущем светопреставлении и оно по наитию представлялось всем противоестественным, невозможным, однако отсутствие дневного светила навевало трагическое предчувствие, и собрание на всякий случай решило устроить прощальный пир. В какие-нибудь пять минут милицейская фуражка младшего лейтенанта наполнилась радужными денежными знаками, и Пыжиков вызвался сбежать за водкой в ближайшее заведение, именно в пивную по улице Десятилетия Октября. Александру Ивановичу потому захотелось обществу услужить, что его тяготило смутное сознание какой-то страшной вины, точно это именно из-за него городу, а то и стране угрожает смерть.

На улице было до странного многолюдно, всюду горели фонари, придавая лицам прохожих какую-то особенную задумчивость, там и сям на перекрестках сходились люди, смотрели в небо, нервно пожимали плечами и молча расходились по сторонам, пьяных было не видеть, низко над крышами домов парили несметные стаи ворон, производя панихидный грей.

Александр Иванович сел в автобус, проехал одну остановку и сошел на углу площади Коммунаров и улицы Десятилетия Октября. От автобусной остановки до пивной было рукой подать, но что-то сделалось ему томно, и он плелся без малого пять минут.

Несмотря на воскресный день, народу в пивной было немного: какой-то старичок доставал из авоськи пустые бутылки, человека три стояли в очереди у стойки да в углу, под серовской «Девочкой с персиками», пила пиво разбитная компания мужиков. Пыжиков пристроился было к очереди и вдруг словно спиной почувствовал, что самое-то главное он не то чтобы не увидел, а увидел, но как-то не углядел. За высоким столиком, покрытым бумажной скатертью, вроде бы стоял некто с длинными волосами до плеч, в долгополом суконном пальто музейной видимости и босой.

Александр Иванович оставил очередь, приблизился, встал за соседний столик и замер, испытывая непонятное умиление и испуг. Старичок все лязгал своими бутылками, разбитные мужики в углу сквернословили по-чем зря.

— Ты зачем ножницы украл? — вдруг спросил незнакомец.

Пыжиков обомлел. Он молчал с минуту, потом сказал:

— Сам не знаю... Наверное, из любви к металлу. Я по основной профессии металлург.

В то же мгновение ему стало ясно, что он сказал глупость, но поправить дело было уже нельзя. Вообще все стало вдруг ясно: если в отдельно взятом городе можно проиграть огромный волоконный комбинат в обыкновенного «петуха», и тут же убивают за двадцать целковых сдачи, то такому городу вовсе незачем существовать, и он, как древние Помпеи, должен исчезнуть с лица земли... Но самое страшное — было ясно: покража ножниц из парикмахерской на углу улицы Карла Либкнехта и Хлебного тупика стала, что называется, последней каплей в чаше долготерпения, и эта покража решила все. Вместе с тем было так жалко родного города, так жалко, что Пыжиков сморщился и сказал:

— Ну ладно я — отпетый человек, но вот есть такая Маня Холодкова, страдальца, святая душа, — неужели и ей конец?!

Ответ был:

— Маню Холодкову и правда жаль.

— Погодить бы со всем этим делом, а?.. Может быть, все со временем утрясется и эти проклятые ножницы я верну?..

Наступило продолжительное молчание, за которым последовали слова:

— Так и быть. Ради Мани Холодковой, страдальца, погожу.

В окно пивной ударил жемчужный луч.



---

---

АНАТОЛИЙ НАЙМАН

\*

## ЛЬВЫ И ГИМНАСТЫ

\* \*  
\*

Написать — это имя свое написать.  
Это — вывести каллиграфически имя.  
Строчку вышивки. Так что не дергайся, сядь.  
Горстку букв, различных в сиянье и дыме.

Это время займет. Надо вспомнить сперва  
запах дома и шорох и выбрать, насупясь,  
из тетешканий няни — язык и слова,  
из больного захлеба — ласкательный суффикс.

Надо вспомнить все это — чтоб это забыть!  
Не признать за свое. Не смешаться с чужими.  
Не запутаться в «слушай», и «кто там?», и «выдь!»,  
а ни больше ни меньше как выпростать имя.

Струйку звуков. Значков. Заглуши голоса  
любострастных невяниц, и воинских кличей,  
и судебных повесток: должна полоса  
иероглифов — *с подлинным* быть без отличий.

Угадай начертанье сквозь пламя и мглу.  
Это важно, как жизнь, здесь нельзя ошибиться —  
это имя звезды у вселенной в углу,  
здесь описка в полчерточки — самоубийство.

### Азбука

Где в слове дух? Где то есть ужас в *ужасе*?  
А я скажу! Он в *эс*, и *же*, и *у*.  
Их, этих трех, кто сколько бы ни тужился,  
ужасней не найти. Я так скажу:

дух слова — буква. Сумма букв. Ни менее,  
ни более. Покой и пропасть в *о*  
не то что бездна *а*. Все дело в пении  
по буквам, по крючкам — я вот за что!

За азбуку без слов! За просто азбуку  
от *а-бэ-вэ-гэ-дэ* до *э-ю-я*.  
Что значит — «кто заказывает музыку?»!  
Здесь все, что есть, заказываю я.

От *а* до *я*. Я надуваю воздухом,  
согретым кровью легочной, тельца  
прозрачные; ввожу их в дрожь нервозную  
голосовыми связками певца.

Да и немых их лент, кудряво-перистых,  
довольно, чтоб в восторге, не дыша,  
глядеть, как льнет *эл-эм-эн-о* к *пэ-эр-эс-тэ*,  
*е-же-зэ-и* к *у-эф-ха-це-че-ша*.

### Караванная, угол Инженерной

Если табак — былъе, а картофель — зелье,  
да порастит оно все бурьяном-пасленом:  
львы и гимнасты входят в цирк Чинизелли  
пьющий-курящий, ныне который сломан.

Кратер-то сам прочно укутан в стены,  
как чугунок с похлебкой в тулуп нагольный.  
Сломан, хочу я сказать, баланс атмосферы,  
воздух, цветок никотиново-алкогольный.

О мое, о мое, о мое, о мое детство!  
Все — питье и пища, и все — наркотик.  
Все за тридцать стран, но — по соседству,  
львы и гимнасты входят в подъезд напротив.

Речка бежит к воле, я к школе.  
День впереди, жизнь, лето, неделя.  
Но не трепещут флаги — сон, что ли?  
В ряби лазурной нет яда и хмеля.

Смуглое стерто лицо над белым стоячим  
воротничком, отчего ушла перспектива  
из фотографии — то есть рецепт подхвачен,  
градус удержан, но горечь ушла из пива.

Выветрился эфир — и не стало жанра.  
Было ли, не припомнить, хоть раз ненастно.  
Нету толпы, чтоб смотрела дымно и жадно,  
как на арену входят львы и гимнасты.

\* \*  
\*

...skip that lipstick...

*Billie Holiday*<sup>1</sup>.

Мотылька губной помады  
на рубашке на плече  
не прихлопывай, не надо,  
не споласкивай в ручье.

А войди с ним, глаз не пряча,  
в дверь, где прошлое прожил,  
в обворованную дачу,  
в развалившийся режим.

Встань под сводами пропорций  
чистых — вспомни, однолюб,  
как возвел ты и испортил  
жизнь, не красившую губ.

И зрачком в зрачок подруги  
немигающим упрись  
так, чтоб медленные струи,  
скорбь смывая, полились.

### Антифон (III)

— Если бы я создавал тебя от нуля  
и лишь от меня зависело, кто ты выйдешь,  
и поддавалась бы пальцам глина-земля,  
и я в придачу бы знал, как себя ты видишь,  
я постарался бы в каждую пору влезть,  
в каждую клетку и ген, как завзятый сыщик,  
чтобы точь-в-точь тебя вылепить, как ты есть,  
родинку посадить на щеку и прыщик.

— Что это ты! Зачем мне в прыщах щека?  
Тонких запястий хочу и тонких лодыжек,  
легкого взгляда и острого язычка,  
 поступи величавой и локонов рыжих.  
Если бы дни и ночи ни ел, ни пил,  
самой упругой глины измял бы тонну,  
ты в лучшем случае землю бы и слепил,  
то есть праматерь — и никогда мадонну.

— Ну а положим, меня бы лепила ты?  
— Я бы, во-первых, рубила тебя из камня,  
наскоро, грубо, объем, не вдаваясь в черты,  
тучу, если не тушу, торс, очертанья.  
Я бы, как шлюха, тесала тебя, как мать:  
вес! Ну и мозг, да-да. Всё чуть-чуть с избытком:  
голову, лоно — чтоб было откуда брать.  
Ткань — по которой потом бы узор был выткан.

<sup>1</sup> ...забудь про след от помады... *Билли Холлидей*.

— Вот как? Да пусть и так. Но, когда, рубя  
 мрамор... — Гранит. — ...да хоть диабаз, что топчем, —  
 ты изнутри не высечешь мне ребра  
 (а так и будет, если ваяешь в общем),  
 то... — Прекрати о ребре... — ...сама посуди,  
 взяться откуда... — ...о древе, ребре и змее. —  
 ...вашей сестре? Так что о том, что в груди,  
 надо... — ...быть вашему брату скромнее.

— А как бы ты подала самое себя?  
 — Я начала бы с тебя и сняла излишек —  
 это и значит связь, пара, семья:  
*ей* до лодыжек дело, *ему* до подмышек...  
 — ...брату... — ...сестре... — потому что знает любой...  
 — ...что для двоих, где плюс, там же и минус...  
 — ...*ты* и *тебя* значит *себе* и *собой*...  
 — ...ты потому что меня... — ...мы вас... — и вы нас.

= Если бы я создавал — и делала я,  
 как делают дерево и создают созвездья,  
 все равно, чей был бы план и работа чья  
 в том, чего не исполнить, если не вместе.  
*Я* зови меня или *ты*, мне хоть бы хны —  
 что я: был-и-была или стал-и-стала?  
 Ты ниоткуда, я никуда — это мы,  
 мы — из желанья, и голоса, и матерьяла.

### На даче

Что блаженней, чем сквозь листья  
 небо видеть в гамаке  
 и искать систему в свисте  
 пароходов на реке

и, кукушками осмеян,  
 счет ведущими до двух,  
 всласть хореем, гибким змеем,  
 щекотать гортань и слух?

Что блаженней, чем для Дженни,  
 или Мери, или Сью  
 приводить размер в движенье,  
 флиртовать строкой вовсю,

погружаться в зной приязни,  
 вспоминать тропу к воде  
 и не знать, ты где — на Клязьме,  
 или Темзе, или где? —

все (само собой) неспешно,  
 неважно, чуть-чуть, слегка,  
 по-английски, безмятежно,  
 не вставая с гамака.

## Пре-модерн

Дух базилика и молний разряд за рекой  
вызваны птичьим ц'окей наподобие клика  
с клавиатуры компьютера нервной рукой —  
молний плюсна за рекой и струя базилика.

Дачный обед в спецэффектах недалней грозы —  
есть ли такой, не увиденный прежде с экрана?  
Есть ли программа, чтоб выучить снова азы  
запаха: как это, пахнуть свежо или пряно?

Чай на веранде, приправленный близкой грозой, —  
как он на вкус, если мы его марку забыли?  
Воздух — вы помните, воздух! Не аэрозоль  
формулы химических и электрической пыли.

Что это! Кто здесь хозяин? Что это за  
трапеза? Что за Америка! Мало нам груза  
грядки копать, и полоть, и следить, чтоб гроза  
их не прибила! Чья мы продукция, муза?

\* \*  
\*

Я спал, спал, спал и не выспался,  
весь день лежал и дышал,  
но сон, поскольку не выспался  
из мозга, заснуть мешал.

Я ждал, ждал, ждал, но бессонная  
душа моя, тонкий пар,  
осела росой безумия  
в сознание, пока я спал.

Я жил, жил, жил и расхвастался,  
что времени не боюсь.  
Был тверд, тверд, тверд и расквасился,  
как в пляжном песке моллюск.

Я был, был, был... А без ячества —  
мой пыл, пыл, пыл подугас,  
полжизни забыл я начисто,  
а четверть прогнал бы с глаз.

Да дел и в последней четверти —  
со сна попадать в туфлю.  
У времени лишка щедрости,  
вот я все и сплю, сплю, сплю.

Цель времени — повторение,  
раз-два, раз и два, и два.  
Сквозь дрему тиканье времени  
доходит едва-едва.



\* \*  
\*

Лил сильный дождь, и бил фонтан. Свисали  
к земле аллеи тополей и флаги  
над клубом с акварелью на фасаде  
растекшейся. Сам свет был образ влаги.

И непонятно, свежесть или сырость  
дразнила нервы, или вместе обе,  
художнику в короткой, как на вырост  
надетой век назад, холщовой робе.

И хоть угадывались трель романса  
и шарм тепла за дверью, но в бульваре,  
в струе и в павильоне образ массы  
просвечивал. Не творчества, а твари.

Слова не доходили из-за шума  
воды и листьев, но похож на Фета  
мотив казался. И вздувалась шуба  
бровных туч над клубом «Эстафета».

### Очи черные

Ветерок в глаза  
начинает дуть,  
и из них слеза  
начинает путь,  
из ключей зрачков  
по уступам щек —  
остывай, щека,  
леденей, зрачок.

Из пустых озер,  
набежав в углы,  
как туман, ползет  
поперек скулы,  
как улитка в щель,  
потеряв домок,  
до ушных пещер,  
чтоб и слух промок.

На скорлупке губ  
заплетают бант,  
размягчая струп  
напряженных гланд,

и, лижа, как пес,  
и стираясь в ноль,  
из глазных желез  
вымывает соль.

За толчком толчок,  
как нанизка бус, —  
затопляй зрачок,  
не части, как пульс,  
повисай, дрожи,  
красоты не прячь,  
ты не боль души,  
не тоска, не плач.

О, жемчужный слизень,  
продолжай волоочь  
по привычке жизнь,  
как по стеклам дождь, —  
ты даешь наркоз,  
так что я прошусь  
с ней без слез, всерьез,  
с ветерком, без чувств.



---

---

АННА МАТВЕЕВА

\*

## ОСТРОВ СВЯТОЙ ЕЛЕНЫ

*Рассказ*

**Л**ене пятьдесят шесть, она любит того же и так же, как в девятнадцать. Лена думает, что совсем не изменилась, — потому рудиментарная, многожды осмеянная прическа с чулком в волосах и снова модная кофта-лапша, которую Лена бережет: надевает аккуратно, пришивает свежие подмышечники. Тридцать лет Лена выщипывает брови и рисует сверху темно-серые полоски. Лена носит тяжелые серебряные браслеты и толстые кольца того же металла. У Лены духи «Клима». Босоножки на платформе. Ноги с венозным рисунком и редкими тонкими волосками, которые она задумчиво выдергивает пинцетом во время разговоров по телефону. Телефон стоит в коридоре на полочке, и поздно вечером, если прислониться к двери Лениной квартиры, можно услышать все ее разговоры. Впрочем, хватило бы одного: Лена не меняет тем и говорит всегда с одной подругой. Остальные совсем потеряли интерес к застывшей, будто пемза, Лениной жизни и зачеркнули ее адрес и телефон в записных книжках решительным движением руки или мысли.

Все годы прожиты в одной квартире. Мама родила Лену поздно и потому думала, что дочь — ее личная собственность, такая же, как телевизор, прикрытый бархатным занавесом, словно маленькая сцена. У Мама были еще два кота — Петя и Мося, и обоих Мама кастрировала, обливаясь слезами. Если бы можно было, Мама обесполила бы и Лену; Впрочем, ее воспитание заменило эту мучительную операцию. Лена не гуляла с мальчиками, не звонила им, как это случалось с ее подругами (особенно с той Мариной, которой Лена звонит иногда, выщипывая волоски на ногах), Лена не вышла замуж, и Мама иезуитски ругала ее за это, втайне благодаря Бога.

Лена окончила педагогический институт — фабрику по производству старых дев — и долго педагогила в школе. Детей она не любила и не хотела: школьники пугали ее своей непредсказуемостью, а главное — устрашающим количеством. Лене даже в голову не приходило, что по отдельности они ведут себя по-другому. Вечерами Мама счастливо слезилась глазами, когда они с Леной сидели у телевизора, откинувшего бархатный, в бомбошках полог, и как бы со стороны Мама видела их тонкие пальцы, играющие спицами, и вязаные полотна, спадающие на ситцевые цветочные халаты. По телевизору передавали сатириков, и Мама угодливо смеялась, желая возместить Лене собственноручно спродюсированное одиночество.

Дочь никогда бы не призналась вредной ревнивой старухе в том, что любит и полюбила уже давно — еще в девятнадцать — и даже не девушка уже. Тут у пока еще тридцатилетней Лены краснели щеки сквозь пудру

---

Матвеева Анна Александровна родилась в Свердловске. Окончила факультет журналистики Уральского университета. Автор книги «Заблудившийся жокей» (Екатеринбург, 1999). В «Новом мире» печатается впервые. Живет в Екатеринбурге.

«Кармен», а белый недовязанный шарф отливал розовым; впрочем, может, это только казалось слеповатой Маме, пристально и подожду наблюдавшей собственное сокровище, понуро высчитывающее лицевые и изнаночные.

Девятнадцатилетнюю годовщину поступления в Мамино рабство Лена справляла дома, с подругами. Подруги хотели мужского общества, внимания, танцев и кухонно-ванных поцелуев, и поскольку Мама никогда бы не смирилась с таким развратом (на этом слове у Мама топорщились реденькие, будто у подростка, усики), то день рождения быстро закончился. Полувывсохшие салаты, обильно сдобренные майонезом, укоризненно смотрели на Лену круглыми глазками горошин, увядшие листики петрушки и кинзы в граненом стакане пародировали ее настроение, и когда за последней — самой терпеливой — подругой хлопнула дверь, обитая вишневым дерматином, Мама торжественно внесла в комнату торт с девятнадцатью свечами, плотно вкрученными в засыпанный измельченной крошкой, хорошо пропеченный корж.

Лена выбежала из комнаты с синими ожогами в глазах от этих ненужных и никому не интересных свечек, она чувствовала себя такой нелепой, что ее чуть не задушила обида, как это бывает только в день рождения. Мама недоуменно посидела возле полуразграбленного стола, потом вздохнула и начала нарезать торт на ровненькие треугольные кусочки. Ловко подцепила один из них лопаточкой и опрокинула в свою тарелку. Лена тем временем быстро оделась, всхлипывая и заливая свитер черными от ленинградской туши слезами. Ей просто хотелось убежать вон из этого Маменькиного жилища, где с ней считались не больше, чем с кошками Петей и Мосей.

Это был первый и последний бунт Лены, вспыхнувший от пламени тех самых именных свечей. Она пронеслась мимо задумчиво поглощавшей торт Мама, убирая на ходу волосы в узел.

Деньрожденное платье, сшитое Мамою из импортного поплина, валялось на полу скомканное, будто вчерашняя газета. Мама аккуратно подняла его, отряхнула и повесила на плечики. Потом собрала посуду, последовательно очищая тарелки от объедков и укладывая их одна в другую, будто играла в какой-то странный конструктор. Вскоре на кухне зашумела вода, и кошки заступили на вечернюю службу возле своих мисочек.

Лена бежала долго, пока не начала задыхаться. Тогда она остановилась и пошла, но тоже быстро, будто опаздывала на самолет. Она забыла взять плащ, и теперь пожалела об этом — тучи уже синели над головой, наливаясь и зрея, будто гигантские виноградины, откуда-то издалека неслись тихие бормотания грома. Лена вытянула рукава свитера и спрятала руки, сцепив их так крепко, как могла. Она уже не плакала, только по привычке всхлипывала, и еще брови у нее никак не могли опуститься, заняв страдальческое место на лбу почти у кромки волос.

Такой он и увидел ее — девушку Лену, как стал потом говорить. Он ехал по набережной в большой нарядной машине и смотрел на Лену через стекло.

Машина остановилась, и он вышел: невысокий, некрасивый, не, не, не — не важно! — он посмотрел на Лену еще раз, взял за плечи и повел в машину. Как раз начался дождь, темные капли покрасили асфальт и приляглись за стены домов. Лену били страх и холод, она старалась не смотреть в зеркальце, откуда глядели незнакомые глаза — такие же темные и крупные, как будто первые капли дождя на асфальте.

Образованная Лена сразу поняла, кого он ей напоминает — случайный спаситель на механическом коне, тот мужчина, в которого она уже была влюблена с первых тактильных ощущений, что достались плечам, и плечи теперь горели, будто подожженные. Даже имя его — Николай — совпада-

ло заглавной буквой с героем, которого Лена давно выбрала из тесных коллонн великих людей, запрудивших просторную площадь Истории.

Репродукция давидовской «Коронации в Нотр-Дам-де-Пари» висела у Лены над письменным столом, и она хорошо помнила странно современную стрижку императора, его осанку и упрямый нос. Она была влюблена в Наполеона давно и уже навсегда безответно, потому, увидев живое воплощение своей любви за рулем, уверенно ведущее стального жеребца сквозь хлещущие потоки почти тропического ливня, не могла не совместить две любви в единое целое.

Николя — так, на французский манер, она стала его называть.

Николя привез ее в ресторан, вечно пустой и оживавший только во времена партсъездов. Лена расчесала волосы пальцами и мстительно представила себе Маму, спящую с открытым ртом под выпуск «Международной панорамы» и всхрапывающую в самых интересных местах.

Они сели за столик, и Николя что-то шепнул толстой официантке. Та кивнула и очень быстро забегала, так что вскоре стол покрылся бутербродиками, вазочками с салатами и маленькими порциями заливного, в котором навечно застыли морковные шестеренки и плоские волокнистые кусочки серой говядины. Новым был только графинчик водки, на запотевшем боку которого Лена безотчетно начертила букву «Н».

День рождения не желал сдавать позиции. Лена, выпив две рюмки водки, оказавшейся не такой уж противной, обмякла и подробно рассказала Николя о Маме и обо всей своей жизни. Новый знакомый делал бровями и глазами, будто ему интересно, но Лена чувствовала — он слушает ее совсем чуть-чуть, и спроси она его резко: что я сейчас говорила? — быть может, Николя и не смог бы повторить ее слова. Лене, однако, непременно надо было выговориться, поэтому, когда официантка пришла забирать пустую, в жирных следах посуду, девушка все еще жаловалась на Маму и все пьянела и пьянела от водки. Николя подливал ей участливо и про себя не забывал, и когда Лена стала говорить ему, заплетываясь, что он очень похож на Бонапарта, эта мысль не показалась ему глупой — впрочем, наверное, только нескольким мужчинам в мире такое сравнение не понравилось бы, а Николя уж точно не принадлежал к их компании.

В черноте они не сразу нашли машину. После дождя сильно пахло яблоками и новыми листьями, и Лена открыла окно, вдыхая темный ночной воздух. Николя вел коня абсолютно пьяный, и странно, что Лену это совсем не беспокоило. Ветер вил гнездо в ее волосах, ей казалось, что она вот-вот умрет или уже умерла.

Смутно помнился чужой подъезд с незнакомыми ступеньками и окнами, дверь с яркой табличкой, которую пьянство не позволило прочесть, и в конце всего — унитаза, над которым Лена склонила голову и содрогалась, выливая прочь ярко-розовые порции вонючей жидкости. Николя держал ей волосы. Потом у Лены саднило горло, и ей было так плохо, что она даже не вспомнила про Маму, которая так и не ложилась в ту ночь, а выглядывала из окна в темный закуток улицы, изредка разрезавшийся ночными фарами на длинные однотонные лоскуты.

Последнее воспоминание: Лену крупно колотит похмелье под чужим клетчатым пледом, яркий верхний свет бьет в глаза, на стене — портрет красивой женщины в жемчужных бусах, а рядом, под пледом, — совсем голый Николя с непонятной улыбкой еще неизвестных, но уже родных из-за Бонапарта губ.

Утром она снова увидела эти губы, но теперь без улыбки — он спал так беззвучно, что ей стало страшно: умер? И она тихонько приблизилась

к его лицу, а он открыл глаза и удивился, потом вспомнил ее и засмеялся. Лена натягивала на себя плед — и все зря, потому что он смотрел ей только в глаза. Он сказал, что ей не стоит больше пить или стоит научиться это делать... Впрочем, добавил Николая, он сам виноват — подливал масла, то есть водки, в огонь, и теперь — Николая выразительно посмотрел на нее — ему и нести ответственность. Лена мучительно вспоминала какие-нибудь непоправимые подробности ночи, но в памяти обнаружились только тихие тиканья чужих часов да жуткий запах блевотины, который, казалось, пропитал все вокруг. Лена попросила разрешения принять душ, и Николая дал ей большое удивительно мягкое полотенце.

Когда она одевалась, Николая уже не было в комнате, аккуратно, будто по линейке, убранный плед лежал с краю приведенного в дневной вид дивана. Лена подошла к зеркалу, чтобы ужаснуться своему виду, но вопреки ожиданию отпугнуло ее совсем другое. С ней-то все было в порядке — легкая припухлость глаз и бледные щеки не в счет. А вот на полочке у зеркала стояла целая батарея косметики и дорогих духов — Лена и не видела такого богатства никогда в жизни. Рамочка, установленная между ярко-голубой коробкой «Клима» и шкатулкой, тяжелой даже с виду, дублировала портрет, который Лена уже видела на полуночной стене. Зубы и жемчуг на шее единого цвета и калибра.

Лена молчала про свои находки за завтраком, что Николая подал в кухне, которую можно было принять за еще одну комнату. Ела без аппетита и слушала легкий светский треп, который Николая умело сочетал с заинтересованными взглядами, прилетавшими ей прямо в глаза. Кухня с ходу проговорила, что здесь частенько бывает женщина — одна и та же. Полосатый фартук, подвешенный на собственных завязках, розовая, с золотыми и белыми цветочками чашка, которую Николая даже не подумал дать Лене (сам он пил из высокой серой посуды, скорее столового, чем чайного предназначения), и еще один портрет на стене — на этот раз женщина была без жемчугов, зато с Николая в обнимку. Взгляд Николая слегка изменился, и он сказал, что да, женат, притом счастливо. Лена молчливо, одними глазами задала ему еще один вопрос, и он не медля ответил: да, у них две дочери, и они вместе с Жемчу-женой улетели в Сочи, там уже так тепло, что можно купаться. Не бывала ли Лена в Сочи в эту пору? Лена вообще не бывала нигде, кроме их с Мамой квартиры, институтских корпусов и еще — даже рассказывать было неинтересно.

Теперь Николая молчал, и Лена почувствовала, что ей пора уходить. Было одинаково страшно предстать перед Мамой и расстаться с Николаем, особенно теперь, под утренним солнцем, когда он еще больше стал похож на одного императора. Николая проводил ее до дверей и сказал, чтобы она не беспокоилась, он ничего не пытался с ней сделать, просто смотрел. Она протянула ему руку и почувствовала бумажный клочок.

В лифте она развернула бумажонку и увидела телефонный номер, написанный красивым четким почерком.

Мама полулежала в комнате лицом к стене. Ноги в ребристых чулках цвета жидкого какао с яркими пятнами штопок на пятках, худенькие, бледно-красные локти, седые волосы убраны в аккуратную плюшку и закреплены рыжим гребнем с неровными, кривенькими зубчиками. Лену словно ударило от жалости и стыда. Она заплакала и позвала Маму, но та лежала упрямо и не желала повернуться. Со стороны казалось, что Мама внимательно изучает картину Шишкина «Утро в сосновом бору», которая была воспроизведена в стенном ковре. Шторы оказались наглухо закрыты, а на столе громоздился вчерашний торт, заветрившийся и без трех сегментов.

Так и было до вечера: Лена плакала, Мама смотрела в ковер, торт же был в центре события, он высыхал прямо на глазах, и отчего-то именно его было жаль Маме больше всего. Наверное, из-за него она и встала к ве-

черным новостям, проехав по Лениному раскаявшемуся личику невидящим взглядом. Мама встала с дивана, но тут же сложилась углом и сделала такие губы, будто собиралась свистнуть. В сочетании с молебно поднятыми бровками это означало страшную, нечеловеческую боль, вошедшую в Мамино тело. Отрепетированный перед зеркалом этюд удался на славу, и простодушный ребенок кинулся поддержать слабнущую на глазах родительницу. Мама довольно сильно пихнула дочерний бок свободной от самообнимания рукой.

Через пару часов, когда самодеятельный спектакль закончился, Мама и Лена сидели перед телевизором с откинутым бомбошечным занавесом и смотрели новый фильм про любовь. Точнее, смотрела Мама, а дочь просто глазела в экран, при том что в висках у ней сладко билось на три слога новое слово: Ни-ко-ля.

Ей удалось позвонить Николя только через неделю. Мама хоть и проглотила мало съедобную байку про ночевку у бестелефонной Маринки, но решила умножить бдительность и подвергла себя просто адскому труду. Она ночевала теперь в одной комнате с Леной, а утром ходила с ней в институт. Подружки не могли даже смеяться — так им было жаль Лену, хотя она улыбалась открыто, забыв про тот некрасивый зуб слева, который лучше не показывать. После третьей пары Лена спускалась к памятнику, указывающему рукой на коричневый плащ с Мамой внутри. Мама плотно сжимала губки при виде дочериных подруг, а они здоровались, бессердечные, как-то неприветливо и норовили поскорее сблизнуть.

Вечером Мама разыгрывала перед единственным своим зрителем новые хвори, и Лена покорно сидела дома, приносила к телевизору бутерброды и черный, словно вакса, чай. Так было до пятницы — когда позвонила Марианна Степановна, Мамина приятельница (слова *подруга* для Мамы будто не существовало), и пригласила Маму с Леной на дачу. У Лены как раз пришли праздники — так она называла малоприятные дни, повторяющиеся из месяца в месяц. У Лены праздники всегда продолжались не меньше недели и сопровождалась страшными болями, один раз она даже потеряла сознание, так что перепуганная Мама вызвала «скорую». Приехал врач-мужчина, усатый и игривый. Попросил Маму выйти из комнаты, и когда она, возмутившись, отказалась, объявил, что волноваться не о чем: как только Лена выйдет замуж (тут он улыбнулся под усами), все это пройдет. Мама потом пила настойку пиона, а Лена глаз не могла поднять, лежала на боку и плакала, будто без того потеряла мало жидкости.

В этот раз Лена тоже мучилась — зеленая, жалкая, извивалась на диване, и Мама довольно спокойно оставила ее дома на два дня.

Когда дверь хлопнула, Лена постаралась выдохнуть из себя боль вместе с воздухом. Боль задумалась и ушла куда-то в поясницу. И принялась за дело так, что Лена закричала. Потом Лена разжевала две таблетки анальгина и проглотила их не запивая. Села на пол и закрыла глаза.

Мама не разрешала попусту глотать таблетки — это было вредно. По Маминому мнению, боль надо было терпеть. И теперь, когда Лена нарушила закон, стало легко и одновременно страшно. Боль растворилась, вышла наружу в поисках новой жертвы, а Лена аккуратно обрезала анальгиновую упаковку, так что никто бы и не заподозрил, что изначально здесь было на две таблетки больше.

Черный, в круглых, оставленных Мамиными пальцами следах телефон привзвкнул, лишь только Лена сняла трубку. На секунду показалось, что в телефоне сидит Мамин шпион, но шестизначное число все-таки было набрано, притом безо всякой шпаргалки, — Лена запомнила его еще в лифте, как песню, а бумажку бросила в урну, разорвав несколько раз (чем мельче становились клочки, тем яростнее они сопротивлялись уничтожению).

Номер был рабочим — потому что ответил мужской голос, но другой, не принадлежавший Николаю. У любимого Леной был академический, памятный голос, кроме того, он довольно заметно выделял парные звуки «з-с». А у того, что ответил, голос был так себе — и Лена попросила Николая. Голос повеселел и закричал фамилию Николая, которую Лена слышала в первый раз, и фамилия ей понравилась.

Николя если и был рад, то не показал этого, но позвал в гости сегодня же вечером. То, как он торопился встретиться с Леной, более искушенной даме указало бы на скорый возврат семейства и конец разврату. Однако Лена не могла провести таких параллелей, поэтому сказала, что конечно же придет, но чувствует она себя не очень хорошо. Николая задал ей несколько вопросов, как опытный врач, после чего перенес встречу на неделю. Шепнул в трубку, что целует, а потом положил ее на рычаги.

С дачи Мама вернулась подобревшая и с мешком зелени, которой и начала кормить Лену нещадно. Лена ела, кивала и мучительно соображала, как бы ей вырваться к Николаю. К счастьем (ли?), Лена поделилась проблемой с ушедшей Маринкой, которая согласилась прикрыть подругу, сочинив семейный праздник, на который Лену пригласила Маринкина мать — Мамина антиподша, молодая гибкотелая красотка; из-за ее измен Маринкин папа однажды не насмерть, но значительно вскрыл себе вены. Лена сделала вид, что ей совершенно не хочется тащиться на это занудное семейное сборище, и Мама начала ее выпихивать со страстью, которой хватило даже на уютжку того же поплинового наряда.

На пороге Мама что-то заподозрила, но Лена уже поцеловала ее в щеку, которая напоминала сырое песочное тесто, продававшееся в «Домовой кухне», и не торопясь вышла из дома.

В этот день они с Николаем стали любовниками, а вечером смотрела Лена с Мамой телевизор и обильно рассказывала о Маринкиных родителях и старшей сестре Людмиле, которая окончила горный с красным дипломом.

Лена любила беззаветно, но ответно. Так ей казалось. Николая говорил ей приятные слова, возил в рестораны, учил есть салаты вилкой и ножом. Он подарил ей золотые серьги (не кольцо — Лена мечтала о кольце, символе вечной любви, она ведь уверена была в том, что Николая скоро разведется и предложит ей все, что у него есть), которые хранились у Маринки дома (ее мать пару раз надевала их к любовнику) и часто повторял, что Лена — красавица.

Маринкина мать, которая курила и просила звать ее «просто Вера», научила Лену выщипывать брови, делать прическу с чулком и красить губы, смешивая разные помады. Мама была в ужасе, пыталась бороться, но Лена сидела дома, лишь изредка, всегда с предварительным звонком Веры, посещала как бы Маринку, которая стала единственным свидетелем запретной любви. Николая, впрочем, об этом не знал. Он встречался с Леной в какой-то нежилой квартире, обставленной скупой и неудобной, будто в нее свезли со всего города ненужные вещи.

В конце института у Лены пропали месячные. Она спросила у Николая, что теперь делать, и он отвез ее на платный аборт. По тем временам сделали ей все просто шикарно, но детей у нее больше быть не могло — потому что Николая перестал с ней встречаться, а других мужчин она не могла представить рядом с собой, даже Наполеона — кроме того, он ведь уже умер и ожил заново в Николая. Так что круг опять замыкался, не было видно даже следа, где сливались линии.

Николя перестал подходить к телефону и прислал к Лене своего друга, который сказал, что у Николая серьезная проблема: вся семья может поехать в Алжир на три года, но если выяснится, что у Николая любовница,

да еще такая молоденькая (тут друг улыбнулся, и Лена увидела, что у него кривые зубы)...

Лена работала в школе и смотрела мимо детей, объясняя им про «Пушкин — это наше все». Они называли ее «русалка» — не потому, что глаза Лены были словно из реки зачерпнуты, а волосы всегда чуть влажные, а потому, что, читая «Лукоморье», она перепутала, сказав: «Русалка там на курьих ножках стоит без окон, без дверей». «Без носа, без ушей», — хохотал отличник, похожий на маленького Николая.

Три года прошло, еще три, еще пять. Десять. Двадцать... Ушел совок, пришел капитализм с нечеловеческим лицом. Умерли от старости коты Петя и Мося. Появились наркоманы, колбаса, книги, лифчики, заказные убийства, доллары, страх, решетки на окнах и парадные на ключах, билеты в Париж, СПИД и компьютеры. Исчезли зарплаты, пафос, чистота, боязнь наказаний, жуткая рожа однопартийности, комсомольские собрания, бескорыстие, девскромность, волосы на женских ногах и когда весь город в одной помаде. Маринка родила тройню, а просто Вера развелась с мужем и уехала в страну, которую Мама, влюбленная теперь в Невзорова, презрительно называла Жидостан.

Лена рассказывала про Пушкина, носила платье с молнией, ела много булочек с маслом и читала книги про Наполеона. Она поправилась на двадцать килограммов, потом похудела на восемнадцать, и кожа некрасиво висела на ней, будто на мопсе. Прежде чем надеть платье, Лена собирала кожу в складку и потом уже застегивала платье. Ночью Лена обнимала себя за плечи, скрестив руки на груди, и так, в героическом виде, спала до рассвета.

Мама перестала молиться, но иконы из комнаты не убирала. Святой Николай-угодник, на которого Мама раньше по часу просматривала полуслепые, в очках глаза, зарос пылью, и Лена из жалости несколько раз отряхивала его рукавом.

Однажды позвонила Маринка и, солируя на фоне тройного детского бэк-вокала, сообщила, что Николая теперь директор фирмы, которую Лена знает. Лена не знала, она не вникала в приметы новой жизни, ей привыклось жить с воспоминаниями о Николае, любовью к нему, еще у нее были Пушкин и Наполеон. Маринка терпеливо повторила название, потом сказала, что это не важно, и надиктовала Лене номер телефона.

Мама была уже почти совсем глухая, поэтому Лена позвонила почти при ней — из коридора. Аппарат был тот же самый, по которому Лена звонила двадцать лет назад, тот же самый был и голос Николая. Он не удивился, не обрадовался, назвал Лену милой бонапартисткой, рассказал про успехи дочерей и спросил, что надо. Лена сказала, что ей ничего не надо, только она просит Николая: если ему вдруг в старости будет одиноко и тоскливо, пусть он позвонит Лене, она заберет его к себе и будет за ним ухаживать. Николая не очень понравилось, что Лена намекает на его пятьдесят семь, но он записал номер — не думая, зачем. Остров святой Елены! — сказал он и попрощался, довольный своей шуткой.

Лена долго потом сидела в коридоре с трубкой в руках и не сразу услышала громкий стук в спальне. Когда она вбежала в комнату, то увидела сухенькое Мамино тельце, лежащее на полу с иконой святого Николая на голове. Икона упала и сильно ударила Маму. Та усмотрела в этом событии страшный мистический смысл и в больнице — от страха, не от ушиба — умерла. Лена похоронила ее на хорошем месте, в самом центре кладбища. Она не плакала, но душою сильно скукожилась и такая осталась уже навсегда. Маринка принесла водку, и они пили ее на могиле, хотя Маме бы это не понравилось, как и пепел Маринкиных сигарет, летящий прямо в лицо на временном деревянном памятнике.



Лена начала готовиться к приему Николая. Она отмыла Мамину комнату и купила новый диван. Поменяла шторы и достала из шкафа парадный сервиз, на который Мама не разрешала даже смотреть. Почему-то Лена была уверена, что на пенсии — а ждать осталось недолго — Николай будет брошен и никто, кроме Лены, не будет за ним ухаживать.

Через два года после смерти Мамы Лена еще раз позвонила Николаю и сказала, что остров готов. Николай спросил: Эльба? или все-таки святая Елена? — намекая на выбор между бегством и смертью. Лена сказала, что Корсика, и Николай засмеялся. У него немного изменился голос, потому что мужские гормоны ушли навсегда, а Маринка сказала, что видела его и Николай теперь лысый и толстый, но все это было не важно.

Новые шторы сначала стали привычными, потом надоели, сервиз наполовину разбился, а у дивана сломалась ножка. Лена поседела, но так и не сменила прическу. В школе ее уже совсем не любили — учила она по старинке, а теперь требовали индивидуального подхода к ученику. Девочки из одиннадцатого класса — те, что с короткими челками и в широких штанах, — смотрели на Лену презрительно, хотя она была одета по той же моде, что и они, просто у нее эти вещи сохранились с незапамятных, по короткочелкиным представлениям, времен, и это было смешно. Однажды на уроке у Лены разошлась застежка-молния на зеленом платье. Лена неловко пыталась поймать разъехавшиеся части платья, а потом выбежала из класса и в тот же день решила уйти на пенсию. Заменить ее было некем, поэтому Лена доработала до конца года. Проводили ее с облегчением и цветами, которые долго жухли на кухонном столе, пока Лена смотрела в окно на старушечий манер.

У Маринки родился шестой внук. Лена не понимала, как этому можно радоваться, но делала вид, что рада за Маринку в свободное от ожидания Николая время. Рабочий телефон Николая не отвечал, а домашнего Лена не знала.

Осенью, вечером, в универсаме Лена покупала масло и бананы, к которым пристрастилась теперь, как и к латиноамериканской кинопродукции (ей виделось сходство между судьбами чернявых, по многу раз преданных и отвергнутых героинь и своей собственной). Она устала мечтать о последних годах — своих и Николая, — которые они проведут вместе в ее квартире, если угодно — как на острове... Да, остров — там не будет никого, кроме них, и это так правильно! Однажды Лена забрела случайно в рыбный отдел магазина и увидела элегантную пару, склонившуюся над замерзшей серой камбалой так, будто она была их первенцем. Женщину Лена не знала, только жемчуг на шее сделал дежавю, а мужчина был Николая.

Лена внимательно посмотрела на своего любимого, с девятнадцати и по теперь единственного. Отметила красненький нос, коричневый пигмент по рукам, тяжелую одышку, седые волосики в ушах, ласковый взгляд, мечущийся от рыбы к жене. Жена была до странного моложавая, худенькая и одета лучше Лены, нельзя было не признать. В отделе пахло рыбой, а вокруг Николая и его Жемчу-жены витали какие-то неземные, духовные запахи.

Резко повернувшись, Лена вышла прочь, забыв про масло. Обида больно стучалась в уши, и Лена побежала быстро, изо всех сил, будто опаздывала на корабль. Который увезет ее на остров, откуда не надо — никогда не надо — будет возвращаться.



---

---

МАРИЯ ВАТУТИНА

\*

## ПУРГА С НЕЗНАКОМЫХ ЗВЕЗД

### Трамвайная остановка

Вот остановка трамвайная. Номер двадцать  
редко здесь ходит. Так стоять, не сдаваться  
волчьей погоде, знамо, и сами звери.  
Сами своим Пастухам воздаем по вере.  
Сами себе в своем суеверье Боги...  
Сами себе строчим жития, эклоги  
и обвиваем воем, не в такт стэпуя,  
бирку на проводах, как луну степную.  
Это игра в ненужность. Трамвай — водила.  
Только не говори, что мне подфартило  
с личной свободой и тайною переписки  
некоторых заветов. Я по-английски  
не говорить, уходить и то не умею.  
Я без любви, как и всякий пророк, — немею.  
Бегство в пустыню — способ универсальный.  
Но ненавижу я этот надел вассальный,  
ссылку в безвестность, ссылку на норму Божью.  
Смерть — это движение по бездорожью.  
Ну а по рельсам — после войн и репрессий,  
видимо, возят пророков других конфессий.  
Мчится трамвай по воздуху, громыхая.  
Верю в любовь — кричу — от любви подыхая.  
Мимо трамвай летит, из окна истошно:  
— Машенька, я никогда не думал, что можно...

\* \*  
\*

*Б. Кенжееву.*

Так давно не была на природе, что и  
муха покажется виртуальным исчадьем.  
В лес не войти, в ту же реку без дядьки Шойги,  
мать-природа ошиблась с моим зачатьем.

Но и в режиме падающей карусели,  
небо успев заметить и стык с землею,  
друг мой, с какой же скоростью мы взрослели,  
как же боялись старости мы с тобою.

Старческой некрасивости, пуг склероза,  
анабиоза чувств, не того покроя.  
А вот теперь сидим, проливаем слезы  
над незнакомой мертвенною рекою.

Слышишь, все оказалось не так бедово.  
Поднаторев управлять сердечною мышцей  
и умудрясь в училище у Йова,  
рады и сытой жизни, и шаромыжной,

и бетонированной городской пустыне,  
раз уж в нее ушли по самые уши.  
Ну а когда от юности поостынем,  
вовсе понравится существовать на суше.

Весь ее перегной, чернозем, суглинок  
вспонимающим взглядом своим окинув,  
все: от былинки в поле и до поминок —  
благословим по примеру степных акынов.

\* \*  
\*

Я не то что схожу с ума, но устал за лето...

*И. Бродский.*

Я б умерла за лето, если б не эта осень.  
Если б не эта осень, не разгадать судьбы.  
Я и умру, наверно, если жить не попросишь.  
Если бы да кабы. Если бы да кабы.

Развращена намеком на возможную нежность.  
Ждешь ли меня такую, помнящую имена  
всех четырех смертей? Ты — моя неизбежность  
пятая, золотая. Мертвые семена.

Поговори со мною, как говорил бы с Богом.  
Вот самовар на шишках, вот ветерок сырой,  
вот на откосе этом, медленном и пологом,  
вечных дубов янтарных тоталитарный строй.

То, что теперь довлеет над округой земною,  
это всего лишь осень — горькие, но плоды.  
Если ты нищий духом, то поделись со мною.  
Если ты жаждешь чуда, дай мне глоток воды.

Как я устала, милый, жить в преддверии смерти.  
Как я устала, милый, слышать дверей хлопки.  
Но у планеты этой есть маршрут круговерти:  
счастье лишь ослабленье смертной твоей тоски.

А из дворов окрестных дым идет сладковатый,  
и развезло дорогу возле местных властей.  
Ты мне такой и нужен — резкий и виноватый.  
Ибо меня виноватей нет на земле моей.

Запах грибницы, птицы, мертвенность плащаницы —  
свойство земного неба, черных домов огни.  
Я заплатила жизнью, чтобы твоей родиться.  
Мне воздаст по вере Кто-то в такие дни.

\* \*  
\*

Детство, детство — школа несвободы.  
Надо мной сомкнулись небеса.  
Мне теперь все снятся пароходы,  
лопасти гребного колеса  
бьют о воду, и в иллюминатор  
брызжет Волга, ломится в стекло.  
Если встать — увидишь весь фарватер;  
в третий класс, однако, занесло.  
Вровень с Волгой волглая каюта.  
«Станюкович» жмет в последний рейс.  
Бабушка за дверью врет кому-то,  
что для близких я — тяжелый крест.  
На речной скрипучей колеснице  
Едем в Углич месяцы... года...  
Говорят, что не к добру мне снится  
постоянно мутная вода.

\* \*  
\*

*Е. Полторецкой.*

Мы, как солдаты, уставшие от войны,  
Леночка, к тридцати никому не нужны.  
Разве что с голоду где-нибудь в тесных сенях  
Да на гостиничных стиранных простынях.  
Что в монастырь, что по рукам идти.  
Да и семьи не хочется к тридцати.  
...Это только первые семь лет  
трудно без ласки, Леночка-Антуанетт.  
Ну а потом главное — не скучать.  
Пить, танцевать, на фраеров ворчать.  
Ибо какой же смысл, например, в зиме  
и в вычитании чисел в больном уме,  
что знаменуют даты прохода границ.  
Мы живем судьбой перелетных птиц.  
Завтра лукошки нами сплетенных гнезд  
так занесет пургой с незнакомых звезд,  
что полетишь за любой тепловой волной  
через границы в стан чужой, неземной.  
Ибо покажется даже дантовский ад  
детской фантазией после земных усад.

\* \*  
\*

Весною пугают приметы залета:  
плаксивость, прожорливость, норов дурной...  
В далекой стране окольцованный кто-то  
бронирует чартер и хочет домой.

Он хочет домой, чемоданы пакует  
и дату отлета с улыбкою ждет,  
уже фантазируя, как заворкует  
на жердочке возле Никитских ворот.

Смакует предчувствие зла и разлада,  
разливы, развалы, Владимирский тракт,  
которым помчится под музыку ада,  
виляя рулем и газуя не в такт.

И вот он летит, и полет его долог,  
и он приставляет к надлобью крыло.  
И ждут его дома жена-орнитолог  
и ангелы смерти, родные зело.

Ах, как возвращаются спешно пророки  
в отчизну, где каждое слово сбылось,  
где черная кровь регулярно и в сроки  
приходит и радует: вымрем авось.

\* \*  
\*

Мне везде мерещатся змеи, крысы и жабы.  
Только то спасает, что фауна без амбиций  
и не лезет через бордюры на дорогу, дабы  
не пугался путник, не трусил турист бледнолицый.

Дышишь? дышишь? дыши, запасай кислород, купальщик,  
выдыхай углекислый газ, приморясь в оливах,  
заберут наверх без калыма семье как падших,  
так и благочестивых.

Я хочу на полюс, где крест заходящего солнца  
не мешает душе с небесами устроить сверку.  
— Не учи меня жить! — прокричу я со дна колодца.  
— А чему тебя научить? — прокричат мне сверху.

### Чаепитие

#### 1

В это время гуляешь с собакой, а я звоню.  
Есть желанье подумать о жизни вслух. Заменить броню  
на раскаянье, жалобы, приговоры: «Пора кончать  
с безнадежным романом». А зуммер: молчать! молчать!

У тебя у самой...

Завести себе кобеля  
и уехать в Германию. Навсегда. В канун февраля.  
Подыскать себе эру, где несостыковок нет,  
где неоновый свет, а для жалоб есть Интернет  
(здравствуй, Гегель). Уеду. Брошу все. Истреблю.  
Не люблю его. Не люблю. Не люблю.

## 2

Чаепитие выводит на чистую воду всяку породу.  
Вот она узнает, что планирует он год от году  
жить с семейством на даче, что строг он в вопросах порядка.  
Что-то смутно печалит ее: непослушная прядка,  
неуменье заваривать чай и нехватка салфеток.  
Ей бы деток.  
Вдруг она понимает, что *все бесполезно*.  
Тридцать первый любовник ее взирает болезно,  
но глотает взмутненную жижу: вода и заварка.  
Ему жарко.  
Из того, что не дали ей предыдущие тридцать,  
он не даст ровно столько же. А она все стыдится  
неумелого чая и собственной жизни настолько,  
что еще одно слово его —  
и будет настойка,  
еще капля — и переполнится, лопнет, прорвется.  
Он смеется.  
Дождается пота. Платок достает. Ничего ей не обещает.  
А она угощает его. А она его угощает...



---

---

# ДАЛЕКОЕ БЛИЗКОЕ

ДМИТРИЙ ШЕВАРОВ

\*

## ОЧАРОВАННЫЕ ЖИТЕЛИ

*Размышления на полях альманахов*

*из серии «Старинные города Вологодской области» (Вологда, 1992 — 2000)*

Если бы я был учителем истории, то начал бы со своего города: город наш Галич, или Ростов, или Белозерск — город старый; давно уже стоит на этом месте, ему лет сот пять или более; он прежде был больше или меньше, богаче или беднее, но случились разные обстоятельства... От своего города легкий и естественный переход к своему княжеству, а потом и ко всей Русской истории...

*М. П. Погодин. Из статьи, написанной после путешествия за вологодскими древностями летом 1841 года.*

### Возвращение летописцев

**К**ак нам дороги, особенно в осенние или зимние вечера, книги о наших родных местах! Потрепанные, еще советских времен, карты, туристические схемы, путеводители по ленинским и грибным местам... Сколько мы находим здесь примет нашего давнего детского былого.

Сейчас выходят новые путеводители, глянцевого, на хорошей бумаге. Там те же улицы, но названия их нам не знакомы: Покровская, Вознесенская, Градоначальническая... Не много осталось в живых тех, кто родился и вырос под этими названиями. Из нетрезвого монолога в вологодском автобусе: «Заблудился в собственном городе! Была улица Клары Цеткин — и все понятно: комсомолка, спортсменка, партизанка... А тут переименовали — Благо-вещенская! Не выговоришь...»

Вернувшиеся названия скоро снова будут дороги и милы, привычны языку и сердцу. Но восстановится ли связь времен? Связь эта таинственна и указам не подчиняется. Выпало одно звено — и цепь оборвалась. Любовь — лучшая музейная хранительница.

Может, именно поэтому меня так порадовало и тронуло издание, предпринятое в Вологде, городе моего детства, — серия краеведческих альманахов «Старинные города Вологодской области» (главный редактор М. А. Безнин). В этом собрании из двадцати (!) увесистых томов заметны не только кропотливые плоды архивного собирательства. Здесь тихая, почти смиренная любовь стала надежным двигателем проекта, который осуществляется на протяжении девяностых годов.

Один из редакторов серии, Александр Камкин, писал мне при присылке очередного тома альманаха со своим историческим очерком о родной деревне Алекино: «На странице двести восемьдесят пять ты найдешь фото моих деда и

---

Шеваров Дмитрий Геннадиевич родился в 1962 году в Барнауле. Окончил факультет журналистики Уральского университета. Печатался в журналах «Урал», «Согласие» и др. Живет в Москве. Постоянный автор «Нового мира».

бабки — Александра Евграфовича и Екатерины Николаевны. Именно она нянчилась со мною с двухлетнего возраста, а глаза я ей закрыл, когда мне было двадцать восемь. Воспитывался русской крестьянкой, за что всю жизнь благодарю Бога...»

Со времени возникновения серии, за восемь лет, вышли (при финансовой поддержке областной администрации) по три альманаха об Устюжне, Кириллове и Вологде, по два — о Тотьме, Белозерске, Череповце, по одному о Вытегре, Великом Устюге, Вожеге и Чагоде. На подходе второй альманах о Великом Устюге и четвертый — об Устюжне. В каждой из этих красивых книг (оформление вологодского художника Сергея Иевлева) — по пятьсот, шестьсот, а то и восемьсот страниц.

О серьезности издания много говорят названия разделов, они присутствуют в каждом альманахе: «Археология», «Этнология и демография», «История в лицах», «Искусство и архитектура», «Исторический архив», «Религия и церковь», «Из истории сословий», «Судьба вологодской деревни»...

В работах многочисленных участников проекта не чувствуется наукообразной прохладцы: они пишут в основном о своем и для своих — для детей прежде всего, для внуков. Чтобы ничего вокруг не было безымянного, ничейного, брошенного. Чтобы человек, приехавший погостить в Устюжну, Белозерск или Тотьму, ступая на хлипкий мостик, вдруг понял, что и этот мостик, и заросший овраг под ним — так же значительны, наполнены памятью и смыслом для местного жителя, как Лебяжья канавка для петербуржца или Кривоарбатский переулочек для москвича.

Опубликованные в альманахах личные дневники позволяют ощутить особый северный феномен «внимательной жизни». Настолько внимательной ко всем подробностям повседневности, что действительность предстает в них как будто зафиксированной бесстрастной телекамерой. В чем тут дело — в долгой ли зиме, в летописных традициях, оставленных просвещенными насельниками здешних суровых монастырей, — это нам еще предстоит понять. Пока же местные исследователи еле успевают описывать и комментировать собранный буквально за какие-то десять лет целый свод объемных дневников, охватывающий весь двадцатый век.

Дневник тотемского крестьянина А. А. Замараева представляет собой тетради с каждодневными короткими записями за 1906 — 1922 годы. Дневник подполковника Николая Фаустовича Белова уникален тем, что велся во фронтовых условиях 1941 — 1945 годов (опубликован во втором выпуске альманаха «Вологда»). Дневник Николая Григорьевича Лагинменского, солдата двух войн, работавшего до самой пенсии инспектором отдела кадров треста «Росглавхлеб», и вовсе поразительное явление: первые записи были сделаны пятнадцатилетним подростком летом 1911 года, последние относятся к восьмидесятым годам. Как пишет публикатор дневника Г. В. Судаков (альманах «Вологда», выпуск третий; опубликованы записи за 1912 — 1914 годы): «Дневник отражает всю жизнь автора... Рабочие занятия и встречи каждого дня, будние дни и праздничные развлечения, технология различных ремесел, состояние товарного рынка и цены, репертуар кинотеатров, государственные церемонии и городские пожары — все описывалось обстоятельно, с красочными деталями, а иногда и в подробных диалогах. Весь комментарий, необходимый для современного читателя, автор дневника предусмотрительно включал в текст: указаны географические координаты селений, полные паспортные данные на всех упоминаемых лиц... Даже случайные попутчики описываются, как положено в повествованиях. Точно обозначены названия и адреса различных учреждений... С годами полнота описания возрастает...»

Как-то в начале девяностых я был в гостях у дочери Николая Григорьевича, и она показала мне архив отца, хранящийся на полатах: это многие десятки конторских книг, исписанных мелким почерком. Возможно, одному Марселю Прусту удалось бы до конца понять уроженца вологодского села Непотягово, придумавшего себе диковинную фамилию (настоящая фамилия летописца — Шалагин) и семьдесят лет подряд со скрупулезностью инопланетного этнографа описывавшего жизнь провинциальных земель.



В детстве я, должно быть, встречал этого удивительного старика. Мимо нашего дома он ходил на репетиции хора ветеранов во дворец культуры железнодорожников. Когда я приходил с друзьями в кино и в ожидании сеанса мы бродили под развешанными в фойе портретами киноактеров, иногда из-за стены вдруг раздавалось грозное: «В бой роковой мы вступили с врагами...» Потом старики, возбужденные репетицией, шумно выходили из дверей, грозно стуча палками по паркету и беспомощно шаркая ногами.

### Петр Андреевич

Было время совсем недавно, в шестидесятые — семидесятые годы, когда казалось, вся страна — на чемоданах. Деревенских гнала нужда, городских звала романтика и комсомольские путевки, шабашники ехали за длинным рублем. Люди запросто пересекали огромную страну. Многим и она показалась тесной, началась третья русская эмиграция, у которой романтических причин было не меньше, чем идеологических.

Краеведение в те годы было занятием немногих просвещенных пенсионеров и влачило убогое местечковое существование. Но вот наступили оседлые времена, вместо туристов и первостроителей дороги заполнили беженцы с такой тоской в глазах — по уюту, по очагу, по тихой, без выстрелов, жизни... Переезды и путешествия стали делом накладным. Мы принялись обживать и оглядываться там, где нас застало постперестроечное время.

Были очарованные странники, стали — **очарованные жители**. Теперь мы потихоньку находим радость в том, что живем там, где живем. Где переживаем, холодаем, страдаем, влюбляемся и гуляем с детьми. Где все: улицы, заборы, деревья, сараи, наши бедные окрестности — все отмечено веселыми вещами и грустными зарубками. И ясно, что от себя не убежишь.

Так пробил звездный час российского краеведения. Конференции русских краеведов собираются не в жэковских красных уголках, а, к примеру, в Париже. (В мае 2000 года в Сорбонне прошла международная конференция «Краеведение в России, 1890 — 1990: истоки, проблемы возрождения».)

Серия вологодских альманахов о старинных городах возникла в самые трудные для издательских проектов времена. Первая книга вышла в 1992 году. Серия началась не с областного центра, не с прославленной Вологды, а с маленькой Устюжны. Чтобы понять, почему так случилось, необходимо вспомнить Петра Андреевича Колесникова.

Он был, наверное, одним из последних в России профессор-самоучек, провинциальных энциклопедистов. Уроженец кубанской станицы, внук станичного атамана. «Я родился рано утром, в поле, когда пели жаворонки. Но все музы пролетели мимо, и я стал учителем...»

В годы расказачивания и коллективизации погибла мать, умер отец и были уничтожены все родные по отцовской линии. В шестнадцать лет попал в маленький городок на Азовском море, где оказалось много не успевших эмигрировать петроградских учителей, артистов, чиновников, ученых. «Самые интеллигентные и беспомощные, — вспоминает о них Колесников, — они не умели лезть по трапам, расталкивая ближних локтями...»

Первые свои деньги он заработал перепиской научных статей, работал суфлером в театре. В девятнадцать лет влюбился и вслед за своей любовью уехал на Север, в Устюжну. Начиная избачом, был директором начальной школы. Диплом о высшем образовании получил только в сорок два года, окончив с отличием исторический факультет, защитил кандидатскую, потом докторскую. С шестидесятых годов жил в Вологде, был профессором Вологодского педагогического университета, председателем Северного отделения Археологической комиссии АН СССР.

Добрый, сердечный, застенчивый человек, при звуках похвалы красневший как ребенок, он был для Вологды тем, кем был Дмитрий Сергеевич Лихачев для Петербурга.

В середине семидесятых годов вокруг Колесникова сформировалась студенческая группа «Поиск», участники которой разыскивали, собирали, ком-

ментировали и издавали фронтовые письма. Во многих случаях ребятам удавалось соединить встречную переписку двух разлученных войной людей. Благодаря авторитету Колесникова книги выходили почти избегая цензуры — вдали от столичных надзирателей такое было возможно.

Скорбные, честные книги. Работа, сделанная вовремя и навсегда. Можно только догадываться, каких душевных сил она требовала от старого профессора и его учеников. Не все из них стали профессиональными историками, но все даже в последние переломные годы остались добрыми и несуетными людьми.

Вот «Книга-мемориал воинов, умерших от ран в госпиталях и захороненных на территории Вологодской области в годы Великой Отечественной войны». Документы по ста эвакуогоспиталям, свыше двенадцати тысяч имен.

Вот мартиролог «Реквием» — здесь имена ленинградцев, эвакуированных в дни блокады на Вологодчину и умерших здесь. Около десяти тысяч имен тех, кого не успели спасти. Откроем наугад. Четыреста восемьдесят вторая страница...

Козлов Александр Васильевич, 6 лет.

Козлов Анатолий Павлович, 9 лет.

Козлов Петр Алексеевич, 4 года.

Козлова Валентина Михайловна, 3 года.

Козлова Галина Петровна, 5 лет.

Козлова Зоя Григорьевна, 6 месяцев.

Козлова Людмила Николаевна, 1 год 9 месяцев...

А сколько детей и взрослых не успели назвать себя... Вот записи медсестер: «Славик, русский, умер 24 февраля 1942 года, возраст 4 года, из Ленинграда», «Неизвестный мальчик... 13 лет, умер 19 января 1942 г. Снят с поезда 420. Лицо белое, одет в старое хлопковое пальто...»

Я познакомился с Петром Андреевичем в те дни, когда он обсуждал со своими студентами беспримерное доселе для России издание — «Эпистолярное наследие участников войн XX столетия». Он мечтал собрать, сколь возможно, письма вологжан начиная с русско-японской войны, кончая письмами из Афганистана. Тогда еще никто не мог представить, что полевая почта будет доставлять в Вологду письма еще и из Чечни. Да что письма! Ведь и похоронки приходили одна за другой...

Колесников говорил: «Мы мечтаем через эти письма показать, как русский человек в разные времена воспринимал жизнь, показать ту душевную высоту, которая помогла нашим воинам выдерживать невыносимые лишения и испытания. Это будет, мне кажется, жизнелюбивая книга...»

Альманахи о вологодских городах виделись Петру Андреевичу таким же ясным, жизнелюбивым делом, необходимым именно сегодня. Тогда только начиналось перестроечное смятение, многим казалось, что земля уходит из-под ног. Колесников мечтал утешить земляков и успокоить: у провинции есть гораздо более прочные основания для счастливой и осмысленной жизни, чем те идеологические догмы, которые столь стремительно рушились в те годы.

Он не знал ничего наперед, не философствовал и не делал прогнозов, но сам его облик внушал оптимизм. Он был всегда доброжелателен, улыбаясь, приветлив — даже в дни своего глубокого одиночества, болезни, страданий.

Когда я уехал работать в другой город, в совсем незнакомые места, письма восьмидесятилетнего старика были для меня огромной поддержкой. Он продолжал в них нашу прерванную разлукой беседу.

«Слышу реплики — сам народ во всем виноват. Это кощунство, — горячился Петр Андреевич в июле 1993 года. — Народ боролся все время. Как же надо написать об этом, чтобы поняли все живущие эту правду?!»

В октябре того же года, не отходя от телевизора, он писал: «Я уже пережил одну Гражданскую, потеряв маму, близких и как-то уцелевший. Еще одна, если начнется, будет много кровавее... Кажется, пронесло. Может, засну спокойнее. Старею, но много работаю. Стали издавать альманахи о бывших уездных городах. Пишу вступительное слово к ним...»

Каждую минуту все могло рухнуть (да и сама его жизнь висела на волоске — он только что вышел из больницы и через несколько дней опять там

окажется), а он думает об альманахе, сверяет источники, листает рукописи... И глядит с тесной кухни во двор, на дремлющую Вологду, будто с чем-то и там, в привычном пейзаже, сверяясь.

### Листая краеведческий... роман

Жизнь... бессистемна, как г. Вологда, и пестра, как одеяло устюжан.

*Питирим Сорокин. (1911).*

Если взять вологодские альманахи и торопливо пролистать их, то останется лишь ощущение пестрого набора самых странных сведений. Будто ты рылся в корзинке на чердаке. Вот фенологические записи сельской учительницы Ксении Оношко, а рядом — обзор документов Белозерской городской думы. Статья о том, как и чем ловили рыбу в средневековой Вологде, соседствует с альбомной графикой помещика Боборыкина. Исследование о рождаемости в губернском городе легко уживается с историей эвакогоспиталя 1538. Календарь природы мирно соседствует с дозорной книгой князя П. Б. Волконского и сказанием о моровой язве...

То ли дело учебник или модная ученая монография — тут и стройность композиции, и последовательная хронология, и четкие выводы, и строгая адресность в аннотации — «для школьников, студентов, научных работников...».

Краеведческий альманах в этом смысле — антиучебник. В нем нет видимой стройности фактов и предсказуемости выводов, но здесь можно «случайно» сделать открытие — хотя бы для себя — на стыке, казалось бы, совершенно необязательных текстов.

Именно эта смесь пестрых и по хронологии и по жанру материалов дает увлекательнейшее, фантастическое ощущение, что ты «попал в историю». Несомненная же документальность добавляет к этому сознание подлинности, серьезности происходящего.

Все это похоже на чтение хорошего большого романа — когда ты попадаешь в его течение, с радостью подчиняешься этому потоку, любишь героями и переживаешь за них. Возможно, в провинциальных альманахах таится зерно нового — непредсказанного, кажется, пока никем — жанра *краеведческого романа*. Сюжет его будет направляться не прихотью вымысла, а энергией монтажа местных исторических источников — самых камерных, семейных, непритязательных. Здесь все как в древних летописях, когда автор разрешает себе лишь вынести событие на волне своего чувства, а сам тут же уходит в тень, оставляя читателя наедине с хроникой, с протекающим зримо временем.

Медлительность драгоценна нам, выпавшим из нее, как выпадают из гнезда. Но хочется встречаться иногда с этим медленным временем детства — хотя бы в книгах или во сне. Чтобы иметь поутру счастливую минуту *промедления* и весь день носить в себе какие-нибудь наивные строчки.

Чтоб мне в тиши  
мой век прожить,  
Все тех же, так же все любить...

### Деревянная книга

...И мы где-то жили на этой земле.  
Не здесь ли, где в птичьем овраге  
росли волчьи ягоды и на стекле  
звезда холодела во мраке?

*Олег Чухонцев.*

Моя первая книга была деревянной. По вечерам мы гуляли с бабушкой, и я учился читать по афишам, наклеенным на деревянные заборы, а считать — по окнам на нашей деревянной улице.

Ю. И. Чайкина во втором выпуске альманаха «Вологда» (статья «Двухэтажная Вологда, лексика строений в Переписной книге 1711 года») напоминает, сколько типов одних лишь промысловых избушек было в восемнадцатом веке: *избушка войлошная, избушка зорная, избушка чесноковая, избушка токаренная...* А сколько названий было у наших предков для разных типов амбаров — не счесть!

С исчезновением деревянных построек мы теряем нечто большее, чем просто архитектурное своеобразие. Это утрата *genius loci*, духа места. Смена дерева на камень — это перемена душевных свойств. На смену доверчивости и гостеприимству приходит замкнутость и настороженность.

В деревянном доме не ставят кодовые замки, железные двери, сигнализацию и стальные решетки. Деревянные заборы вокруг домов лишь упорядочивают пространство, но не раскалывают его на неприступные элементы. Щелки между досками пропускают вечерний низкий свет и любопытные детские взгляды. Для велосипедиста любой двор — прозрачен. На скорости просветы соединяются, раздробленная мозаика превращается в импрессионистическую картину.

Кстати, на заборах деревянных городов не пишут ничего особенно уж плохого. В надписях на досках нет торжествующего хамства. Это и сейчас так. Я успел отвыкнуть от своего города и, когда в последний раз приезжал в Вологду, в первые дни не обращал внимания на заборы и стены. Давно привык уже не читать, что там пишут. Ждешь ведь очередной грубости.

В Вологде же заборы до сих пор сродни если не альманаху, то общей тетрадке. Тут происходит часто бурная переписка — полудетская, полулюбовная, рассчитанная не на оскорбление чужого взгляда, а на чтение и перечитывание своими. «Ленька, я тебя очень люблю!» «Love you жизнь!» Или вот жалобная записка: «Я очень устала, я, может, не выйду гулять, у меня болят колени...» Это мелом на крыльце дома на улице Ветошкина.

Рядом с заносчивыми вывесками и рекламными щитами, везде удручающе одинаковыми, эти детские надписи мелом выглядят по-партизански весело и даже победно. В них есть утверждение таинственной вольницы, упрямой и насмешливой травы, пробившейся сквозь асфальт и бетон.

В вологодских дворах мне теперь всегда вспоминается «Капитанская дочка», деревянная белогорская крепость, которой Василиса Егоровна управляла так точно, как и своим домом. Почему-то кажется, что каменной крепостью ей было бы командовать не с руки.

### Воздух ссылки

Так вот и решила обратиться к Вам... у меня и хлеба нету... Прошу тебя помочь мне в этом деле. Иосиф Виссарионович, может, не пожелаешь ли приехать сюда к нам на отдых, то, пожалуйста, приезжай, у нас здесь есть речка, лес и много всяких ягод, очень хорошо, воздух чистый.

*Из письма крестьянки Андогского сельсовета Кадуйского района Вологодской области Парасковьи Васильевны Куцентовой И. В. Сталину, 1930-е годы.*

Бывший земский врач Сергей Дмитриевич Чечулин (альманах «Белозерье», выпуск второй) вспоминает поляка, сосланного в Белозерск в шестидесятых годах XIX века: «Цеханович грустил, но скоро его обворожила молодая барышня Вера Федоровна Никонова, увлекла его, и они повенчались и в дальнейшем жили счастливо до старости...»

Север вообще здорово умиротворяет горячие экспансивные натуры. Большевики предпочитали, чтобы их товарищей по борьбе сослали в Сибирь — там бунтарский дух только креп. А на Севере человек невольно терялся среди мягкого, тихого, доброго и доверчивого народа. Крикливых и самолюбивых людей здесь могли не только сторониться, но и счесть бесноватыми.

Помню, как в семидесятые годы нам, школьникам, с умилением рассказывали в вологодском музее М. И. Ульяновой о том, как ссыльные революционеры просвещали и облагораживали «дикий» северный край. Показывали

крепкий двухэтажный дом на берегу Золотухи, где в начале века жил ссыльный Джугашвили. (Окна в этом доме мне всегда казались голыми — на них не было наличников, и там никогда не горел свет. Он был действительно нежилым. После XX съезда располагавшийся здесь сталинский музей закрылся, но дом бережно сохранялся — «на всякий случай».)

На самом деле жизнь ссыльных была часто не совсем благостной и весьма далекой от самоотверженности. Альманах «Вологда» (выпуск третий) публикует письма вологодских ссыльных начала двадцатого века (публикация Ф. Я. Коновалова).

Судя по ним, революционеры-экспроприаторы абсолютно не знали, как живет тот народ, за счастье которого они столь рьяно и ожесточенно боролись.

«Всего более меня поразило, так это, что в каждом селе и в каждой деревне есть школа, очень часто встречаются двухклассные образцовые и двухклассные учительские школы, а также в каждом селении есть бесплатная библиотека. Одним словом, я ничего подобного не ожидал встретить у этих северных жителей...» (из письма неизвестного автора из Усть-Сысольска от 9 марта 1909 года).

Во всех письмах отмечается, сколь благожелательно и терпимо относятся к разношерстной ссыльной публике в северных городках. Чем же отвечали ссыльные на доброту северян? Когда читаешь переписку революционеров, кажется, что речь идет о какой-то дикой колонизации или разграблении завоеванной страны.

«Ссыльные пьют, развратничают, заражаются сифилисом, дерутся из-за проституток и доходят до „туруханских бунтов“, заключающихся в повальном насилии над женщинами и старухами...» (из письма политссыльного А. М. Губанова из Никольска от 6 февраля 1909 года).

«С местными буржуями воюем. Пугаем бомбами и террором...» (из письма политссыльного М. Е. Богданова из Великого Устюга от 29 марта 1908 года).

«Буду здесь жить, пока дорожу связями с русским народом, а когда и это пройдет, уйду отсюда и буду жить с другим народом. Только я думаю, что не уйду от народа: я сам виноват, много беспорядка я натворил...» (из письма политссыльного Н. М. Кузьмина из Великого Устюга от 21 февраля 1909 года).

Конечно, была и другая ссылка — порядочных, совестливых, думающих людей, чуждых любой круговой поруке — и уголовной, и политической. Север помог им прозреть, найти настоящее призвание. Многие из них признавались потом, что вологодская ссылка была для них подарком судьбы.

Именно в вологодской ссылке Николай Бердяев обратился к идеализму и ощутил свое призвание философа. Александр Богданов, будущий создатель и директор Института переливания крови, работал в ссылке земским врачом. Ссыльный Владимир Русанов обследовал реки Усть-Сысольского уезда. Двадцатитрехлетний Алексей Ремизов записывал северный фольклор и работал над своим главным романом. Сосланный в Тотьму Николай Иваницкий занялся этнографией и добился таких успехов, что вскоре был награжден серебряной медалью ордена любителей естествознания. Виктор Жеглинский основал Северное издательство. Революционный студент Анемподист Тарутин все годы ссылки посвятил составлению библиографии Русского Севера и поиску старопечатных книг. Ссыльный революционер Павел Щеголев, в будущем известный историк, пушкинист, в Вологде занимался спортом и работал над биографией Гоголя. Автор увлекательнейшей статьи «Литературная жизнь вологодской политической ссылки» (альманах «Вологда», выпуск первый) Ю. В. Розанов приводит несколько поразительных фактов о том, сколь либеральны и благоприятны для творчества были условия жизни ссыльных. Щеголев, к примеру, постоянно получал из Петербурга и Москвы целые тюки и ящики с архивными материалами. Таким образом, в Вологде побывала, например, переписка Гоголя — и не в копиях, а подлинники!

Библиотеки уже в то время были в Вологде замечательные. Выписывались все примечательные новинки из-за границы. Подписчиков газет на душу населения было не меньше, чем в Петербурге.

Петр Андреевич как-то поделился со мной по телефону радостью:

— Митя, поздравьте меня, я нашел уникальный документ — подворную перепись Архангельской губернии 1785 года. Из нее следует, что почти тридцать процентов мужского населения губернии было грамотным. Ни в одной из стран Европы не было такого уровня грамотности сельских жителей!..

В вологодских альманахах много статей, одни названия которых говорят о том, что Север издавна был частью европейской цивилизации и культуры.

«Иностранцы купцы и их дворы в Вологде в XVII — первой четверти XVIII века», «Вологодский цикл Иннокентия Анненского», «Питирим Сорокин в общественной и культурной жизни Вологды. 1911 — 1917», «Письма П. А. Дилакторского академику А. А. Шахматову», «Участие вологжан в строительстве Петербурга»... Оказывается, каменотес из Вологды Самсон Суханов работал с Огюстом Монферраном, последний даже оставил воспоминания о вологодском мастере.

### Не выпускайте тепла

Помню, как в 1991 году приехал в Вологду зимой в командировку и тут же вечером пошел к Колесникову, так хотелось повидаться и посидеть немного в уюте.

— Заходите быстрее, не выпускайте тепла.

В кабинете профессора плюс 10 градусов. Он сидит за столом в свитере и халате «времен Очакова и покоренья Крыма». Когда говорит — закрывает глаза. У него глаукома.

Мы засиживаемся до сумерек. Открыв глаза и обнаружив, что мы сидим в полной темноте, профессор включает свет. В люстре горит всего одна слабенькая лампа.

— А если эта перегорит?

— Выкручу из кухни... Что поделать, Митя! Мы переживаем период темного капитализма. Иногда встаю утром и думаю, что приготовить.

Застывшими руками он ставит на плиту чайник.

— Я ничего не имею против «нормального» общества, но не надо погружать людей в туман новых иллюзий. Народ может жить иллюзиями лишь краткий миг истории. Дальше иллюзии можно поддерживать только диктатурой. И водкой. За моим окном, на стадионе, несколько недель круглосуточно торговали спиртным, пока жены и матери не взмолились. Тот, кто обвиняет усталый народ в долготерпении и зовет к бунтам, думает, что надо только поднажать. Страшная игра, и мне стыдно...

Петр Андреевич никогда никого не стыдил. Он только говорил: «Мне стыдно...»

Четыре года назад его не стало. Недавно прошли первые научные чтения памяти Петра Колесникова. Ученики разбирают архив учителя. С удивлением они обнаружили там четыре пьесы, рассказы, автобиографическую повесть...

Выходят альманахи. Снег над Вологдой летит и не тает. Укутывает все, бинтует, сугробы стесняют пространство. И вспоминается детское влечение к тесноте, к сараю, подъезду, чердаку... Утром по местному радио говорят: «На дорогах заносы...»

Только сейчас вдруг понял, что весь двадцатый век наша семья провела в дороге, в сборах или обживании на новом месте. Не успевая обвыкнуться, прирасти — уезжали, гонимые то голодом, то войной, то приказом, то другими неумолимыми обстоятельствами. Никто из моих близких не жил и не живет там, где родился.

Дедушка Коля, оставшись сиротой в тринадцать лет, ушел пешком в город из родного села Китово. Путь был длинный — двести верст. Коля просил по деревням милостыню, читал Псалтырь над умершими за несколько картофелин...

Дедушка Леонид в шестнадцать лет оставил родной Гальбштадт — городок, основанный когда-то немецкими колонистами на реке Молочной, и по направлению районной советской власти поехал учиться на художника в Одессу.

Бабушка Тася навсегда уехала из Тобольска, где в 1918 году вместе с подружками бегала к высокому забору — посмотреть в щелочку, как царь пилит дрова.

Бабушка Вера покинула Керчь, когда ей было всего девять лет. Ее отец, мой прадед, начальник военного лазарета Елисей Волянский, только что получивший от Временного правительства звание генерала медицинской службы, спасал свою большую семью. Уплывали на пароходе. «В этот вечер оркестр играл с таким надрывом, что хотелось плакать. И я плакала, плакала, расставаясь со своим керченским детством...»

Моя мама родилась в Одессе, в 1941-м ей было четыре года. Родным удалось отправить ее в эвакуацию с одним из последних эшелонов. Думали, что эвакуация — это временно, оказалось — навсегда.

Отец очень смутно помнит Тавду, где родился.

Я совсем не представляю Барнаула, где появился на свет. Только кусочек двора с песочницей... Какие-то не зрительные картины, а запахи, звуки.

Мои дочери родились в Вологде. Это обстоятельство, мне кажется, согреет им немного жизнь. В самой этой фразе: «Я родилась в Вологде...» — есть тепло старинного уклада, какая-то надежность. Вот вырастут девочки, будут у них свои дети, и кто-нибудь из них будет иметь потом счастье написать так, как когда-то Сергей Маковский написал в воспоминаниях о своей матери: «Вологда... Детство ее протекло в этом богоспасаемом губернском городке, летом утопавшем в зелени, а в зимние ночи по улицам действительно бродили волки...» Как замечательны эти мифические волки!

Но и из Вологды мы уехали. Одна центральная газета предложила мне работу, а вместе с ней и квартиру. Мы уехали в большой город на Волге, где иногда и на Новый год не бывает снега. Однажды младшая дочка сказала: «Если бы мы не уехали из Вологды, мы бы до сих пор были маленькими...»

Вот какая долгая оказалась эвакуация. Почти сто лет нарушенного уклада, оборванных корней, дружб, симпатий, бесценных человеческих связей... Каких трудов и даже чудес стоило сохранить те осколки домашнего архива, которые мы имеем! Но сколько хрупких свидетельств духовной жизни семьи исчезло в пучине войн и переездов...

Когда пробил час мужества и речь шла о спасении детей, жизни, никто особенно не жалел о пропавших письмах или рисунках. Но вот прошли годы, и эта жалость как-то вдруг проснулась в другом поколении — во мне.

Возможно, из этого сожаления об утраченных семейных реликвиях у меня возник *страх одного экземпляра*. То и дело хожу на ксерокс — копирую старые фотографии, документы, страницы воспоминаний дедушки Леонида, бабушки Веры, деда Коли, оставивших мне летопись нашей семьи в лирических, смешных и трагических историях... Почему-то кажется, что в одном экземпляре ничего не может сохраниться. С двумя я чувствую себя спокойнее. «Тираж» в три экземпляра я праздную как ребенок. Нет-нет, страшно оказаться человеком, допустившим *исчезновение*.

Конечно, говорить о таком роде страха — своего рода роскошь. По-прежнему столько пугающих реалий грозят прежде всего не рукописям, а нам самим. Но мне думается, это как-то связано — небрежение беспомощным листком бумаги и попрание человеческой жизни, исполненной той же драгоценной хрупкости.

Поэтому вздох облегчения слышится мне в сухих цифрах, которые я нахожу в конце каждого вологодского альманаха: «2000 экз.», «3000 экз.», «6000 экз.»...

Ни тьмы, ни смерти нет на этом свете.  
Мы все уже на берегу морском,  
И я из тех, кто выбирает сети...

АЛЕКСАНДР НЕКЛЕССА



## ГЛОБАЛЬНЫЙ ГРАД: ТВОРЕНИЕ И РАЗРУШЕНИЕ

Не исповедуется ли Тебе душа моя исповеданием истинным, говоря, что я измеряю время? Но так ли его измеряю, Боже мой, и что именно измеряю, — не знаю.

*Бл. Августин, «Исповедь».*

**Н**а пороге нового тысячелетия история вплотную подошла к трансформационной цезуре, и пульс перемен грозит исторической апоплексией. Привычный мир расплзается по швам. Политические и культурные процессы образуют новые смысловые цепочки, структура звеньев которых в каждом отдельном случае вроде бы ясна, но общий смысл — темен, а плоды происходящего нередко обескураживают. Полифония множущихся изменений смущает разум, понуждая размышлять над глубинной логикой смены эпох. И заодно — оглянуться на уже пройденный путь. Кажется, именно в этой возможности остановиться, задуматься — внутренний резон торжеств по случаю круглых дат с большим или меньшим количеством нулей. *You've gone a long way, baby.*

К тому же есть тут особое обстоятельство: когда человек, осененный внезапной догадкой, решает взглянуть на ход истории под неожиданным углом, то прошлое вполне способно откликнуться на тайный призыв, подобно хамелеону изменив окраску. Прошлое отнюдь не однозначно, а мир истории явно полифоничнее и многомернее мира звезд.

Насколько важно для нас в таком случае понимание исторической формулы и мелодики? Современный насмешливый ум выразился бы, пожалуй, следующим образом: «Бог устанавливает правила движения, мостим же автострады и движемся по ним мы сами. Знание — хотя бы самое общее — о правилах движения, для тех, кто сидит за рулем, заметно снижает риск катастрофы». Но это все же плоская логика.

...Кроме того, по природе своей человек любопытен.

История цивилизации — процесс самоорганизации мира людей во времени и пространстве. Мера процесса — удержание зла и хаоса, умаление зависимости человека от природы и внешних обстоятельств. Проблема, однако же, не только в том, чтобы стяжать свободу, но и в том, как ею распорядиться. Пока воля и возможности людей ограничены, данная коллизия в значительной мере умозрительна. Обостренной она становится лишь на пике человеческого могущества, определяя дальнейший маршрут истории: вверх к звездам или вниз по крутому склону. Горизонт жизни не менее головокружителен, чем край бездны... Историческая кара за чрезмерное своеволие — рабство, полное или временное, уход во тьму крошечную несостоявшихся государств. У народов, как и у людей, порой тоже весьма изломанные судьбы.

---

Неклесса Александр Иванович — заместитель директора Института экономических стратегий. Статья написана в рамках проекта РГНФ (№ 00-02-00213а). См. его статью «Пакс экономикана, или Эпилог истории» в «Новом мире» (1999, № 9).



Привычный для современной эпохи образ времени — устремленная в будущее стрела. Но так было далеко не всегда: разные «этажи» истории обладали собственным хронотопом. Появление влиятельных альтернативных мировоззрений, а на их основе — фундаментальных интеллектуальных концептов, вселенских социокультурных проектов, воплощавшихся затем с той или иной мерой полноты, разрывали инерцию бытия, порождая его новые устойчивые формы. Вся историческая мозаика земного общежития, в сущности, не что иное, как зримое воплощение *менталитета*, — проросшие зерна той странной субстанции, которая, по выражению одного известного историка, есть нечто общее между Цезарем и самым последним солдатом его легионов, святым Людовиком и крестьянином, который пахал его землю, Христофором Колумбом и матросами на его каравеллах. Обновление мироощущения человека открывало ему двери в неведомое будущее, одновременно уводя пульсирующее настоящее в тень истории, обращая его в сухое и ломкое прошлое.

Становление категории времени происходило весьма специфичным образом: люди стремились удержать, каталогизировать прошлое, ища опору бытия в некоей изначальной точке. Человека той далекой поры навязчиво интересовали истоки мира, общая тайна происхождения вещей. При этом он намеренно поворачивался спиной к будущему, чреватому разрушением обретенной устойчивости и потому воспринимаемому как опасное пограничье — внешняя окраина, маргинальная периферия! Будущее не имело образа, ведь облик (имя) года давали события. Оно ощущалось скорее как несовершенное прошлое, «неообразованная статуя», нечто дикое, варварское. (Одно из названий будущего на аккадском языке — «дни, что опаздывают».) Человек совсем не стремился попасть в эти призрачные, несуществующие времена, его там, возможно, за первым же углом ждали потери и смерть. Будущее мыслилось как пространство, абсолютно неподконтрольное людям и полностью находившееся во власти других, причем весьма значительных, сил.

Время было конкретно, потому множественно и разнолико, локально и вещественно. Не только каждый сезон или день, но даже часы (стражи) имели свои характеристики. Однако же вне русла «больших смыслов» бытия все это разнообразие оставалось в значительной мере иллюзорным и механистичным: скрупулезно перемалывая зерна жизни, перечисляя и регистрируя случившееся, время, в сущности, не вело никуда. Времени не было, был «срок»<sup>2</sup>. Можно, пожалуй, сказать, что код этого древнейшего хронотопа — присутствующий в человеческом сознании и сегодня — в чем-то важном сродни архитектонике сновидений, плавно переходившей в архитектурную путаницу сложного (ложного) простора лабиринта. В результате причинно-следственная логика событий носила «горизонтальный» (синхронный) характер: абсолютно все *со-бытия* были так или иначе взаимосвязаны, и эта связь была подчас важнее, чем само событие. О грядущих переменах и делах надежнее было судить по косвенным признакам: приметам или аналогиям; нам знакомо это состояние ума, сейчас мы называем его суеверием.

Над человечеством в те времена господствовала могучая и вечная природа. В «заколдованном лесу» жизни, населенном анонимными стихиями и аномальными угрозами существованию, у живых душ было две опоры — круговорот природы (календарь) и небо над головой (зодиак). Эти острова стабильности соединялись в единый архипелаг сакральной геометрии, образуя причудливый узор мандалы: чертеж и саму реальность первого, «абстрактного»

<sup>1</sup> «Прошлое по-аккадски — *um pani* (дословно „дни лица/переда“); будущее — *ahratu* (образовано от корня „*hr*“ со значением „быть позади“») (Клочков И. С. Духовная культура Вавилонии: человек, судьба, время. Очерки. М., 1983, стр. 29).

<sup>2</sup> «Слово *adanu*, которое иногда... переводят как „время“, означает „срок“ и в смысле какого-то периода времени, и в смысле момента в конце определенного периода» (там же, стр. 15).

чертога человечества. Здесь обитала тайна, а тот, кто ее понимал, становился жрецом-архитектором невидимого града, исчислявшим и усложнявшим конфигурацию лабиринта.

Центр города — его храм — хранил порядок вещей, таблицу судьбы. Внешние стены ограждали этот порядок от бурных вод моря житейского. Стража и врата соединяли цивилизацию (организацию) и варварство (хаос). Математика при этом рождалась не из повседневного, «короткого» счета и не из монотонно-бесконечной чреды аморфных чисел, но обладала собственной плотью и кровью, сопрягая нитью цифр начала человеческого мира, и прежде всего — время.

Архаика — «безвидная», практически белая страница истории, зон, от которого никаких письменных источников не сохранилось, да и археологических следов осталось не так уж много, и мы поэтому называем его *Протоисторией*.

## ВСЕМИРНАЯ ИСТОРИЯ В САМОМ СЖАТОМ ОЧЕРКЕ

### Древний мир

Эпоха *Древнего мира* видится яснее: это был период «отделения тверди от моря», возникновения в гомогенной среде племен и родовых поселений «новой исторической общности» — мозаичного мира земных городов. Генезис города-государства — история одновременно интеграции и разделения. Интеграции разрозненных племен и поселений, трансформации их раздробленного существования в некоторую новую целостность и параллельно — их отделения от природы.

Первый на Земле город возник как особое пространство взаимодействия, интеркоммуникационный узел. Территория его изначально была единым для отпочковавшихся родов и близлежащих поселений сакральным местом, где располагались общее (особое) кладбище и жертвенник: процесс погребения был точкой максимального соприкосновения, *коммуникации* обыденного и потустороннего. Это специальное пространство выполняло — в той или иной степени — также комплементарные, но устойчивые бытовые, мирские функции. Оно служило местом ежегодного сбора родов в день поминовения усопших, являясь пространством интенсивного обмена вещами и информацией, то есть базаром, ярмаркой, которая в свою очередь еще крепче объединяла близлежащие поселения, притягивала порою и дальних странников... Было оно также пространством социального акта (тинг, вече), где принимались политические, правовые и экономические установления.

Постепенно местность обустроивалась: в середине, как правило на холме, располагались кладбище, причем не ординарные могилы, а скорее «город мертвых»: со своими особыми «домами», «дворцами», катакомбами. И ритуальная площадка, порою объединявшая в единый комплекс «гробницу», «храм» и «дворец». Вокруг них со временем обустроивались торговые ряды, еще дальше размещались жилища «интерплеменного народа» — священников, торговцев, охраны. Первым городом человечества был, таким образом, некрополь (и обитель богов), и первая, главная стена возникла не вокруг города, а внутри его, то есть вокруг общей сакральной территории, отделяя ее от территории мирской — жилой и торговой. При этом внутренние ограды — стены склепов и гробниц «запретного города» — были подчас массивнее и крепче внешних, мирских фортификаций.

Теперь достаточно было, следуя логике синхронистичного (аналогового) мышления той поры, обнести второе пространство внешней стеной — укреплениями, подобными ограде поселений, — чтобы появился город, *город-государство* как социальный феномен, которого прежде не существовало.

И все-таки рождение города окутано тайной: в Библии его создателем назван Каин...

Так в мире людей, в социальном универсуме появилось нечто качественно отличное от прежних, однородных поселений, а те в свою очередь сами обрели новую специфику. Утратив первородство, смилив гордыню, они стали именоваться деревнями. В древней истории, кажется, сплошь и рядом старшинство, первородство было чревато падением и проклятьем.

### Эпоха великих империй

Следующий акт земной драмы — «явление суши»: эпоха *Великих империй/интегрий* как результат взаимодействия городов-государств: формирования разноликих союзов, их запутанных взаимоотношений и борьбы — торговой, религиозной, военной.

Эпоха войн знаменовала постепенный переход человечества от состояния, в котором жречество господствовало как каста, к новой социальной схеме, где центральное место занимали воинское и административное сословия. Резко вырос статус царской власти, позволивший ее представителям претендовать на сакральные жилища (дворцы), обретя и подтвердив, таким образом, свой новый (полу)божественный ранг. Формировались и распадались необъятные по прежним меркам пространства, наступало время великих объединений (интегрий), в том числе и великих империй — мира протяженных территорий, соединенных единой властью, экономикой или культурой.

Сообщества-интегрии порождали качественно новую форму города — *метрополию* в виде столицы или города-лидера, перед которой в свою очередь склоняли головы правители городов-государств.

Здесь мы находимся на заметно более устойчивой почве исторических свидетельств. Предшествующее время — эра возникновения изолированных городов-государств — известно нам скорее как археологическая реальность. А вот государства-интегрии и империи — это более близкая история, известная нам и из письменных источников: *земля Сennaар* — Шумер и Аккад — как устойчивое сообщество городов, Древний Египет, Ассирия, Китай, Персия, а также Древняя Греция, особенно в эпоху эллинизма, наконец, Римская империя...

Данная форма социальной организации несла в себе ген монотонной экспансии, что, казалось бы, должно было в конце концов привести социальный космос к своеобразной «тепловой смерти» — установлению со временем на планете единой, глобальной империи. История, однако же, пошла другим путем.

### «Центр времен»

Существует исторический порог, который когда-то преодолело человечество. Он связан с началом христианской эры, ставшей модерном, радикальной системной новацией по отношению к миру традиционному. День истории был отделен от ночи повседневной жизни «для знамений, и времен, и дней, и годов». И время радикально изменило характер. Люди новой эпохи хорошо знали это, называя себя *moderni*, чтобы отличить от обитателей прошлого, ветхого мира — *antiqui*.

Прежний контур социального времени носил фактически замкнутый характер, хотя, как мы видим, и там можно выделить свои эпохи: мира городов-государств, великих империй. К тому же приближение ветра перемен предчувствовалось, оно проявлялось на протяжении уже нескольких веков: разнообразный эсхатологизм, мессианство, во многом связанные с распространением идей и представлений иудейской диаспоры; то есть имел место весьма значимый поворот исторического взора к будущему и его постепенное просветление. Или, рассматривая еще более широкий исторический контекст, весь тот комплекс реалий, который позволил Карлу Ясперсу ввести понятие «осевого времени», этого пролога вселенского исторического переворота.

История в ее современном понимании тысячью нитей — явно и скрытно, прямо и опосредованно — связана именно с иудео-христианской культурой, с

внесением смысла в сумятицу времени, с вселенским домостроительством. Общество, возникшее на этой грандиозной строительной площадке, называлось по-разному: христианская или европейская цивилизация, или просто цивилизация, или еще проще — Запад. Впрочем, в смене имен всегда заложен внутренний смысл.

Откуда же взялись поразительные по размаху и результатам творческие возможности, позволившие за сравнительно недолгий исторический срок преодолеть скудные времена, полностью преобразовав стиль жизни человека, а заодно и облик планеты? Разница же заключалась в том, что в мире возникла свободная человеческая личность. Свободная от дурной бесконечности ранжированного бытия и норм поведения, расписанных до мелочей. В традиционном обществе человек фактически не обладает личностью и свободой, его бытие регламентировано, его действия заранее predeterminedены ролевыми обязанностями, бытовыми функциями, потому и течение времени во многом иллюзорно. С утверждением же в мире христианского мировоззрения появилось новое прочтение смысла бытия, резко раздвинулся горизонт истории, люди ощутили высокий смысл в поступательном движении времени.

В результате рождается новая концепция исторического процесса. Человек, получив право на действие, начинает строительство *Universum Christianum*, понимаемого как универсальное пространство спасения. Все это вместе взятое и определяет рамки четвертой исторической конструкции — периода *Средневековья* как времени массовой индивидуации.

В мире первого миллениума новой эры общество, взрылленное переселением народов, взбудораженное сутолокой и сумятицей европейского плавильного котла, организуется прежде всего *идеологическим* образом. Период «темных веков» сокрушил и перемолол привычные опоры жизни. Прежние города рушатся или, частично обращенные в руины, сжимаются, трансформируясь в епархии, а роль системных центров, цивилизационных опор обширных сельских пространств (функция прежних городов как административных центров *политически* организованного общества) в это смутное время частично принимают на себя монастыри — своего рода *духовные города*, основывающиеся на принципах не гражданского общества, но духовной общины.

С появлением свободной, деятельной личности история одновременно исполнилась и расщепилась: она достигает определенного предела, и в то же время ее земное измерение удлиняется, обретая новый горизонт. Глобализм мыслится уже не как проект единой империи, механический реестр всего и вся, но как земная «альфа и омега» истории, как ее естественная граница: вселенский по своей полноте, но индивидуальный по существу выбор.

В постоянно расширяющемся общении человечество определяет в конечном счете формы и сроки своей совокупной судьбы. При этом, однако, полноте икономии истории противостоят не только прямой отказ от бремени свободы, но и ее апостасийная трактовка...

### Современная цивилизация

Следующий шаг истории — сама современность (*Modern World*), утверждающаяся с середины второго тысячелетия, или в несколько более узком смысле — эпоха *Нового времени* (*Modernity*).

Приближение к границам современной истории (*Pre-Modern World*) ощущается уже на рубеже тысячелетий, где-то с периода разделения Церквей, обособления европейского Востока и Запада, со времен крестовых походов и начала географических открытий. В недрах западноевропейской культуры исподволь зреет идеология антропоцентричного гуманизма, которая несет в себе идею возвышения человека и гегемонии светского общества, предопределяя появление эгоцентризма и атеизма, поскольку не Бог, а падший человек становится умозрительным центром вселенной. Это было время, когда «произвела вода пресмыкающихся» и одновременно «птицы полетели над землею»...

Постепенно распадается прежний, универсальный, не особенно считавшийся с границами государств круг жизни, укрепляется новое, проникнутое духом земного обустройства мировосприятие, появляется непривычный ранее патриотизм. Вместе со стремлением к снятию феодальных препон и развитием внутреннего рынка новое состояние общества прямо вело к возникновению суверенного национального государства — фундамента социальной конструкции Нового времени.

В свою очередь новые государства вступают между собой в союзы и коалиции для поддержания новой общности — коллективной системы международных отношений. Терминалы этого строя населены уже не имперским народом и не многочисленными этносами, но гражданами, обладающими устойчивыми политическими и экономическими правами, формирующими на данной основе своего рода «коллективную субъектность» гражданского общества.

Светский гуманизм реализует свое содержание в ряде достаточно противоречивых явлений: в процессах секуляризации, индивидуализме, просвещении, развитии искусств, науки и техники. Человек, осознав в какой-то момент, что «знание — это сила», почувствовал себя полновластным хозяином мира. В итоге произошел социальный и интеллектуальный взрыв, выброс колоссальной творческой энергии, позволившей построить богатое и технически развитое общество, реализовав со временем для части населения планеты своеобразный позолоченный век. Символом же нового строя становится *город производящий* — город-фабрика, город-предприятие, повсеместно реализующий модель расширенного воспроизводства.

Европейский регион, где преимущественно распространяется это мировоззрение, получает серьезный цивилизационный импульс, ведущий к широчайшей экспансии европейского мира на запад и на восток, север и юг, к появлению в конечном счете контура глобального сообщества. Эта новая Ойкумена строится как динамичная, открытая социальная система (в отличие от централизованной и статичной социосистемы «азиатского» мира) — система, опирающаяся на демократическое устройство общества, национальную государственность и конкурентную рыночную экономику.

Между тем успех процесса покорения природы со временем начал оборачиваться своей неприглядной изнанкой: внутренним покорением человека природой, нарастающей материализацией его бытия. Вот на этом-то мелководье (я имею в виду перманентное уплощение и обмирщение внутреннего мира) зародились и пышно разрослись великие идеологии XX века как паллиативные конструкции квазирелигиозного сознания...

Здесь же, по-видимому, коренятся начала лидирующей идеологии нашего времени — неолиберализма (профанированного либерализма). Подобная форма сознания мало-помалу утверждается на планете в роли своеобразной парарелигии, возрождая под видом «невидимой руки рынка» господство над человеком анонимных сил, а также культ золотого тельца или, по выражению Иоанна Павла II, «абсолютной ценности рынка». «Мы стоим перед лицом более объемной реальности, — размышлял он на исходе XX века, — которую можно признать настоящей *структурой греха*: ее характерная черта — экспансия культуры, направленной против солидарности и в ряде случаев приобретающей вид „культуры смерти“. Она распространяется под воздействием мощных культурных, экономических и политических тенденций, отражающих определенную концепцию общества, где важнейшим критерием является успех. Рассматривая положение дел с этой точки зрения, можно, собственно говоря, назвать его *войной сильных против бессильных*...»<sup>3</sup>

Так в человеческом сообществе возникает то ли мираж, то ли горизонт второго грехопадения и неоархаизации мира как альтернативного конца истории.

<sup>3</sup> Окружное послание «*Evangelium Vitae*» папы Иоанна Павла II о ценности и нерушимости человеческой жизни (Париж — Москва, 1997, стр. 22).

## «FROM HERE AND INTO ETERNITY»

## Секулярный проект

На пороге третьего тысячелетия утопичным и хрупким стал выглядеть долгий эксперимент по созданию идеальной среды будущего века, свободной от господства оболочки над сутью, от многоликой власти мифа и ритуала, каждый раз по-своему погружавшей человека в неотрадиционалистскую архаику.

Освобождение падшего человека «сначала от религиозного, а затем от метафизического контроля над его разумом и языком» (выражение голландского теолога К.-А. ван Пёрсена), непосредственное обращение к этому веку (*saeculum*), его разнообразным дарам и прежде всего дару свободы вместо чаемого *сотворения свободного человека* — «совершеннолетия человечества» (Д. Бонхёффер) привели к повторной фатализации истории, открыв простор могучим мифам (*архетипам*) древности. Под закатными лучами солнца Просвещения, в сумеречном мире XX века личность и общество, выведенные из волшебного леса традиционного мира в «страну разрушенных символов» (П. Тиллих), стремительно преображались в уплощенного, управляемого индивида на Западе и тоталитарные социальные конструкции на Востоке.

Та полнота ответственности, которая была взята на себя человеком, его попытка жить «так, как если бы Бога не было», со временем заметно трансформировали регистр испытаний: от привычного оппонирования традиционным религиям и двоеверию к противостоянию многочисленным соблазнам свободы. Слишком многое становится возможным в мире освобожденного Прометея. Новое рабство, однако же, имеет все шансы стать «хуже прежнего». Вырвавшаяся из темных глубин возможность технически оснащенного насилия и изощренного контроля над человеческой личностью обернулась на практике реализацией «кошмара конвейера», поставленной на поток деструкцией, высокотехнологичными войнами, обостренным предчувствием тоталитарной антиутопии. И миллионными гекатомбами. Тоталитаризм, в сущности, не есть та или иная конкретная идеология, но особый на нее отклик, стремление перемолоть уникальность человеческой личности ради приближения некоего социального горизонта. Отмечая в качестве одного из достоинств ушедшего века крушение одиозных тоталитарных конструкций, мы как-то забываем, что именно это столетие есть историческое время их появления. Тоталитарные режимы — перворожденные уродцы-мутанты социального творчества эпохи Постмодерна.

Сейчас на финише *opus magnum* истории разгорается заря «шестого дня творения» — эпохи, когда, кажется, происходит последнее испытание расщепленного статуса человеческой природы. Лишь те из многочисленных обитателей планеты, кому по силам, сохраняя воссозданную личность, вкусят свободу и одновременно удержаться от ее повторного искажения, могут надеяться на исцеление. Человек уже испытал могущество своей свободы, расколдовал мир и изгнав прежних идолов. Цивилизация также продемонстрировала способность если и не стереть нужду с лица планеты, то по крайней мере обеспечить людям серьезную, действенную защиту. Однако нынешнее развитие истории пошло, кажется, по совсем иному руслу.

Русло же истории, указанное Августином, пересыхает. Поток исторического времени, утрачивая универсализм, вновь дробится на множасьищея ручьи и заводи автономных, «провинциальных», групповых, клановых смыслов. Процесс неоархаизации социума в условиях коллапса прежнего культурного контекста стал набирать темпы за считанные десятилетия: буквально на наших глазах совершаются стремительная эмансипация греха и одновременно — десекуляризация природы и общества. Происходит возрождение своеобразного неоязычества на Западе и не менее заметное развитие квазифундаментализма на Востоке.

### Глобальная трансформация

К концу XX века на планете отчетливо проступили контуры его новой, монополярной геометрии. «Окончание тысячелетия совпадает с периодом, когда преимущество Америки превратилось в доминирование, — констатировал в начале 2000 года Генри Киссинджер. — Никогда прежде ни одна страна не достигала такого преобладающего положения в мире и в столь многих областях деятельности, начиная от производства вооружений до предпринимательской активности, от технологических достижений до массовой культуры». А помощник президента Клинтона по национальной безопасности Сэмюэль Бергер, выступая тогда же в Национальном клубе печати с докладом «Американское лидерство в XXI веке», закончил речь следующими словами: «Америка достигла такого уровня, когда по своей силе и процветанию мы не имеем себе равных. Это очень хорошая позиция для вступления в новую эру».

«Кто равен мне в мире сем?» Однако лидерство США в современном мире все чаще связывается с экономическим и военным превосходством и все реже с превосходством моральным. Критике, в частности, подвергается наметившееся расхождение между политической риторикой и повседневной практикой американской администрации, ее неспособность плавно и гармонично трансформировать декларируемые принципы правления в общепринятые нормы поведения, выражаются сомнения в отношении способности США удержать мировую ситуацию от сползания к хаотизации и последующему коллапсу. Действительно, построение универсального сообщества, основанного на началах свободы личности, демократии и гуманизма, на постулатах научного и культурного прогресса, на идее вселенского содружества национальных организмов, на повсеместном распространении модели индустриальной экономики — все эти цели и принципы предшествующего времени оказались под вопросом. Глобальное гражданское общество так и не сложилось, а на планете между тем возникает нечто, что все чаще воспринимается как неясная и несколько шаржированная модель иной, постсовременной цивилизации (*Post-Modern World*) — «Мировой Север транснациональной иерархии в обрамлении миллиардных трущоб Глубокого Юга». Конструкция в равной степени как постхристианская, так и постгуманистическая.

«Не будет преувеличением утверждение, что в наиболее сознательных кругах западного общества начинает ощущаться чувство исторической тревоги и, возможно, даже пессимизма, — описывает создавшееся положение Збигнев Бжезинский. — Эта неуверенность усиливается получившим широкое распространение разочарованием последствиями окончания холодной войны. Вместо „нового мирового порядка“, построенного на консенсусе и гармонии, явления, которые, казалось бы, принадлежали прошлому, внезапно стали будущим»<sup>4</sup>. В провозглашенной Америкой «Национальной стратегии для нового столетия» прямо констатировалось, что баланс безопасности в мире сейчас очень динамичен и неустойчив, поскольку подвержен различным угрозам, опасный потенциал которых *имеет тенденцию к росту*. А Генри Киссинджер в цитированной выше статье отмечал, что американское общество «в результате окончания холодной войны испытало искушение навязать миру в одностороннем порядке свои предпочтения без учета реакции других народов либо иных долгосрочных издержек данного курса».

Зародившаяся тревога за будущее цивилизации заставляет напряженно размышлять о проступающих признаках катастрофы, видя своего рода «мене, текел, перес», начертанное на конструкциях постсовременного мира. Все чаще слышна критическая оценка экономистичной модели глобализации, констатирующая как минимум ее неоднозначность.

<sup>4</sup> Бжезинский З. Великая шахматная доска. Господство Америки и его геостратегические императивы. М., 1998, стр. 251.

Характер современной экономической реальности может быть выражен, пожалуй, следующей формулой: *то произведено, что продано, то капитал, что копируется на рынках, а бытие определяется правом на кредит* (свободной пока остается, пожалуй, лишь завершающая логический круг теза: «*тот не человек, кто не налогоплательщик*»). Выпукло высветились такие феномены, как глобальный долг, растущие процентные выплаты по которому служат затем источником новых займов; повсеместная приватизация прибылей и одновременно — целенаправленная социализация издержек; свобода движения капиталов и растущие препоны на путях перемещения трудовых ресурсов; экспорт сверхэксплуатации и манипулирование рынком; универсальная коммерциализация и механистичная максимизация прибыли без учета состояния социальной среды и хозяйственной емкости биосферы Земли...

Одновременно возникла тема деконструкции массовой мифологии глобализации, нередко затмевающей драматичные реалии нового мира, сковывающей процесс его осмысления. Стало формироваться международное протестное движение, объединившее несколько сот неправительственных и религиозных организаций и уже проявившее себя в 1999 — 2000 годах акциями в Сиэтле, а также в Кёльне, Лондоне, Бангкоке, Давосе, Вашингтоне, Нью-Йорке. И наконец — в Праге и Ницце. На этом поле столкнулись чрезвычайно различные силы, питаемые совершенно разными источниками...

### Призрак постглобализма

Современная «археология будущего» (*future research*), переставая быть дочерью социологии и права, обретает новых родителей или, точнее, опекунов в лице стратегического анализа и планирования<sup>5</sup>. На этой политологической кухне готовятся весьма специфические блюда, которые не всегда доступны публике с улицы. Впрочем, время от времени некоторые из экзотичных рецептов все же предлагаются *urbi et orbi*, становясь, таким образом, «достоянием общности».

Вот один из «кухонных» рецептов для наступившего века под названием «*Конец эпохи*»: модель развития событий, «перпендикулярная» по отношению к распространенным схемам эры процветания — как Америки, так и мира.

Спазмы практически ежегодных локальных и региональных кризисов на планете, кажется, постепенно ведут дело к заключительному аккорду современной эпохи — масштабной кризисной ситуации в США. Сброс многих проблем американской экономики во внешний мир — начало чему было положено утверждением уникального статуса доллара как фактически мировой резервной валюты — имеет свою пограничную линию: глобальный фундамент финансовой пирамиды (изображенной, кстати, на долларовой банкноте). Данная ситуация была реализована на планете в 90-е годы прошлого столетия после краха Восточного блока и распада СССР. Кроме того, с отменой золотого паритета доллары, утратив объективное измерение, трансформировались, по сути, в акции «корпорации США», чье обеспечение есть *символическая производная* от общего благосостояния страны (и образа этого благосостояния). Соответственно другой «черный» сюжет современности — крах перегретого американского фондового рынка вследствие растущих диспропорций между экономикой «старой» и «новой» — будет иметь следствием не дефляцию, а инфляцию доллара.

Федеральная резервная система и фондовый рынок — это мозг и сердце американской экономики. Однако уже и не только американской... Учитывая замыкание Америки на себя основных экспортных и финансовых потоков планеты, кризис, судя по всему, имеет все шансы стать общемировым.

<sup>5</sup> Эрих Янч, один из отцов основателей Римского клуба, когда-то говорил об «активном представлении будущего» (или, что то же самое, о *поглощении прогнозирования планированием*).



В условиях коллапса мировой торговли автоматически возрастает роль протекционизма, национальных ресурсов и производственных мощностей, что наряду с валютной лихорадкой стимулирует глобальное перераспределение собственности и «новый реализм» в отношении особо значимых фондов. Возможности же повторного комплексного сброса энтропии вовне лежат теперь для США в значительной мере не столько в области финансовых, сколько военно-политических технологий. Тень этого «сломанного горизонта» можно при желании опознать в нетрадиционных для Америки перипетиях последней президентской компании — открытой борьбе за право управлять кризисом.

Еще один актуальный продукт сумрачной кухни получил недавно весьма характерную этикетку «*Второй ядерный век*». Как писал во влиятельном журнале «Foreign Affairs» профессор Йельского университета Пол Брекен: «Созданному Западом миру (уже) брошен вызов... в культурной и в философской сферах. Азия, которая стала утверждаться в экономическом плане в 60 — 70-х годах, утверждает сейчас также в военном аспекте». Выдвигая тезис о наступлении «второго ядерного века» (то есть ядерного противостояния вне прежней, биполярной конфигурации мира), американский политолог характеризует его следующим образом: «Баллистические ракеты, несущие обычные боеголовки или оружие массового поражения, наряду с другими аналогичными технологиями сейчас доступны по крайней мере десятку азиатских стран — от Израиля до Северной Кореи, и это представляет собой важный сдвиг в мировом балансе сил. Рост азиатской военной мощи возвещает о начале второго ядерного века...»

Еще более резко сформулировал свою позицию Международный институт стратегических исследований (IISS) в ежегодном докладе о тенденциях развития мировой политики. Его вывод: США в целом оказались неспособны претендовать на статус сверхдержавы, а главную угрозу для человечества представляют сейчас региональные конфликты в Азии с участием ядерных держав, в результате чего человечество «балансирует на грани между миром и войной». Действительно, даже краткое перечисление основных субъектов азиатской военной мощи: Китай, Япония, Северная Корея, Индия, Пакистан, Иран, Израиль — несмотря на неполноту и явную эклектичность списка, а может быть, именно вследствие этой эклектичности, заставляет лишний раз задуматься над степенью безопасности и конфигурацией глобальной системы XXI века. Таким образом, экономистичному менталитету Запада может быть в не столь отдаленном будущем противопоставлен цивилизационный вызов Нового Востока, включающий более свободное, нежели прежде, и базирующееся на иной культурной платформе использование современных вооружений.

Есть также блюда «*Реориентализация*» и «*Новая мировая анархия*».

Шимон Перес в исследовании «Новый Ближний Восток» уже обращал внимание на происходящую трансформацию начал современного общества: «До конца XX столетия концепция истории уходила корнями в европейскую модель государственной политики, определявшейся националистическими ценностями и символикой. Наступающая эпоха будет во все большей мере характеризоваться азиатской моделью государственной политики, базирующейся на экономических ценностях, которые предполагают в качестве основного принципа использование знаний для получения максимальной выгоды»<sup>6</sup>. Перерождение социальной типологии дополняется демографической ориентализацией мира: вспомним, что в развивающихся странах проживает (по данным на начало 1999 года) около  $\frac{5}{6}$  населения планеты, и на их же долю приходится 97 процентов его прогнозируемого прироста. Повышается также удельный вес восточных диаспор непосредственно в странах Севера, и одновременно проявляются опасения по поводу перспектив новой волны расовых столкновений (особенно в случае серьезных экономических потрясений).

Крышки с некоторых котлов не хочется даже приподнимать (тут вспоминается известный эпизод из «Синей птицы», только на этот раз предостережения феи Ночи совсем не кажутся фальшивыми). Например, вероятность группового

<sup>6</sup> Перес Ш. Новый Ближний Восток. М., 1994, стр. 188.

удара низколетящими спортивными самолетами, пилотируемыми камикадзе, по атомным электростанциям индустриально развитых государств. При этом цель полета в случае обнаружения самолета в воздухе может быть декларирована, скажем, как экологическая акция протеста, и сбивать его «не рекомендуется», поскольку на борту находятся-де чрезвычайно токсичные отходы.

О перспективе же новой мировой анархии заговорили еще несколько лет назад, но скорее как о символической альтернативе новому мировому порядку. Тезис этот, однако, оказался многомернее и глубже его распространенных публицистических интерпретаций.

Речь идет об отыскании новых начал грядущего строя, о взаимодействии человека и общества в меняющейся социальной среде (вспомним в том числе отдельные идеи Прудона, Бакунина, Кропоткина, Чайнова и других). В результате испытывающая кризис парадигма демократического *управления* обществом сталкивается с развитием альтернативной системы политических воззрений — набирающей вес идеей действенного *суверенитета* личности и сопутствующей ей схемой сетевой, горизонтальной организации социума (его локальной самоорганизацией).

На протяжении истории демократия претерпевала метаморфозы. Очевидно, что демократия рабовладельческого древнегреческого полиса и модель гражданского общества, ориентированного на соблюдение прав меньшинств, весьма различны. Современный кризис института демократии также носит не частный, а системный характер: массовое *общество потребления* заметно отличается от модели *гражданского общества* Нового времени. Диапазон воздействия на социальные процессы сейчас существенно шире, в том числе и за счет развития технических средств управления массовым поведением, что провоцирует развитие вполне легальных политических технологий, извращающих и подрывающих такие принципы демократии, как институт народного волеизъявления или публичность политики. Превращая их, по сути, в фикцию. Отсюда все большее распространение — как на Мировом Юге, так и на Мировом Севере, хотя и в разных формах, — химеры «управляемой демократии»: своего рода симбиоза политических декораций демократии и реально действующих механизмов олигархии либо авторитаризма.

Кроме того, демократия действенно организовывала и ограничивала власть *национального* государства, однако возможности ее заметно снижаются в условиях *транснационализации* мира, роста слабо регулируемых экономических и информационных констелляций, чье влияние и возможности манипулирования поведением людей постепенно выхолащивают саму идею публичной политики. В новом контексте тезис об универсальности и приоритете прав человека становится ахиллесовой пятой политической практики, соединяя две различные ее тенденции. Одну, вполне проявившуюся, — ослабление роли национальных политических институтов и возвышение структур транснациональных. Здесь принцип защиты прав человека служит подчас рычагом для взлома прежней системы политической регуляции. И другую, напрямую связанную со статусом личности, ее претензией на универсальный суверенитет, — лишь зарождающуюся в первых версиях сетевого общества и частично проявившуюся в столь различных феноменах, как, скажем, венчурная экономика или антиглобалистское движение.

В сущности, сама по себе демократия безлична и неконструктивна, более того — творчески стерильна (о чем писал еще Герцен), плодотворна же — кооперация личностей, их «заговор», «проект». Демократия может быть охарактеризована как уплощенная соборность (соборность, из которой изъята суверенная личность) и этой своей стороной порой напоминает общину с ее стадными инстинктами. Данный изъян демократия стремится компенсировать, делегируя власть, приглашая «варягов», однако делает это все более несовершенным образом и не вполне самостоятельно.

Подобная аргументация, в силу различных причин маргинальная, «подозрительная» и совсем неактуальная еще лет десять назад, ныне обретает второе дыхание в мире идей новой оргструктуры рынка и схем сетевого общества.

### Глобальный Град

В новой социальной среде радикально меняется сложившийся ранее тип города. Он расплывается, превращаясь в эклектичный коллаж интернационального мегаполиса. Параллельно множится феноменология деурбанизации: элитные загородные поселки, внутригородские автономные замки и кварталы, по-своему напоминающие о потускневших декорациях *global village*; уродливые фавелы и бидонвилли, формирующие собственный планетарный архипелаг квазидеревень, — трущобы Глубокого Юга.

«Город-фабрика», «город-предприятие», умирая, переживает родовые схватки. Словно гусеница, становящаяся бабочкой, он преобразуется в летучий остров Новой Лапутании — динамичную *неокорпорацию*, эффективно объединяющую рассеянных по миру сотрудников. Эти космополитические модули нового мира связывают транснациональной сетью миллионы активно действующих людей, сведенных воедино уже не общей территорией проживания, но контрактом, рабочим пространством, средствами телекоммуникации, гипергеометрией своего существования.

Новый мир формирует и собственный глобальный проект — дизайн универсального *сверхоткрытого общества*, в сетевых глубинах которого растворяется централизованная среда обитания, смешивается актуальное и иллюзорное, рождается сложное пространство полностью разделенных рисков. Так на земных просторах возникает конструкция Глобального Града как системы взаимодействия международных организаций, элитных клубов, криминальных консорциумов, ТНК, бывших метрополисов, разнообразных субкультур... Обитатели этого интернационального трансформера связаны между собою подчас более крепкими узами, нежели с населением собственных стран.

Социальное пространство размывается, становясь практически безбрежным, многовариантным, лабиринтообразным, непознанным. Новые смыслы и новые просторы таят открытия, сокровища, опасности, а первооткрыватели, как когда-то в эпоху до географических открытий, лишены достоверных карт и надежных маршрутов. Иллюзии и вымыслы, мифы и тайное знание вновь тесно сплетаются с реальностью. Все чаще проявляется анонимность генезиса и мистификация содержания новостей, случается порой, что и сам факт события оказывается небесспорным. Привычный городской ландшафт — общественная среда обитания — конвертируется в динамичный интерьер — частную и произвольную среду, выводя актуальное бытие с улицы в виртуально-безбрежные просторы СМИ и Интернета. Обобщенный символ этого призрачного Глобального Града — *Всемирная Паутина*.

Сложноподчиненная конструкция Мирового Севера и Мирового Юга может быть, впрочем, истолкована и как полупародийное переосмысление дихотомии Страшного Суда христианской эсхатологии. С другой стороны, миллионы людей связывают происходящее с приближением «нового неба и новой земли» постисторического бытия, символизируемого образом принципиально иного, возникающего из сердцевины истории идеального града — Горнего Иерусалима.

Ночь истории, что тенью сопresentsует на протяжении всех дней творения человеком своего мира — как изнанка свободы, как шанс на возрождение первобытного хаоса, — предчувствуя исполнение сроков, кажется, готовится внезапно повернуть социальное время вспять, к пещерной архаике Протоистории. В гипотетичном *Мире Распада* структура Мирского Града, пройдя сквозь последнюю стадию разложения бывших мегаполисов и фрагментацию бидонвиллей, навсегда уйдет в таинственный, жестокий, психоделичный лабиринт *мирового андеграунда*, на пути назад, к некрополю, в дурную бесконечность немой ахронии. Пандемониум тоже своего рода город, имеющий, наверное, причудливую архитектуру.

Но... «здесь страх не должен подавать совета».



---

---

# ПИСЬМА ИЗДАЛЕКА

ВЛАДИМИР ОШЕРОВ

\*

## ПРЕДЕЛ ДЕМОКРАТИИ?

**А**мериканское государственное устройство было вполне сознательно сконструировано своими отцами основателями не как мажоритарная демократия, а как республика избранных представителей, коллективная воля которых не обязательно должна совпадать с волей большинства избирателей. Отцы основатели, будучи представителями верхних, образованных слоев американских колоний, справедливо опасались «власти толпы» и сделали все, что было в их силах, для того чтобы простое большинство населения было ограничено в возможности оказывать решающее влияние на формирование высших институтов государственной власти.

Один из таких основателей, Александр Гамильтон, писал: «Республиканский принцип требует, чтобы осознание интересов общества руководило поступками тех, кому общество доверило ведение своих дел; однако он не требует безоговорочного служения любому порыву страстей или любому мимолетному побуждению, внушенному народу ловкостью тех, кто льстит его предрассудкам для того, чтобы предать его интересы... Когда интересы народа не совпадают с его инстинктами, долг тех, кого он избрал в качестве хранителей этих интересов, — противостоять преходящим заблуждениям, дать народу время и возможность для более спокойных и трезвых размышлений».

Для обеспечения этого принципа в США была создана (и продолжает функционировать до сих пор) довольно сложная, многоступенчатая система выборов и распределения прерогатив «трех ветвей» власти, позволяющая балансировать между множеством конфликтующих интересов. Американцы гордятся тем, что у них никогда не было «правительственных кризисов», которые можно довольно часто наблюдать в Европе, в Латинской Америке или, например, в Израиле: смена власти здесь (как на федеральном, так и на штатном уровне) происходит размеренно и регулярно.

В истории США были случаи, когда президентом становился не тот кандидат, который получал общий перевес в голосах избирателей, а тот, кто собрал большинство голосов коллегии выборщиков. Однако и в этом случае он получал всю полноту власти согласно действующему принципу «Winner takes all». Америка, в отличие от Европы, незнакома с понятием коалиционного правительства, здесь невозможно «сожительство» республиканского президента и демократического правительства, поскольку его главой является сам президент и он формирует его, разумеется, из представителей своей партии, лидером которой он в свою очередь и является. Это делает выборы президента куда более острым и поляризующим процессом, чем выборы президентов в странах, где либо за власть борется несколько партий, либо президент остается символическим лицом, не обладающим реальной политической властью.

Так что «скандал» с выборами 2000 года состоит вовсе не в том, что победа была одержана минимальной разницей в числе голосов, и не в том, что перевес в общем числе голосов не обязательно приносит победу в президентской гонке: такие ситуации предусмотрены Конституцией США и не могли бы слу-

жить поводом для тех событий, что разворачивались на глазах у всего мира на протяжении ноября — декабря. Дело в том, что прошедшие выборы выявили все более усиливающуюся *фрагментацию* американского общества, которое на протяжении последних тридцати — сорока лет пережило ряд серьезных перемен. Это и процесс расовой интеграции, начавшийся с принятия в 1964 году законов о гражданских правах, и война во Вьетнаме, и решения Верховного суда США, ограничившие роль религии в общественной жизни (отмена молитвы в школах, запрет на изучение Библии и т. д.), вызвавшие широкое недовольство американских христиан, и «сексуальная революция», и рост влияния феминизма, и политика мультикультурализма. Эти процессы способствовали все большему расколу общества на отдельные «группы интересов», получающие и в свою очередь оказывающие поддержку лишь одной из двух главных партий. Размежевание произошло и в бизнесе: так, компьютерная индустрия (во всяком случае, до судебного процесса по делу компании «Microsoft») поддерживала демократов, в то время как республиканцев финансировали оружейники, нефтяники, табачные корпорации. В итоге выбор между партиями для многих избирателей стал зависеть от отношения к таким конкретным вопросам, как свобода аборт, право на владение оружием, отношение к религии. На почве «малых вопросов» как раз и образовались довольно стабильные электоральные базы двух партий.

Существуют партийные привязанности, уходящие корнями в историю, но есть и такие, что возникли совсем недавно и продолжают трансформироваться. Их очень трудно объяснить логикой, но многократно приходится слышать заявления вроде: «Наша семья — из рабочего класса. Я никогда не буду голосовать за республиканцев!» — или: «Я всегда голосовал за республиканцев, потому что я — верующий». Этнические меньшинства тоже разделяются по партийному признаку, иногда по не совсем ясным мотивам. Например, хотя обе партии безоговорочно поддерживают Израиль, почему-то 80 процентов американских евреев голосуют за демократов. Стереотипы, унаследованные от родителей, очень прочны. В результате, например, за Буша голосовало большинство белых католиков (не говоря уж о протестантах) и белых женщин, в то время как за Гора голосовали евреи, члены профсоюзов и негры — больше, чем даже за Клинтона, которого негритянская Америка очень полюбила и даже окрестила «первым черным президентом Америки».

Эти труднообъяснимые политические привязанности свидетельствуют, в частности, о том, что в современной Америке постепенно утрачивается понятие *личной ответственности*. На эту тему много пишут, особенно публицисты консервативного толка, это проявляется и в множестве оправдательных приговоров преступникам, у которых было «трудное детство», и в попытках привлечь к ответственности за убийства не тех, кто стрелял, а компании, изготавливающие огнестрельное оружие, и в многомиллиардных штрафах, налагаемых на табачные компании за ущерб, нанесенный здоровью курильщиков (хотя на всех сигаретных пачках уже много лет красуются предупреждения о вреде курения). Во Флориде по закону о выборах избирательный бюллетень считается недействительным в том случае, когда он не был прокомментирован согласно инструкции. Соответственно сторонники Гора пытались представить дело так, будто люди не поняли инструкции или были небрежны, но за это их нельзя «лишать права голоса». Вопрос о личной ответственности как бы и не ставился.

Важно и то, что роль судебной власти возросла до такой степени, что судьи стали брать на себя роль законодателей, а не просто интерпретаторов закона. Об опасности такого развития событий предупреждали уже давно, а в 1997 году влиятельный консервативный журнал «First Things» поместил в трех номерах, а затем издал отдельной книгой, обмен мнениями между рядом ведущих политологов и юристов США на тему «Конец демократии?». Многие участники с тревогой писали о том, что складывающееся в Америке соотношение сил между исполнительной, законодательной и судебной властями все больше отдает право решать спорные вопросы общенационального значения в руки судей. То, что при этом игнорируется воля большинства, — полбеда, по-

скольку так было задумано с самого начала. Проблема в том, что игнорируется и воля избранных представителей народа, и воля президента страны.

При существующей системе одной из партий достаточно во время пребывания у власти «зарядить» суды своими людьми, и тогда даже при смене власти в судах будут сидеть пристрастные, не всегда объективные люди, готовые принимать решения в узкопартийных интересах, что и было ярко продемонстрировано в ходе флоридских баталий. А решения Верховного суда США принимаются девятью судьями, которых никто даже не избирал! Они назначаются лично президентом с одобрения Конгресса, фактически пожизненно, и перевес в один голос (а так бывало много раз) может решить судьбу всей страны. Именно так и случилось, когда Верховный суд штата Флорида принял решение в пользу вице-президента Гора перевесом всего в один голос (4:3), а на следующий день Верховный суд США отменил это решение — и тоже большинством всего в один голос (5:4). Окончательно судьбу президентства решили именно судьи, большинство которых (7 из 9) было назначено президентами-республиканцами. В своей весьма многословной и запутанной аргументации, направленной на то, чтобы удовлетворить все стороны конфликта, судьи по-настоящему никого не удовлетворили и фактически только усугубили поляризацию и взаимную горечь победителей и побежденных.

Судья Джон Поль Стивенс, один из «несогласного» меньшинства Верховного суда, в своем мнении пишет, что независимо от того, кто выиграл, проиграло «доверие к судье как независимому стражу закона». За витиеватым многословием, каким бы искусным оно ни было, большинство американцев все равно видит тот простой факт, что сторонники республиканской партии в суде использовали свое численное преимущество и присудили победу Джорджу У. Бушу. Точно такой же была бы реакция публики, если бы суд решил дело в пользу Гора.

Разумеется, конституционный суд должен быть составной частью любой легитимной политической системы, сбалансированной двумя другими ветвями власти. Но что делать, когда происходит серьезный перекокс в пользу судебной власти? Америка так и не нашла ответа на этот вопрос.

Судьи выступают в качестве законодателей, а исполнительная и законодательная ветви либо откровенно жертвуют интересами одних групп населения в угоду другим, либо идут на поводу у мимолетных колебаний общественного мнения. Система все меньше напоминает ту, которую с такой продуманностью и тщательностью создавали отцы основатели. Подорвана вера не только в благоразумие двухпартийной системы, но и в честность и беспристрастность политического класса в целом. Деньги играют все возрастающую роль в политике, и все попытки как-то ограничить их роль терпят неудачу, как, например, так называемый «билль Маккейна — Файнгольда», ограничивающий суммы частных пожертвований в пользу кандидатов в избирательных кампаниях. Этот законопроект был провален дружными усилиями представителей обеих партий, которые проявили в этом вопросе трогательное единодушие — несмотря на всю межпартийную неприязнь и громкие склоки, сопровождающие обсуждение всех остальных вопросов!

Когда выбор ограничен двумя партиями и обе они во всех аспектах внутренней и внешней политики все больше начинают походить друг на друга, отличаясь лишь тем, интересы какой из групп одного и того же имущественного класса они выражают, стимул голосовать все слабеет. В ноябре 2000 года голосовало лишь 50,7 процента совершеннолетних американцев. Это не самый низкий процент за последние сто лет, но он третий с конца. «Активность избирателей в Европе, где процветают малые партии, выше, — отмечает обозреватель Джозеф Собран. — Там существует реальная возможность голосовать за кого-то, а кем вы согласны, а не просто выбирать меньшее из двух зол, и ваша партия может как-то повлиять на решения».

В системе американской демократии материальные интересы, вопросы уровня жизни неизменно оказываются решающим фактором в том, за кого избиратели отдадут свои голоса. Соединенные Штаты являют собой самый на-

глядный пример того, как ни моральный облик президента или его окружения, ни внешняя политика его правительства не могут подорвать поддержки избирателей, пока их банковские счета продолжают расти. Даже простейшие, неоспоримые факты, говорившие о том, что процветание американской экономики мало зависит от политики Билла Клинтона, никакого влияния на общественное мнение не оказывали.

Президентские выборы уже давно начали превращаться в разновидность телевизионного спектакля, а кампания 2000 года стала настоящим балаганом, включая участие кандидатов не только в дебатах, но и в комедийных ток-шоу. Стремительность, с какой менялась ситуация в вопросе о победителе, до смешного напоминала стандартную драматургию голливудских боевиков. Похоже, что и действия самой политической элиты США все больше следуют штампам развлекательной индустрии. А когда началась «послевыборная» потасовка, впечатление было такое, что и судебные, и законодательные, и исполнительные инстанции делали свои «ходы» так, чтобы поддержать *suspense*, напряженность экранного зрелища, в которое выливаются сегодня все политические события в Америке. СМИ отнюдь не остаются политически нейтральными, хотя неустанно твердят о своей объективности. Некоторые телевизионные каналы, симпатизировавшие Гору, увлеклись настолько, что преждевременно объявили о его победе, повлияв таким образом на исход выборов, когда еще во многих западных штатах голосование продолжалось. Примерно 85 процентов работников прессы, телевидения и радио — сторонники демократической партии, и они не стесняются употреблять свое влияние, чтобы склонить общество в сторону своих политических симпатий — и тоном репортажей, и комментариями, и выбором «экспертов», и просто игнорированием, замалчиванием неудобной информации. Сюда же нужно отнести опросы общественного мнения, проводимые всеми главными телевизионными каналами, газетами, журналами и Интернет-изданиями. Конечно же результатами любых опросов можно манипулировать, но любопытно то, что клинтоновское президентство ознаменовалось беспрецедентным следованием политических решений за всеми колебаниями общественного мнения.

Есть еще один фактор, предопределивший ничтожную разницу в поданных голосах — и не только в президентской гонке, но и в выборах конгрессменов и сенаторов. После колоссальной популярности Рейгана влияние республиканцев на американское общество стало снижаться, но это стало заметно особенно в последнее время. Надо сказать, что при прочих равных республиканцы, как и большинство относительно консервативных политиков во всем мире, проявляют большую шепетильность, более разборчивы в средствах, чем представители демократической партии. Про демократов можно сказать, что у них в ход идет все, именно они всегда оказываются искуснее в области технологии. А в президентство Клинтона они достигли невиданных высот в умении вешать лапшу на уши доверчивой публике — особенно потому, что Клинтон пользовался (и до сих пор пользуется) поддержкой средств массовой информации и подавляющего числа представителей юридических профессий, то есть главных специалистов в области технологий.

Республиканцы неизменно попадались на удочку хитроумных уловок демократов и проигрывали в глазах общественного мнения, позволяя Клинтону выходить сухим из воды. Так было, например, во время процесса импичмента, когда республиканцы, убежденные в своей правоте, позволили показать по телевидению запись допроса Клинтона перед Большим жюри. Это решение оказалось роковым, вызвав сочувствие к униженному президенту и повернув на сто восемьдесят градусов весь процесс слушаний в Конгрессе.

В ходе состязания между Гором и Бушем-младшим республиканцы по меньшей мере трижды позволили убаюкать себя, поверив трем путкам, пущенным средствами массовой информации: во-первых, после телевизионных дебатов между двумя кандидатами, когда сообщалось, что общественное мнение якобы отдало предпочтение Бушу; во-вторых, когда в течение нескольких месяцев обозреватели болтали о «Clinton fatigue», то есть о том, что американ-

ский народ «устал» от Клинтона и его скандальных дел, а потому шансы у Гора невелики; и наконец, они были настолько уверены в победе своего кандидата, что упустили две последние, решающие недели, когда надо было консолидировать усилия в тех штатах, где преимущество было несомненным (например, во Флориде), а могло стать подавляющим. Вместо этого драгоценное время было потрачено на штаты, где республиканцам явно «не светило». Ложный оптимизм едва не обернулся крупным поражением.

Известный публицист Ирвинг Кристол писал еще в 70-х годах о расцвете в Америке «демократической религии», слепого, автоматического поклонения демократии, привязанности к соблюдению формальных демократических процедур независимо от результатов: «Демократия... видится как набор правил и процедур, с помощью которых правление большинства и права меньшинств приводятся в состояние равновесия. Когда все следует этим правилам и процедурам, демократия находится в рабочем состоянии... Признаюсь, меня не покидает ощущение какой-то нелепости в таком понимании демократии... Его абсурдность есть абсурдность идолопоклонства: подмена реальности символикой, подмена цели средством. Целью демократии не может быть бесконечное функционирование ее собственной политической машинерии. Цель любого политического режима — добиться какого-то варианта благополучной жизни и благополучного общества».

В наши дни, когда демократию (или то, что И. Кристол называет «набором правил и процедур») все больше и больше склонны навязывать, не пора ли задать вопрос: а почему не может быть альтернатив такому пониманию демократии? Когда начинаешь вникать в подробности процесса принятия решений в любой западной легислатуре, видишь многое, имеющее весьма отдаленное отношение к выражению интересов общества или поисков сбалансированности. Тут и влияние «групп давления», лобби, и партийная дисциплина, и идеологические догмы, и личные симпатии и антипатии, и «голос индивидуальной совести» депутата, и тактические уловки, и, наконец, простая корысть.

Особенно опасной для будущего демократии стала тенденция отдавать законодательную, исполнительную, судебную власть в руки международных организаций — ООН, Европейского парламента, различных международных судов и трибуналов.

«Национальный суверенитет есть необходимый предикат принципа самоуправления, — пишут по этому поводу в последнем номере „Нэшнл интерес“ Дэвид Ривкин и Ли Кэри. — Несмотря на всю гуманитарную и продемократическую риторику, новое международное право глубоко антидемократично в самой своей основе. При отсутствии ответственности и презрении к демократической практике (в отличие от риторики) вполне возможно, что это право представляет собой величайший вызов ожидаемому... глобальному торжеству либеральной демократии. Если упования сегодняшних активистов международного права когда-либо одержат верх, возникшая в результате этого международная система не будет даже отдаленно напоминать сообщество демократических наций».

Скептицизм по поводу универсальности западной демократии только усугубляется по мере того, как реальность посткоммунистического мира все более расходится с перспективой либерального «конца истории», на который надеялись оптимисты типа Френсиса Фукуямы. К хору новых «реалистов» за последние годы присоединились такие влиятельные и уважаемые комментаторы, как С. Хантингтон, Дж. Шлесинджер и Р.-Дж. Нейхауз. Особо следует отметить прогнозы и оценки публициста Роберта Каплана. В своих работах он обращает внимание на многочисленные примеры того, как демократия обманула ожидания народов третьего мира, в то время как деятельность ряда не вполне демократических режимов оказалась плодотворной и пользуется уважением и недвусмысленной поддержкой общества. Примером того, как реальность опровергает догматические стереотипы демократии, для Р. Каплана служит Сингапур и его лидер Ли Куан Ю, который, пользуясь авторитарными методами, добился процветания в стране, еще двадцать лет назад бывшей от-



сталой и нищей. Сингапур являет собой образец «неоавторитаризма» или «гибридного» режима по терминологии Каплана.

Реальностью любой номинально демократической системы уже давно стали властные элиты. Формирование элит — далеко не стихийный и не демократический процесс. В различных странах существуют свои традиционные пути для этого, доступные отнюдь не каждому смертному. Путь в элиту чаще всего лежит через бизнес, партийную, университетскую, юридическую карьеру — или военную, — как это сложилось, например, в Израиле. Подобно тому как идея личного авторитета, идущая из древности, пережила все демократические революции, так и идея политической элиты представляется сегодня не только неизбежной, но и вполне приемлемой. «В сущности... демократическая идея не может обойтись без принципа авторитета... именно потому, что он есть божественный закон, определяющий самое существо человека и потому незабываемый», — писал в свое время Семен Франк.

Важно, разумеется, не наличие самих элит, а то, какие интересы они преследуют и какими методами. Если глава государства и окружающая его группа элитарных советников принимают решения не стопроцентно демократическим путем, это еще не значит, что такая практика незаконна сама по себе. Важны цели и результаты этих решений.

Каплан предсказывает распространение в будущем гибридных режимов, отличительной особенностью которых будет внешне демократическое устройство, но сутью — личный авторитет и популярность главы государства. «Хотя сдвиг в сторону демократии, последовавший после окончания холодной войны, и был победой либеральной философии, но маятник остановится там, где ему положено... „Триумф“ демократии в развивающихся странах вызовет великие потрясения, прежде чем многие страны остановятся на более практичных — и, будем надеяться, благонамеренных — гибридных режимах».

«Мера дисциплины и свободы, опеки и самодеятельности, единовластия и коллегиального управления, централизованности и децентрализованности, системы власти наследственной или власти избирательной, — писал С. Франк, — зависит... исключительно от того, что в каждом данном случае и отношении, при данных материальных и духовных условиях, обеспечивает порядок, в максимальной мере авторитетный и укрепляющий основы нравственной жизни».

Эти общие положения, приложимые к любой форме власти, относятся и к демократии. Вопрос исторической оценки какого-либо строя должен быть предельно конкретным: а могло ли общество в данное время в данной стране быть радикально другим? И насколько оно могло быть иным, учитывая общее состояние культуры, экономики, правосознания? Если посмотреть на историю с этих позиций, а не осуждать все, что предшествовало буржуазной демократии или наследует неудавшемуся социализму и не совсем укладывается в догму «рыночной демократии», глядишь, можно было бы избежать многих трудностей, переживаемых сегодня странами, оказавшимися в переходном периоде.

Проблема еще в том, что стандарты западной демократии, соблюдения которых так настоятельно требуют США и Европейский союз, постоянно видоизменяются. Похоже, что к нарушениям демократии уже относится и решительная борьба с терроризмом (Косово и Чечня), и возможность прихода к власти — пусть даже демократическим путем — политиков правоконсервативного толка (Австрия, Италия, Румыния), и конечно же высшая мера наказания (хотя она существует в США). Что же дальше? Что еще будет объявлено *sine qua non* демократии?

Законные браки между гомосексуалистами.

Право на эвтаназию.

Легализация наркотиков.

.....

Нью-Йорк.



---

---

# ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

ВИКТОР МЯСНИКОВ

\*

## ЭКОНОМИКА МЕЙНСТРИМА

**О**бщеизвестно: спрос рождает предложение — *платежеспособный* спрос. Но говорить я собираюсь не столько о книжном рынке как таковом, сколько о влиянии покупательского спроса на «большую» литературу, она же «серьезная», она же мейнстрим. И о том, чего следует здесь ожидать в обозримом будущем.

Вопрос первый: кто потребитель не читава, но современной серьезной литературы в сегодняшней России? По традиции считается, что это интеллигенция — врачи, учителя, инженеры, то есть в основном бюджетники. А поскольку у бюджетников денег на книги нет, то и платежеспособный спрос с их стороны почти отсутствует. Им бы по своей специальности самое актуальное прикупить, чтоб не дисквалифицироваться, а единственный на весь городок номер «Нового мира» или «Знамени» читают по кругу в очередь. В сегодняшней России покупателем на рынке литературного мейнстрима выступает средний класс. По данным еженедельника «Эксперт» (2000, № 34-35), а они заслуживают доверия, к среднему классу можно отнести примерно 10 процентов (в Москве — 20 процентов) трудоспособного населения, определяющего личный доход суммой свыше 300 у. е. Средний возраст 32,8 года. Подавляющее большинство имеет высшее образование, почти треть неплохо владеет иностранными языками. В статье О. Блаженковой и Т. Гуровой «Класс» этот социальный слой охарактеризован так: «Средний класс в России — ярко выраженная и довольно целостная группа людей не только по уровню дохода и социальному статусу, но и по образу мыслей и стилю жизни». Особо следует отметить, что деловые люди составляют лишь половину этой группы, а почти четверть — «свободные художники». Эти данные позволяют сделать вывод, что именно средний класс становится интеллектуальной элитой страны и его культурные запросы весьма высоки. Это он — главный потребитель театрального искусства, современной живописи и литературы. Кстати, вы заметили, что в крупных городах, где счет театров идет уже на десятки, большинство их если не процветает, то по крайней мере себя кормит? И отнюдь не за счет детских утренников и распределения билетов через профкомы.

А вот теперь заглянем на книжный рынок. Еще кое-где по инерции раздастся плач, что настоящих писателей не печатают, но зайдите в приличный книжный магазин, на книжную ярмарку в «Олимпийском» или ей подобную. Везде серьезные авторы ошутимо теснят бульварное чтение. Особо обратите внимание на цену. Тома «Женского почерка» стоят примерно вдвое дороже, чем выпуски «Бешеного» того же «Вагриуса». Что касается количества, то средний тираж детективов и фантастики — 10 тысяч экземпляров, элитарной прозы — 7 тысяч. Есть, разумеется, и лидеры. Скажем, В. Пелевин и М. Веллер расходятся десятками тысяч. Знакомый лоточник с упоением рассказывал, как на протяжении двух месяцев «Дженерейшн» уходило по полпачки в день,

---

Мясников Виктор Алексеевич — прозаик, эссеист, книговед. Родился в 1956 году, учился в Литературном институте им. А. М. Горького. Автор десяти беллетристических книг. В «Новом мире» печатается впервые.

в то время как «свежая» Маринина не больше 1 — 2 штук за то же время. Многие покупательницы, узнав цену, клали Маринину обратно на прилавок, говоря: «Дорого, подожду, пока выйдет в мягкой обложке». Пелевина же брали, как правило, вообще не спрашивая цену, потому что это были покупатели из другой потребительской группы.

Здесь следует совершить небольшой экскурс в прошлое. В начале 90-х, в эпоху гиперинфляции, в лидеры книжного рынка вырвались издатели масскульта. На волне удовлетворения отложенного и долгие годы копившегося спроса и массового бегства денег от инфляции в товар легкое чтение позволило многим издательствам не только выживать, но и развиваться. Те же, кто вкладывал средства в выпуск серьезной литературы, зачастую прогорали. Поэтому подавляющее большинство издателей и слышать не желало об издании так называемой некоммерческой литературы. Августовский дефолт и банковский кризис 1998 года крепко потрясли книжный бизнес и в несколько раз понизили платежеспособный спрос. Тиражи детективной и фантастической литературы, считавшейся основой бизнеса, резко упали — в четыре-пять раз. И до сих пор остаются приблизительно на этом уровне! Для поддержания платежеспособного спроса в условиях резкого роста цен на полиграфические материалы и печать издательствам пришлось снижать качество, в том числе и текстов. Гонорары ведь тоже упали на порядок, а за такие гроши даже поденщики всерьез работать не станут. Да и умелым авторам приходится резко увеличивать количество в ущерб качеству. Вот почему все больше детективов пишется скоростным бригадным подрядом, а в фантастике ежегодно появляются десятки дебютных книг провинциальных авторов-любителей.

Между тем для среднего класса характерен *квалифицированный* спрос. Качество — ключевое понятие для него. При опросе 92 процента респондентов заявили, что готовы переплачивать за качество. Эти люди одеваются в фирменных бутиках, еду покупают в дорогих специализированных магазинах и супермаркетах, где есть гарантия качества товаров. И для среднего класса очень важен статусный характер приобретаемых вещей и продуктов, которые должны подчеркивать принадлежность покупателя к данной социальной группе. Вот почему в среднем классе такое презрение к «глянцевой» литературе. Исключение делается только для некоторых раскрученных зарубежных брэндов вроде Агаты Кристи, Гарднера, Брэдбери, Стивена Кинга и только при условии высококлассного полиграфического оформления. Маринина, Дашкова, Корецкий, Бушков и им подобные, какими бы высокотиражными ни были, в глазах среднего класса однозначно относятся к макулатуре. Во-первых, из-за низкого качества текстов, не дотягивающих до интеллектуальных запросов образованного читателя, во-вторых, из-за несоответствия статусу. Это чтение для пассажиров электричек и метро, а средний класс берет в руки книгу вовсе не для того, чтобы скоротать время или убежать от действительности.

После августовского кризиса на рынке массовой литературы и без того низкое качество быстро трансформировалось в количество. Происходит искусственное потенцирование потребителя. Издательства основывают новые узкотематические серии, стараясь не упустить обезденежившего покупателя, — «бандитский роман», «женский крутой детектив», «эротический боевик», «иронический боевичок» и т. д. Резко возросло и количество переизданий. Более-менее раскрутившихся авторов подают этакими собраниями сочинений в индивидуальном оформлении или запускают по очереди в разные серии. Но этот большой сектор книжного рынка игнорируется средним классом как низкокачественный и непрестижный. Читать такое — все равно что одеваться с китайской толкучки.

Если бюджетники, пенсионеры и им подобные низкооплачиваемые слои населения все еще толком не вернулись на книжный рынок, то давление платежеспособного спроса со стороны среднего класса постоянно нарастает. За два послекризисных года «средние русские» встали на ноги и здорово потеснили «новых русских». Место разорившихся посредников и перекупщиков за-

няли квалифицированные специалисты и менеджеры, у которых есть потребность в интеллектуальном чтении. Более того, человек, не способный поддерживать разговор хотя бы о модных новинках, рискует выпасть из определенного круга общения, тем самым понизившись в общественном статусе. Ведь не зря отмечалось, что *средний класс целостен по образу мыслей и стилю жизни*. Таким образом, определенные книги становятся таким же статусоформирующим фактором, как фирменная аппаратура, одежда и места летнего отдыха.

Издатели, ревностно отслеживающие появление каждой новой щели, не то что ниши, во всех тематических и ценовых секторах, быстро почувствовали напор свободных денег. Ведь представители среднего класса не ограничивают себя в покупке таких мелочей, как приличные сигареты, импортное пиво, парфюмерия, пресса и книги. Сейчас уже смело можно говорить о буме элитарных изданий. Сперва прошупывали почву классикой. Питерская «Азбука» «мягкую» серию «Азбука-классика» начинала с античности и «Повести временных лет». «Хазарский словарь» М. Павича был в значительной мере экспериментом, хотя и вышел десятитысячным тиражом, более чем приличным для 1999 года. Екатеринбургская «У-Фактория» запустила серию солидных однотомников «Зеркало. XX век», стараясь еще придерживаться определенной устойчивой обложке — В. Аксенов, Б. Окуджава, Л. Филатов, А. Солженицын. «Амфора» из Петербурга, интуитивно, но, видимо, вполне здраво просчитав ситуацию, пошла дальше всех. Книги серии «Новый век» напечатаны на отличной бумаге, имеют оригинальный формат и оформлены чрезвычайно элегантно, я бы даже сказал — изысканно. Всем видом они указывают на избранность содержания и соответственно покупателя, а также хорошо умещаются в дамских сумочках. Знаковым событием следует считать выпуск издательством «ЭКСМО-ПРЕСС» романа Людмилы Улицкой «Казус Кукоцкого» практически одновременно с его публикацией (под другим названием) в «Новом мире». Если сложить оба эти тиража, то Улицкая по данному показателю далеко обходит средние боевички того же издательства. «ЭКСМО-ПРЕСС» всегда прокламировало свой принципиальный отказ от издания некоммерческой литературы, а вот поди ж ты — переманило у скуповатого «Вагриуса» финалистку двух Букеров. И это событие означает, что на книжном рынке произошел серьезный перелом. Лишним подтверждением этому служит тот факт, что уже через неделю после завоза я не смог найти книгу Улицкой в Екатеринбурге ни у дилеров-оптовиков, ни в рознице.

Впрочем, основная масса периферийных книготорговцев пока еще ничего не поняла. Они страшно удивляются, что такая, по их мнению, неходовая литература моментально разлетается, а детективы «зависают» на складах. И продолжают стонать, что у народа нет денег, никто ничего не покупает. А тем временем уже сложилась своеобразная сеть доставки книг по заказу непосредственно в офисы. Ребята, у которых мозгов побольше, чем у оптовиков, оперативно отлавливают элитарные издания для представителей среднего слоя, не имеющих времени на поиски нужных книг, зато имеющих деньги на оплату услуг. Этаким провинциальный аналог Интернет-торговли. При необходимости возят книги из Москвы и Питера. Так что «Казус Кукоцкого» я, в принципе, знаю, где найти, просто в этом случае он мне встанет рублей в сто — сто двадцать.

Не надо думать, будто влияние платежеспособного спроса заканчивается издателем. Нет, подобно тому как рыбок тепловоза с лязгом и громом передается на всю длину состава от вагона к вагону, а потом, хоть и ослабев, бежит обратно, желания среднего класса передаются по длинной цепочке книжных торговцев, издательских редакторов и менеджеров вплоть до авторов и критиков. И толчок этот, подкрепленный хорошими деньгами, ощущают все. Хотя далеко не каждый понимает, откуда он пришел и что означает. А означает он настоящее желание удовлетворить полный спектр запросов от остросюжетного романа и мелодрамы до самых снобистских закидонов. Естественно, потребность в качественном детективе выше, чем в сложной психологической

прозе. Именно поэтому возник феномен Б. Акунина. Рассмотрим его повнимательней.

Шумный успех романов о похождениях сыщика Эраста Фандорина — явление сугубо столичное. В Екатеринбурге их худо-бедно еще покупают, но в уральской глубинке и не подозревают о существовании такого литературного героя. Книготорговцы, регулярно наезжающие из своих районов в центр за товаром, книги Б. Акунина обходят стороной, берут их редко, только под конкретный заказ с гарантией сбыта. Потому что книжки тонковаты, дороги и к тому же оформлены совершенно антирыночно. Именно так выглядит граница между книгой, претендующей на элитарность, и рядовым ширпотребом. Конечно, Б. Акунина могут читать все, но только тот, кто имеет определенный интеллектуальный запас, может оценить стиль и стилизацию, литературные аллюзии и намеки. А высокая цена служит предостережением для одной категории покупателей и подтверждением качества для другой. Ни одно издательство, печатающее детективы, ни за что не взяло бы рукопись Б. Акунина из-за ее полной провальности у обычного потребителя. *Пилл это не хавает*. Фандорин — это для тех, кто не читает ходовой русский детектив.

Понятно, что занимательное чтение для среднего класса должно кардинально отличаться от «массовки». И тут повышенной художественности текста и эстетского взгляда недостаточно. Герой ни в коем случае не должен быть похож на кумиров масскульта, то есть это не мент, не бандит, не афганец, не спецназовец, а представитель среднего класса — коллежский асессор, бакалавр, приват-доцент, антиквар-искусствовед, зажиточный эмигрант голубых кровей и т. п. Но ключевое значение имеет узнаваемость сюжета, угадывание цитат и образов. Автор все время словно подмигивает читателю: мол, мы-то с тобой умные люди, понимаем, что к чему. Отсюда и проистекает обязательность римейка. «Римейки — вот что сейчас нужно!» — восклицает издатель Игорь Захаров в своем интервью «Книжному обозрению» (2000, № 39). Он первый сформулировал основной принцип создания элитарной беллетристики и, пока другие не расчухали, стремится реализовать его на полную катушку.

Причина популярности римейка проистекает, разумеется, не только из верных маркетинговых ходов предприимчивого издателя Захарова, первым уловившего платежеспособный толчок, поскольку сам он плоть от плоти среднего класса. Здесь есть еще одна психологическая тонкость. Вы обращали внимание, что у телезрителей бешеный успех имеют старые фильмы, виденные если не сто, так десять раз по крайней мере? А секрет простой. Включаешь «Кавказскую пленницу» и занимаешься домашними делами, отвлекаясь только на любимые сцены. Приблизительно то же самое с фильмами-римейками и такими же книгами — не надо вживаться в сюжет, вникать в частности и взаимоотношения героев. Конечно, это попахивает клишированием, но это не грубая плебейская штамповка, где тоже сплошные римейки других шаблоновых боевиков, а эстетская игра для понимающих.

Тотальная игра в римейки, надо полагать, продлится недолго. Это, конечно, самый легкий способ быстро заполнить заждавшийся рынок, но, с другой стороны, все приедается, да и набор произведений, пригодных для перелицовки, не безграничен. Вполне вероятно, что римейк оформится в некий жанр, в определенной мере канонизируется и займет свое место где-то между пародийным боевиком и интеллектуальным детективом, которые тоже пока жанрово не оформились. Однако появление их неизбежно, поскольку средний класс хочет иметь все.

Процесс сближения возможностей литературы и потребностей среднего класса идет весьма активно. Критика это заметила, и в широкий оборот уже вошел термин *беллетризация*. Причины этой самой беллетризации никто особенно не ищет, просто фиксируется явление, возникшее как бы само собой. В крайнем случае может быть употреблен какой-нибудь задубелый оборот вроде *требования времени* или *социального заказа*, ничего конкретно не означающий. Я думаю, настала пора отбросить эти старопрежние эвфемизмы и прямо на-

звать главную причину — *платежеспособный спрос среднего класса*. Между тем процесс не столь прост и однозначен. На самом деле беллетризация, вроде столба пара над кипящим котлом, — всего лишь наиболее заметная составляющая глобальных перемен в мейнстриме, вызванных не только влиянием платежеспособного спроса, но и глубокими внутренними причинами.

Считается, что вся современная литература делится на две части: мейнстрим и литературный ширпотреб. При этом все, что не подпадает под категорию чтива-ширпотреба, автоматически относится к мейнстриму. Принцип разделения простой: не печатают в коммерческом издательстве — значит, серьезный писатель. В результате в одной компании оказались и мастера, и графоманы, и эпигоны всех мастей, и имитаторы, и крепкие ремесленники, и авторы одной книги — о самом себе, и так далее. Новое поколение пишущих, явившееся в конце 80-х, агрессивное, честолюбивое и сметливое, в общем, полный аналог лучшим представителям делового среднего класса, как и всякое поколение до него, принялось воевать за место на Парнасе. А поскольку пробиваться трудом и талантом — долго, то поколение, в полном соответствии с платежеспособным спросом на революционное искусство эпохи постперестройки, начало свергать старое, расчищая место для себя. Происходило размывание критериев, звучали утверждения о конце литературы, а постмодернизм объявлялся вершиной всего. В общем, за десять с небольшим лет произошло много забавного, нелепого и печального, что и привело к закономерному и неизбежному итогу: настала пора окончательно и бесповоротно размежеваться. Даже теремок в народной сказке рассыпался, когда в него набились все, кому не лень, а уж братство пишущих (пишущая братия) никогда не было монолитным. Новые литературные премии, особенно Букер с его долговременной интригой и списками претендентов, усилили внутрилитературную соревновательность. Произведения начали сравнивать, рецензировать и привлекать к ним внимание общественности. Оказалось, пишут много и даже иногда очень хорошо. О постмодернизме сразу забыли. На свет божий стали возникать авторы «Волги» и «Урала», в прежние времена так бы и заглохшие в провинции. Одни репутации рушились, выстраивались новые, более устойчивые. Стала складываться новая иерархия литературных ценностей, где имеются верх, низ и середнячки. Начался процесс *расслоения* мейнстрима. И платежеспособный спрос на беллетристику послужил мощным катализатором. Сейчас уже можно говорить о двух течениях мейнстрима — *беллетристике* и *сложной прозе*. Происходит *дистанцирование* спешащих к коммерческому успеху беллетристов и немногочисленных авторов сложной прозы. При этом инициатива принадлежит именно беллетристам, которым надо не только капитал приобрести, но и невинность соблюсти. То есть остаться элитарной литературой. Поэтому беллетризация подается не как упрощение, а как развитие современной прозы, переход ее на новый, более высокий уровень.

Мы становимся свидетелями очень интересной борьбы со сложной прозой. Она будет объявлена устаревшей, отсталой, в лучшем случае — *филологической*, то есть интересной только узкому кругу специалистов и страшно далекой от народа. Авторов ее зачислят в графоманы и эпигоны сложных предшественников, обвинят в разрушении сюжета и в презрении к читателю, чтобы от них шарахались и эти самые читатели, и издатели, и толстые журналы, взявшие курс на беллетристику. Главной силой в войне с немногочисленными *сложными* писателями станут газетные критики из деловых СМИ. Это их работа — отстаивать интересы среднего класса, служить для него направляющей и организующей. Порезвятся они от души. А поскольку беллетристика крепко воцарится на книжном рынке, *сложным* перестанут давать литературные премии и говорить о них добрые слова. Появится иллюзия, будто с ними покончено. Беллетристика, сохранив статус элитарной прозы, станет процветать, а критики изобретут дюжину изящных эвфемизмов, вызывающих улыбку у людей понимающих. Например, мне очень понравилась формулировка А. Архангельского: «...он (стиль. — В. М.) не мешает действию как бы течь сквозь по-

вестование, он опрозрачен до незаметности, он невесом». Это о «Последнем коммунисте» В. Залотухи («Известия», 2000, 5 октября).

Борьба со *сложными* продлится года два-три и закончится полным и окончательным размежеванием. Процесс *расслоения* завершится, и у нас будут три литературных слоя: массовая литература (чтиво), элитарная беллетристика и сложная проза. Беллетристы получают долгожданный успех, подкрепленный солидными тиражами и гонорарами, хвалебные рецензии под мелким грифом «на правах рекламы» и сыграют в «Поле чудес» на деньги издательств. *И будет им счастье!*

А упрямые *сложные* окопаются в издательстве «Грантъ» и подобных ему, поскольку не захотят беллетризоваться, как все нормальные люди, и будут там печататься трехтысячным тиражом. Но дело ведь в том, что *сложные* тоже не от сырости заводятся и не из праздного желания чего-нибудь да сочинить. Они ставят перед собой такие задачи, какие менее сложными литературными методами решить нельзя. И существует немногочисленный слой литературных гурманов, который отвергает тексты для быстрого чтения, а в силу гуманитарного склада ума, образованности, начитанности и природной склонности любит погружаться в медленную образную прозу и получает от этого изощренное наслаждение. И *готов переплачивать за качество, предъявляя платежеспособный спрос*. Таким образом, чтение *сложных* обнаружит себя статусообразующим фактором избранного круга, эдакой интеллектуальной суперэлиты. И вы думаете, эти люди захотят уподобиться остальному среднему слою? Да никогда! Они учредят альтернативные литературные премии, им подыграют некоторые журналы, ориентированные как раз на этот круг читателей. А еще через пару-тройку лет *сложные* войдут в моду, их чтение станет признаком ума и хорошего вкуса. И «ЭКСМО-ПРЕСС» срочно скорректирует свои издательские планы.

Ждать не так уж и долго. Кто знает, может статья, расслоение мейнстрима произойдет быстро и бескровно — не за два или три, а за какой-нибудь год...

Екатеринбург.

---

---

---

ИРИНА РОДНЯНСКАЯ

\*

## ГАМБУРГСКИЙ ЕЖИК В ТУМАНЕ

*Кое-что о плохой хорошей литературе*

Куда потом девается искусство,  
Когда высвобождается из рук?

*Мария Андреевская.*

Как быть? Куда деваться? Что  
делать? Неизвестно...

*Никита Елисеев.*

1

**Ш**кловский мог бы быть доволен — почти как Достоевский, гордившийся обогащением русского языка глаголом «штушеваться». Выражение «гамбургский счет» отделилось от рассказанной им в 20-х годах притчи и пошло гулять по свету в несомненном и общепонятном значении. Не так давно даже колоритнейший думский депутат публично пригрозил судить кого-то «по большому гамбургскому счету».

Над депутатом дружно посмеялись. А зря. К народным осмыслениям полезно прислушиваться. Наш персонаж простодушно контаминировал «гамбургский счет» и «большой счет», полагая, что это лежит где-то рядом. Да так давно представляется не ему одному.

«Гамбургский счет» (стало принято понимать) — это большой эстетический счет в литературе, искусстве. Выявление первых-вторых-последних мест на шкале подлинного, настоящего. «Большой» — поскольку противостоит «малым» счетам, ведущимся официозом, группировками, тусовками в интересах своих ситуативных нужд. «Большой» — поскольку апеллирует к «большому времени», в чьих эпохальных контурах рассеется туман, лопнут мыльные пузыри и все станет на место. Ценитель, привлекающий «гамбургский счет», выступает в роли угадчика, оракула, вслушивающегося в шум большого времени, сверяющего сигналы *оттуда* со своим эстетическим инструментом. «По сути, жюри осуществляет функцию времени, оно просит у времени позволения, чтобы временно выразить точку зрения, которая со временем может подтвердиться» (Тео Ангелопулос, знаменитый кинорежиссер, председатель XXII Московского международного кинофестиваля). «Биография критика приобретает подлинно исторический смысл лишь ценой угадывания исторического значения [его] „персонажей”» (Владимир Новиков). «Проходит время, и читатель все расставляет по-иному... Место это... определено... чем-то неуловимым, что называют судом истории... Можно расставить по собственным правилам писательские фигурки на шахматной доске, назначив пешку ферзем. Нельзя только одного — выиграть эту партию» (Алла Латынина). «На Страшном Литературном Суде то-то мук для них приготовлено! то-то скрежета зубовного!» (Татьяна Толстая).

Не мешает припомнить, это ли имел в виду Шкловский — сочинитель «гамбургской» параболы (имевшей, как сообщает комментатор А. П. Чудаков, реальную основу в устном рассказе циркового борца Ивана Поддубного).



В ней описан способ, каким будто бы можно освободить художественную среду от диктата сторонних ей (ложных или лживых) оценок. Когда борцы работают на публику, они «жулят и ложатся на лопатки *по приказанию антрепренера* (курсив мой. — *И. Р.*)». Чтобы выявить действительно сильнейшего, приходится хоть иногда устраивать соревнование *в отсутствие антрепренера* — в том самом, как все помнят, гамбургском трактире, в комнате с закрытыми дверями и занавешенными окнами. Там-то и выясняется, кто чемпион — признанный своей профессиональной средой.

Нельзя не заметить, что при переносе этого поучительного рассказа из мира спортивной борьбы (ютившегося тогда на цирковых аренах) в куда менее осязательный мир литературы кое-что становится неочевидным. И дело не в том, что гамбургский счет, тут же выставленный Шкловским современникам (Серафимовича и Вересаева как писателей нет, Булгаков — тогда автор «Роковых яиц» — «у ковра», Бабель — легковес, Хлебников был чемпион), может сегодня кого-то не убедить (мне составитель списка как раз кажется неплохим *угадчиком*). Вызывают недоумение непредставимые даже аллегорически «единоборства» (Хлебников, в поединке за первое место одолевающий «сомнительного» Горького...), да еще отсутствие *рефери*, которого ведь по условиям рассказа не предполагается, тем более что он может быть куплен антрепренером. Выходит, весь расчет — на великодушие литераторов-«борцов», привыкших меж тем, чтобы «каждый встречал другого надменной улыбкой»?

Те, кто с доверием принимал притчу Шкловского в ее наглядных подробностях, наткнулись на подводные камни. Около трех лет назад с Михаилом Бергом спорил по этому поводу Никита Елисеев<sup>1</sup>. По Бергу, — его занимала «диссидентская» и «андерграундная» импликация гамбургского сюжета — истинный счет выставляется в «независимых» референтных группах, плюющих на могущественного идеологического антрепренера, и в каждой группе — свой. Гамбургский счет — это успех у своих. Самое же любопытное, что, по Бергу, «свидетелями победы могли быть сами борцы и немногочисленные свидетели из особо посвященных». Так в неплотно, видимо, закрытую трактирную комнату пробираются новые лица. В *посвященных* легко опознаются завидилы «неформальных» групп. Что касается Елисеева, он старается следовать Шкловскому буквально. Никаких рефери! Из числа «посвященных» — тем более. Писатели, достигшие успеха, знают сами, чьи достижения, не оцененные по достоинству, стали фундаментом их мастерства и славы. Хемингуэй и Фолкнер обязаны Шервуду Андерсону (по собственным признаниям успешных). Но тот остался в тени. И не будь высшей оценки из среды самих «борцов», мы бы не узнали его истинного класса. Неудачники в гамбургском реестре впереди удачливых. Хлебников — неудачник, нищий, умерший в глухомани. Хлебников — чемпион!

Боюсь, Шкловский ничего такого в виду не имел. Хлебников был для него чемпионом не в силу непризнанности, а по тому, что его «референтная группа» видела в Хлебникове лидера новой поэтики. Но эта группа («мы формалисты», как сказано ниже на страницах той давней книжки под названием «Гамбургский счет») не собиралась, вопреки схеме плюралистичного Берга, полагать себя одной из. Речь шла об абсолютном, или по крайней мере исторически объективном, критерии, который находится в руках... у кого же? Да у этого самого рефери, невзначай просунувшегося в трактирную дверь! У Шкловского, который в своем этюде берет на себя роль эксперта, а не участника соревнований (хотя сам был отличный писатель, что и говорить). Очень ловкий фокус (следите за руками). Нам подсунили свидетеля единоборств, представляющего баллы именем очень туманной, можно сказать, трансцендентной, инстанции.

<sup>1</sup> Берг Михаил. Гамбургский счет. — «Новое литературное обозрение», № 25 (1997); Елисеев Никита. Гамбургский счет и партийная литература. — «Новый мир», 1998, № 1.

В оправдание иллюзиониста можно сказать только одно. Так испокон поступали все критики (не исключая вашу покорную слугу). Они исходят из того, что есть, есть истинный критерий истинного искусства, именуемый, с легкой руки Шкловского, гамбургским счетом, а ранее носивший многие другие имена. Но... В Страшный Литературный Суд, напророченный Татьяной Толстой, верится куда слабее, чем в Страшный суд с менее специфическими полномочиями. Насколько знаю (хотя сама писала статью «Вечные образы» в некий литературный словарь), ни одно мировое верование не обещает в грядущем окончательной разборки культурных накоплений, из коих одни уподобятся в своей онтологической незыблемости Платоновым эйдосам, а другие отправятся в геенну, где, как ведомо, сжигают хлам. На сей счет могут быть только частные мнения, не убедительные ни для богословов, ни для вольнодумцев. «Нет указаний ни на земле, ни на небе», — как сказал бы Сартр.

Между тем уверенность в реальном, здесь и теперь, овладении «гамбургским счетом» захватывает литературную саморефлексию на переломе эпох, периодов. Не станем тревожить «Поэтику» Аристотеля, стихотворный трактат Буало, «Лаокоон» Лессинга. Достаточно вспомнить «Литературные мечтания» Белинского, открывшие послепушкинский период в русской словесности, выступление Мережковского «О причинах упадка и о новых течениях в современной русской литературе», открывшее эру символизма. Это не нормативные сочинения, не «*Ars poeticae*», но и они порываются расставить всё и вся по ранжиру с трансцендентной линейкой в руке. Хочется назвать такого рода сочинения «пассионарными» (не смущаясь замусоленностью слова). Это совсем не то, что вялые рейтинги от Гольдштейна — Пепперштейна, где просчитанная политкорректность слегка подперчена одиозными на разный лад именами Николая Островского, Ильи Зданевича, Юрия Мамлеева (в роли главных авторов века). Нет, пассионарные акции отличает прилив свежей доказательной энергии, и от учиняемой ими переоценки ценностей всегда что-нибудь остается для будущего.

«Гамбургский счет» Виктора Шкловского и вся его литературно-оценочная работа 20-х годов — того же поля ягода. Как бы он ни был резок и пристрастен, нельзя сказать, что он хоть раз попадает в «молоко». «Успех Михаила Булгакова — успех вовремя приведенной цитаты»; Федин на фотокарточке «сидит за столом между статуэтками Толстого и Гоголя. Сидит — привыкает»; «Горький очень начитанный бытовик»; «Смысл приема Бабеля в том, что он одним голосом говорит и о звездах и о триппере». О «Вестнике Европы»: «Сто лет печатался журнал и умудрился всегда быть неправым, всегда ошибаться. Это был специальный дренажный канал для отвода самоуверенных бездарностей». Вера в то, что только сейчас, на кончике его пера, открылось, как надо и как не надо, — вера эта у Шкловского образцово-наступательная.

Кто в культурно-значимый час не пробовал себя на этом ристалище, тот не критик по призванию. Истинно пассионарной была деятельность Андрея Немзера в исходной версии газеты «Сегодня», когда он из номера в номер в азартных и красноречивых монологах выставлял свой *счет* литературным новинкам (тут-то его обозвали «человеком с ружьем»; злилась подчас и я, когда наши *счета* уж очень не сходились). Это было начало «замечательного десятилетия», начало новой свободной литературы, впервые количественно и шумно потеснившей «возвращенную».

Почему же эта недавняя и давняя вольтижировка, которой и я сама занималась, и сочинители почище меня, и умы, до коих мне вообще не дотянуться, — вызывает у меня сейчас гримасу разочарования? Разочарования, равносильного признанию, что в условия профессиональной задачи, решаемой всю жизнь, вкрался какой-то подвох. Ведь начиналось все с того самого задора: снять повязку с глаз публики, смело выговорить вслух эстетически неоспоримую правду, спросившись у своего неподкупного внутреннего чувства. Позднеоттепельным 1962-м я дебютировала в текущей критике статьей «О белле-

тристике и „строгом искусстве”» (часть названия, забранная в лапки, — из чтимого Белинского). Основное среди заявленного там и подкрепленного «разборами»: что беллетристика (тогда это была продукция не столько доходная, сколько официально приемлемая) идет навстречу примитивным читательским изготоккам, а «строгое искусство» понуждает читателя подтянуться, увлекая его за собой, к высям главных жизненных вопросов. И что та и другая мотивация различимы стилистически, едва ли не по первым же попавшимся на глаза абзацам. Тогда я, надо сказать, была расслышана «оппозиционной интеллигенцией»: еще один, новый голос в рядах эстетического (волей-неволей идеологического) резистанса. То, что будет высказано ниже, сведется к признанию нынешней недееспособности отважных заявлений, сделанных почти сорок лет назад.

Сейчас культурное время (так мне кажется) переломилось круче, чем когда бы то ни было. Оно поставило под сомнение не состав судейских коллегий (с их истиной, добром, красотой, гармонией, мимесисом, аполлонизмом, дионисийством, народностью, историзмом и т. п.), а саму определенность эстетического суждения, различение удачи-неудачи в художественной деятельности. «Замечательное десятилетие», — итожит литературные 90-е Андрей Немзер. «Алексия», нечитаемость, некоммуникабельность, — отрезает Владимир Новиков. И мне хочется, уподобившись Ходже Насреддину из восточного анекдота, закивать обоим: и ты прав, и ты тоже прав. Больше того, мне хочется (смейтесь!) процитировать «Славу» Курицына: «Сейчас, когда мы успешно развалили старую иерархию, время построить на пустом месте новую. Исходящую, однако, не из вертикальных („абсолютная ценность”, „гамбургский счет” и т. д.), а из горизонтальных, либерально-представительских связей». Что с того, что «мы» (курицынская группа поддержки), развалившие многовековой устой культурной ойкумены, — то же самое, что «три мужика, развалившие великую страну». Что с того, что «горизонтальная иерархия» — *contradictio in adjecto*, как «деревянное железо» или «демократический централизм». В главном он прав. Стихла гражданская война архаистов и новаторов, авангарда с арьергардом, «чернухи» с «романтикой». Литературный мир поделен на ниши. И не только торговыми посредниками, на стеллажах «библио-глобусов». Нет, принадлежность к делянке стала мотивировать писательскую работу от истока до завершения. Жажда оказаться лучшим в *своей* нише — отнюдь не то же, что стремление к совершенству и послушание Музе. Как далеко мы ушли от девиза Джойса: «Молчание, изгнание, мастерство»! (а ведь числили его одним из «разваливших»). При замере таких плодов творчества гамбургская линейка напрочь ломается. Прежние представления о смысле и целях творческого акта заменены здесь какими-то иными намерениями, при высоком, как правило, качестве исполнения.

Плохая хорошая литература (или: хорошая плохая — как угодно) — вот и все, что мне удалось умозаключить по прочтении немалога числа вещей, пользующихся сегодня преимущественным вниманием критики, справедливо вычлененных ею как типичные и знаковые. (Я говорю о прозе, ландшафт поэзии нынче и вовсе ячеистый.)

Плохая хорошая литература... К ней придется подходить не как к ценности, а как к симптому.

## 2

...Нет, «когда ветер с юга, я отличаю сокола от цапли», — как заметил Гамлет, давая понять, что разум его не покинул. Когда веет человеческим измерением жизни, я еще способна с сознанием правоты заявить: вот одна птичка, а вот другая, вот полет, а вот его имитация, — и даже противопоставить собственное мнение преобладающему.

Я, например, уверена, что скромная, в неброском стилистическом оперении, почти «физиологическая», почти «натуралистическая», почти «чернуш-

ная» короткая повесть — или рассказ — Романа Сенчина «Афинские ночи» («Знамя», 2000, № 9) — сочинение, замечательное по экономной тактике успешного воздействия на читательскую душу, по углубленности в «плоский» житейский материал, когда под верхним утопанным слоем открывается неожиданное пространство, по серьезности мысли, равно чуждой дидактики и шокирующего имморализма. А «Вот такой гобелен» (в № 8 того же журнала) — кипучее творение Марины Вишневецкой о живулечке Зинке-Зимке — всего лишь «электрическая» обманка.

Я могла бы, не плоше, чем обычно, развернуть арсенал аргументации в защиту *своего* гамбургского счета. Могла бы заметить, что несчастную семью, обреченную на разлад, распад и безотцовщину, изобразить в наши дни куда как просто, и даже читать стало не больно (вот, от последних рассказов Петрушевской сердце уже не сжимается, хотя она — признанный *мастер боли*), — а намеком высветить подобную неизбежную участь молодой, начинающей, счастливой семьи, исподволь навевая читателю болезненную думу, — это надо уметь. Могла бы добавить, что дать двумя-тремя строками пейзаж (раздолье, апрельские «перелески, поля, серо-желтые, пока неживые», речка, — а дальше: рассвет, когда «среди черноты сначала густо посинело, потом, прямо на глазах, стало зеленеть. И такая багровая кайма... И кажется... что тьма повсюду, кроме востока, только усиливается...»), дать контрапунктом к «ужасу жизни», словно промельк приглушенно-цветных кадров в черно-белом кино, дать притом между делом, рассредоточенным взором нетрезвого озябшего полуночника, — это действует много сильнее, чем всевозможные пеночки, иволги и зяблики в свежих охапках жимолости, шиповника, бересклета и чего там еще. Могла бы указать, что несостоявшееся профессиональное прошлое героев несостоявшейся «афинской ночи» (художники!), их реплики, посреди пьяноватой невнятицы, насчет подвохов заброшенного ими искусства, пришедшиеся им впору стихи талантливого циника Одинокого (скандального А. И. Тинякова) — этот смысловой слой осторожно приподнят над задачами бытописания и наводит на мысли о действительных тупиках в живописи ли, в литературе. И что тот, кто прочитает рассказ как жалобу на мучительную утрату осмысленности жизни и чувства красоты, тот, кто припомнит можайский собор на высоком, красном месте, слегка расшевеливший заблудшие души, — тот увидит только одну сторону медали: будь у перебивающихся с хлеба на квас героев доход, как у «яппи», когда можно бы «снять» дорогую проститутку и приличный номер в гостинице, сколько-то просадить в казино, словом, оттянуться, вернувшись потом в семейное лоно, тогда никаких проблем относительно смысла бытия у них не возникло бы — «распад атома» зашел слишком далеко.

Могла бы я рядом поставить «экстремальную» Зинку из «Вот такого гобелена» — и тоже показать... Показать бесконтрольную влюбленность автора в героиню, что граничит с самовлюбленностью (будущая карьера «звездочки», сломя голову несущейся на мотоцикле, выстреливающей рок-стишками и успевающей обиходить дочку-грудничку, пентюха мужа и любовника-мачо, почему-то рифмуется со звонкой литературной карьерой самой писательницы); показать пережимы слога — штопором закрученные сравнения в подражание непревзойденной «компаративистке» Ольге Славниковой («...залить темнотой их обоих, точно опрокинуть бутылку с вином на барахтающуюся на подоконнике бесцветную жирную бабочку»), пережимы и без того отпрессованного сюжета — слово заимствованного из коллекции концептуалиста-насмешника В. Тучкова, но поданного всерьез, «переживательно»: клятые «новые русские», такие неживые и неплодные супротив жизнезаряженной Зинули, уже отнявшие у нее, оказывается, первую любовь, теперь хотят присвоить и ее дитя (сама-то мадам своих повыскребла, дрянь такая, — правда, не ясно, чего ради), а родителей дитяти, Зинку с мужем, для верности замочить, — скорей в бега! — и Зинка ускользнет, не сомневайтесь, не та энергетика, чтобы пропасть.

Написано это в приятно возбуждающем нервическом темпе, и пара «Сенчин — Вишневецкая» вполне подошла бы сегодня к тезисам моей стародавней

статьи — как пример «строгости искусства» и пример «беллетристики» — вместо фигурировавших там «Большой руды» Владимова (отчасти выдержала испытание на прочность) и «Девчат» Бориса Бедного (обреченных забвенью, кабы не «наше старое кино», любимое значительной частью населения).

Но, увы, «не с юга» ветер (см. выше). Я отлично сознаю, что и «Афинские ночи» Сенчина, несмотря на все современное бесстрашие прежде табуированных подробностей, и «Вот такой гобелен» Вишневецкой, несмотря на мобильность, сленг, эротику, диски и прочие передовые аксессуары, — вещи обочинные, и тематически, и структурно оттесненные в маргинальную нишу правдоподобного вымысла. В этой привычной нише с руки решать привычные критические задачи: одно — хорошо, другое — не слишком. Но если оглянуться окрест...

Мне уже приходилось писать<sup>2</sup> о наступлении времени, когда распался великий договор между читателем и писателем, действовавший в европейской литературе не менее трех веков: договор о том, что вымысел — не истинное происшествие, но и не сказка, а правда жизни в модусе *возможного* (категория еще аристотелевская, но утвердившаяся вместе с победным шествием европейского романа). О вере в вымысел, в его гипнотическую «реальность» много говорилось с восхищением (молодой Горький, на свет рассматривающий страницы французской прозы, — откуда эти лица, эти живые голоса, неужто из букв? «коробочка» с ожившими фигурками, раскрывающаяся перед взором булгаковского протагониста), много — с раздражением («литературоцентричность» русской жизни, да и всего XIX века, наивное поведенческое подражание книжным образцам как некий общественный мираж).

Но этого больше нет, почти нет. Химическое соединение узнаваемой «правды жизни» и творческой фантазии, обеспечивавшее, кстати, эффект *запойного чтения* (дело не в одном только отсутствии телевизора), — это соединение было расщеплено мощными электролитами, природа которых мне не совсем ясна. На одном полюсе обосновалась «литература существования», на другом современная сказка, чаще именуемая «фэнтези», иногда, по старинке и неосновательно, — романом. (Настоящий роман еще умер не совсем, но стал плодом эксклюзивной инициативы немногих отважных талантов — например, Ольги Славниковой.)

Одно время казалось, что «литература существования», воспетая в дважды премированной книге А. Гольдштейна и вообще охотно авансировавшаяся критикой, составит здоровый баланс другому полюсу. Во всяком случае, она, усложняясь, отходя от прямоты личных признаний, слегка вуалируя автобиографичность главного «я» и внося долю эксцентрики в его *curriculum vitae*, не без успеха представлялась в литпроцессе от «серьезной литературы»: «Свобода» Михаила Бутова как лучшее в этом роде, «Похороны кузнечика» Николая Кононова как самое утонченное и «Розы и хризантемы» Светланы Шеннбрун как самое радикальное.

Однако последние два-три года показали, что равновесие нарушается. Вовсю дует норд-норд-вест, при котором Гамлет безумен и сокола от цапли ему уже не отличить.

### 3

Не знаю, как и подступиться к той *нише*, которая столь вместительна и столь разнообразно укомплектована, что впору заподозрить переориентацию новейшей прозы в целом. В самом деле, разве образуют «направление» в прежнем, узком смысле такие непохожие вещи, как «Взятие Измаила»

<sup>2</sup> Выступление на «круглом столе»: «Литература последнего десятилетия — тенденции и перспективы». — «Вопросы литературы», 1998, март — апрель.

М. Шишкина и «Кысь» Т. Толстой, «Там, где нас нет» с продолжениями М. Успенского и «Князь ветра» Л. Юзефовича, «Человек-язык» А. Королева и «Покрывало для Аваддона» М. Галиной, «Змея в зеркале» того же Королева и «Суд Париса» Н. Байтова? Это не «направление», а, так сказать, пролом в человеческой реальности, куда с энтузиазмом ринулись таланты первой и второй руки. (А сколько еще того же, не прочитанного мной по невниманию или из-за недоступности текста; так, о повести М. Елизарова «Ногти» я знаю только по отзыву в «Книжном обозрении», но вижу, что она могла бы пополнить мою *коллекцию* — употребляя любимое словечко Михаила Шишкина.) В этой «нише» стрелка эстетического компаса начинает дрожать и метаться, указывая на присутствие аномалии. Совершенно очевидно, что такие сочинения привлекают, в разных дозах, повышенное (и «элитарное») внимание не в силу ошибки вкуса отдельных ценителей, а в силу какой-то новой закономерности. Я же, оставшись со своей линейкой в веке минувшем, могу писать о взыском опознания феномене лишь в тоне нейтральных наблюдений и констатаций. Начнем с того, что ближе глазу и уху.

**Слог.** Высокий профессионализм письма — сегодня неперемнное условие того, чтобы опус был замечен критиками и внедрен в читательскую среду. И это условие *как бы* выполняется, в рамках любой темы. Всегда можно выбрать филейные куски, удостоверяющие уровень.

Не поленюсь выписать из романа Татьяны Толстой большой пассаж, чтобы продемонстрировать ее умение влезать в шкуру фантазийных персонажей и вживаться в их фантазийные обстоятельства не хуже, чем прежде в мир Сони или Петерса.

«Зима — это ведь что? Это как? Это — вошел ты в избу с мороза, валенками топая, чтоб сбить снег, обтряхиваешь и зипун, и задубелую шапку, бьешь ее с размаху об косяк; повернув голову, прислушиваешься всей щекой к печному теплу, к слабым токам из горницы: не погасло ли? — не дай Бог; рас-супонившись, слабеешь в тепле, будто благодаришь кого; и, торопливо вздуть огонь, подкормив его сухой, старой ржавью, щепками, полешками, тянешь из вороха тряпич еще теплый горшок с мышинными щами. Пошарив в потайном укрытии, за печью, достаешь сверток с ложницей и вилицей — и опять будто благодарен: все цело, не поперли, вора, знать, не было, а коли и был, дак не нашел.

И, похлебав привычного, негустого супу, сплюнув в кулак коготки, задумаешься, глядя в слабый, синеватый огонек свечки, слушая, как шуршит под полом, как трещит в печи, как воеет, подступает, жалуется за окном, просится в дом что-то белое, тяжелое, холодное, незримое; и представится тебе вдруг твоя изба далекой и малой, словно с дерева смотришь, и весь городок изда-лека представится, как оброненный в сугроб, и безлюдные поля вокруг, где метель ходит белыми столбами, как тот, кого волокут под руки, а голова запрокинулась; и северные леса представляются, пустынные, темные, непроходимые, и качаются ветки северных деревьев, и качается на ветках — вверх-вниз — незримая кысь: перебирает лапами, вытягивает шею, прижимает невидимые уши к плоской невидимой голове, и плачет, голодная, и тянется, вся тянется к жи-лью, к теплой крови, постукивающей в человечесьей шее: кы-ысь! кы-ысь!»

Именно такие *места* (не одно ли оно такое?) дали повод Б. Парамонову в восторженной рецензии сравнить «Кысь» с «Одним днем Ивана Денисовича», а А. Немзеру в рецензии жесткой указать на стилистическую связь с Ремизовым.

А вот пример совсем иного колорита — панорама опустевшего античного Аида в «интеллектуальном триллере» (так он обозначен в дружинском *summary*, 2000, № 10) Анатолия Королева «Змея в зеркале»:

«Пролетев над вершинами черных тополей, я увидел одинокую барку Харона, причаленную к берегу. Сама лодка тоже была пуста. В освещенной корме плескалась вода, в которой остро просвечивала груда медных наволонов — плата за переезд, которую клали усопшему под язык. Тут же — позеленевший от

водного мха шест Харона, он тоже на дне!.. Ни одной души! Смутный туман над Асфоделевым лугом. Его гробовой бархат пуст, гол и нем. Мертвое сияние амфитеатра Элизиума — ступени и сиденья из камня, поросшие травой забвения... В полном смятении чувств я устремился в самый центр преисподней, к жерлу Тартара. Здесь тоже царила летняя ночь, и я, пролетая над ровными водами Леты, кольцующей кратер, увидел в гладкой чернильной воде отражения звезд. И, спустившись вниз, на лету, пробороздил ногой, стремительным рощерком золотых талариев смолистую воду смерти, оставляя за собой треугольный косяк сверкающих брызг, отлитых из агатовой ртути. Я видел, как капли взлетают вверх, но не слышал ни единого звука. Ад был абсолютно беззвучен.

На этот мифический пейзаж, увиденный глазами разжалованного в букмекеры бога Гермеса, уже обратила внимание Мария Ремизова, заключив, что «Змея в зеркале» написана недурно. То же можно бы подтвердить и кое-какими «низкими» картинками в пивнушке на ипподроме, продемонстрировав диапазон возможностей.

А этнографически выверенные и притом захватывающие, полные таинственной хтонической энергии картины «панмонгольского» подъема в «Князе ветра» Леонида Юзефовича, знатока Монголии и Тибета!

«Наконец грянул оркестр — барабан и четыре дудки. Их медной музыке ответила костяная, под вопли бригадных раковин качнулась и поплыла перед благоговейно затихшей толпой хоругвь золотой парчи с изображенным на ней первым знаком алфавита „соёмбо“. Венчавшие эту идеограмму три языка огня означали процветание в прошлом, настоящем и будущем, расположенные под ними солнце и луна были отцом и матерью монгольского народа... Толпа шатнулась и восхищенно завывала, когда на площади показались первые всадники... Первые шеренги замерли на противоположном краю площади. Подтянулись остальные, затем, по сигналу, цэрики начали перестраиваться, разворачиваясь фронтом к трибуне... Завораживающая сила была в механической правильности этих движений. Я привстал на стременах. Влагой восторга туманило взгляд, озноб шел по коже... Я верил, победа всегда остается за той из двух враждебных сил, которая сотворена из хаоса». Далее следуют: столь же красочные осада и штурм контролируемой китайцами крепости, жуткая расправа над пленным, чинимая в согласии с сакральным (будто бы) ритуалом... Юзефович обеспечил своему квазидетективу принадлежность к прозе высокого разбора, оснастив его этими «записками Солодовникова», русского офицера при повстанческой монгольской армии 1910-х годов.

Ну а что говорить о Михаиле Шишкине, признанном виртуозе стилистических перевоплощений. Для меня, впрочем, не то важно, как он умеет подделаться под Чехова или воспользоваться языковыми извлечениями из средневековой русской повести. Важно, что и сам он умеет видеть и слышать с тонкостью не стилиста, а чувствилища. «За окном жасмин с белыми мышками на ветках. На снегу вавилонская клинопись. На соседнем сарае навалило столько, что он вот-вот тихо рухнет» (особенно хорошо это зимнее «тихо»). «Когда пароход замер у какой-то пристани и замолкли машины, сделалось вдруг тихо и послышался чей-то далекий смех, скакавший по реке, как брошенная галька». Конечно, этому научил тот же Чехов, вернее, Тригорин, и сам Шишкин устами одного из своих фантомных персонажей поясняет, как при известной тренировке такое получается само собой: «Произнесите любое слово, самое затрапезное, хотя бы то же „окно“. И вот оно, легко на помине — двойные зимние рамы, высохший шмель, пыль, забрызганные краской стекла». Но все же жизненный мир шишкинским словом не до конца отвергнут, не погребен под извержением абстракций, ортеговская «удушенная жертва» еще трепещет каждой жилочкой.

Любимец же наших усталых гуманитариев, фонтанирующий каламбурами и ожившими метафорами (ср. начало щедринской «Истории одного города»), забавляющий раблезианскими размерами словопотоков Михаил Успенский

нет-нет да и порадуется взыскательный взгляд, когда среди избыточных шуток на уровне капустника («Что вы, молодой человек, носитесь со своим королевством, как дурень с писаной Торой!» — из местечковых речей царя Соломона) и «этимологий», что печатались когда-то в столбик на 16-й полосе «ЛГ», обнаружится вдруг великолепная пародия на Гоголя или искусный перечень «постоянных эпитетов», словно хамелеон, меняющий окраску от фольклорной лепоты к кондовой умильности и державной трескотне: «Молодцы у нас все, как один, добрые, а девицы — красивые, мужи — доблестные, жены — верные, старцы — премудрые, старушки — сердобольные, дали — неоглядные, леса — непроходимые, дороги — прямоезжие, города — неприступные, нивы — хлебобородные, реки — плавные, озера — бездонные, моря — синие, рыбки — золотые, силы — могучие, брови — соболиные, шеи — лебединые, птицы — вольные, звери — хищные, кони — быстрые, бунтари — пламенные, жеребцы — племенные, зерна — семенные, власти — временные, дела — правые, доходы — левые, уста — сахарные, глаза — зоркие, волки — сытые, овцы — целые...»

Ну а если не за что похвалить особенности слога, то по крайней мере впечатляет его динамика. Приятно проглотить за час повесть, сплошь состоящую из дефицитных в преобладающей массе прозы диалогов и калейдоскопической смены положений («Покрывало для Аваддона» Марии Галиной).

Длинных выписок больше не понадобится. Моя цель была — показать, что высокопробные анклавы текста обязательно наличествуют в представленном круге сочинений как обозначение планки (выше средней и уж точно выше «коммерческой»), как номерок, повешенный на табельную доску присутствия в обители муз. На самом деле этот уровень не выдержан (да и задача такая не ставится) — достаточно отметить, получить разряд.

Расхваленный добро- и недоброжелателями «сказ» Толстой однообразно элементарен, сравнивать его со слогом «Ивана Денисовича», где каждое словечко золотое, каждое с натуральным изгибчиком, — просто кощунство. Условно-простонародная речь (непонятно почему звучащая через триста лет после «Взрыва» — то ли расейская прапамять проснулась, то ли понадобилось отличить словесный пласт жителей-«голубчиков» от совково-хамского наречия шариковых-«перерожденцев»), так вот, эта простонародная будто бы речь держится вся на сочинительном союзе «али», на всяких «заместо», «дак», «тубарет», на нутряных инверсиях («а идешь будто по долинам пустым, нехорошим, а из-под снега трава сухая...»), а пуще всего — на мнимо-«хрестьянских» глагольных формах: «борода вся заиндедевши», «зубов не разжамши», «объемшись», «много он стихов понаписамши» — и так до бесконечности. Это *чужой* для писательницы язык, поставленный ей почему-то в заслугу (где ты, гамбургский счет?).

Слог Королева в целом тягостно манерен, что по-ученому можно назвать «маньеризмом»: «...вечер в алом платье заката бродит среди красно-снежных стволлов. Сквозь светлый мрак проступают живописные очертания куртин, сияющий глаз соловья. Ветерок морщит поверхность парчовой воды, гонит по небу позолоченную метель (облака)»<sup>3</sup>; «Ее лицо сейчас — цветущий куст дикой розы, внутри которого тайно зажжена ночная свеча», — или «эвфуизмом»: «желтый язык горчицы, отвисший, как блевотина, смыслом». Он с тем же однообразным упорством, с каким Толстая прибегает к своим «али» и «наем-

<sup>3</sup> А бесчисленные скобочки-примечания грубо заимствованы автором «Человека-языка» у первооткрывателя Маканина. Впрочем, там, где, согласно постмодернистскому декрету, все принадлежит всем, вопрос о заимствованиях решается с трудом. Правда ли, что Толстая *воспользовалась* Успенским, как меня уверял один мой коллега? Ну, если витязи и волхвы Успенского вынесли из «додревнего» мира имена Трацкилина и Дыр-Танана (д'Артаньяна), а «голубчики» Толстой слыхивали от «Прежних» о ФЕЛОСОФИИ и ОНЕВЕРС-ТЕЦКОМ АБРАЗАВАНИИ, — то за независимость находки ругается ее примитивность. Но, наткнувшись в обоих сочинениях на совсем уж одинаково обыгранный в простецком духе категорический императив Канта, я поневоле призадумалась...



шись», нажимает на «поэтически» звучащую номенклатуру: «щекотка вьюнка, аромат розмарина, дух мяты с душицей», «журчание славки, речитатив теневки, стаккато малиновки» — с лексической яркой окраской от собственных этих имен, как сказал лирик (ну, не от собственных, так нарицающих с должной вычурой). Такое письмо, в сущности, механистично.

Юзефович перемежает безупречные «монгольские» эпизоды с собственно детективной фабулой, и не было б в том греха, когда бы не груды балласта, не игриво-пошлые сценки между сыщиком Иваном Дмитриевичем и его благоверной, занимающие необъяснимо много места и сигнализирующие о том, что письмо автора способно взлетать только в границах специфически освоенного им материала, а в остальном не смущается своей третьеразрядностью.

Шишкин спокойно доверяется компьютеру, позволяющему составлять центыны, инсталляции на много страниц без абзацев. Но не чурается и словесных игр, неместимых в его имидж *стилиста*: даму, больную *раком*, у него насилуют, ставя *раком* («Мужайся и ты, читатель!» — как упреждает в подобных случаях Анатолий Королев). Впрочем, это уже по ведомству не слога, а этики...

Вывод, быть может, не до конца доказуем, но прост. Перед нами образцы письма, прибегающего к не очень сложным, достаточно автоматизированным (и не всегда самостоятельно найденным) приемам, но вполне успешно симулирующего мастерство и даже совершенство. Талантливые перья, ушедшие от устарело-строгих художественных обязательств в сторону блистательного кича.

**Метод.** Но пора все эти разномастные произведения новейшей прозы потихоньку подводить под общий содержательный знаменатель.

«Библиотеки, фонды, энциклопедии, любые справочники, любая изобразительная информация...» — рекламирует у Н. Байтова один из бизнесменов перспективы, открываемые Интернетом. Похоже, что, в отличие от незадачливого стародума из повести «Суд Париса», новые литераторы широко ими пользуются. Не знаю, были бы так пространны и экзотичны выписки из криминалистических и судебно-медицинских справочников, из древнерусских источников и антологий российской философской мысли у Шишкина, из энциклопедий по орнитологии и ботанике у Королева, из «Мифов народов мира» у всех, всех, всех, если б эти томищи надо было стаскивать с полок, рыться в них, а то и отправляться за ними в библиотеку. (Только насчет Толстой поручусь, что осколки русских стихов, коими она насытила «Кысь», засели в ее памяти с детства.) А так — почему не нагромождать эффектные реестры любого свойства, удастаясь от критики сравнения с мэтром Рабле, ученым энциклопедистом своего времени?

Но это — технологическая мелочь. Гораздо важнее, что общим коэффициентом совершенно разных сюжетов, предлагаемых авторами с совершенно разными индивидуальностями, оказывается КНИГА. «Я упал в книгу», — возглас персонажа из «Змеи в зеркале» мог бы стать хоровым кличем всех ярко-модных перьев. Если «ранний» постмодернизм уверял, что жизнь есть текст, то на следующей стадии — текст есть жизнь, ее ДНК.

Это правило может действовать в нескольких модусах; они, конечно, переплетаются, но... да поможет мне «владыка Пропп»!

— Книга как центральный фабульный мотив. Кабы не «старопечатные книги», сюжет «Кыси» не стронулся бы с места после нескольких десятков абсолютно статичных страниц. Чтобы его сдвинуть, пришлось главного героя наделить страстью книгочечя. В «Князе ветра» рассказ заштатного писателя и его же бульварный детективчик определяют чуть ли не геополитические движения масс и уж, во всяком случае, жизнь и смерть частных лиц. Погоня в масках и со стрельбой оказывается рекламной кампанией по сбыту книжной новинки. Все нужные сведения для разгадки криминальной тайны следует раздобыть опять-таки из подручных текстов (насчитав их не меньше восьми, я сбилась со счета), и это создает в читательской голове невыносимый инфор-

мационный шум. Там, где Шерлок Холмс ползал с лупой, а мисс Марпл выспрашивала кумушек, теперь листают страницы.

— Книга как источник римейков. Речь не о Шишкине, он уже миновал эту стадию в прежних сочинениях и теперь только намеками воспроизводит то антураж «Трех сестер», то сплетню из биографии Блока. Но что такое, как не иронический (и весьма пунктуальный) римейк хрестоматийного романа Р. Брэдбери, — «Кысь» с ее *санитарами*, изымающими книги во имя их «спасения» вместо *пожарных*, делающих то же самое ради их, книг, уничтожения: и там и здесь тайная полиция носит эфемистические имена, противоположные ее функциям, и здесь и там погибают диссиденты-книговладельцы и вообще утверждается полный тоталитаризм. А касаясь того, что у Брэдбери книга — свет в руках просвещенных людей, а у Толстой — тьма в руках людей темных, так ведь «солнечный зенит гуманизма»<sup>4</sup> давно позади, и вопль: «Искусство гибнет!» — стал (по Толстой) последним прибежищем негодяев. (Любопытно, что та же тема книг как решителей участи явилась стержнем и «жизнеподобных» уткинских «Самоучек», в свою очередь, римейка «Великого Гэтсби».)

«Человек-язык» — конечно, римейк бродячего сюжета о красавице и чудовище (конкретно — сознательно упомянутого в романе «Аленького цветочка»), римейк тоже иронический, но вдобавок моралистический: несмотря на достоинства «чудовища», обнаруживающего признаки мудрости, жертвенности и даже святости, красавица остается с красавцем и, в качестве музы, с творцом красоты, чудовищу же, подвижнически уходящему из жизни, не уготована земная награда, так устроен мир, мужайся, читатель!

Атмосфера, словно метеоритным дождем, пронизана осколками прежде бывших «текстов», — тут я полностью согласна с Толстой, смоделировавшей именно такое, гаснущее, осколочное, бытование прекрасных стихов и вообще «наследия». М. Галина наделяет одесских интеллигентных тусовщиков именами Добролюбова (видимо, Александра), Лохвицкой и Генриэтты Давыдовны (это, кажись, из Олейникова). У Толстой соответственно — Федоры Кузьмичи и Константины Леонтьичи. Уже не удивительно, что и Петрушевская в одном из традиционных для нее новых рассказов именуется лиц, несколько не похожих на толстовских, Элен и Пьером Безуховыми, — через это как бы дополнительный смысл открывается, даже когда его нет.

Иногда «старопечатное» произведение может взбрыкнуть и подставить подножку своему пользователю. Королеву невдомек, что в его «Человеке-языке» даже полустраничный дайджест тургеневской «Муму», даже в усмешливой аранжировке, способен напрочь убить весь роман со всеми страстями-мордастями: участь маленькой собачки и ее хозяина в тысячный раз заставляет сжаться сердце, каковой эффект для творца новейшего Муму недостижим, сколько ни называй собачку «сапаськой», а Боженьку «посенькой».

— Книга какместилище оккультных смыслов. Старое, как мир, или, точнее, как Древний мир, верование, что текст, состоящий из знаков, несет помимо явного тайный смысл, ключевой по отношению к стихиям мироздания, — это верование не могло не быть востребовано в современном психическом климате. Беря его за отправной пункт, писатель обретает ряд неординарных рычагов. Во-первых, слову, любому оброненному или выскочившему из-под клавиш, приписывается, по магической аналогии со Словом, творящая сила. «Господи, да мы сами слова!» — восклицает один из призрачных фигурантов Шишкина. «Все вокруг нас, этот шезлонг, мой халат, это животное, небесный купол, ты и я, наконец, — все это слова, слова, слова... *Нет ничего выдуманного, если оно сказано*», — произвольно совпадает с ним ясновидец из королёвской «Змеи в зеркале» (последнюю фразу просто нельзя не закурсивить). Это кредо — не шуточное. Химерические миры, сказавшиеся словом,

<sup>4</sup> Это уже иронизирует А. Королев.

забывают о своем отличии от мироздания, теряют приличествующую условным конструкциям скромность; словоизвержение уводит вас в лабиринты комбинаторики, накрывает шумовой волной<sup>5</sup>, отучает удивляться: красные вороны так красные вороны, перелетные куры так перелетные куры (любопытно, что Успенский и Толстая оба начали свои романы с этих рифмующихся птичек), новорожденная мужская голова — не худо и это, мифологично и психоаналитично. У такого метода возможности уходят в беспредельность (или, что то же, в беспредел, как в «Мифогенной любви каст» Ануфриева и Пепперштейна, о которой я уже высказывалась).

Во-вторых и в-главных. Писатель освобождается от задачи порождения смысла; смысл отныне можно не *извлекать* из зримой логики обстоятельств, а *привлекать* из области «сокрытого». («По существу, все предметы вокруг нас — это отражение и эхо сокрытого» — Анатолий Королев.) Чем абсурдней выбор текста на роль сакрального, имитирующего Книгу жизни, книгу предопределения, тем занятней следить, как станет выпутываться автор, подверстывая сюжет под запечатанные там предначертания рока. Детская сказка («Красная Шапочка» Перро), детективный рассказ («Пестрая лента» Конан-Дойла), повесть «Муму», ставшая, кажется, мифообразующим лоном новейших фабул, — вот самые подходящие, в силу нелепости их применения, скрижали судеб. Хороши и «красные собаки» из предсмертного бреда тургеневского Базарова, оказавшиеся, по Юзефовичу, монгольскими погребальными псами-трупоедами (автор «Князя ветра» формально останавливается у оккультного порога, но угрюмая тибетская мифология рушит хрупкую преграду).

Впрочем, существует более популярный путь — в качестве сокрытого двигателя, эзотерического истока перипетий имплантировать проверенный костяк мировых религий и мифов, в вывернутой, конечно, форме. Здесь я ограничусь простым перечислением пущенного в дело, и пусть читатель сам дополнит перечень. *Библия*: Книга Бытия («Змея в зеркале»), Исход (пародийный, но значимый эпизод у Шишкина), Пророки (М. Галина); *Кабала* (та же Галина); *ламаизм* (Юзефович); *Олимп* (Королев); *троянский цикл* (Н. Байтов); *языческий славянский пантеон* (камертонный зачин «Взятия Измаила»); *буддизм* (Пелевин); *шаманизм* (помнится, был такой рассказ у него же); *Египет и тайны его* (сквозной мотив Осириса в неисчерпаемом романе Шишкина); *Песнь о нибелунгах* (М. Курочкин); *малые фольклорные мифологии* вроде германской Дикой охоты, *индуизм*, *ацтекские верования* (Успенский, у которого, как в Греции, есть все, — кстати, он не забывает помянуть эту райкинскую репризу). Освоение *дзэн* («Дзынь», по Успенскому) и *ислама* (он разве что затронут А. Уткиным в «Хороводе»), видно, пока впереди.

Что еще? Конечно, Евангелие, преимущественный объект колкостей и фамильярных перекодировок. «И слово, как кто-то весьма удачно выразился, плоть быть», — вскользь острит Шишкин. «Что, — спрашиваю Бориса, — ...помнишь, ты римейк Иванова собирался делать? — ...еще на курсе третьем у Бориса родилась идея написать грандиозное полотно. Появляется, дескать, Христос перед людьми, а те в ужасе разбегаются. Мчатся в лес, кидаются в воду, ускакивают на лошадях. Люди все красивые, ухоженные, этакie античные полубоги, а спаситель их в рванине какой-то, в язвах, с колокольчиком прокаженного на шее». Странно даже, что Р. Сенчин в своем далеком от теософского умничанья рассказе сумел одним махом исчерпать модную транскрипцию Благой Вести. «Так в античный мир шалостей пришла тяжелая поступь христианской морали», — комментирует Королев ужасную гибель Олимпа вследствие коварства горних сил (вооружившихся, естественно, некими текстуальными мантрами).

<sup>5</sup> Шум бывает так оглушитель, что легко сбиться. Такой внимательный критик, как Мария Ремизова, спутала Аида-Плутона, чьим воплощением предстает в триллере Королева ясновидец Август Эхо, с Зевсом; Борис же Парамонов принял вполне человекообразных мушкетеров из «Кыси»... за котов — а все из-за мышино меню.

«Кто-то так сильно дергает за ткань мироздания, что она трещит по швам». Эти «кто-то» — писатели, резающиеся в струях «игровой мистики» (так благожелательно квалифицировал Немзер повестушку М. Галиной, откуда и взята цитата), мистифицирующие нас идеограммами из букв древнееврейского ли письма, древнерусской ли азбуки, алфавита ли «соёмбо». Вся эта *эзотерика*, с одной стороны, вливается в мутную атмосферу паранаук и тайных доктрин как вполне серьезный ее компонент, но, с другой, никакие богохульные эскапады не способны продемонстрировать такой градус безверия, как это равнодушно-беспечное, и вправду игривое, припадание ко всем родникам сразу. Любой хорош, лишь бы заранее разлиновал бытие — чтобы сочинителю не пришлось попотеть самому, доискиваясь в нем порядка и смысла.

Книжный мир, культурное производство, перешедшие на самообеспечение, без притока энергии извне. Закрытая система, обреченная на энтропию?

**Философия.** (Точней — умонастроение.) Ну, прежде всего — изгойство и уродство как отличное средство не дать читателю заскучать. Чудовищное, хорошо знакомая мировой литературе эстетическая категория, все больше становится приемом психотехники, управляющей «саспенсом». Нужно эффекта всяк добивается по-своему. Если это скажочная фэнтези — не возбраняется плодить чудовищ в любых количествах и образах (будь вы мало-мальски изобретательны, критика сравнит ваши придумки не со вчерашним космическим киноевреем, а с самим Босхом). Если замах ваш масштабнее: удивлять, поучая, — можно пегушиные гребни, наросшие на женской головушке, волчьи когти на конечностях красотики (и в виде компенсации — младенческие пальчики на лапках кота), огонь, изрыгаемый почтенным старцем, — объявить *Последствиями* то ли свершившейся, то ли грядущей катастрофы, а подспудно — миром, в котором живем или жили вчера, не замечая его чудовищной перекошенности. Если интенции еще глобальней: окаменить читателя ликом Медузы Горгоны, он же лик мироустройства, — тогда потрудитесь собрать *коллекцию*: обшарить все места скорби, зафиксировать все виды лишения жизни, издевательства над человеческой особью и врожденных несчастий. Можно подставить под луч софита ребенка-дауна, резко нажав сразу на две педали — брезгливости и сантимента. А ту, мелькнувшую посреди «коллекции», обреченную, у которой «голова была как котел, коровий язык свисал до подбородка — акромегалия», оставить на долю другого писателя, зовущегося уже не Шишкин, а Королев.

Последний тоже вроде хочет нас чему-то научить, усостыжить — повернуть лицо от самодовольства нормы к мировому горю, заставить взглянуть на жизнь под знаком «тератологии» (науки об уродствах). То самое как будто хочет вымолвить, что сказала Эльмира Котляр кратким стихотвореньицем: «Господи! / Зачем Ты создал / карлика убогого, / криворукого и коротконогого? / Как живет в своей конуре? / Хорошо, если при матери / или при сестре! / Ниш, а подаяния не просит. / И никто ему корки хлеба не бросит. / Никто не скажет / доброго слова. / Он живет среди мира скупого. / Карлик с уродливой головой, / может быть, страдалец Твой? / Свеча, Тобою зажженная, / душа, для Царствия Небесного / сбереженная?» Но нет, тут другое. Самые истошные, зашкаливающие ужасом сцены (как самообнажение и суицид сиамских близнецов, девочек, которых автор, добавляя страху, обобщает местоимением мужского рода «он», словно единое чудо-юдо), все эти кошмары предписано поглощать, памятуя о кокетливых авторских предуведомлениях: «охранный камень: белый жемчуг», «охранный цветок: омела и шиповник». То есть извлекать из ужаса и красы щекочущий нёбо мед контраста. А думая о *ранах*, велено прислушиваться, как дивно аранжирована речь повествователя созвучием *ра*. Тут подошла бы реплика Иннокентия Анненского: «Состраданию... не до слов... оно должно молча разматывать бинты, пока долото хирурга долбит бледному ребенку его испорченные кости».

Молча?.. Рассказчик то и дело прикладывает палец к устам и шепчет самому себе: veto — когда уже все сказано и показано. Дразнит... Никогда не

прибегну к недобросовестному доводу: зачем, дескать, писать о таком? кругом жизнь как жизнь, мамы с колясочками, прохожие на работу торопятся — словом, норма... Да, правда гнездится *ad marginem*, «на окраинах жизни», как говорил Лев Шестов, та правда, какую испытывается наше мужество, сострадание и, наконец, смирение — короче, высота духа. Но с этой *окраинной* правды нецеломудренно стричь купоны литературной орнаменталистики. Феерические эффекты, которыми окружено у Королева уродство, протуберанцы аномалий и несчастий, рвущиеся со страниц многоглаголивого Шишкина, берутся насытить вкус к острым ощущениям, хотя драпированы другими целями. Петр I создавал свою Кунсткамеру с целями научными, но, думаю, удовлетворял того же рода собственный вкус.

Однако есть еще одна если не задача, то семантическая рифма. Уродство и чудовищность тесно сплетены с Россией. Родина-уродина, как ласково хрипит Шевчук. (Скажи я так о свеженапечатанных сочинениях лет пятнадцать назад, был бы это донос; сейчас я доношу на самоё себя, так как подобные вещи принято с прискорбием отмечать со страниц «патриотических» изданий, а не в порядочном обществе.)

«Вся Россия — сплошная натяжка истории». Этот напрямик вырвавшийся у Королева афоризм каждый опять-таки аранжирует как может. Сам Королев — с садо-мазохистской красотью, поигрывая шрифтами: «Если представить себе христианский мир в виде распятого Христа, то место России на этой *карте спасения* — рана от удара римским копьём на бедре Спасителя...»<sup>6</sup> Шишкин предпочитает распротирять на весь оком жуткую в своем гигантизме и гигантскую в своей жути фреску, от воплощения дремучих божеств Перуна, Сварога и Мокоши в диковатых человеков российской глубинки до цитатного коллажа из Аввакума, Чаадаева, Пестеля, Федорова, Соловьева, Розанова, Нечаева и тьмы прочих; этот речевой сплошняк как бы излетает из пасти чудища обла: «Зачинайся, русский бред!» Посреди бреда попадают прелюбопытные сращения: «Здесь все оставил он, что в нем греховно было, с надеждою, что жив его Спаситель Бог. Захотелось солдату попадью уеть» (иллюстрация обоих полюсов русской ментальности в духе стихов того же Блока «Грешить бесстыдно, беспробудно...»?).

Чудище Россия предстает у Королева в контрдансе с красавицей Англией, у Шишкина — с милашкой Швейцарией. В Англии личное достоинство и уважение к *privasy* смягчают ужас бытия, не дают завертеться вихрем катастрофизма даже вокруг несчастных отверженцев. В Швейцарии благополучно появляются на веселенький свет те дети, которые в России или вообще не будут рождены, или народятся с генным изъяном, или будут отняты у матерей, или похищены, или с детства отведает лагерной баланды, или сгинут по причине общего беспорядка (и это чистая правда, только к чему бы так педантично подобранная?). Бежать, бежать! — выкрик почти-чеховской Маши, придуманной Шишкиным. Но не все так «однозначно». Чудовищное, повторим, — категория эстетическая, и если бы в русском ужасе не было загадочного величия, столь ценимого по сю и по ту сторону кордона, фокус не удался бы. Оно, величие, тоже присутствует.

Есть и лирика снежных далей — в «Кыси», и Княжья Птица Паулин, погруженная в самолюбование: гений чистой красоты и одновременно идеальная мечта русского изоляционизма. А вообще-то вектор — на восток: Азиопа. «На севере — дремучие леса, бурелом, ветви переплелись и пройти не пускают... На юг нельзя. Там чеченцы... На запад тоже не ходи. Там даже вроде бы и дорога есть — невидная, вроде тропочки. Идешь-идешь... все-то хорошо, все-то ладно, и вдруг... как встанешь. И думаешь: куда же это я иду-то? Чего мне там

<sup>6</sup> С «бедром» у прозаика-интеллектуала вышла промашка. Правда, в «Змее в зеркале» та же реалия означена как «ребро». Впрочем, может быть, дружинские редакторы просто оказались в данном случае внимательней знаменских?

надо? Чего я там не видел? Нешто там лучше?.. Нет, мы все больше на восход от городка ходим. Там леса светлые, травы легкие, муравчатые». (Ср. у М. Успенского: «А на западе, за чернолесьем, по берегам теплых морей, живет люд богатый и гордый, все прочие племена почитающий дикими и подвластными. Вот туда бы двинуться, обломать им рога», — прямо наваждение какое-то с этим Успенским!) Городок Федор-Кузьмичск семихолмный на месте прежней Москвы (ох, не смешит это название, выламывающее язык почище Ивано-Франковска, противное естественной русской артикуляции, не станет оно в один сатирический ряд с городом Глуповом, городом Градовом, да и городом Любимовом) — этот поселок «голубчиков»-мутантов — управляется овосточенной, так сказать, властью, всякий чин зовется здесь не иначе как «мурзою». «И вот, наглотавшись татарщины влсасть, вы Кысью ее назовете!»

А уж как это все ко двору! «Самая настоящая модель русской истории и культуры» (об одном романе), «Века в истории российского самосознания» (о другом) — так пишут в газетах люди не менее знаменитые, чем сами создатели «моделей» и строители «вех». Тут никак не исполнение заказа политической «закулисы» или идеологической авансены. Просто такая *русская рана* удовлетворяет спросу на смесь местной экзотики с просвещенной иронией, выпренности с зубоскальством, вычур с мужиковатостью, устрашения с игричностью, грандиозности с облепченностью. Заказ есть, но скорее эстетического свойства. Идеология плетется в хвосте. Хотя, возможно, еще себя покажет<sup>7</sup>.

**Цели воздействия.** Во-первых, нейтрализовать первичную, «наивную» читательскую эмоцию — ужаса и сострадания (по Аристотелю). Когда-то Брехт ставил ту же задачу в идейно-просветительских целях: пусть читатель-зритель не слезы льет, а постигает суть классовых сил, — но органика таланта мешала ему быть последовательным. Теперь достигается другое: сохранение отстраненного читательского комфорта даже посреди роковых перипетий. Во-вторых, создать у читателя впечатление приобщенности к вершкам актуальной культуры, так чтобы он мог хоть немного гордиться собой.

Первая задача особенно трудна, если учесть, что речи ведутся не только о смешном, но о страшном и высоком. Самый простой способ ее решения, и как литературная находка уже не новый: дать несколько развязок на выбор, отменив тем самым неотвратимость единственно серьезного и напрягающего нервы финала («Человек-язык»). Или, что то же, дурашливо снять под конец намеченную было этическую дилемму («Кысь»). Более изощренный путь: воссоздать наряду с вымышленной фабулой житейскую, личную, автобиографическую протоситуацию, из которой фабула возникла (так сказать, вклиниться в виртуальность «литературой существования»), и таким манером продемонстрировать условность и невсамделишность фантазийной обработки. Для этого Королев вводит в причудливый сюжет «Человека-языка» ярко-реальные страницы собственного посещения психиатрической клиники, а Шишкин в эпизоде «Взятия Измаила» вообще вручает нам связку частных ключей к основному тексту: смерть матери от рака, брат в тюрьме, трагически-случайная гибель сына, суицидальные попытки жены, расставание с Россией и ее бесправием, ожидание нового дитяти, — посмотрите, что из этого сделано-придумано художником, поищите-ка в правдивых историях парных соответствий тому, чего *не было*. (Мне немного жаль, что тем же приемом воспользовалась Ольга Славникова в своем *доподлинном* романе «Один в зеркале», но не будь соседних precedентов, я бы, верно, не догадалась ее за это укорить.)

Однако Шишкину этого мало, и он устанавливает радикально новые отношения с читателем, перевоспитывая и дрессируя. Он не на шутку вовлекает его в «судеб скрещенье» (правда, иной раз давая мелодраматического петуха),

<sup>7</sup> Особенно теперь, когда с принятием «госсимволики» открывается творческая возможность писать о ее носителнице как о *химере*, то есть (вспомним эллинский миф) как о чудовище *составном*. (Примечание вслед событиям.)

с тем чтобы в решающую минуту оставить его, читателя, с носом. Рассказывание строится по принципу матрешки или многоступенчатой ракеты, но верхние одежды и отработанные ступени отбрасываются раньше, чем того требует наше заинтересованное внимание. В том, что это принципиально, а не издержка неконтролируемого речепотока (весь роман дан как единая «лекция седьмая» — седьмой день творения на российской земле?), окончательно убедила меня некая деталь. Долгое и автономное повествование о семейной драме приводит к тому моменту, когда муж вынужден поместить несчастную жену в приют для душевнобольных на «пару месяцев», после чего страдальца Катя навсегда исчезает из поля зрения и мужа, и повествователя, наперекор нашему естественному интересу к развязке человеческой трагедии. (Впрочем, ключ можно опять-таки подобрать в автобиографическом эпилоге: «Потом Свете стало лучше. И мы развелись».) Одна моя собеседница заметила, что читатель поставлен здесь в положение Каштанки, которой давали проглотить привязанный за нитку кусочек мяса, а потом вытаскивали наружу. Но ведь Каштанка, мирясь с экзекуцией, *любила* своих хозяев. Полюбит и читатель, когда догадается, что ему показывают мирообъемлющий аттракцион и волноваться тут не о чем («Взятие Измаила», давнее имя роману, — название аттракциона с мышами, придуманного мечтательным подростком).

Что касается задачи возвышения читателя в собственных глазах, она решается легко — методом проверки нашей эрудиции, в каком-то соревновании читатель всегда проигрывает автору, но вправе гордиться, набрав достаточно очков. Как застарелая любительница кроссвордов, я получила известное удовлетворение, атрибутировав процентов шестьдесят — семьдесят цитат, слагающих шишкинский центон (кто больше?), опознав немалую часть образцов русской лирики в «Кыси» (не все, однако, как и признаваясь в этом же рецензентка «Известий» Ольга Кабанова) и счастливо припомнив, почему Ахила (Ахилл) именуется в фэнтези Успенского «муравейным царем» — Пелиды происходили от мирмидонян, муравьев (но все же Успенский поставил меня на место, понудив облазить «Мифы народов мира»). Это вам не глянцева литпродукция. Такое чтение заставит себя уважать.

Я не лукавила, когда с самого начала заявила, что новые литературные явления побуждают отказаться от любых манипуляций с проблематичным гамбургским счетом. Я готова поверить, что передо мной лучшая из ныне возможного литература, с собственным рейтингом. Где Шишкин — чемпион по всем статьям, Толстая лидирует в художественной гимнастике, а Успенский — обладатель приза зрительских симпатий. Пока писала, я уже почти привыкла к своим объектам и сейчас не без удовольствия вспоминаю особо удавшиеся номера. Но эта *хорошая* литература *плоха* (для меня, по старинке) оттого, что сменила ориентацию. Она обращена не к провиденциальному собеседнику, будь то Бог или потомок, а к тем, кому согдится тут же. Она размещается в прагматической сфере обслуживания.

Боже упаси, это не «коммерческая» литература. (Недаром Королев в предисловии к «Змее...» подробно рассказывает, как талант не позволил ему, вопреки намерениям, изготовить коммерческий продукт.) В современном сервисе еще неизвестно, кто кому служит, и, вообще говоря, клиент скорее служит мастеру, чем наоборот. Разве сегодня (а что-то будет завтра!) повернется язык назвать *слугами* кутюрье и визажистов, имиджмейкеров и клипмейкеров — всех, кому Станислав Лем, один из умнейших людей миновавшего века, напрогнозировал участь кумиров будущего? Но все-таки они спарены со своими заказчиками-поклонниками обязательствами взаимоулаживания.

С кем соединена общим кровообращением означенная литература, см. в эссе Виктора Мясникова «Экономика мейнстрима». Это основательные, обеспеченные, продуктивные люди, для которых натренированность ума, цивилизованность вкуса, эрудированность в рамках классического минимума так же желанны, как здоровая пища, достойная одежда и занятия в фитнес-центрах.

Компьютеры в их черепных коробках не должны отключаться, иначе нейронная начинка понесет ущерб. Но бодрая готовность к безотказному функционированию плохо совместима с разными там метафизическими запинками вроде вопросов жизни и смерти. Хотя отлично совмещается с любопытством к таинственному и чудесному, развеивающему скуку, не навевая тревоги. На этих людях, как их ни назови, держится новый мировой порядок — доколе держится. И за искусством, им соответствующим, завтрашний день — доколе не наступит послезавтра.

Это ради них сюжеты основываются не на сырой жизни, а на книгах, уже «пройденных» в колледжах, гимназиях и университетах. Это ради них творятся воображаемые миры с магической подкладкой, сотканной из сокровенных учений всех времен и народов, а между тем задевающие не больше, чем еженедельный астрологический прогноз. Это ради них горе, ужас, аномалия, ад обращаются в пряность («температура и шизофрения на фоне гангрены», как отчеканено у Петрушевской), сервируются с изысканностью и пышностью, чтобы притупленные сверхраздражителями нервы не дрогнули при встрече с человеческим несчастьем «по жизни». Это ради них поддерживается тот стилистический уровень, который позволяет чувствовать себя ценителем прекрасного, не задумываясь, что же такое красота и страшная ли она сила.

Сейчас принято говорить о «стратегии писателя». Вышеперечисленное и есть стратегия, прикидка, как выиграть у наиболее ценного ядра публики шахматную партию, расшевелив эту публику, но не разобидев. Метко сказал о таких взаимоотношениях В. Губайловский в неопубликованном эссе «Нобелевская премия», которое я с его разрешения процитирую: «А мы послушаем тебя» (говорит у него творцу современная чернь). «Но сначала ты докажи, что мы тебе неинтересны, докажи, что ты божественный посланник. Если ты сразу пойдешь за нами и станешь утирать нам носы и менять памперсы, мы плюнем на тебя, вытрем о тебя ноги, не дадим настоящей цены за твои книги... А вот если ты будешь холоден и равнодушен, но не выдержишь, согнешься, попросишь у нас внимания, тогда — да. Тогда мы примем тебя и вознаградим. Но ты сначала попроси, поклончи. Смири гордыню-то». Сложная стратегия. Потому-то и книги сложные.

## 4

*Псевдобарокко* — слово дико, но мне ласкает слух оно. Оттого же, отчего философу ласкало слух слово «панмонголизм». Как предвестие смены культурных эпох, предвестие конца мельчающей цивилизации (ну, не обязательно конца света или, в виде частности, конца литературы, но все же какого-то конца). Я варюсь в русской литературной сиюминутности, отстала порядком от европейско-американской. Но когда в заметке о новой повести читаю: «Предшественники легко угадываются: Саша Соколов, Зюскинд, Берджесс... Автор в контексте, он дышит литературой», — позволяю себе догадку, что «контекст» — общий.

Барокко было в европейском искусстве полосой, когда привычки ломались через колено, когда нарушалось равновесие и цельность стилей, когда очевидное представлялось недостоверным, когда высокая аллегория соседствовала с площадной сценой, эквилибристика речи с простонародным присловьем, прихотливый гротеск с умозрительной дидактикой, когда действительно не воспрещалось венчать розу с жабой. Тоже что-то кончалось. Но и начиналось. Эта художественная эпоха была духовно заряжена Реформацией и Контрреформацией, она взволнованно проблематизировала основания жизни и передала свою одушевленную динамику через голову классицизма и Просвещения европейскому романтизму, в тех или иных перевоплощениях простершему влияние почти до конца тысячелетия.

В представленном созвездии сочинений легко указать на барочные черты. (Уже придя к этой мысли, я случайно наткнулась в одном рассуждении Ники-



ты Елисеева на слово «необарочники»; небось и другие подмечали то же самое.) Но между полюсами псевдобарочных контрастов, по извилинам псевдобарочных лабиринтов не пробегают живые токи. Утрачен интерес к первичному «тексту» жизни — и к ее наглядной поверхности, и к глубинной ее мистике. Все похоже на бутафорию, хотя в балансе социума исправно поддерживается сектор литературного производства.

Как и кем будет оценена эта финальная, видимо, стадия огромного этапа художественного развития, не берусь судить. Оценки «хорошо» и «плохо» становятся неуместны, и в восторженных, и в гневливых голосах слышится неуверенное дрожание. Искусство веками отдалялось от своей бытийной базы — Красоты, до поры, однако, не упуская ее из вида через все более сложные опосредования, через контрапункт светотени, через совершенство слога, опровергающее неприглядность природы, через «враждебное слово отрицанья», отсылающее к идеалу. Но вот она скрылась из глаз совсем, и сразу все омертвело. Остались муляжи — забавные, роскошные, величавые.

Я уже предположила, что это продлится долго. Потому что функционально соответствует тому дивному новому миру, куда нынче вливается и Россия (не «подмораживать» же ее; в устах Константина Леонтьева это был парадокс, теперь — просто глупость). Но стоит ли мечтать, что станется «потом»?

Схематика иконы? Аскетизм григорианского хорала? Неперсонифицированность народной потехи? Бессмысленно черпать образы будущего из прошлого. Лучше замолчать.



# Р Е Ш Е Н И И . О Б З О Р Ы

## ПУШКИН С МАЛЕНЬКОЙ БУКВЫ

Татьяна Толстая. Кысь. Роман. М., «Подкова», «Иностранка», 2000, 381 стр.

**Р**оман под языческим названием «Кысь» очень долго ожидался, предвкушался, анонсировался — и вот появился. Наличие текста выявило факт: многие участники литпроцесса знали лучше Татьяны Толстой, каким должен быть ее новый роман. На наши представления о грядущем событии повлияли, с одной стороны, достоинства рассказов писательницы, возведенные в энную степень соображением о мощностях романного жанра, с другой стороны — не всегда осознаваемая, но все более настоятельная нужда в Романе Века. В самом крайнем случае ожидается Роман Конца Века — потому что миллениум потребовал от русской литературы некой композиционной завершенности, заключительного сильного аккорда.

Последнее десятилетие, когда все, кому не лень, разрушали литературные авторитеты и авторитет литературы, даром не прошло. Некоторое время казалось, будто и правда победил релятивизм: больших писателей не существует в природе, ни одна блоха не плоха, все мы авторы текстов, все играем по произвольным правилам в разные слова. Между тем литература — вещь тоталитарная, строение ее иерархично, никакие разговоры о демократии тут неуместны; десять средних писателей не дают в сумме одного писателя с большим талантом. Несколько оправившись от профанных иерархий «секретарской» литературы и подустав от притязаний новых футболистов, литературоцентричная часть общества принялась творить кумиров из подручного материала, нередко — из материала заказчика.

Между тем премиальные многоборья, дающие повод газетам сообщать о фактах литературы, пока не выдвинули такого Букера, который был бы по-настоящему засчитан. Процессы, идущие параллельно, но в разные стороны, не дают возможности никакому самому профессиональному жюри выстроить для разноприродных текстов единую ценностную шкалу: соответственно фигура победителя всегда подвергается сомнению. Любопытна тенденция снова, как в советские времена, считать глас народа — гласом Божьим: культ успеха применительно к литературе есть курьезнейший гибрид культа денег и культа голосования. Резко разрушив литературные иерархии, сообщество пытается столь же резко их восстановить. Понятно, что делается это без учета естественной природы литературы, без понимания нелинейности любого гамбургского счета. Некогда думать и понимать, некогда ждать, когда новое вырастет само. Главный Роман современной русской словесности (при том, что смерть романа провозглашалась неоднократно) нужен здесь и сейчас.

В эту ожидаемую книгу готовы, кажется, вкладываться все: издатели — хорошими деньгами, читатели — трудовым или каким получится рублем, критики — привносимыми в текст актуальными смыслами. Собственно, феномен «привнесения», когда текст представляет собою емкость для наполнения извне, заслуживает отдельного разговора. Кажется, Андрей Немзер употребил для этого случая слово «надышать». Так вот: «надышать» в Суперроман чего-нибудь этакого готовились все практикующие критики и литературные журналисты. Собственно, все были согласны получить некий текст, Очень Похожий на Главный Роман. Разумеется, была важна прежде всего кандидатура автора шедевра: Писателей, Очень Похожих на Классиков, на самом деле раз-два и обчелся.

То, что именно Толстая должна была выступить в приуроченной роли, казалось очевидным. Этому способствовала, во-первых, длительная интрига: пятнадцатилетнее ожидание нового произведения Толстой плюс анонсы «Кыси» в «Знамени» (так и не получившем текста) изрядно накаляли атмосферу. Вторую причину обозначил в своей сердитой рецензии «Азбука как азбука» тот же Немзер: «О Толстой, кажется, никто слова дурного не сказал. Она в равной мере нравится любителям „сорокинской“ крутизны и тем, кто гордится классическими вкусами и

верностью гуманистическим ценностям». То есть Толстая имела шансы синтезировать ситуацию и оказаться фигурой «над схваткой». В-третьих, существенную роль мог сыграть пресловутый гендер: «женская проза», весьма заметная в литпроцессе, но не получившая, кажется, ни одного первого места ни в одном из литчемпионатов, могла стать источником «свежего решения».

Понятно, что и сама Толстая, как всякая «звезда», обратившаяся к новому для себя, более мощному, жанру, шла на повышение собственной «звездности». Роман «Кысь», каким мы читаем его сегодня, выдает намерения автора написать нечто глобальное и при этом сенсационное. Некогда — пятнадцать лет назад, если верить датам «1986 — 2000» на последней странице романа, — было запланировано большое литературное событие, и все эти годы Толстая работала над его осуществлением. Тем не менее при полном совпадении писательских устремлений и ожиданий публики событие прозвучало, мягко говоря, не в той тональности, в какой предполагалось. При том, что верные почитатели таланта Толстой таки объявили «Кысь» Суперроманом века и готовой классикой, раздались и раздраженные голоаса, заявившие, что книга Толстой — типичное не то. Общее разочарование сквозило даже в тоне критиков, пытавшихся вычестить из романа некие узнаваемые ингредиенты (Ремизова, Замятина, Набокова, Стругацких, Рэя Брэдбери) и откомментировать «сухой остаток» как достижение современной русской словесности. В чем же дело, что произошло?

Дело в том, что произошел Взрыв.

Насколько можно понять из комментариев к «Кыси», замысел романа родился у Толстой под впечатлением от чернобыльской катастрофы. Несложная экстраполяция плюс увлечение антиутопиями (спровоцированное во второй половине восьмидесятых не только сгущением техногенных фобий, но и первым напором «возвращенной» литературы) породили романский мир, где цивилизация покати-лась вспять. Собственно, и не мир даже, а мирок: городишко Федор-Кузьмичск, окруженный кривыми странными лесами, полями с подозрительно ярким разнотравьем, какими-то утробными топиями и прочими радиоактивными диковинами. Понятно, что после Взрыва уцелевшие живые существа представляют собой нечто химерическое. Обитатели городка, сиречь голубчики, разукрашены различными Последствиями: «У кого руки словно зеленой мукой обметаны, будто он в хлебеде рылся, у кого жабры; у иного гребень петушиный али еще что. А бывает, что никаких Последствий нет, разве к старости прыщи из глаз попрут, а не то в укромном месте борода расти учнет до самых до колен. Или на коленях ноздри вскочат». Из фауны только два существа сохранили нетронутый облик, причем оба играют в жизни голубчиков наиважнейшую роль. Первое существо — это мышь: главный продукт питания, основа национальной федор-кузьмичской кухни, а также меновая рыночная единица, можно сказать, суррогатный рубль. Второе существо — страшный зверь Кысь — по определению невидимо, однако пластика письма у Толстой такова, что эту прозрачную хищную кошку *видно* лучше, чем многие иные реалии текста. Кысь (читайте — рысь) скрадывает жертву, сидя высоко в древесных ветвях: «Пойдет человек так вот в лес, а она ему на шею-то сзади: хоп! и хребтину зубами: хрусь! — а когтем главную-то жилочку нащупает и перервет, и весь разум из человека и выйдет». Вот такой перед нами прекрасный новый мир.

Теперь вопрос: а когда, собственно, случился Взрыв, породивший роман? Ответ: во второй половине восьмидесятых, сразу вслед за Чернобылем. Ментальность сдетонировала; Последствия оказались гораздо круче, чем это можно было вообразить непосредственно во время события, частично заглушенного советскими СМИ. Что касается романа Толстой, то здесь оказался отсечен опыт последующих пятнадцати лет — независимо от того, насколько пристально писательница из своего американского далека следила за новой российской действительностью. Речь и о социальном опыте, и о литературном. Мне представляется, что игра Толстой со штампами массовой культуры, в частности, попсовой фантастики, на которую критика указывает как на признак *современности* текста, на самом деле и не игра вовсе, а результат непогруженности Толстой в окружающий масскульт. В своем аристократизме Толстая *сама* изобретает велосипед: мир мутантов для нее — не отсыл

к блокбастеру, вряд ли способному произвести на Толстую сильное впечатление, но поле для собственной деятельности, независимо от присутствия кого-то еще. Способность не заметить братьев по разуму, которые уже успели, по выражению Набокова, «изгадить материал», — единственно возможный на сегодня способ писать хорошо, то есть делать качественные, в языковом отношении живые тексты, а не облуживать наличествующие дискурсы. Для Толстой все в ее романном мире было ново и свежо; отсюда возникающее при чтении чувство *разнообразия* описанной действительности — что невозможно в мире блокбастера, какими спецэффектами его ни начини. Между прочим, если перечитать сегодня лучшую прозу из знаменитого экспериментального номера «Урала» (1988, № 1), можно убедиться, что она была хороша вследствие именно творческой наглости, с какой литераторы брались за безнадежное дело потеснить Набокова и Хаксли. В экспериментальном номере, кстати, присутствовала и фантастика; видимо, «Кысь» по каким-то глубинным параметрам соприродна именно этой прозе, а не игровым римейкам сегодняшнего дня, про которые утверждают, что вот они-то и есть настоящий современный русский роман.

Таким образом, фиксация в той благоприятной точке, когда чужие, как классические, так и очень плохие тексты, еще не были разъедающей волю писателя агрессивной средой, придает «Кыси» известное достоинство. Но есть и проблемы. Глупо задаваться вопросом, почему писатель придумал такой мир, а не другой. Однако радиоактивное Берендеево царство, описанное в «Кыси», вызывает и чувство некоторой неловкости. Если следовать логике процессов и вдобавок слушать шестое чувство, как-то не очень верится, что мир после техногенной катастрофы может вернуться к русской фольклорной эстетике — разве что по случайности в живых останутся только артисты народного ансамбля песни и пляски да какие-нибудь деревенские певчие старухи. Думаю, что здесь сработала линейность исторического мышления, по которой впереди располагался коммунизм, а путь назад означал строго возврат к чему-то сарафанно-патриархальному и с неизбежной азиатчиной. В середине восьмидесятых такая линейность была подсознательно свойственна всем, даже самым свободным гражданам несвободного общества, к каковым, несомненно, относилась Татьяна Толстая. Кстати: триста лет, прошедшие в романе с момента Взрыва, как раз дают путем обратного отсчета момент погружения в допетровскую историю, которой стилистика «Кыси» органично соответствует.

Казалось бы — что с того? Писатель волен выбирать и стиль, и антураж. Однако из-за общего порока концепции многие реалии романа оказываются заражены какой-то недоверенностью, что влияет в конце концов и на ресурсы языка. Как можно придумать чудовище? Берем зайца, соединяем с белкой, красим в черный цвет, делаем мясо ядовитым — вот вам бытовой ужастик городка Федор-Кузьмичск. Способ простой и эффективный, но творческая тайна здесь отсутствует. Многое в «Кыси», взятое из головы, так же причудливо и при этом нетаинственно: утрачено поэтическое качество, присущее лучшим рассказам Толстой. У деревянного пушкина (с маленькой буквы!), которого главный герой «Кыси», простодушный Бенедикт, режет из дерева по заказу выжившей в катастрофе интеллигенции, на руке шесть пальцев: про запас, чтобы, если лишнее, — на выбор отсечь. В давнем рассказе Татьяна Толстая «Факир» на обычной кафельной станции московского метро возвышается статуя «партизанского патриарха, недоуменно растопырившего бронзовую длань с мучительной ошибкой в расположении пальцев». При том, что шестипалость буратины, которого интеллигенты решили установить на месте бывшей Пушкинской площади, со всех сторон замотивирована (пушкин — тоже мутант!), — идол в метро цепляет сильнее: его мутация дает почувствовать *мучение* всей монументальной имперской пропаганды, которое невозможно выразить иначе, как через точную деталь. Все-таки реальность, данная нам в ощущениях, — более плодотворная почва для поэтического, нежели нафантазированные, сколь угодно невероятные миры (что вообще составляет большую проблему жанра фантастики). Соответственно язык в рассказах Толстой обладает метафорической силой, от которой в романе сохранились и музыкальность, и ладность постановки слова к слову, и фирменный драйв, — при том, что требование точности в пределах умоглядных реалий почти невыполнимо. Здесь почему-то невозможно уви-

деть «первый лед, первый синеватый лед в глубоком отпечатке чужого следа». Видимо, изначальный сбой писательского прицела обусловил невысокий уровень органики всего конструкта. Поэтому слог романа действительно впадает в стилизацию. Не важно, ремизов тут присутствует или не ремизов: важно, что с маленькой буквы.

Между прочим, натура голубчика, как ни ряди его в кафтанчик из мышинных шкур, — тоже оттуда, из восьмидесятых. Голубчиков в рассказах Толстой не меньше, а больше, чем в романе. Точно так же они суетятся, толкаются в гастрономах, где дают селедочное масло (те же федор-кузьмичские червяки с хлебедой), завидуют, строят планы мелких улучшений серенькой судьбы, пленяются миражами культуры, ищут в ней, в культуре, одновременно гарнира к собственной плоской персоне и наставления о правильной жизни. В романе «Кысь» главный герой по профессии переписчик: переносит на бересту сочинения Набольшего Мурзы Федора Кузьмича, после чего грамотки продаются на базаре, и народ их охотно берет. Понятно, что Федор Кузьмич такой же автор этих текстов, как избретатель колеса и коромысла. Любопытна та культурная похлебка, которая получается в головах голубчиков из Марининой, Пастернака, инструкций к стиральным машинам и много чего еще. Вершина метода гоголевского Петрушки — библиотека старопечатных книг, до которой Бенедикт дорвался в доме высокопоставленного тестя (простым голубчикам держать старопечатное запрещено) и концептуально ее упорядочил. Критики неоднократно цитировали эти саркастические книжные перечни, не удержусь и я от невинного удовольствия: «Клим Ворошилов, „Клим Самгин“, Иван Клима, „Климакс. Что я должна знать?“, К. Ли. „Максимальная нагрузка в бетоностроении: расчеты и таблицы. На правах диссертации“». Но ведь и героиня упомянутого рассказа «Факир» точно так же не чувствует разницы между квартирным концертом малахольного барда, «Лебединым озером» в Большом театре и неаппетитными номерами дремучего мужика-чревоушателя. Точнее, все эти проявления как высокой, так и профанной культуры играют для героини одинаковую роль: ставят ее обыденную жизнь в необыденный контекст. Перед нами, как писал все тот же Набоков, «недобросовестная попытка пролезть в следующее по классу измерение» — и при этом совершенно искренняя, болезненная жажда обрести смысл существования.

И ведь пушкины с маленькой буквы в рассказах Толстой тоже присутствовали! Обольстительный старик, воплотивший для героини «Факира» мечту о небанальности жизни, травит для гостей изысканные байки примерно «бенедиктового» качества (потому что гости именно их и желают услышать) — и как тут обойтись без деревянной буратины! «А этот Кузьма в свое время служил в Петербурге у Вольфа и Беранже — знаменитые кондитеры. Говорят, перед роковой дуэлью Пушкин зашел к Вольфу и спросил тарталеток. А Кузьма в тот день валялся пьян и не испек. Ну, выходит управляющий, разводит руками. Нету, Александр Сергеевич. Такой народ-с. Не угодно ли буше? Тру-убочку, может, со сливками? Пушкин расстроился, махнул шляпой и вышел. Ну-с, дальнейшее известно. Кузьма проспался — Пушкин в гробу». Между тем тарталетки с паштетом, преподносимые гостям как изысканная редкость, у которой сам Пушкин тосковал перед дуэлью, — все из того же гастронома с хлебедой. Как не сопоставить это потчевание голубчиков с трапезами в теремах Бенедиктова тестя? Ну, те, правда, брали еще и количеством: после Взрыва человеческие представления о роскоши несколько огрубели. Однако же психологический тип голубчика из восьмидесятых принципиальных изменений не претерпел. Это для романа не хорошо и не плохо; просто сегодняшний голубчик вообще не нуждается в пушкине, поскольку желаемые контексты, прямо скажем, у него другие.

Роман Толстой сделал наглядным и еще один существенный факт: художественную недостаточность эзопова языка. То и дело в литературной среде ощущается что-то вроде ностальгии по цензуре: мол, она не только актуализировала тексты, делая сладким запретный плод, но и создавала для писателя стимул работать с метафорой, творчески преобразовать одномерную действительность. Как бы не так! Иносказание, как выясняется теперь, всего лишь прячет неприкасаемые реалии на полтора метра в глубину, откуда они легко извле-

каются опытным читателем и однозначно увязываются с умышленно прозрачными образами. Время Чернобыля было и временем наивысшего расцвета русских эзоповых речей. «Если бы в ту пору появилась книга Толстой, она была бы встречена громкими аплодисментами и читалась бы как едкая сатира на советскую действительность», — писала в «Литературной газете» Алла Латынина. Она же справедливо усмотрела в Наболевшем Мурзе Федоре Кузьмиче элегантно упакованного гениального отца народов (образ достаточно эластичен, чтобы, помимо Сталина, в нем прочитывались Брежнев и Хрущев), в тесте Бенедикта, Главном санитаре Кудеяре Кудеярыче, — главу КГБ, в Кудеяровой богатой библиотеке — спецхран. Санитары (читай — чекисты) выявляют голубчиков, прячущих дома запрещенную литературу, и отправляют их на лечение, откуда бедняги почему-то никогда не возвращаются. Если к сказанному присовокупить красные балахоны, в которых санитарная ватага носится по городку, то иносказание получается просто-таки приклеенным к положению вещей, разоблачать которое сегодня уже неинтересно. Эзопов язык — лучшее доказательство того, насколько «Кысь» принадлежит восьмидесятым; изредка попадающиеся в тексте намеки на «чеченцев» и на газету «Завтра» выглядят позднейшими вставками ретивых переписчиков.

Метафоры эзопова языка не делают глубокой прозы просто потому, что связь между означающим и означаемым здесь пряма и недвусмысленна. Этому же обстоятельству роман обязан, на мой взгляд, сюжетными и конструктивными просчетами. Предполагается, что «второй слой», читаемый между строк, и есть достаточный сюжет произведения. Видимо, поэтому Толстая не ощущала необходимости вырабатывать внутренние законы вымышленного мирка. Посткатастрофный социум у нее не выстроен: у голубчиков, например, отсутствует религия (суеверие насчет невидимого зверя Кысь не в счет), в романе не прописаны механизмы реализации тоталитарной власти. Сегодняшние фантасты, как к ним ни относись, умеют мастерить подобные интеллектуальные модели и закладывать в них движущие сюжет парадоксы. Так, в романе Евгения Лукина «Катали мы ваше солнце» Земля вообще плоская, стоит на трех китах, освещается железным солнцем, которое специальные люди «катают», забрасывая в небо при помощи гигантской ложки. Однако все эти странные «условия задачи» начинают работать, когда оголтелая вражда средних и малых князьков дробит «технологический цикл» обогрева земной лепешки и не оставляет ни малейшего запаса прочности — при том, что деградация необратима и обновление оборудования невозможно. Роман оставляет по себе щемящую мысль о конечности жизни; внутри псевдосказочного сюжета работает сильный механизм, делающий неизбежным трагический финал. Не то у Толстой. Почему-то власть Наболевшего Мурзы держится буквально ни на чем: достаточно ворваться в его терема с ватагой решительных санитаров, чтобы царек превратился в перепуганного карлика, который кричит злодеям: «Не надо меня ловить, маленького такого!..» Сцена ловли, как и многое в романе, получилась уморительно смешной — но задним числом предыдущие главы как-то увяли и обесценились. Обесценилась и интрига Кудеяра Кудеярыча, которому для захвата власти почему-то требовался Бенедикт. Искусно доведенный до озверения (через любовь к печатному слову, о чем будет сказано ниже), зять Главного санитаря собственноручно подцепил на крюк жалкое тельце недавнего диктатора — но то же самое мог сделать любой из загонщиков. Будь перед нами обыкновеннейшее фэнтези, автор объяснил бы ситуацию особым магическим даром Бенедикта, о чем герой до поры знать не знает и ведасть не ведает, либо наличием талисмана, которым герой, не понимая его воздействия, случайно завладел. Но ничего подобного, никакого аналога в романе «Кысь» нет.

Можно отметить и еще кое-какие сюжетные неувязки, которыми страдает роман. И дело ведь не в том, что текст не отвечает каким-то школярским требованиям жанра. Он, к сожалению, плохо держит форму. Понятно, что высококлассная проза по большому счету не обязана что-то *объяснять*. Набоковское «Приглашение на казнь», которое критика упоминала как один из примеров актуальной в восьмидесятые антиутопии, есть условно, принципиально не отвечающая на вопрос, *почему так*. Но там, однако же, работает свой строительный принцип, основанный на обнажении приема, и внутренняя логика текста

соблюдается неукоснительно. В романе «Кысь» сказовая стилизация плюс всепроникающая авторская ирония также создают подобие внутритекстового принципа. Но только подобие. Эзопов язык сыграл с романом плохую шутку: наслаждаясь чувственным разнообразием творимого мирка и виртуозно «склеивая» его реалии с реалиями нашего, прямо скажем, не лучшего из миров, Толстая как-то не позаботилась о самодостаточности своей романной модели. Очень может быть, что ей это было просто неинтересно. В результате роман, выпустивший много сатирических снарядов в «общие места», и сам предстает неким общим местом, так что порой становится жаль дорогого языкового материала, пошедшего на столь прямолинейную эзопову вещь.

Можно сказать, что «Кысь» стала тестом на «нетленку» для конца восьмидесятых. Очевидно, что антисоветский пафос давно увял, а вот голубчики выжили (куда б они делись!), их душевное устройство по-прежнему представляет интерес. На этом, кажется, следовало бы поставить точку. И все-таки меня не оставляет ощущение, будто Толстая каким-то образом переиграла нас всех, оставила с носом и с рифмой «розы» в петлице. Сильно подозреваю, что все мы в координатах этой книги немного бенедикты.

В сущности, главный герой «Кыси», одержимый чтением, ищет того же, что и продвинутый критик, готовый углядеть в новом произведении подходящего автора искомый Суперроман. Духовная жажда, сжигающая Бенедикта, требует непрерывного притока книжного топлива. При том, что чтение стало ежедневной потребностью героя, оно не насыщает, а только распалает неразвитый ум. Многие рецензенты отмечали лучшую фишку романа, благодаря которой «Кысь», при всех нестыковках, выглядит произведением цельным. «Общее место классической антиутопии вывернуто наизнанку», — писала Алла Латынина. Сергей Некрасов в журнале фантастики «Если» усматривает в книге Толстой «451° по Фаренгейту» наоборот. Действительно, главный герой, вместо того чтобы через книги прийти к оппозиции режиму, сам становится санитаром. Библиотеки тестя ему уже недостаточно — вся перечитана; теперь единственный выход — изъять у голубчиков содержимое их тайных сундуков. Задача представляется Бенедикту даже благородной: ведь голубчики обращаются с книгами абы как, хватают грязными руками, рвут на сигарки, могут не от великого ума сунуть в дымоход. Так появляется осатанелый «спаситель культуры» в красном балахоне, вооруженный крючком, готовый отправить на лечение всех прежних друзей и соседей, не пощадивший и своего наставника из «прежних» интеллигентов. И на штурм теремов Набольшего Мурзы Бенедикт идет не ради власти, но ради чаемого книжного богатства. Это и был соблазн, которым хитрый Кудеяр Кудеярыч завлек простодушного зятя в ряды своей убогой революции. Нетрудно догадаться, что и главного спецхрана Бенедикту в конце концов окажется недостаточно.

«Книгу-то эту, что вы говорили! Где спрятана? Чего уж теперь, признавайтесь! Где сказано, как жить!» — кричит Бенедикт своему учителю, которого новый царек заживо сжигает на деревянном пушкине. «Азбуку учи! Азбуку! Сто раз повторяй! Без азбуки не прочтешь!» — кричит ему в ответ занимающийся огнем интеллигент. Чтение Бенедикту не впрок: нет настоящего контакта. Предложение начать с азов культурного языка для него непонятно и неприемлемо. Персонаж хочет сразу такую книгу, которая бы *сама* объяснила Бенедикту его самого: книгу-ключ, Книгу Книг, Самый Главный, короче, Роман. «Обломайтесь!» — говорит бенедиктам Татьяна Толстая.

Парадоксальным образом «Кысь», будучи артефактом восьмидесятых, отрефлектировала злободневную литературную ситуацию — можно сказать, сработала с опережением, предьявив себя как доказательство собственного несуществования. То есть роман, конечно, существует и обладает как минимум хорошей энергетикой и блестящим языком. При этом Толстая вовсе не обязана соответствовать пожеланиям избравшего ее электората и давать ему библию с маленькой буквы. Да, была предпринята попытка написать «глобалку» — и не сказать, чтобы полностью удачная. Но это было и остается личной инициативой Татьяны Толстой. Видимо, из

«Кысы» все же вышло громкое дело: теперь, пока все заинтересованные лица не выскажутся по второму и третьему кругу, гул не утихнет.

А урок, извлекаемый не столько из романа, сколько из создавшейся вокруг него ситуации, формулируется следующим образом: нечего выдавать *похожее* за действительное и подгонять живую литературу под готовый ответ. К Толстой это, может, и не относится, но пока желающие читать *на самом деле* столь немногочисленны, то и готовые писать без оглядки на *похожесть* будут уменьшаться в числе. Разумеется, каждому вольно исказить картину литературного процесса ради моды либо премиальной интриги и восхищаться теми текстами, где наглядно показано, как надо жить в литературе. Однако если тенденция под кодовым названием «Бенедикт» не уравнивается хотя бы просто здравым смыслом, то пушкин будет неизменно с маленькой буквы, а вот Последствия — с большой.

Ольга СЛАВНИКОВА.

Екатеринбург.



## ПРАЗДНИК, КОТОРЫЙ ВСЕГДА С

Борис Цытович. Праздник побежденных. Симферополь, «СОНАТ», 2000, 392 стр.

**Х**ронотоп бутылки и плевка. Начнем сразу же с двух реалистических отступлений от главного, лирического предмета разговора.

Как ни любовно описал когда-то Евгений Марков райские уголки полуострова в своих увесистых, выдержавших за два века пять изданий «Очерках Крыма», но один эпизод, живописующий собственное восхищение красотами полуострова, не то чтобы перечеркивает всю книгу, но вызывает сомнения в ее современной экологической созвучности. С вершины Палатгоры (горы Чатырдаг) солидный писатель и педагог, обративший на себя внимание Министерства народного просвещения уважительной полемикой с педагогическими идеями Льва Толстого, почему и был он направлен в Крым заведовать центральной гимназией и всеми народными училищами, вместе со спутниками бесшабашно швырял вниз опустошенные бутылки, любясь, как эффектно они разбивались об уступы пропасти.

Как ни многогранна коммерческая и благотворительная деятельность созданного недавно при Правительстве Москвы Фонда «Москва — Крым», но предметом особого негодующего рассматривания его руководства однажды тут стал... плевков. Его удостоилось одно из крымских доверенных лиц фонда со стороны известного крымского краеведа, так выразившего свое отношение к факту присвоения рукописи умершего друга.

Роман Бориса Цытовича «Праздник побежденных», который я бы назвал во всех отношениях самым *наплевательским* романом в русской литературе (но не в сторону самой этой литературы, потому что это в то же время и предельно *литературное* произведение!), представляет собой асимметричную художественную середину столь странного крымского хронотопа, в котором ту или иную реальность редко кому удавалось превзойти вымыслом.

**Время, назад!** Если главнейшей проблемой литературы как таковой, сознательно ли поставленной автором или возникающей стихийно под его, так сказать, пером в качестве грядущей литературоведческой пищи, была, есть и будет проблема художественного времени, то данный роман — торжество *пространственноподобного*, по выражению составленного Вадимом Рудневым «Словаря культуры XX века», времени в наблюдательном измерении.

Герой этого романа Феликс изначально был озабочен именно пространственными параметрами. В раннем детстве знаками установленного его мамой ограничения передвижения по двору были дерево, бельевая веревка, парадное и ворота, за которые он не имел права выходить под страхом часового сидения в «кресле печали». Мать была дворянского рода, отец — чекист (отсюда двойственный, но ни в



чем реально не оправдавшийся смысл имени героя — и «счастливый», и в честь «Железного Феликса»).

В один прекрасный момент отец снял территориальный лимит, объявив о праве сына на unlimited самостоятельность. Восторг, охвативший того перед распахнувшимся солнечным простором, «выхлестнул через рот» (то есть ребенка стошнило). А когда он был приведен в чувство отцом, надевшим на него матросочку с помпоном, «цветастой лентой потек мой маленький праздник». Шаг за шагом, по клеточкам открывается любовно выписанный межвоенный симферопольский микромир повседневного существования, со сливающимися в радостную музыку звуками колокольца керосинщика, скрипом растворяемых парадных, звоном бидонов, гомоном разноязыких хозяек и визгом ворот, на которых герой собрался было покататься в соседнем дворе, за что был бит тамошней уличной ребятней и тут же отомщен старшим братом.

С возрастом масштаб и структура восприятия меняются. В дополнение к Киммерии Волошина и Гринландии Цытович создает infernalную мифологию заколдованного Тарханкута, мало известной заезжим любителям Крыма западной оконечности полуострова, представляющей собой нечто вроде норвежских фьордов, вторгшихся в Сахару. Порой место действия переносится и в другие регионы (автору удается создать во многом пророческую мифологию города Грозного). Но именно Крым становится той самой «машиной письма», которая устремляет время в обратную сторону, навстречу житейскому времени.

**Осколки и призраки.** Мы встречаемся с героем в его сорокапятилетнем возрасте, когда он уже не просто живет, но и пишет роман о своей предыдущей жизни, обращаясь к тем или иным ее эпизодам отнюдь не в хронологической последовательности. «Феликс мучительно напряг разум, совмещая осколки в голове своей в единое зеркало, чтоб увидеть нечто важное, веря, что оно откроется ему, ибо для того он сюда и пришел, но в звоне головы его мир отражался фрагментами».

Героя постоянно преследуют несколько неожиданно являющихся из прошлого призраков, ставших опорными точками романного скелета. Это утопленница Ада Юрьевна, в фотографию которой на кладбищенском памятнике он однажды влюбился в юности (сотканная фантазией из света звезд, из тлена венков, из плеска вод, она долго казалась красивей, чем все живые). Это первая его любовь во плоти, за изменническим свиданием которой с летчиками опять-таки на кладбище он наблюдал, лежа на теплой могиле. Это мотив его персональной военной песни «Кумарсита» (в пику отечественной «Катюше» и немецкой «Розамунде»). Это белоголовый, особенно призрачно настойчивый из двух убитых им немцев. Это власовец Ванятка, спасающий героя из немецкого плена (а тот окажется не в силах спасти своего спасителя из плена советского). Это особист Фатеич, расстрелявший Ванятку, а потом упекший и самого героя в лагерь. Это скелет отца, который тот завещал медицинскому институту в качестве экспоната. Это затерявшаяся могила матери.

С завидным интуитивным психоаналитическим мастерством герой пытается от некоторых из этих призраков избавиться. Он разыскивает родителей Ванятки, ставших мистическими хранителями Тарханкута, и Фатеича, к которому он отправляется, чтобы отомстить, но становится отпускающим грехи опекуном умирающего старика, в итоге опуская его гроб в залитую дождем могилу. Он похищает скелет отца, чтобы предать его земле, и после этого находит могилу матери. А белоголовый исчезал, когда в руке оказывался любой железный предмет. Но все это не изживает исконные комплексы, преследующий героя рок. Неудачной оказывается отчаянная поздняя любовь с киноактрисой Наталией. Умирают родители Ванятки, и опоздавший на похороны Феликс «среди объедков тризы, тлена и разрухи переполнялся грустным и пьяным восторгом смерти, которой и сам страстно желал».

Все проблемы героя, его зачарованность смертью, по авторскому замыслу, от его безверия, каковым наказан он за отцовское богоборчество (носившее отнюдь не наносный идеологический, а исконный архетипический характер, — уже в детстве он подвергался наказанию за воровство церковной утвари). О такой взаимосвязи гласит и эпитафия из 20-й главы Книги Исход: «Я, Господь, Бог твой, Бог ревнитель, наказывающий детей за вину отцов до третьего и четвертого *рода*, ненавидящих Меня».

**Евангелие от Иуды.** Вряд ли прожившему почти всю жизнь в Крыму Цытовичу даже в бытность его коктебельской дружбы с Марией Степановной Волошиной все же довелось прочитать еще не опубликованное в то время волошинское «Евангелие от Иуды»<sup>1</sup>, но тем поразительней стихийные религиозно-литературные совпадения и отталкивания на фоне новейшего исторического опыта. Поэт-символист вспоминал учение манихеев и офитов, почитавших Иуду как самого чистого из всех учеников Христа: «Подвиг Иуды безвестен, и, облакаясь в свое страшное священство, он принимает всемирный позор и поругание. Причастившись за Тайной Вечерей тела и крови Христовой отдельно от других апостолов, принимает он из рук Христа причастие соли, горькое причастие соли, горькое причастие, обрекающее его жречеству предательства...»

Вот и героя Цытовича наиболее близко к вере подвел даже внешне напоминающий Алешу Карамазова волосец Ванятка: «На войне завсегда есть герои, это ты, и тебя встречать с медными оркестрами будут. Есть и маршалы, они циркулями по карте меряют, их в школе детишки изучать будут, им памятники поставят, и сидеть им на бронзовых конях. Есть на войне и солдаты, много солдат, хороших и плохих, их ротой и взводом как ведром или мешком меряют. И не было войны без предателей, и их место в петле, на осине, это каждый знает. Просто все, правда? Их простить нельзя. Только Христос мог их простить, Христос! — выкрикнул он и умолк восторженно, в лунном свете задрав бороденку».

Позже, в минуты религиозных сомнений, рука Феликса натыкалась на подаренный Ваняткой трепник, раскрывающийся на Книге Иова. Но и там он находил лишь оправдание своим видениям из прошлого, но не веру, что и выразилось в невозможности соединения с влюбленной в него девушкой *Верой*, в конечном счете принявшей решение уйти в монастырь.

**Неукорененность и слюносфера.** Герой не укоренен в небе, в котором, будучи военным летчиком, парил когда-то, руководствуясь «картой Кагановича», то есть железными дорогами, и так обращался к замеченному внизу прокопченному Божьему лику: «Бога нет, ну, а если ты есть, то сделай, чтобы я не долетел, чтобы рухнул в снега, чтобы валялся обледенелый в дюралевых обломках». Небесная, оборачивающаяся идеологическим изгнанием с неба неукорененность сопровождается неукорененностью земной. При посещении Грозного Феликс замечает, что бордюры городской мостовой сделаны из кладбищенских камней, на которых проступают поклеванные зубилом чеченские письмена. А в родном Крыму подобного внимания удостоивается лишь экзотичный мальтийский крест на могиле немецкого колониста. В индивидуальном апофатическом богословии несчастного Феликса молитву заменяет система плевков.

С плевком, мишенью которого однажды оказался и сам герой, связано одно из самых счастливых детских воспоминаний — окативший его с головы до ног струей зеленой пены верблюдов принес знакомство с понравившейся девочкой. А в зрелости: «Он, болтая ногами, разглядывал, как в глубине змеились рельсы, лежали камни в желтом пушке молодых водорослей... Феликс плюнул в отраженное свое лицо, к плевку метнулись и, будто иглы к магниту, прилипли мальки. Вокруг под хвоей стояли горы, и ему наконец стало спокойно и хорошо».

Слюна, слюна... Если Феликс не плюется, то слюнявит сигарету, чтобы та не горела боком. Он плюет на собственную профессиональную и общественную карьеру, эпатажно заявляя, что болеет за футбольную команду ФРГ, а не СССР. Он внутренне, не унижаясь до прямого участия, плюет на позицию физика (который физически тоже плюется), когда тот спорит на пляже с лириком, резонерствуя от имени им же самим оплеванной чуть ранее природы, которой якобы глубоко антагонистичны астробии, электронные машины и формулы. Составным социально-политическим плевком оказывается и его описанная куда детальней, чем все военные, операция по добыче роз для любимой из Никитского ботанического сада, где в специальном парнике цветы выращивались для встреч политиков и ко-

<sup>1</sup> Впрочем, он мог прочитать тождественное по смыслу этому раннему наброску стихотворение М. Волошина «Иуда Апостол» (1918), опубликованное в № 107 «Вестника РСХД» (1973). (Примеч. ред.)

рованных особ. (Сделав с помощью бинокля рекогносцировку, швырнув с горы вниз в качестве жребия бутылку из-под виньяка, поработав кусачками над колючей проволокой, он прижался к стволу «бесстыдницы — земляничника мелкоплодного» — щекой, как один из киногероев Василия Шукшина к березке.) Он историсофски плюет на не понимающий России Запад, включая таких мыслителей, как один из основоположников экологического мышления Мальтус и историк, отмеченный Нобелевской премией по литературе, Моммзен, по странной Феликсовой логике, ответственные за изобретение «Дранг нах остен». Герой Цытовича уверен, что это пространственно-временное юродство — достойная альтернатива и грядущему американскому глобализму. В конечном счете он плюет и на завоеванную с помощью роскошного букета любимую.

Роман оказывается переполнен нарощей на его идейном скелете литературной и человеческой плотью и ее производными — многосоставными запахами войны и толпы, более однообразным, густым и приторным запахом смерти (который под взглядом Заступницы может преобразаться в грустный аромат тлена). А двор завода «Красный резинщик», на котором работал Феликс, в итоге оказался заплеван помешавшимся со страха, коррумпированным директором-безбожником. Кажется, сама плотность этой романной семио/слуносферы и приводит героя на заключительных страницах к странному обмороку, из которого его выводят облепившие лицо, раздвигающие веки мухи. В финале декларируется его возрождение к некой новой жизни. Путь разума отвергнут, путь веры не прописан, остается литература. На лице героя восхищенная юродивая улыбка: «Небо голубое... Берег белый».

**Цытович и Цитович.** «Праздник побежденных — неоценимый литературный памятник в разных смыслах этого слова (памятник позднего, еще не отрефлектированного шестидесятилетнего декадана, памятник той литературе, которая, вопреки известной апостольской формуле, предпочитает умереть, но не измениться). Издание представляет не только сам роман, но и краткую историю его долгого написания и публикации, что тоже достойно особого повествования. Первыми его вдумчивыми читателями в 70-е годы оказались сотрудники КГБ (когда мать автора на приеме у начальника крымского управления попросила показать ей «антисоветские» места в рукописи, ей ответили: «Здесь все антисоветское»). После того, как частично опубликованный в альманахе «Апрель» роман оказался в 1995 году финалистом Букеровской премии по номинации «Дебют», странные стечения обстоятельств стали преследовать тех, кто пожелал опубликовать его полностью (закрылся единственный на Украине русскоязычный литературный журнал «Радуга», распалось издательство «Таврия», а пожелавший стать спонсором предприниматель был убит в бандитской разборке).

Наконец, когда автору исполнилось шестьдесят девять, дебют состоялся. Возраст свидетельствует как о значительном несовпадении героя и автора (последний все же не воевал и не сидел, а провел несколько месяцев принудительного лечения в психбольнице), так и о не вполне реализованном потенциале. Суперлитературная цитата из его оказавшейся генетически заряженной литературой жизни — встреча Цытовича с Цитович (его родители оказались почти однофамильцами). Почему и хочется назвать его — Цитатыч.

Александр ЛЮСЬИЙ.

\*

## ОТ ОЗИРИСА — К АПОКАЛИПСИСУ

В. В. Розанов. Последние листья. Составление и комментарии А. Н. Николокина. М., «Республика», 2000, 382 стр.

**К**ак впервые прочитать и не вздрогнуть — впервые прочитать слова, адресованные Василием Розановым его критикам из левого лагеря, идеологам и винтикам освободительного движения:

«Не я циник, а вы циники. И уже давним 60-летним цинизмом. Среди собак на парне, среди волков в лесу — запела птичка.

Лес завыл. „Го-го-го. Не по-нашему”.

Каннибалы. Вы только каннибалы. И когда вы лезете с революцией, то очень понятно, чего хотите:

— Перекусить горлышко.

И не кричите, что вы хотите перекусить горло только богатым и знатным: вы хотите перекусить *человеку*.

П. ч. я-то, во всяком случае, уж не богат и не знатен. И Достоевский жил в нищете.

Нет, вы золоченая, знатная чернь. У вас довольно сытные завтраки... Ваша мысль — *убить Россию*, и на ее месте чтобы распространилась Франция „с ее свободными учреждениями”, где вам будет свободно мошеничить, п. ч. русский полицейский еще держит вас за фалды».

...Новый том Собрания сочинений В. В. Розанова, издающегося в «Республике» в течение последних шести лет, помимо опубликованного в свое время сборника статей «Война 1914 года и русское возрождение» включает в себя никогда прежде не публиковавшееся продолжение знаменитых «Опавших листьев» (расшифровка по рукописи Государственного литературного музея произведена А. Н. Николюкиным и А. А. Ширяевой). Как сказано в комментарии к тому: «С 1916 г. Розанов стал именовать свои подневные записи „Последними листьями”. В конце 1917 и в 1918 г. эта „листва” превратилась в книгу „Апокалипсис нашего времени”». Таким образом, заполнена лакуна, вправлено в свое место звено между «Опавшими листьями» 1913 — 1915 годов и предсмертным «Апокалипсисом». Звено, которое Розанов еще в «благополучном», то есть не предвещавшем, кажется, неизбежность исторической катастрофы и скорую гибель автора, 1916 году прочески назвал последними листьями.

Революционный смерч и действительно наступивший следом за ним исторический апокалипсис смели, прямо скажем, очень значительную часть розановской проблематики — проблематики, предначавшейся-то для современников Розанова. Но волею судеб только мы через восемь с лишним десятков лет стали первыми читателями «Последних листьев». А время, да еще такое насыщенное, простите за банальность, безжалостно.

*Idée fixe* Розанова, одна из магистральных тем его творчества, — борьба против «монашеского ханжества» и «христианского холода» вообще — за «плодитесь и размножайтесь». Но такое впечатление, что от книги к книге Розанов сам распалывается все пуще, подтаскивает все более тяжелую артиллерию и нарывается на скандал. Недаром довольно-таки тошнотворное словечко «совокупление» склоняется им все чаще и во всех падежах. Ладно — брак «без границ», ладно, когда Розанов хочет, чтобы женщина каждый год ходила беременная, — хотя пафос такого рода чрезмерен и кажется причудой выдающегося писателя. Но в «Последних листьях» уже и проститутки, к деторождению, как известно, отношения не имеющие, превращаются в некий идейный священный орден, вызывающий благоговение Розанова. При этом он постоянно ссылается на особое будто бы расположение Христа к блудницам, которое он выдает за их... поощрение. И импрессионизм своей мысли — мысли, славной именно своей принципиальной, если угодно, недооформленностью, называет, увы, «мое учение». Но свободная творческая мысль — одно, «учение» — другое, с него иной, строгий, спрос...

«Более и более мне кажется, — записывает Розанов 15 августа 1916 года, — что я веду не к разрушению христианства, а к восполнению христианства». Чем же он его восполняет? «Надо практически начать допускать (ибо Новый Завет шире Ветхого) (! — Ю. К.) и полигамию, и полиандрию, и блудниц: но — в порядке, законе и строго. Пусть блудницы будут именно святыми. (Думаю, Розанов высоко оценил бы стихотворение Пастернака «Магдалина»... — Ю. К.) И любовницы — праведными. А жены — „уж до неба”. В особенности священники и архиереи пусть имеют по несколько жен. Пусть священники идут впереди в этом, ибо у них есть порядок, и они во всем чинны и благочинны. Все должно быть свято».

...Когда-то, в 1900 году, Розанов высказал несколько уплощенное, но и не лишнее здравости соображение о Пушкине: «Взглянув на Пушкина или Гейне, мы

столь же неотразимо убеждаемся, что это типичные полигамисты, многолюбы. И во всякую эпоху, по всему вероятно, есть определенное число этих многолюбов. Тут — ни порока, ни заслуги. Это как трава, которая зелена, потому что она зелена... Пушкин не только не был моногамом; уже раз он родился — его и нужно принять полигамистом, до такой степени очевидно, что весь характер его творчества, весь его личный характер со многими чертами безусловной прелести абсолютно вытекает из постоянной и постоянно не вечной любви, однако во всякой точке и минуте — любви горячей и чистосердечной<sup>1</sup>.

Вот как все «просто». Ну не слышал Розанов в православной стране после двух почти тысячелетий христианства про седьмую заповедь — и все тут. Снял вопрос. И это даже симпатично в пику несколько тяжеловесному морализаторству Владимира Соловьева в «Судьбе Пушкина» (1897)<sup>2</sup>.

Но, повторяю, чем дальше — тем круче. А уж в октябре 1916-го писатель и вообще доходит до последних столбов: «И вот я нарисовал бычьих ова. Кои люблю как производителя „ребят во всем мире“. Корень-то не в женщинах, а в быке. Женщина — пустота, темнота, глухое: пока на нее не вскочил бык. Но бык вскочил: и мир расцветает. Посему в ова его я начертил цветок. Вот этот-то „цветок в я...“ и есть суть всего. А посему и целовать, собственно, надо не женщин, а я... быка».

Мало этого. «О, как я хочу разврата. О, как я хочу страсти быков. (Тут уж и „дионисийство“ Вяч. Иванова покажется детской и пресной шалостью. — Ю. К.) О, не обращайтесь внимания на протесты женщин. Они притворяются. Насилуйте их: это единственно, что они от вас желают. Бык: хочешь ли ты. Это единственное важное. А если „она“ и не хочет, овладей ею. Бык хочет — и мир хочет. Это я и нарисовал».

Эх, Василий Васильевич! Нарисовать-то нарисовали, но счетчик щелкает, адский механизм включен, и счет пошел на минуты. И скоро, бедный, «запоете» вы по-другому.

«Что же, в сущности, произошло? — спрашивает оглушенный революцией Розанов в 1918 году. — Мы все шалили. Мы шалили под солнцем и на земле, не думая, что солнце видит и земля слушает. Серьезен никто не был, и, в сущности, цари были серьезнее всех... И как это нередко случается, „жертвою пал невинный“... Мы, в сущности, играем в литературу. „Так хорошо написал“. И все дело было в том, что „хорошо написал“, а что „написал“ — до этого никому дела не было».

Несусветный смельчак в области морали и пола, склонный оправдывать в этом деле даже и нигилистов 1860-х годов с их «фаланстерами» и семейными артелями, в существе своем Розанов был именно монархистом и без «царей» России не мыслит. Кажется, красота византийской иерархичности бытия была дана ему в ощущении, недаром Константин Леонтьев сразу разглядел в нем *своего*. Русский народ полярен — есть вольница без царя в голове, но много и тех (существуют такие *верноподданные* и по сей день), кому без царя жизнь не мила, которые мыслят и любят Россию именно и только монархической.

Вот одна из последних записей «Последних листьев» (осень 1917-го): «Сижу и плачу, сижу и плачу как о *совершенно* ненужном и о всем мною написанном... Ни-

<sup>1</sup> Розанов В. В. О Пушкине. Эссе и фрагменты. Издание подготовлено В. Г. Сукачем. (И подготовлено превосходно! — Ю. К.) М., 2000, стр. 266 — 267.

<sup>2</sup> О психологической подоплеке отношений Розанова и Соловьева см. емкие и глубокие соображения костромского исследователя Т. А. Елшиной в статье «Друг другу мы тайно враждебны...» (в сб.: «Потаенная литература. Исследования и материалы». Приложение к выпуску 2. Иваново, 2000, стр. 170 — 175).

А вот уважаемый и популярный ныне питерский культуролог А. Эткинд не всегда точен в формулировках и утверждениях. Так, о Соловьеве и Розанове в его книге «Хлыст. Секты, литература и революция» (М., 1998) сказано, что они «раскачивали корабль русской мысли». Что за такой «ортодоксальный» корабль, по каким волнам плавал — не вижу. В конце концов, едва ли не каждый оригинальный мыслитель (да даже и богослов) что-то «раскачивает». Не будем числить Соловьева и Розанова внешними по отношению к «русской мысли» — они ее кровная составная, вне зависимости от того, нравится это кому-нибудь или нет. Хотя, разумеется, умственная и нравственная ответственность ни с кого не снимается. (О взаимоотношениях Розанова с сектантами — хлыстами и проч. — см. в той же книге, стр. 179 — 190.)

когда я не думал, что Государь так нужен для меня: но вот *его нет* — и для меня как нет России. Совершенно нет, и для меня в мечте не нужно всей моей литературной деятельности. Просто я *не хочу*, чтобы *она была*. Я не хочу ее для республики, а для царя, царицы, царевича, царевен. (Трагикомический парадокс, однако же, в том, что определенная и весьма немалая часть творчества Розанова, его „хлыстовство“, все-таки именно „для республики“<sup>3</sup>. — Ю. К.) *Без царя я не могу жить*. ...без царя не выживет Россия, задохнется. И даже — не нужно, чтобы она была без царя».

Не многие наши деятели серебряного века еще до большевистского переворота чувствовали и мыслили так: большинство, несмотря на все декадентские изыски, были, подобно Мережковскому, Блоку, Белому и другим, закодированы освободительной идеологией и «христосовались» в пореволюционные дни. Тогда как Розанов 11 марта 1917-го пишет: «Нельзя, чтобы внуки и внучки наши, слушающая сказку „О Иване Царевиче и сером волке“, понимали, что такое „волк“, но уже не понимали, что такое „царевич“. И слушающая — „...в тридесATOM царстве, за морем, за океаном“, не понимали, что такое „царство“... И они почувствуют, через 3 — 4 поколения, что им дана не русская история, а какая-то провокация на место истории, где вместо „царевичей“ и „русалок“ везде происходит классовая борьба». И еще в 1916 году называет либерального (а потом весьма успешно — советского) историка Р. Ю. Виппера «колбасником и нигилистом».

И ныне нам дороги в Розанове не вопросы пола, не пристрастная дерзкая критика христианского аскетизма, не колоритная моральная «запятая», а головокружительная интимность и доверительность в разговоре с читателем, его «охранительство», борьба с вульгарной социологичностью и либерально-социалистическими клише, драгоценная его идейная и человеческая тяга к «литературным изгнанникам», проникновенные о них очерки, его несравненные письма Леонтьеву, Страхову, Гершензону...

«Я понял, — утверждал писатель в „Опавших листьях“, — что в России „быть в оппозиции“ — значит любить и уважать Государя, что „быть бунтовщиком“ в России — значит пойти и отстоять обедню... Я вдруг опомнился и понял, что идет в России „кутеж и обман“, что в ней стала левая опричнина, завладевшая всею Россиею и плещущая купоросом в лицо каждому, кто не подмахивал освободительному движению. А Василий Васильевич пошел «в ту тихую, бессильную, может быть, в самом деле имеющую быть затоптанной оппозицию», которая состоит в «1) помолиться, 2) встать рано и работать». «Господа, бросьте браунинги, займитесь библиографией!» — убеждал Розанов. Но от гнилого времени никуда не деться, и во время работы вдруг в Розанове начинал бормотать «бобок»: «Сосочки, сосочки, сосочки... Сосите меня мужчины, сосите меня девушки, сосите меня замужние, сосите вдовы, — все». Это, оказывается, в вагоне пригородного поезда почувствовал Розанов себя... Озирисом. И то же «в давке трамвая»: «...другие любили ваши мысли, чувства... Я — вашу судьбу. Но и судьбу, как она открывается с подола... Посему я считаю себя (чувствую себя) Озирисом. И тут нет нескромности: по таинственному (не понимаю) учению египтян, всякий человек после своей смерти становится Озирисом». Широко русский человек — надо бы сузить: с утра помолиться, а потом чувствует себя Озирисом.

И все-таки коробят как *не-конечная правда* слова Павла Флоренского о Розанове — в письме от 5 — 6 сентября 1918 года к курскому медику М. И. Лутохину: «Существо его — Богоборческое: он не приемлет ни страданий, ни греха, ни лишения, ни смерти, ему не надо искупления, не надо и воскресения, ибо тайная его мысль — вечно жить, и иначе он не воспринимает мира... Кое-что в словах его, ложно выраженное, содержит правильное постижение хода мировой истории». Но сам склад духа Розанова — по Флоренскому — не приемлет «никакого „нет“, никакой задержки, никакого „должен“» и стремится «излиться, как льется поток воды». И сказано это как раз теми же днями, когда сам Розанов писал из Сергиева Посада М. М. Спасовскому: «С отцом Павлом Флоренским мы самые близкие

<sup>3</sup> См. и название издательства, выпускающего розановское собрание. Какое странное совпадение.

друзья. Он приходит ко мне почти каждый день, и мы вместе льем слезы о нашей несчастной России, так ужасно заблудившейся и блуждающей».

Как ни ругался Розанов на православное духовенство, а ведь после революции «жался» именно к Посаду и Лавре, у стен которой представляешь его легко, органично — хотя никак не представишь там в эти дни многих и многих «серебряновечных» современников Розанова.

Э. Ф. Голлербах в опубликованной в Берлине заметке «Последние дни Розанова» (1923) приводит фрагменты писем Надежды Васильевны Розановой о последних днях отца и его кончине:

«Два месяца он болел параличом. У него не действовала левая часть тела. Надо было одно усиленное питание, но его не было, достать было невозможно... Он все слабел, слабел. Последние дни я, 18-летняя, легко переносила его на руках, как малого ребенка. Он был тих и кроток. Страшная перемена произошла в нем, великий перелом и возрождение. Смерть его была чудная, радостная... Он 4 раза по собственному желанию причастился, 1 раз соборовался, три раза над ним читали отходную. Во время нее он скончался... Его похоронили в монастыре Черниговской Божьей матери, рядом с любимым К. Н. Леонтьевым».

В начале 20-х Черниговский скит закрыли и заселили бомжами и проститутками. М. Пришвин в 1923 году успел сделать «привязку на местности», так что место погребения Розанова и Леонтьева не затерялось благодаря пришвинским замерам. В 1991 году могилы восстановили. Но сегодня кресты (особенно крест Розанова, непрочный в пазухах) полуразсохлись, могилы производят впечатление заброшенных, чувствуется, что черниговским инокам не до них. У них своих забот полон рот: Черниговский скит вернули Церкви в страшном состоянии. Да и вряд ли кто из нынешней братии читал Розанова или Леонтьева... А мирские паломники к могилам мыслителей — что они могут сделать? Ведь это, как говорится, по определению те, к чьим ладоням деньги не липнут. Все-таки хорошие новые кресты, пусть не мраморные, а вновь деревянные, срубить и поставить надо.

...«Последние листья» вновь вернули меня к тому, что казалось перевернуто уже страницей, — к проблематике, к воздуху серебряного нашего века. Какая плеяда талантов, едва ль не гениев — во всех областях культуры. Какое цветение — но цветение с тлетворным душком. Великие, но — как-то по-особому порченые творцы, гремучая смесь дара с двусмысленностью, причем двусмысленностью не спонтанной, а «обдуманной», порой нарочитой. Пели сирены — но где же был спасительный для нашей родины голос?

Сам Розанов хотел «ввинченности мысли в душу человеческую» и «рассыпчатости, разрыхленности... расширения души человеческой». Проходят десятилетия — а творческое наследие Розанова продолжает выполнять эту свою задачу: не укреплять и закалять, но именно разрыхлять и расширять человеческую душу со всем, что есть в этом хорошего и дурного.

Юрий КУБЛАНОВСКИЙ.

\*

## ИСТИНА, СКРЫВАЮЩАЯ, ЧТО ЕЕ НЕТ...

Жан Бодрийяр. Символический обмен и смерть. Перевод и вступительная статья С. Н. Зенкина. М., «Добросвет», 2000, 390 стр.

**В** своей книге о Мишеле Фуко («Забывать Фуко» вышла в 1977 году, через год после появления работы «Символический обмен и смерть») Жан Бодрийяр пытается вывести формулу письма Фуко, а в конечном итоге, возможно, — формулу его «неудачи»: «...дискурс Фуко — зеркало тех стратегий власти, которые он описывает. В этом, а не в „коэффициенте истины“ состоит его сила и соблазн... Такова описанная Леви-Строссом символическая эффективность действия мифа...» (Бодрийяр Ж. Забыть Фуко. СПб., 2000, стр. 38). «Мифический дискурс» Фуко, завороченно исследуя работу власти, как бы сам длит иллюзию ее присутствия. С дис-

танции Бодрийяра — власть в ее традиционной политической форме мертва, с нею давно произошла необратимая метаморфоза, которую не способен изнутри своей генеалогии власти ухватить Фуко. Действительно, сильная теоретическая оптика способна длить иллюзию присутствия... Но вот теперь уже мне кажется, что мощная интерпретационная машина Жана Бодрийяра длит иллюзию господства симулякра (этого центрального персонажа его мысли). Если язык Фуко можно опознать как язык самой власти, то, возможно, сам язык Бодрийяра порождает свой бесконечный ряд симулятивных эффектов.

Бодрийяр 70-х годов — радикальный критик современной культуры. Он разрабатывает новый язык и виртуозно выстраивает схемы описания новой формы социальности, той «гиперреальности», которая стала атмосферой жизни современного человека. Но рядовой читатель вряд ли будет способен уверенно двигаться за Бодрийяром в его рассуждениях. Слишком плотный строй понятий, каждое из которых прочитывается только в контексте современной западной мысли. Для грамотного понимания необходимо точно считать все отдельные термины. Вокабуляр Бодрийяра придется сначала освоить поштучно, чтобы уследить за быстрой комбинаторикой этого искусственного языка. «Симулякр», «симулятивная модель», «политическая» и «либидинальная» экономики, «символическая экономия знака», «ценность», «код», «порядки реальности», «обратимость», «символический обмен»... Даже скетчи-зарисовки, которые делает Бодрийяр, имеют жесткую структурную интерпретационную основу, и, приблизившись, можно различить сеть устойчивых понятий, регулирующих его философское зрение. Плотность условных элементов теории и скоростная их комбинаторика даже порождают своего рода теоретическую эйфорию. Мир Бодрийяра кажется не требующим своего референта, он кажется самодостаточным.

Входить в теоретические построения Бодрийяра я не буду. Попробую прояснить лишь некоторые ключевые его интуиции.

Бодрийяр строит свои сюжеты практически из любого подручного материала. В книге «Символический обмен и смерть» есть главка, где он описывает явление граффити. Это своего рода социологическое эссе — но в его основе лежит некая общеподручная «философема». Граффити, вторгшиеся в начале 70-х в пространство Нью-Йорка, изменили, как объясняет Бодрийяр, не просто его «облик», но посягнули на саму структуру социального пространства. Подростковая «культура», не желающая вписываться в доминирующую систему социальных знаков, заявила о себе восстанием. «Граффити, которые, первоначально появившись на стенах и заборах гетто, постепенно заполнили поезда метро и автобусы, грузовики и лифты, коридоры и памятники... По ночам подростки забирались в вагонные депо и даже внутрь вагонов и давали полную волю своей графической фантазии. Наутро все эти поезда катались взад и вперед по Манхэттену. Надписи стирали... авторов граффити арестовывали, сажали в тюрьму... но все попусту...» В этом восстании Бодрийяр различил вызов, адекватный «пространству/времени террористической власти средств массовой информации, знаков господствующей культуры». Власть знаков был противопоставлен — анонимный знак. Против насилия социального кода выставлен псевдоним. (Бодрийяр отмечает, что нью-йоркские граффити противопоставляют всеобщей анонимности социального кода не имена, но именно псевдонимы.) Ускользнуть от репрессии социального кода уже нельзя героическим «я существую, меня зовут так-то, я с такой-то улицы, я живу здесь и теперь», через утверждение своей идентичности, но — скрываясь в недетерминированности, неразличимости. Системе все более тонких, улавливающих в свои сети социальных различий и манипуляций можно противостоять, лишь укрывшись на коллективной территории нового, быстроизменчивого знака. «Достаточно тысячи подростков, вооруженных маркерами и баллончиками с краской, чтобы перепутать всю сигнальную систему города, чтобы расстроить весь порядок знаков. Все планы нью-йоркского метро покрыты граффити — это та же партизанская тактика, как у чехов, когда они меняли названия пражских улиц, чтобы в них заблудились русские».

Эта стратегия борьбы с «террористической властью знаков господствующей культуры» восхищает Бодрийяра. В покрытии стен «татуировкой» граффити он ви-



дит *возвращение к состоянию живой социальной материи*: «групповая инициация» способна всколыхнуть функционально-институциональное пространство современного социума... В этом сюжете о граффити проступила универсальная бодрийяровская «философема». Здесь высказала себя, если угодно, утопия Бодрийяра, энергией которой держится вся его социально-философская критика (каких бы сюжетов она ни касалась: политэкономических, лингвистических или психологических).

Утопия Бодрийяра наиболее откровенно выражена в его истолковании феномена смерти. Ибо у-топия как раз то не существующее для современной культуры «место», куда она вытесняет смерть. И это вытеснение — предельный случай сегодняшней тотальной социальной репрессии. «По мере углубления своей рациональности наша культура последовательно выдворила в область нечеловеческого неодушевленную природу, животных, низшие расы... безумцев... детей... они все больше заточались в гетто инфантильного мира... Не-людьми сделались и старики, отброшенные на периферию человеческой нормы». Перестали существовать и мертвые: «...сегодня быть мертвым — ненормально... Смерть — это антиобщественное, неисправимо отклоняющееся поведение». Иначе говоря, социальный контроль стал тотальным. И еще говоря иначе (словами Бодрийяра): «Наша культура просто является культурой смерти». (Вот против чего восставали граффити.)

Парадоксальным образом (и строго следуя логике Бодрийяра) проявлением окружающей нас и взявшей нас в плен «культуры смерти» оказывается и либеральная борьба за отмену смертной казни. Эта «гуманная» борьба, по мысли Бодрийяра, означает триумф социализации, победу нормализующей, репрессивной функции культуры. Все «антитела» в сверхсоциализованном обществе должны быть растворены, лишены своих несводимых отличий; в конце концов, они должны быть уравнены в бессмертии.

Реинтегрировать преступника в общество — разве не достойная общества задача? Но Бодрийяр, рискуя нарваться на общественный скандал, радикализует свою точку зрения...

(Кстати, этот ход мысли фактически совпадает с тем, на который однажды решился М. Фуко. В 1981 году, накануне отмены во Франции смертной казни, Фуко дал интервью газете «Liberation». На фоне восторгов по поводу прогресса гуманности и победного триумфа очевидных аргументов против смертной казни он пытается размышлять трезво и последовательно. И вот что из этого выходит: «Прекратить отрубать отдельные головы, потому что при этом хлещет кровь, потому что так себя не ведут в приличном обществе и потому, что всегда есть риск обезглавить невинного, — это достаточно просто. Но отказаться от смертной казни, основываясь на принципе, что никакая общественная сила не имеет права отнять жизнь у кого бы то ни было, — это значит вовлечься в важное и непростое обсуждение...» (цит. по: Miller J. The Passion of Michel Foucault. N. Y., 1993, p. 329). Ведь предельным вопросом этой логики, от которого невозможно будет уклониться, станет вопрос об отмене всех форм наказания в обществе.)

Насильственные уголовные наказания, продолжает свое рассуждение Бодрийяр, просто должны исчезнуть в нашем обществе. В нем не может быть ни преступников, ни безумных — в нем царит «нормальность». Иначе говоря, сторонники отмены смертной казни на самом деле идут в том же направлении (быть может, лишь забегаая вперед и тем ускоряя ход событий), что и вся социальная система. Подавление несходства — вот алгоритм ее работы, который обнаруживает Бодрийяр. В этом утверждении — основа всех его общефилософских построений. (Сходную конструкцию можно найти у Батая и у Рене Жирара, знаменитая книга которого «Насилие и священное» вышла в те же годы, что и «Символический обмен...».) Речь идет о генезисе самого социального. Согласно Бодрийяру, в истоке социального лежит то, что он называет «символическим обменом». Именно «символический обмен» представляется Бодрийяру началом современной логики социального развития и альтернативой ему. «Символический обмен» — это то социальное отношение, которое, по мысли Бодрийяра, поддерживает органичное развитие человеческой культуры. Когда в круге социального вращается и свободно обменивается инородное. И смерть — как наиболее радикальная «отличность» — входит на своих правах в этот круг, выполняя необходимую социальную функцию.

Включенность смерти в жизнь для Бодрийяра — свидетельство гармонии и устойчивости общества, его способности проживать полный цикл жизни... В «Символическом обмене...» Бодрийяр описывает свое впечатление от «музея мертвых» в капуцинском монастыре в Палермо. Сюда перенесены мертвецы за триста последних лет, «бережно сохраненные в могильной глине, вместе с кожей, волосами и ногтями; они лежат или стоят, подвязанные за плечи, плотными рядами... по-прежнему одетые в грубое полотно саванов или же, напротив, в костюмы, перчатки и кружева, готовые рассыпаться в пыль...» Театр смерти, живой и праздничный. И вот заключение Бодрийяра: «И сколь же прочно общество, способное выкапывать из могил своих мертвых, общаться с ними в обстановке то ли домашней, то ли зрелищной, способное без испуга и без непристойного любопытства... выносить этот театр смерти... Какой контраст с неустойчивостью нашего общества, способного смотреть в лицо смерти только через посредство мрачного юмора или извращенной завороченности. Какой контраст с заговариванием собственной тревоги...»

Философскую программу Бодрийяра 70-х можно было бы выразить тезисом: вернуть смерть. Ибо, гонимая, она проникает повсюду, даже в «наибанальнейшую реальность», принимая обличье самого принципа рациональности, превращая человечество в искусственный объект собственного созерцания... Число последствий удаления смерти из циклов социальных обменов можно умножать бесконечно. Сегодня, говорит нам Бодрийяр, все мы — жертвы монотонного бессмертия неподлинного социального существования.

В книге «Символический обмен и смерть» Жан Бодрийяр построил ту философскую оптику, благодаря которой он увидит и сможет интерпретировать все современные «порядки реальности». В работе «Прозрачность зла» (также недавно вышедшей на русском языке: М., «Добросвет», 2000) он даст блестящее описание жизни современного общества как «жизни после оргии», жизни после жизни. Как уже неконтролируемо-бесконечного разрастания симулятивной социальной ткани.

Образы патологических процессов современной культуры, которые столь детально и наглядно предьявляет нам Бодрийяр, способны оказаться по-настоящему навязчивыми. «Со мной не произошло каких-либо изменений. Я стал другим окончательно и бесповоротно. Я теперь покоряюсь не закону желанья, но полной искусственности правила. Я утерял всякий след желаний, которые были мне свойственны. Я подчиняюсь лишь чему-то нечеловеческому, что не зафиксировано внутри меня, но присутствует в объективных и произвольных случайностях знаков мира...» Иллюзия бессмертного мира симулякров, в котором мы живем, сама становится тотальной. И действительно, начинаешь думать о побеге. Только не знаю, возможно ли, скользя по силовым линиям бодрийяровской логики, обрести не виртуальную тяжесть и почувствовать землю под собственными ногами.

Елена ОЗНОБКИНА.



## СЛОВАРИ МЕРТВЫХ СЛОВ

Л. В. Беловинский. Российский историко-бытовой словарь. М., «Студия ТРИТЭ Никиты Михалкова», 1999, 528 стр.

В. С. Елистратов. Язык старой Москвы. М., «Русские словари», 1997, 701 стр.

Н. А. Замятина. Терминология русской иконописи. М., «Языки русской культуры», 1997, 270 стр.

То, что умерло, оживлять бессмысленно.

*Л. В. Беловинский.*

### За пределами русской лексикографии

**З**а последние десять лет в России было опубликовано несколько тысяч словарей, энциклопедий и других лексикографических изданий. Это больше, чем за все предшествующее столетие. Между тем доля профессиональной продукции в этой

области с каждым годом становится все меньше. На высоком уровне держится только русская диалектная лексикография. Так, например, тщательно подготовлен «Словарь говоров Карелии...», выходящий в Петербурге под руководством профессора А. С. Герда. Уникален «Этимологический словарь русских диалектов Сибири. Заимствования из уральских, алтайских и палеоазиатских языков», составленный А. Е. Анкиным (Новосибирск, 1997). Профессионально подготовлена значительная часть двуязычных словарей, среди которых особенно выделяется словарь удийского языка, составленный И. В. Кормушиным (М., «Наука», 1998). На высочайшем уровне сделаны почти все справочные издания в области грамматики и другие узкоспециальные издания, например, «Сравнительно-историческая грамматика тюркских языков» под редакцией Э. Р. Тенишева (М., «Наука», 1997). Из словарей литературного языка, которые всегда отличались высоким профессионализмом составителей, принципиально новые лексикографические горизонты открывает «Новый объяснительный словарь синонимов русского языка», подготовленный под руководством Ю. Д. Апресяна (М., «Школа „Языки русской культуры“», 1997). Не лишен прежних недостатков, но, без малейших сомнений, безукоризненно структурирован только что изданный новый однотомный «Большой толковый словарь русского языка», подготовленный Институтом лингвистических исследований в Петербурге.

Но как только составители словарей обращают свой взор на то, что традиционно именуется языковыми «перифериями», начинается что-то невообразимое. Трудно сказать, чего здесь больше — плагиата, халтуры или простой безграмотности. Словари русского сленга, просторечия, разговорной лексики, мата, жаргона и тому подобным маргинальных областей русского языка давно превратились в массовое развлекательное чтение, не имеющее к лексикографии, лексикологии и вообще к лингвистике ни малейшего отношения. Мы уже рассматривали десятки русских воровских словарей, вышедших за последнее столетие (Плущер-Сарно А. Русский воровской словарь как культурный феномен. — «Логос», 2000, № 2), проанализировали традицию составления матерных словарей (Он же. Словарь русского мата как культурный феномен. — «Новая русская книга», 2000, № 3). Оказалось, что среди всех этих словарей нет ни одной научной работы. Пользоваться ими по прямому назначению, как справочной литературой, — невозможно.

Примерно то же можно сказать и о словарях, эксплицирующих различные пласты лексики, находящиеся за пределами современного языка. Нужно отметить, что к словарям, эксплицирующим ушедшие, «мертвые» слова, относятся три совершенно различные группы изданий. Кроме словарей собственно устаревших слов сюда могут быть отнесены и словари целых ушедших, «мертвых» подъязыков, и словари, представляющие ушедшие реалии. Ниже мы рассмотрим несколько словарей, относящихся к этой категории.

### «Пьянство», «проституция» и «порча»

*Зашибать* — пьянствовать постоянно.

*Л. В. Беловинский. Российский историко-бытовой словарь.*

Л. В. Беловинский заявляет свой словарь как вполне научную работу, предназначенную «широкому кругу специалистов, работающих со словами или обращающихся к прошлому, — историкам, музейным работникам, литературоведам, искусствоведам, редакторам...». Научный аппарат в словаре отсутствует потому, что «занял бы непомерно большое место» (читателю непонятно: то ли научный фундамент не поместился в издании, то ли вообще из экономии места не создавался), отсутствует и список источников, и традиционный в лексикографии раздел «структура словаря», в котором обычно оговариваются принципы его построения, состав словника и мн. др. Автор вообще не сообщает, какие слова включаются в словарь, а какие — нет. В кратком предисловии есть единственное упоминание о составе словаря: «Предлагаемый Российский историко-бытовой словарь опирается прежде всего на русскую литературу и включает максимальное количество понятий из русской жизни XVIII — нач. XX в.». При этом «понятие быт трактуется здесь очень

широко» и «охватывает быт многочисленных народов Российской империи». Границы словаря, таким образом, расширяются до бесконечности и тем самым разрушаются. Автор получает возможность произвольно включать в свой словарь любые слова русского языка, поскольку весь русский язык, в той или иной степени, связан с реалиями быта, трактуемого так, как это делает автор, — «очень широко». Единственное едва заметное ограничение — это необходимость включать в него слова «в основном... забытые или полузабытые», поскольку словарь все-таки озаглавлен еще и как «исторический». Однако в действительности даже это уклончивое ограничение не соблюдается автором. В самом деле, нельзя же всерьез рассматривать в качестве «полузабытых» такие понятия, как *проституция*, *пьянство* или *порча*, такие напитки, как *водка*, *херес* или *мадера*, такие обряды, как *причащение*, *крещение*, *покаяние* или *колядование*, такие культурные явления, как *живопись* или *фотография!* И почему тогда нет скульптуры, музыки и поэзии?

Не представляется вполне корректным и деление материала по отдельным словарным статьям. Совершенно непонятно, зачем в словаре статьи *цветочный чай*, *кирпичный чай*, если уже есть статья *чай*. Почему эти статьи разрабатываются в разных местах словаря? Ведь обычно в словарях материал подается по алфавитному месту ключевого основного слова, а не сочетающихся с ним прилагательных. Слово сочетания в этом словаре могут выноситься в словник даже не в начальной форме. Например, команда *суши весла* так и вынесена в словник словаря в форме повелительного наклонения. К тому же это словосочетание тоже не является «устаревшим», оно употребительно и в настоящее время.

Возьмем состав словника на примере слов на букву «к». Почти все они не могут рассматриваться как устаревшие: *кабак*, *казак*, *казан*, *казачество*, *календарь*, *камердинер*, *канане*, *канделябр*, *карантин*, *каре́та*, *картуз*, *катафалк*, *клад*, *корзина*, *кузовок* и т. д. Автор предлагает нам множество общеизвестных профессиональных флотских терминов: *камбуз*, *каботаж*, *киль*, *кильватер*, *кливер*, *клипер*, *клотик*, *кнехты*, *кок*, *корвет*, *корма*, *крейсер*, *кубрик*; общераспространенных и поныне продуктов питания: *каша*, *квас*, *кислые щи*, *кофе*; церковных терминов: *кадило*, *канон*, *каноник*, *капелла*, *клирик*, *клирос*, *клобук*; общеизвестных слов, связанных с армейскими реалиями: *казенник*, *карабин*, *каска*, *казармы*, *каземат*; части одежды: *камзол*, *корсаж*, *корсет*.

В словаре никак не отделяются значения одного слова от омонимических значений и от оттенков значения. Так, в качестве двух значений одного слова в словаре даются омонимы: *кант* как стихотворный жанр и *кант* как полоска шитья по кромке одежды.

Смущает и произвольность дефиниций. Оказывается, *кокаин* — «наркотическое вещество», порошок, который «в нач. 20 в.», оказывается, «часто нюхали кокаи́нсты, наркоманы, преимущественно из уголовной среды, аристократии и интеллигенции». Общеизвестно, что увлечение кокаином в начале XX века носило массовый характер и было распространено в самых разных слоях населения, поэтому упоминание интеллигенции и уголовной среды не выглядит убедительным.

В других определениях отсутствует исследовательская точка зрения: *колдун* — это «человек, отрекшийся от Бога и Царствия Небесного, продавший душу черту и получивший от него сверхъестественные способности». У читателя складывается впечатление, что автор искренне настаивает на том, что он описывает не акт восприятия, не объект массового сознания, а реалии быта. Тем же отличается и определение черта: «нечистая сила, враг рода человеческого, подручный дьявола».

Сам стиль определений значений тоже оставляет желать лучшего. Оказывается, *парус* — это «движитель парусного корабля», а *парусник* — это «судно, плавающее исключительно под парусами». Кроме того, что все эти слова есть в любом современном словаре литературного языка, они не являются устаревшими. Конечно, парусников стало в XX веке меньше, но это еще не достаточное основание для рассмотрения их как реалий прошлого. Тем более, что никаких дополнительных сведений сами словарные статьи не содержат. Где же здесь «забытые понятия», обещанные автором? Подобный словарь может быть предназначен разве что трехлетним детям, никогда не слышавшим слова «парус».

Во всех непрофессионально подготовленных словарях обязательно найдутся замкнутые круги определений, отсылающие друг к другу. Помните, как герой Станислава Лема пытается понять, читая словарь, что же такое сепульки, ходит по кругу отсылок и возвращается к сепулькам, так и не получив ответа на вопрос. В словаре Беловинского тоже есть подобные развеселые «карусели» дефиниций. Например, *нелегкая* — это «нечистая сила», *нежить* — тоже «нечистая сила», а *нечистая сила* — это опять же «нечисть, нежить». Круг определений замкнулся на определяемом слове. Ну и потом, нельзя определять *нечистую силу* через однокоренное слово *нечисть*. Беловинский оказывается большим специалистом по выстраиванию подобных замкнутых смысловых кругов: у него *монастырь* — это место, где живут монахи, *монахи* — это *черное духовенство*, а *черное духовенство* — это *общее название лиц, проживающих в монастыре...* Однако в монастыре проживает не только духовенство, а черное духовенство не всегда проживает в монастыре.

Ряд определений в этом словаре вообще не содержит никакой информации об объекте; например, оказывается, что *перчатки* — это «элемент знаковой системы светского общества». Под это определение не подпадут разве что упомянутые выше монахи. Нечеткость авторских дефиниций во многих случаях вообще не позволяет пользоваться этой книгой как словарем: *Светское общество* — это «особая, сравнительно замкнутая группа в дворянстве», *дворянство* же — это «привилегированное сословие», а *сословие*, в свою очередь, — «социально-юридич. категория населения, тесно замкнутая...». Чудесно! Перчатки — это элемент общества, общество — замкнутая группа в дворянстве, а дворянство — категория населения! Как видим, перед нами именно «результат процесса сепуления».

Есть в этом словаре и еще более упрощенные способы ухода от каких-либо смысловых определений. Два различных объекта могут сопровождаться попросту взаимными отсылками: *Гусиные бои* — «см. Петушиные бои». А определяя *петушиные бои*, автор возвращает нас обратно к гусиным боям — «популярная забава, наравне с гусиными боями».

Отсутствие каких-либо принципов подачи материала приводит к тому, что в некоторых случаях автор предлагает в качестве всеобъемлющей и исчерпывающей дефиниции описание всего лишь единичного случая: *полундра* — «окрик, предупреждающий стоящих внизу людей, чтобы они береглись падающего сверху предмета». Если автор был свидетелем падения каких-либо предметов кому-либо на голову, то это еще не значит, что опасность всегда таится только сверху.

При определении значений автор произвольно пользуется своим языковым чутьем, никак не соотнося свои дефиниции с тут же приводимыми примерами. Так, *кондовый* — это «коренной, мощный, самобытный, ядреный; например, кондовый строительный лес». Что же такое «самобытный» лес? Оказывается, это просто «кряжистые, толстые, крепкие смолистые бревна». И тут же: *кондовые нравы*. Читатель, исходя из определения, должен считать, что нравы «мощные» и «смолистые». Но они, поясняет далее автор, «старинные, простые и даже грубоватые». Зачем автор дает через запятую одиннадцать совершенно разных определений вперемежку с совершенно неподходящими примерами, остается загадкой.

В целом данный словарь либо ничего вообще не сообщает читателю, либо предлагает информацию, имеющуюся во множестве общедоступных энциклопедий. Непонятно, например, кому и зачем объясняет автор, что *Коран* — это «священная книга мусульман»? Это слово есть даже в одномтомном кратком словаре Ожегова — Шведовой. А, к примеру, слово *моветон* есть в любом издании «Словаря иностранных слов» и имеет там приблизительно то же самое определение, что и у Беловинского. Впрочем, автор и сам признается, что вся информация, имеющаяся в этом словаре, есть в любых других общедоступных словарных источниках и попросту оттуда и взята: «Источниками послужили многочисленные толковые и энциклопедические словари, справочники...»

Приходится, однако, усомниться, что подобное издание может хоть для чего-нибудь пригодиться «историкам, музейным работникам, литературоведам, искусствоведам, редакторам...».

## Язык старой Москвы

При составлении словаря «Язык старой Москвы» В. С. Елистратов пользовался в основном произведениями русских классиков, наивно принимая язык литературных героев за язык улицы. Это язык Пушкина, Тургенева, Гоголя, Салтыкова-Щедрина, Толстого. Собрания сочинений всех указанных авторов есть среди источников словаря Елистратова: «Основная масса текстов, ставших источниками для словаря, — это тексты *московских* писателей». Но указанные писатели не являются «*московскими*». Гоголь родился, вырос и получил образование на Украине, а всю жизнь провел в Петербурге и в заграничных путешествиях. Тургенев родился и вырос в Орловской губернии, окончил Петербургский университет и большую часть жизни прожил в Петербурге и Париже. Щедрин родился и вырос в Тверской губернии, окончил Царскосельский лицей, а большую часть жизни провел в Петербурге. Лишь Толстого можно, главным образом с большой натяжкой, отнести к «*московским*» писателям, да и то формально: вырос он и большую часть жизни провел в Ясной Поляне, которая находится в Тульской губернии, учился в Казанском университете, жил не только в Москве, но и в Петербурге. Можно ли на основе таких источников делать словарь «языка Москвы»?

Данная книга в целом не только не имеет отношения к «языку Москвы», но в определенной своей части — вообще к русскому языку, поскольку автор ввел в словарь множество французских, немецких и английских слов, которые встречаются в русской литературе XIX века.

Слово «старой» в названии словаря также звучит абсурдно, поскольку абсолютно никаких хронологических границ для отбора материала словаря не было, в чем наивно признается сам автор: «У словаря нет и не может быть... жестких... хронологических рамок», однако после долгих оговорок признается, что словарь охватывает самые разнородные в хронологическом отношении материалы трех последних столетий: «Материалы из XVIII в. и из советской эпохи начиная с 30-х гг. — всего лишь сопутствующие, хотя подчас и необходимые». При этом автор, в частности, использует воспоминания И. А. Бродского об А. А. Ахматовой, относящиеся уже к первой половине 60-х годов (*ахматовка*). Непонятно, в какой мере такие слова относятся к «языку новой Москвы». Никаких социальных границ при отборе материала также не было: «Стущенное в середине (в „мещанских“ 60 — 90 гг. XIX в.), поле словаря все больше разряжается в социально-временном космосе Москвы (с одной стороны — к началу XIX в. и дворянской эпохе, с другой — к XX в. и советской эпохе)».

Книга состоит в определенной части из литературных общеизвестных слов, которые есть в любом словаре. В самом деле, зачем давать в таком словаре слово *бенефис* или приводить слово *метрдотель* без грамматической справки, без определения значения, с последующими размышлениями на полстраницы героя-официанта из И. Шмелева? Зачем делать статью на слово *блины*, не объясняя его значения, а просто сообщая, что «существовало множество способов приготовления блинов»? Зачем вставлять в словарь простое сочетание *балаганы под Девичьим*, опять же никак не толкуя значения, а просто объясняя, что «балаганы в Москве устраивались... на Девичьем поле». На слово *балет* поясняется, что мещане балета не любили. Все это выглядит совершенно абсурдно. Елистратов невозмутимо вставляет в свой словарь «языка старой Москвы» неологизм XX века — слово *автомобиль* — в самом прямом его значении и объясняет читателю, что москвичи неодобрительно относились к автомобилю. Есть в словаре и огромная цитата о русском борще, взятая из Н. Тэффи. Во всех этих статьях нет никаких материалов, кроме больших цитат из произведений русских писателей. Статья на слово *взятка* начинается так: «Тема взятки обыгрывается во многих текстах...» Нет ни определенных значений, ни каких-либо других элементов, по которым можно было бы догадаться, что перед нами словарь. По структурным принципам эта работа должна быть охарактеризована не как словарь, а как собрание случайных цитат, никак не связанных между собой по смыслу, но приглянувшихся автору. Берется любое слово, например водовоз. Подбирается любой литературный контекст, где есть что-нибудь о водовозах. Далее ставится традиционная для Елистратова форма типа: «О

московских водовозах читаем, например, у...» и т. д. Следующая затем цитата занимает страницу текста. Комментарии же самого автора либо демонстративно не содержат никакой информации, либо дают общеизвестные факты. Так, в статье на слово *голуби* объясняется, что существует множество пород голубей, а в статье *дачи* автор сообщает нам, что «подмосковные дачи активно высмеивает, например, А. Чехов...» — далее приводится цитата. Ну, высмеивает — и что? А где словарная статья?

Зачем вводить в словарь нефразеологические сочетания слов, имеющие прямые значения? Зачем объяснять читателю, что *банный вор* — это банный вор: «В Москве существовала специальная категория банных воров»? Зачем наполнять словарь общеизвестными названиями одежды, имеющимися во всех словарях: *армяк*, *архалук*, *бекеша*, *берет* и т. п. С другой стороны, словарь не нуждается и в названиях, строящихся на именах собственных, поскольку их список может быть продолжен бесконечно: *а-ля Байрон*, *а-ля Вальтер-Скотт*? Если уж автор дает такие статьи, то хотя бы следил за правописанием: Вальтер Скотт все-таки пишется раздельно, что бы там ни было в источниках. Зачем заполнять словарь всевозможными названиями товаров, например, сортов табака: *американ*, *амерсфорт*, *месаксуди*. И уж совсем необъяснимо включение в русско-русский словарь иноязычных слов, заимствованность которых более чем спорна. Подобная лексика нуждается в авторских комментариях, иначе читатель может, к примеру, усомниться в том, что все эти слова заимствованы: *абсолюман*, *адоратёр*, *аливрувер*, *бельфам*, *алажён-франсе*, *бофрер* и т. п. Попадают даже целые французские выражения: *жаме де ма ви*. Если какой-то писатель вставил в свой текст иностранное слово, записав его русскими буквами, это еще не подтверждает факта заимствования: русская литература изобилует макароническими текстами. Тем более, что Елистратов подтверждает такие материалы в лучшем случае одной-единственной цитатой, а в худшем вообще не считает нужным давать какие-либо материалы.

Что делают в словаре очевидные авторские литературные неологизмы: *бесовозлюбленный*, *архиантрепренер*, *архикабатчик* и т. п.?

И уж совсем дико выглядят в словаре имена собственные: *Боб* (вообще просто Боб — и все), *Андрей* (юродивый), *Василий Блаженный*, *Маша Бусинская* (юродивая), *Евдокия Тамбовская*, *Егоров* (трактирщик), *Бриллиант* (кличка петуха)! Клички петухов и других животных желательно выделять в отдельный словарь. Как и названия магазинов, трактиров и ресторанов: *Билло* — «популярный... ресторан».

Если уж объяснять, что такое *Грибоедовская премия*, то тогда можно ввести в словарь названия всех остальных премий и наград. Неожиданно появляются статьи о писателях *Григорьевых П. Г.* и *П. И.* Но их биографии есть в биографическом словаре «Русские писатели» (т. 2, стр. 37 — 38). Почему нет биографий других писателей? Ведь писателей тысячи!

В то же время нельзя не отметить, что перед нами контаминация нескольких работ других авторов. Это прежде всего «Словарь к пьесам А. Н. Островского» Н. С. Ашукина, С. И. Ожегова и В. А. Филиппова, «Меткое московское слово» Е. П. Иванова, «Московские легенды» Е. З. Баранова, словари В. И. Даля и Д. Н. Ушакова, «Москва и москвичи» В. А. Гиляровского, «Москва сороковых годов» И. Т. Кокорева и некоторые другие. Так, на букву «Р» в словаре дано 279 словарных статей (плюс 18 отсылочных). Из словаря языка А. Н. Островского взято 62 статьи, из словаря Кирсановой — 8, из словаря Ушакова — 7. Если учесть, что автор просто приводит цитаты, то приходится признать, что собранные им материалы либо не представляют ни малейшего интереса, либо уже имеются во множестве словарей, энциклопедий и других справочных изданий, либо вообще не должны разрабатываться в такого рода словаре. Ведь само название «Язык Москвы» подразумевает общеупотребительность приводимых материалов. При чем же здесь авторские неологизмы («*райхитичный*» — принадлежащий Зинаиде Райх. Каламбур Шершеневича), французская речь, слова ограниченного употребления (*беднотовец* — относящийся к журналу «Беднота»), — это ведь не «язык Москвы», не правда ли?

К какой области человеческого знания относятся статьи *домашнее воспитание девочек* и *домашнее воспитание мальчиков* и какое отношение они имеют к «языку старой Москвы»? В огромных цитатах, которые автор приводит в этих статьях, эти

словосочетания не употребляются. Становится непонятным, что же поясняет цитата и каков ее статус.

По сути, этот словарь представляет собой случайную подборку цитат из русской классики, описывающих различные факты жизни прошлого и понравившихся Елистратову по тем или иным причинам, которые он нигде не оговаривает. Понравилось автору описание живодерни у П. Богатырева, он ставит в словарь слово *живодерня* и затем все это описание.

Как видим, смешение различных типов словарей носит у Елистратова хаотический характер. А что же сам автор думает обо всем этом хаосе?

### Возрождение русской иконописи

Русский — сделанный в России, отечественный.

Н. А. Замятина, «Терминология русской иконописи».

Издательство «Школа „Языки русской культуры“» при поддержке РГНФ выпустило словарь Н. А. Замятиной «Терминология русской иконописи».

Н. А. Замятина поставила перед собой цель — «способствовать возрождению традиций русского иконописания». В словаре предполагалось дать «названия иконной доски и ее частей», «названия иконного изображения», «названия инструментов», «названия материалов, в том числе красок», «названия технических приемов», «наименования лиц, участвующих в создании иконы», «названия помещений для работы иконописцев» и «названия жанров сочинений по технике иконописи».

Действительно, Замятина проделала определенную работу с источниками и собрала оговоренные во введении материалы в словарь. Однако, разрушая собственные принципы построения словаря, Замятина включила в него значительное количество общеизвестных, общеупотребительных слов, не имеющих ни малейшего отношения к иконописной терминологии. Так, например, слово *добрый* в значении «хорошего качества» не относится к «специальной лексике русских иконописцев». Оно есть во множестве словарей русского языка и, в частности, в «Словаре древнерусского языка (XI — XIV вв.): *«добрый... б. Отличный по качеству, по достоинствам; доброкачественный, добротный»* (т. 3. М., 1990, стр. 20). Автор как будто всерьез полагает, что все приводимые им общеупотребительные глаголы являются специальными терминами: *починить* в значении «восстановить повреждения», *составить* — в значении «приготовить из нескольких компонентов», *ставити* — в значении «делать, готовить», *творить* — в значении «приготавливать, делать», *трескаться* — в значении «трескаться» и т. п. Необходимо оговаривать, насколько общеупотребительные прилагательные, используемые иконописцами, являются терминами (*тертый* — «превращенный в порошок»). Сами названия текстов иконописных «наставлений» не обязательно относятся к профессионализмам: *указь* — «наставление», *уставка* — «наставление» и др.

Количество слов, не имеющих отношения к специальной терминологии, в данном словаре огромно. Какое отношение к специальной терминологии иконописи имеют названия частей человеческого тела: *власы* — «изображение волос», *кудри* — «изображение кудрявых волос», *лицо* — «лик, изображение лица фигуры на иконе»? Но если так, то тогда нужно включить в словарь и руки, и ноги, и вообще все предметы, изображаемые на иконе! Почему из приводимой в самом словаре цитаты: «А бѣлилами оживать в лобѣ и на переносѣ, посреде носка и на концѣ, возле глаз и над устнемь и у губки и бородку (а щечку) а шейку подживи о краю купровъ подрумянки...» — *лобок* и *переносье* введены в словарь, а «носок», «глаз», «бородка», «уста», «губка», «щечка» и «шейка» отвергнуты? Чем же «бородка» святого хуже его *кудрей*? Совершенно непонятно, зачем вводить в словарь общеупотребительные относительные прилагательные, образованные от названий стран и городов, сопровождая к тому же их неточными определениями: *аглинский* — «сделанный в Англии или привезенный оттуда», *неаполитанский* — «из г. Неаполя», *кашинский* — «из г. Кашина», *ржевский* — «из г. Ржева, сделанный там или привезенный оттуда», *коломенский* — «из г. Коломны», *турский* — «турецкий, сделанный в Турции или привезенный оттуда», *венский* — «из г. Вены», *грец-*



*кий* — «греческий, т. е. сделанный в Греции или привезенный оттуда»? К тому же значения этих относительных прилагательных определены не вполне корректно. В самом деле, ведь «венский» — это не обязательно «из г. Вены». «Венский» может быть сделан по венскому рецепту, может быть чем-либо сходен с австрийца, может быть сделан у нас мастером, выдающим себя за австрийца, и т. п. То есть «венский» — это, попросту говоря, «имеющий отношение к Вене». Все эти «отношения с Веной» перечислять нет необходимости, поскольку их количество может быть бесконечным. Не говоря уж о том, что краски производились в сотнях стран мира, в тысячах европейских городов и во всех крупнейших городах России. Зачем же их перечислять? Замятина предлагает специалистам работу, в которой объясняет, что *русский* — это «сделанный в России, отечественный». Неужели автор полагает, что слово «русский» является специальным иконописным термином? Конечно, идя по этому пути, можно сделать словарь объемным, но это не будет словарь терминов иконописи.

Листая словарь, читатель постепенно перестает понимать, какие слова попали в словарь случайно, а какие — нет. Так, например, непонятно, какое отношение к иконописи имеет косметика: «*румянецъ*, м. 1. Косметические румяна из свинца»? И неужели простая столярная «доска» является иконописным термином: «*доска (дска)*, ж. 1. Доска столярная»? Как следствие подобного неупорядоченного подхода границы словаря расплываются, и он утрачивает свои лексикографические очертания.

Еще одно слабое место словаря — семантические дефиниции, толкования значений слов. В разделе «Принципы построения словаря» автор обещает давать «развернутое толкование с энциклопедическими (в том числе историко-культурологическими) комментариями». Но как это ни удивительно, никаких культурологических и энциклопедических справок в словаре нет. Более того, во многих случаях вообще отсутствуют определения значений слов. Вместо них стоят иллюстрации, цитаты из источников. Так, значения слова *кремешок* определяются цитатами из статьи П. Нерадовского «Борис и Глеб» («Русская икона». Сб. 1. СПб., 1914, стр. 71) и из сборника «Икона» (М., 1993, стр. 238). При словах *нарастание*, *перевод* (II) вместо определения даны цитаты из известной статьи Б. А. Успенского «О семиотике иконы» («Символ», 1987, № 18). Аналогично посредством цитаты и при отсутствии определения поданы слова *роскрышь* и *стенение*. Слово *всухую* сопровождается цитатой из книги Л. А. Дурново («Техника древнерусской живописи». Л., 1926, стр. 13), причем само слово в поясняющей цитате отсутствует, что также является грубым нарушением элементарных норм лексикографирования материала. Интересно, что никаких подтверждений специального терминологического иконописного происхождения этих слов в статьях нет, хотя контексты взяты вовсе не из древнерусских источников.

В других случаях, наоборот, определения значений есть, а иллюстрации отсутствуют, как и вообще какая-либо другая информация об источнике происхождения лексемы. Так подано в словаре слово *прорись* в первом его значении. В отдельных случаях отсутствует и определение, и цитата. Остается только голая ссылка на источник: «Санкирь в зелень, в красноту. Санкирь, названный по преобладающим тонам...»

Читатель начинает путешествие по кругу некорректных определений, в котором ошибки нагромождаются и делают текст неудобочитаемым. Так, слово *расписывать* определено через слово «раскрашивать» (вместо «наносить краски на поверхность иконной доски»), слово же *раскрасить* — через «наложить краски» (что значит «наложить»? куда «наложить?»), *росписать* — через «раскрасить», а *росписывать* — через «раскрашивать, рисовать». Остается загадкой, определяется ли здесь один термин через другой, причем отсутствующий в словаре («расписывать» через «раскрашивать»). Но ведь в словаре в качестве термина дано слово «раскрасить». Если же слово «раскрашивать» — это отсылка, то зачем добавлено слово «рисовать»? Непонятно, почему вопреки «принципам построения словаря» несомненные варианты одного слова разрабатываются в разных местах; почему варианты, являющиеся безусловно полными синонимами, имеют разные определения значений и почему один термин определяется через другой, да еще и отсутствующий в словаре? Как видно, автор не занимался построением метаязыка определения значений.

Кульминационным в словаре стало определение ключевого слова *икона*. Оно дефинируется через слово «образ». Но слово «образ» в русском языке имеет множество значений! Само же слово «образ» в другом месте словаря определяется через слово «икона». Так семантический круг замыкается, а смысл самого словаря окончательно утрачивается.

Попытки дать энциклопедическую справку, как правило, оказываются, мягко говоря, неудачными: «*кисть*, ж. Кисть из волоса разных животных, конической формы, разных размеров, в перо». Что значит «в перо»? Конечно, не «кисть... в перо», а «шерсть животного, вставленная в окончание полой трубочки птичьего пера». И вообще, слово «кисть» нельзя определять через слово «кисть». Не говоря уж о том, что для изготовления кистей используются «волосы» не «разных животных», а вполне конкретных, например, белки, колонка или куницы, что используется не простой «волос», а обезжиренный и т. д. Неужели это и есть «развернутое толкование с энциклопедической справкой и культурологическим комментарием»? Не лучше определение: «рисовать кистью краской!» В других случаях автор обходится одним-единственным словом: *фарба* — «1. Краска, 2. Цвет». Какой «цвет», какая «краска»? Это что, тоже «развернутое толкование» с «энциклопедической справкой» и «культурологическим комментарием»? Определение значения — важнейшая часть любого словаря, а не нечто второстепенное, без чего можно вообще обойтись.

Многие определения значений неверны и не соответствуют приведенным цитатам. Так значение слова *приплотить* определяется через «придвинуть», но иллюстрация говорит нам о несколько ином значении: «*А в столпцах и в кровлях кропления и д<ви>жки а уши к лицу не приплочены вохрою...*» Даже в определении слова *серебро* вкралась грубая ошибка. Конечно, имеется в виду не «драгоценный металл», а (как явствует из нижеследующей цитаты) краска, приготовленная с добавлением этого драгоценного металла: «Составъ, какъ серебро подъ золото подвести. Высеребря икону и какъ под олифу возьмъ шафрану и розмочивъ въ яиць в желтку розбитомъ, которой кладуть в краску. I какъ вымокнетъ, и утереть на камнѣ... И тѣмъ по серебру прикрыть кистью».

В лексикографии не принято определять значения слов через однокоренные синонимы, словообразовательные дериваты. Замятина определяет *погладить* через «разгладить», *покладывати* через «класть», *прикрыть* через «покрыть», *цветить* через «подцвечивать». В какой-то момент слова начинают определяться буквально через самих себя: *утонуть* — «утонуть в свежем... подпущте...», *циркуль* — «деревянный циркуль...», *краска* — это «состав для окрашивания, краска», *золото* — «драгоценный желтый металл, золото», *клей* — «клеящий состав, клей», *лазоревый* — «цвета лазори», *светлый* — «светлый по тону», а *ореховая краска* — «краска цветом под орех». Подобные тавтологические определения недопустимы даже в студенческой работе. Да и что за цвет такой — «под орех»? Существует до сорока видов семейства ореховых, и плоды их бывают оттенков всех цветов радуги. Такое определение ненаучно.

Обещая определять в словаре только названия красок, автор как бы забывает об этом и начинает определять названия цветов: *багровый* — «темно-красный», *голубой* — «светло-синий», *вишневый* — «цвета вишни». «Вишня» — это дерево, разные части которого имеют разный цвет; если же автор имеет в виду плоды данного дерева, то они тоже в разное время различаются по цвету — от светло-зеленого до черного. Видимо, автор имел в виду «цвет спелого плода вишни». Но даже и такое определение нельзя было бы признать корректным. Конечно, названия цветов тесно связаны с названиями красок. Но тогда нужно определять не современные названия цветов, а попытаться реконструировать древнерусские представления о том или ином цвете. Ведь представления о цвете менялись! Точные формулы, эксплицирующие старинные представления о том или ином цвете в их сопоставлении с современными понятиями цвета, могли бы заинтересовать не только искусствоведов, но и ученых многих других специальностей. В данных же автором определениях цветов нарушены даже элементарные правила описания семантики, что лишает этот интересный материал всякого смысла. В словаре *желтый* — «желтого цвета», а *зеленый* — «цвета зелени». К сожалению, «зелень» — слово многозначное.

Ситуация окончательно запутывается из-за присутствия в словаре слова *зелень*, обозначенного как «русское название краски берггринь». *Берггринь* же определяется как «краска... насыщенного зеленого цвета». Очевидно, что все эти словарные статьи разрушают оговоренные самим автором принципы подачи материала и отбора лексики для словаря и делают почти невозможным работу с ним как источником для научных разысканий.

С трудом верится в то, что общеупотребительные предлоги являются специальными терминами: *противъ* в значениях «столько же», «по» и *противу* в значениях «такое же количество» и «на». Почему значения одного и того же предлога определяются по-разному и варианты разрабатываются в разных местах как самостоятельные лексемы? Одинаковые значения должны определяться в словарях одинаково. Кстати, в предисловии оговорено, что «варианты термина» включаются внутрь словарной статьи. В самом же словаре этот принцип нарушается сплошь и рядом: *ручникъ* — «камень по размеру руки; им на плите растирали краски», *рушник* — «камень, которым трут краски на плите (или другом камне)». Слова *червецъ*, *чревецъ* и *чръвецъ* разрабатываются в одной статье, а слова *червень*, *чрвень* и *чръвльнь* — в другой. Между тем слова *червецъ* и *червень* отличаются только на один звук, а некоторые слова, разрабатываемые в словаре в одном гнезде, — на два, три, четыре и более звуков. Что понимает автор под вариантом, остается загадкой. Ввиду отсутствия такого определения совершенно непонятно, в какой мере, например, оправдано рассмотрение слов *опермент* и *аврипигмент* как вариантов одного слова. Ведь второе слово отличается от первого на шесть букв (на пять звуков). Совпадает только начальное слабо редуцированное [А] и последние четыре звука.

Хочется также спросить, почему для обозначения варианта используются самые разные пометы («см.», «ср.» и другие), но только не традиционная и логичная помета «вар.»? К сожалению, не только понятие «варианта» не оговорено в словаре: не оговорено ни одно фундаментальное лексикографическое понятие. Представление о том, что одинаковые (синонимичные) значения должны быть определены совершенно одинаковым образом, не нуждается в доказательстве. Почему же *разбелить* определяется как «сделать светлее по тону путем добавления белил», а *разбелять* — как «смешивать с белилами для придания более светлого тона»? Боюсь, что на эти вопросы ответа нет. Заметим еще раз в скобках, что унификация синонимичных значений — лексикографическая необходимость.

Думается, что многие недостатки этой работы — следствие отсутствия принципов построения словаря. Некоторые оговоренные во введении положения вызывают изумление. Почему «глаголы не имеют общей грамматической характеристики»? Чем же глаголы хуже других частей речи? Глагол нуждается как минимум в указании на спряжение путем подачи окончаний личных форм хотя бы в тех случаях, когда такая реконструкция возможна. Но, конечно, автор волен в выборе принципов структурирования собственного текста. Главное, чтобы сам словарь соответствовал своим собственным принципам. Но, к сожалению, в целом он им не соответствует.

Очень неуверенно проведены границы между значениями слов. Как следствие понятие оттенка значения попросту не используется. Иногда в одном определении значения объединяется несколько разных: «*родко* нареч. Редко; жидко; светло». Также в одном фразеологизме может объединяться два разных значения: «сандал синий, черный». И тут же *сандал красный* дан как отдельная идиома. Оба определения значения слова *сурик* идентичны: «1. Искусственная красная с желтоватым оттенком краска...» и «2. Составная краска похожего цвета». Подобные формулы должны как минимум рассматриваться в качестве оттенков одного значения, а для этого их определения должны быть уточнены. Что же делает в разделе фразеологии идущий вслед за этим *сурик кашинский* — «сурик, приготовленный в г. Кашине», — неизвестно. Если так рассуждать, то раздел фразеологии к каждому названию красок можно расширить, включив туда упоминания всех городов России. Точно так же два значения слова *умбра* отличаются друг от друга только тем, что в первом значении речь идет о привозной краске, а во втором — о краске отечественного изготовления. Вряд ли можно рассматривать их как два разных значения. Квазифразеологизм *умбра аглинская* — «привозная умбра» еще более запуты-

вает дело. Как видим, автор не отделял фразеологию от устойчивых сочетаний. В самом деле, зачем выносить в раздел фразеологии сочетания слов, сохраняющих свои прямые значения: *зеленая краска* — «общее название красок зеленого цвета независимо от их составов и оттенков»; *синяя краска* — «общее название красок синего цвета». Неужели автор всерьез полагает, что это перед ним фразеология: «краска белая, голубая, желтая, зеленая, красная, синяя, черная»? Точно так же практически не отличаются определения семантики лексемы *сажа* и помещенных тут же в раздел фразеологии словосочетаний *сажа жженная* и *сажа копченая*: «черный пигмент и краска из него», «краска черного цвета, специальным образом приготовленная сажа» и «специальным образом приготовленная сажа». Очевидно, что данные сочетания слов фразеологизмами не являются.

Терминология, используемая автором, не всегда корректна. Не оговорено, что такое «семантически близкие... слова», что такое «правила распространения слов» в словарях, что такое «испорченное слово» (см. помету «испорч.» в списке сокращений): «*сливотяръ*, м. Испорч. от сливотерь». По необъяснимой логике слова «сливотерь» и «сливотерь» рассматриваются здесь же как «неиспорченные» варианты того же слова.

Ввиду наличия в России огромного количества заимствованных и иностранных «терминов иконописи», множества заморских иконописцев, совершенно очевидно, что автор должен был оговорить, что он понимает под «русским» термином. Отсутствие подобных элементарных концептуальных основ работы сильно снижает ее научную значимость. В самом деле, в иллюстрациях неоднократно указывается на иноязычность терминов: «такими составы имянуются по латынѣ и по нѣмецки аврипигментумъ, по польски лецданка, а по руски желтая краска каменка»; «по руски желть, а по нѣмецки аврипигментъ...»; «Празелени нѣмецкіе бегрину б пудъ». Некорректно без всяких оговорок и комментариев вводить в словарь русских терминов слова *аврипигментумъ*, *лецданка*. Необходимо доказывать факт заимствования каждого иноязычного слова.

Что же касается источников словаря, то ни Дмитрий Ровинский, ни Федор Буслаев, ни Николай Костомаров, ни Павел Флоренский, ни Борис Успенский, ни Олег Трубачев не являются иконописцами. При использовании их трудов в качестве источников необходимо специально оговаривать принципы цитирования. В самом деле, когда П. Флоренский называет иконописца, делающего позолоту, «позолотчиком», то это еще не доказывает, что такой термин реально использовался и иконописцами прошлых столетий. Подобные вещи нуждаются в аргументации.

Круг источников, используемых автором, несколько беден, ряд общеизвестных источников вообще не задействован. Так, не использованы материалы древневогдорских грамот. В грамоте № 500 упоминается «икона с гайтаном», иконописи посвящена целиком грамота № 549. Термин «гайтан» отсутствует в данном словаре. Можно добавить, что поиск указанных источников не составляет ни малейшего труда, поскольку А. А. Зализняком составлен «Словоуказатель» к текстам новгородских грамот (Зализняк А. А. Древний новгородский диалект. М., 1995). Чтобы найти там слово «икона», нужно только его открыть. Ссылки на соответствующие грамоты привели бы лексикографа к скудным, но необычайно ценным источникам XII века. Жаль, что среди источников нет «Иконописного словаря», вышедшего в Москве в 1996 году. Десятки терминов иконописи (в том смысле, который вкладывает в это понятие Замятина), имеющих в словаре 1996 года, отсутствуют в рассматриваемой работе, опубликованной в 1997 году: *алавстр*, *альсекко*, *алюминий*, *асекко*, *голубь*, *грунт*, *грунтовщик* и мн. др. Нет ни малейшего сомнения в том, что, например, *врезок* («икона, у которой на новую доску смонтирована часть более древнего произведения живописи, искусно окруженная новым левкасом и живописью») или *велум* («ткань, переброшенная с одного архитектурного здания на другое или с одной колонны на другую... в иконографии условно обозначающая внутреннее помещение, в котором происходит изображаемое событие») являются терминами иконописи. Большинство из этих терминов дожили до наших дней и известны любому искусствоведу.

Вряд ли можно утверждать однозначно, что автору удалось «возродить древнюю терминологическую систему русских иконописцев». Материал был собран неграциозно, и никакого «исследования терминов русской иконописи» Замятина не

произвела. «Термины» опубликованы, но они остались непонятными, необъясненными. Также сомнительно, что автору удалось «способствовать возрождению традиций русского иконописания». Как минимум словарь нуждается в серьезной доработке. Нельзя считать этот словарь «первым опытом строго научного лексикографического описания специальной лексики», поскольку ранее вышло множество словарей такого рода. Опыт Замятиной далеко не первый и, мягко говоря, не вполне научный и не соответствующий современным нормам лексикографирования материала. Для дальнейших лексикографических штудий автору необходимо ознакомиться с основами лексикографии, лексической семантики и в первую очередь с работами Ю. Д. Апресяна.

### Свободу лексикографии!

Как видим, неудержимый поток словарей, представляющих слова, относящиеся к «истории» языка, декларируется авторами исключительно как предназначенный просвещенным читателям, а на самом деле оказывается по большей части обычной конъюнктурной продукцией. К сожалению, в целом можно констатировать, что вся эта область словесного творчества, именуемая «историческими» словарями, больше не относится ни к лексикографии, ни вообще к тому, что принято называть «научной сферой деятельности». Это и не удивительно. Изумляет другое: почти все авторы этих изданий — профессиональные ученые. Но нам не хотелось бы говорить о гибели русской лексикографии. Напротив, мы воспринимаем этот процесс как некую демократизацию науки, избавление от замкнутых научных эзотерических пространств. Это — процесс становления новой лексикографии. Старая наука была наукой власти, она ее воспроизводила, от нее зависела и ее питала. Это во многом была мафиозная, закрытая, репрессивная и крайне консервативная область деятельности. Вместо генсеков в ней царили завывающие кафедрами, ректоры, деканы, руководители научных секторов и лабораторий. Но империя ушла, и как следствие возникло ложное ощущение гибели науки. Но исчезла только имперскость письма. И дурные словари лишь печальные издержки этого неоднозначного процесса.

Сейчас создаются новые научные языки, новые топики. Нынешние маргинальные практики — это и есть «большая наука», маскирующаяся в ретуши новых жанров. Но эта «наука» неизбежно растет из той, старой. Взгляд назад онтологически присущ научной практике. В то же время мы должны понимать, что эти наши конструкции не имеют никакой объяснительной силы. И мы не должны на это претендовать. Поэтому мы избегаем каких-либо «утверждений», а только безуспешно пытаемся отместить ряд устаревших, репрессивных практик, которые пытаются протиснуться в новую эпоху. Мы понимаем эпистемологическую абсурдность деления словарей на «плохие» и «хорошие». Очевидно, что «плохие» — это просто не вписывающиеся в существующие традиции, относящиеся к иной, «чужой» области культуры. Хорошие — это всего лишь понятные, популярные, «свои». Нет онтологических границ между научными практиками и словесностью, это все пустые слова из области наших описаний культуры, а эти описания ни на что не влияют, они живут себе в мире описаний. Хотя эти границы где-то в сфере гносеологически-прагматической постоянно воссоздаются самими филологами. Но чем больше филолог отграничивает свою область знаний от литературы, тем, как правило, хуже он пишет. Нам представляется, что из русских лексикографов максимальной «свободы лексикографического письма» добился Ю. Д. Апресян в своем «Новом объяснительном словаре синонимов русского языка». Именно в этом плане новаторство его работы невозможно переоценить. И, как это ни покажется парадоксальным, «хороший» словарь Апресяна и «плохой» словарь, скажем, Елистратова — относятся к новым, «свободным» лексикографическим практикам.

А. ПЛУЦЕР-САРНО.

## КНИЖНАЯ ПОЛКА АЛЕКСАНДРА НОСОВА

+6

**З. И. Перегудова. Политический сыск России (1880 — 1917 гг.).** М., «Российская политическая энциклопедия» («РОССПЭН»), 2000, 432 стр.

Всякий уважающий себя историк русской культуры конца XIX — начала XX века хоть раз да столкнулся с необходимостью обратиться к фонду 102 Департамента полиции в ГА РФ (ранее именовавшемся ЦГАОР). Ибо какая же это *русская* культура без Департамента *полиции*? Это уже совсем выйдет другая культура.

Ошарашенный бесчисленными описями многочисленных отделов и делопроизводств и не имея ни малейшего представления о том, что же делать дальше, исследователь слышал мудрый совет бывалых: «Ну, это надо спросить у Перегудовой! Но если и она не знает, то...»

Многолетний сотрудник названного архива, одна из немногих представителей старой, по-настоящему научной и ответственной историко-архивной школы, Зинаида Ивановна знает про Департамент полиции решительно *все* (и еще многое не только про это). Думаю, что каждый исследователь, получавший бесценные сведения о своих героях из знаменитой картотеки, выписки из архива перлюстраций и прочих описей и единиц, возрадуется душой при виде этой долгожданной книги, заключающей в себе столь бесценный жизненный опыт. И не будет обманут в своих ожиданиях.

Книга, написанная в лучших традициях отечественной историографии, строгим (но не сухим) научным языком, выстроенная в традиционной композиции (раздел, глава, параграф), без столь присущих нынешнему времени «переворачивающих привычные представления» концепций или «нетрадиционных» подходов, — книга захватит читателя (конечно, успешшего получить некоторую привычку к такому жанру) не меньше, нежели «фандоринские» романы, и уж куда как больше, нежели героизма надворного советника Путиловского из телесериала «Империя под ударом». Начальники и их подчиненные, жандармы и филеры, двойные агенты и провокаторы, обыски и аресты, внутренние интриги, бесконечные реорганизации — и все это на основе огромного массива документов: внутренней переписки, агентурных донесений, воспоминаний, дневников, исследовательской литературы.

Отдельный параграф посвящен опровержению имеющей хождение версии, согласно которой Сталин был секретным сотрудником охраны. Здесь эрудиция и исследовательская логика автора предстают во всем своем блеске. Версия в пользу того, что был, основанная на двух документах (которые воспроизводятся в книге факсимильно), разрушается в прах несколькими точными ударами: первый документ подвергается Перегудовой убедительной интерпретации, подложность второго доказывается еще более убедительно и элегантно<sup>1</sup>.

**В. И. Гурко. Черты и силуэты прошлого. Правительство и общественность в царствование Николая II в изображении современника. Вступительная статья Н. П. Соколова и А. Д. Степанского, публикация и комментарии Н. П. Соколова.** М., «Новое литературное обозрение», 2000, 810 стр. («Россия в мемуарах»).

Количество мемуаров, живописующих последние десятилетия истории Российской империи, с трудом поддается исчислению: в этом жанре отметилось

<sup>1</sup> Не могу удержаться в рамках жанра «Полки»: так, исследовательница полагает, что недостаточное качество подделки свидетельствует, что ее автор, некто В. Н. Руссиянов, некогда служивший в жандармском управлении, слишком «понадеялся на себя, на свою память», тогда как дилетант «позаботился бы составить документ более качественно». Да уж полноте, Зинаида Ивановна! Кто ж в хрущевские пятидесятые, когда эту бумагу валяли в понятном месте, мог подумать, что через полстолетия, во-первых, сыщется такой специалист, а во-вторых, что он что-то на этот счет напечатает без их же позволения!

большинство сколько-нибудь заметных политических и «общественных» деятелей той эпохи: Витте и Милюков, Коковцов и Маклаков, Щавельский и Петрункевич... И казалось бы, что можно к ним добавить? Но всякий раз, когда из архивных глубин или книжных завалов всплывают новые тексты, набрасываешься на них с жадным интересом: так ведь хочется умом Россию понимать!

Воспоминания В. И. Гурко представляют довольно редкий (можно даже с некоторым преувеличением сказать, что — уникальный) взгляд на те последние полтора десятилетия российской истории, когда глухое недовольство власти и общества друг другом, накопившееся за годы внешне вполне благополучного, но лишённого какого бы то ни было политического и социального движения предпоследнего царствования прорвалось на поверхность политической жизни, перешло сначала в острый конфликт и очень скоро — в изнурительную борьбу до полного повержения противника.

Свое место в этой оказавшейся смертельной для обеих сторон войне мемуарист обозначил эпиграфом из известного стихотворения А. К. Толстого: «Двух станю не боец, а только гость случайный...» И это не кокетливая поза «творческого интеллигента», вечно находящегося «над схваткой», но продуманная идейная позиция: В. И. Гурко, занимавший *высшие* позиции *средней* российской бюрократии (пик карьеры — товарищ министра внутренних дел, то есть без личного доклада Государю), исполнявший порученческие от начальства обязанности, считал губительными для страны те крайние позиции, которые заняли по отношению друг к другу борющиеся стороны. Такое нехарактерное для России социальное «позиционирование» предоставило ему возможность удивительно спокойного, взвешенного и трезвого взгляда на переживаемые события, можно даже сказать, «объективного» их анализа, что, в частности, проявилось в принципиальной установке писать не о себе в истории, а собственно об истории: употребления наиболее любимого мемуаристами местоимения он сознательно избегает.

Авторы вступительной статьи именуют Гурко «государственником», что верно, но, в силу современных коннотаций этого понятия, не до конца проясняет смысл дела. Гурко был государственником в том смысле, что полагал, что существование Государства как институции совершенно необходимо, и именно оно должно обеспечивать возможность общественности. И при этом он не отдавал предпочтения какой-либо конкретной форме этой государственности, не был ни идейным монархистом, ни идейным конституционалистом. На мой взгляд, политическую позицию Гурко можно определить как «государственник-эволюционист»: он критиковал власть за консерватизм в ее нежелании идти навстречу разумным требованиям общественности и критиковал общественность за непонимание необходимости сохранения Российского государства — как единственного гаранта возможности осуществления этих требований. Он поддерживал жесткие действия своего начальника П. Н. Дурново по подавлению московского мятежа 1905 года и в то же время разделял требования общественности по таким вопросам, как создание всесословной волости, мелкой земельной единицы и в конечном итоге — введения народного представительства в законосовещательных (а в перспективе — и в законодательных) органах власти.

И не только идейно разделял. Наиболее интересная часть воспоминаний относится к работе мемуариста в земском комитете Министерства внутренних дел, где он в самом начале XX века занимался практической разработкой земельной реформы, той самой, которая вошла в историю России как «реформа Столыпина» и с которой было связано столько надежд на мирный выход России из перманентного кризиса. Гурко выступал против немедленного введения в России Конституции и Парламента, поскольку считал, что такая форма государственного устройства может работать лишь тогда, когда Россия полностью перейдет от общинного землепользования к крестьянскому землевладению на правах частной собственности. «Сторонники конституционного образа правления должны бы наконец понять, — писал он в 1909 году, — что самая Конституция может быть осуществлена только при наличии многочисленного зажиточного, вполне независимого класса населения». Учитывая, что общинное землепользование считалось «священной коровой»

как правыми, так и левыми, легко понять, насколько его концепция не могла устроить ни власть, ни большую часть общественности.

Позволю себе пространную цитату: «Система помощи слабым и опека их от сильных извращает деятельность сильных; слабых же лишь ослабляет, так как не воспитывает в них умения противостоять сильным. Прогресс человечества является результатом деятельности сильных, а улучшение социальных условий зависит прежде всего от той органической силы, которой обладает народная масса. Предоставленные самим себе слабые элементы, быть может, действительно погибают, но для человеческого прогресса, равно как и для внутренней прочности народа и созданного им государства, эта гибель не имеет значения, а в известной степени даже полезна. Необходимо предоставить простор свободной игре, свободному состязанию экономических сил и способностей народа, так как при нем происходит тот естественный подбор, при котором преимущественно вырабатываются и крепнут сильные народные элементы. Противоположный способ действия ведет к обратным результатам».

И кто говорит, что неолиберальные экономические концепции возникли в России на деньги МВФ? Перед такими пассажирами — Гайдар с Чубайсом отдыхают.

Удивительно точно описан Гурко механизм принятия решений в России: «Вопрос был поднят... но дальше опроса не пошел... Двинуть формально удалось лет десять спустя... радикальных изменений в строе произвести не предполагалось... подготовка сводилась преимущественно к переписке с Министерством финансов об отпуске потребных для сего сумм... Министерство финансов находило эту сумму чрезмерной...» Вот так и живем!

Комментарий вполне соответствует общему высокому уровню комментирования, принятому в изданиях серии. Отмечу имеющиеся неточности, поскольку нельзя ж без этого.

Некоторые ошибки памяти мемуариста остались без комментаторских правок. Так, Александр III не «унаследовал» гр. П. И. Игнатъева в качестве министра внутренних дел от предыдущего царствования — это не могло быть никогда, и комментатор, несомненно, об этом знает и без заглядывания в энциклопедию. Неточности в комментарии: журнал «Московский еженедельник», прекративший свое существование в 1911 году, не мог быть, конечно, органом Партии прогрессистов, а был органом Партии мирного обновления. И замечание редактору: комментировать упомянутые в тексте реалии желательно бы по их первому (на худой конец — второму), но не по десятому упоминанию (особо относится к органам печати).

**Я. В. Г л и н к а. Одиннадцать лет в Государственной думе. 1906 — 1917. Дневник и воспоминания. Вступительная статья, подготовка текста, биографический словарь и комментарии Б. М. Витенберга. М., «Новое литературное обозрение», 2000, 416 стр. («Россия в мемуарах»).**

Ни Глинка, ни Гурко в своих мемуарах ни разу не упоминают друг друга, однако они наверняка были знакомы, так как оба начинали свою карьеру в одном и том же 1895 году в Государственной канцелярии, откуда судьба развела их в постоянно враждующие, в силу прямо противоположного понимания стоящих перед ними политических задач, учреждения, каковыми являлись Государственная дума и Министерство внутренних дел. Однако, несмотря как на политическую, так и географическую разноместность этих учреждений, пейзаж, увиденный Глинкой из Таврического дворца, оказался весьма схож с тем, который открывался взору Гурко из окон здания на набережной Фонтанки.

Возможно, это объясняется тем обстоятельством, что оба мемуариста не вышли в «первые ряды» российской политики: подобно тому, как Гурко не стал политиком «первого ряда», Глинка не был «общественным деятелем», а служил в Думе чиновником; начав с должности помощника пристава, вскоре занял пост начальника ключевого Отдела общего собрания и общих дел. Понятно, что находящийся постоянно в тени делопроизводитель оказывается гораздо более осведомленным в политической кухне, нежели действующий публичный политик. Это



«думское закулисье» (малопривлекательное, как всякое другое) и представлено на страницах впервые публикуемого дневника.

Читать поспешно сделанные дневниковые заметки, несомненно, гораздо сложнее и куда менее увлекательно, нежели литературно обработанную мемуарную прозу; однако их историческая ценность может оказаться гораздо большей, поскольку их автор не успевает разобраться, какие события считать исторически важными, а какие нет. Ввести эти разнородные события в историческую перспективу призван пространный, едва ли не превышающий объем авторского текста комментарий, который мне показался даже несколько избыточным. Подробные исторические справки об истории госучреждений России (например, история создания Государственного совета), пространное цитирование опубликованных документов (полный текст «Выборгского воззвания», обширные фрагменты стенографических отчетов думских заседаний), слишком частые библиографические отсылки к хотя и вполне достойным, но хорошо известным и к тому же неоднократно упоминаемым современным исследовательским работам, на мой взгляд, мало что дадут исторически невежественному читателю, но затрудняют чтение комментария, представляющего самостоятельное научное исследование и включающего массу интереснейшего архивного материала, читателем, действительно заинтересованным проблемой.

Трепетное отношение к публикуемому тексту вызывает всяческое уважение, однако в крайности впадать все же не стоило: какую, собственно, информацию несут такие текстологические комментарии, как «слово „еще“ вписано чернилами над строкой» или «слова „уже тогда“ вписаны карандашом над строкой»? Ну вписаны и вписаны...

**С. А. Щербатов. Художник в упешней России. Составление, подготовка текста, комментарии Т. А. Дудиной, Н. В. Рейн. Послесловие Т. А. Дудиной. М., «Согласие», 2000, 688 стр.**

Гуляя в окрестностях Таврического сада и глядя на дом со знаменитой ивановской «башней», невольно задумаешься о существовании двух миров русской культуры: в одном мире — античные мистерии, пеплос и диадема, девидантная сексуальность; в другом, располагающемся совсем рядом, — прения правых-левых, государственная роспись, процент туда, процент сюда, статьи Основных законов Российской империи и прочая антиэстетическая скука. В то время, когда насельники и гости «башни» поутру слушали на крыше дома соловьиные трели в Таврическом саду, депутаты Государственной съезжались на очередное заседание (не обязательно, что именно в то же самое время; это как у Розанова: не в ту ли ночь, когда Пушкин играл до утра в карты, Лермонтов написал «Выхожу один я на дорогу...»).

Эти впечатления от прогулки по загадочной Северной Пальмиере невольно вспомнились по прочтении (по долгу составителя «Полки») немедленно вслед за вышеозначенными мемуарными книгами воспоминаний князя Щербатова. Автор принадлежал к тому немногочисленному культурному типу начала прошлого (!) века, когда титулованные особы, дотоле поступавшие на службу если не в гвардейский полк, то в Министерство юстиции, начали заниматься странными делами: кто писал диссертации про Логос, кто — про папу Григория VII; но и на их фоне князь Щербатов с кистью в руках смотрится весьма экстравагантно.

В прекрасно изданной (хотя и не в очень удачном формате), щедро откомментированной книге можно найти массу интересных подробностей культурного быта художников, коллекционеров живописи и меценатов (фамилии все, в общем, на слуху); подробности выставок и художественных «проектов» эпохи; рассказ о постройке некогда знаменитого в Москве дома на Новинском бульваре, в котором верхние этажи представляли как бы дворянскую усадьбу, а нижние — доходные квартиры... Однако та история страны, в которой жили В. И. Гурко, Я. В. Глинка и герои их мемуаров, как будто протекала не рядом с «башней», в «Таврическом саду», но на какой-то другой планете даже не Солнечной системы.

И чего же можно было ждать от истории, когда большая часть «сознательного элемента» вела с властью бескомпромиссную войну, а другая, наиболее «культурная» знать ничего не желала ни о власти, ни об «обществе». Естественно, что из всего этого вышло то, что вышло.

**Дневник гимназиста Федора Рау. Симферополь, 1920—1921. (К 90-летию со дня рождения Ф. Ф. Рау). М., «Загрой», 2000, 58 стр.**

Три месяца жизни в Симферополе при большевиках глазами десятилетнего мальчика, ученика первого класса местной гимназии, впоследствии ставшего, как его отец, Ф. А. Рау, известным сурдопедагогом. «Семейное» издание, тираж 300 экз.

«15 ноября 1920 года: Вот сейчас пришел из очереди папочка и без хлеба, потому что в булочной не хватило хлеба, и мы будем сегодня и завтра опять без хлеба. Ох, как это будет ужасно, хлеб — это самая необходимая съедобная штука, хочется мне кушать...» «16 ноября: Сейчас я ужасно наелся, потому что съел пять кусков селедки, потом кусок хлеба и полторы лепешки». «19 ноября: Сегодня папа и Юра встали в три часа в очередь за хлебом и ничего не получили, потому что красноармейцы реквизируют хлеб». «26 ноября: Вчера Юра незаконным образом достал две электрические лампочки, и, по-моему, это нехорошо. Таким же образом он достал нам повидло. Хотя это и вкусно, но все-таки это ворованное... Ох, какой у нас ужасный дым, прямо так и ест глаза, но надо всегда и все терпеть. Сейчас мамочка мне говорит, что если мы все это перетерпим, то будем героями... Мне теперь все больше и больше нравятся большевики, как мы сегодня сытно поели, это благодаря большевикам, это они устроили такую столовую, это они нас кормили! Да здравствует Интернационал! Да здравствуют большевики!» «25 декабря: С каким бы удовольствием я вымылся, а то я прямо стух, я не снимаю две или три недели штанов и рубашки. Одно время у меня даже были вши. Я один день нашел 32 вши, а другой день 27 вшей. Ничего себе количество!»

**И. Ф. Стравинский. Переписка с русскими корреспондентами. Материалы к биографии. Том 2. 1913—1922. Составление, текстологическая редакция и комментарий В. П. Варунца. М., «Издательский дом „Композитор”», 2000, 800 стр.**

Хотя я и вынужден признаться в своей малой (то есть совсем никакой) осведомленности в истории русской музыкальной культуры, все же считаю необходимым «поставить» этот том на свою «Полку» и тем самым обратить на него внимание более разносторонне образованного читателя и расширить привычную картину культурной жизни России пред- и послереволюционных годов. Интересная и насыщенная, выходит, была жизнь: революционеров ловили, земельный вопрос решали, в Думе заседали, картины писали. Еще и музыку сочиняли, спектакли ставили!

Материалы второго тома обширной и подробной летописи жизни и творчества композитора представляют собой около 600 документов (общая нумерация 379 — 1068). Наряду с двусторонней перепиской Стравинского (в числе корреспондентов: С. П. Дягилев, В. Ф. Нижинский, Л. С. Бакст, А. Н. Бенуа, Н. Я. Мясковский и другие) публикуются фрагменты писем третьих лиц, отрывки из дневников и много других разных материалов, собранных по архивам всей Европы. Все это сопровождается подробнейшим комментарием составителя.

Фрагмент из письма И. Ф. Стравинского Л. С. Баксту от 18 (31) октября 1917 года: «Что касается денежных условий, то кроме аванса 5 швейцарских тысяч, о которых я писал тебе в телеграмме, я желаю получить следующее: вторые 5 швейцарских тысяч 1-го декабря, третьи 5 швейцарских тысяч 20-го декабря, четвертые 5 швейцарских тысяч 1-го февраля и последние 5 швейцарских тысяч при сдаче всей работы (оркестровой партитуры)». Он же Баксту 20 ноября (3 декабря) того же 1917 года: «Пожалуйста, сообщи Рубинштейн, что я жду ее ответа уже месяц. Надо ли писать музыку к спектаклю? Требую немедленного ответа».

#### -4

**Ф. Гримберг. Две династии. Вольные исторические беседы. М., «Когелет», 2000, 560 стр.**

Заманчиво написать книжку по русской истории так, чтобы это было и нескучно, и ответственно; совершенно необходимо «изложить нашу историю с точки

зрения ее последовательной и радикальной демифологизации»; соблазнительно, после телеопытов Ю. М. Лотмана и А. М. Панченко, использовать при этом жанр «вольной беседы»...

Однако хорошо известно, как трудно поддается устная речь письменному воспроизведению (ср. Лотмана на экране и его книгу «Беседы о русской культуре») — чаще всего получается плохо; еще хуже, когда изначально письменный текст стилизуется под устную речь: от наличия «словечек», многоточий, риторических вопросов и якобы удивленных восклицаний занимательнее ничуть не становится, а вроде как спонтанно возникшие ассоциативные уходы от темы в полемику ли (с Фоменко-Гумилевым, истматом или неведомым публицистом), в исторические или культурные параллели (с мировой историей или нашим временем) только мешают следить за и без того причудливым движением авторской мысли.

Большая часть книги посвящена первой династии, то есть Рюриковичам, истории которой весьма напоминает историю мидян. «Демифологизировать» ее сколько-нибудь убедительно — вряд ли возможно: новых документов давно уже не появляется (и вряд ли когда появятся), все точки зрения сформулированы и аргументы в пользу каждой — известны. Остается прибегать к новым этимологиям, ссылаться на археологические находки и т. д., но такие аргументы могут быть адекватно восприняты в научных дискуссиях, а не в «вольных беседах». Так, доводы, приводимые автором в пользу того, что «Слово о полку Игореве» имеет позднейшее происхождение, — вполне убедительны, но ведь и доводы приверженцев противоположной концепции убедительны не менее. Не только «широкий» читатель, но и любой гуманитарий, не являющийся филологом-древником, вникать в суть проблемы едва ли способен...

Вообще пора смириться с тем, что некоторые события истории, оставаясь предметом научного интереса, вряд ли найдут сколько-нибудь удовлетворительное разрешение: был Рюрик норманном или «чисто русским», как в действительности строились отношения между Ордой и Русью, убили царевича Димитрия или сам зарезался, умер ли Александр I в Таганроге и т. д. Все это будет всегда определяться в конечном итоге верой, и, следовательно, оставаться элементом национального мифа — до тех пор, пока не будет создан другой, не менее соблазнительный миф.

А вот гипотезы, даже внешне весьма правдоподобные, относящиеся к событиям ближайшей к нам истории, высказывать без опоры на конкретные документы ученому-исследователю не следовало бы даже в жанре «вольных бесед». Тем более что некоторые косвенные свидетельства того, что убийство Александра II совершилось при сознательном попустительстве со стороны определенной части близких к Императору кругов, отыскать не столь уж сложно — в отличие от мифических («необнародованных»), по словам автора; аргумент для историка более чем двусмысленный) воспоминаний М. Т. Лорис-Меликова. Вот бы порыться в архивах, привести некоторые документы — так ведь нет: скорее дальше, к концу династии. И как все оказывается просто в истории последнего царствования: вот отрывок из письма Императрицы, вот — из дневника Ламздорфа... В общем, никудышный правитель был Николай II.

Последний из романов.

**К. С. Гаджиев. Введение в геополитику. Учебник для вузов. М., «Логос», 2000, 432 стр.**

Похоже, что в Министерстве образования Российской Федерации, рекомендовавшем это сочинение «в качестве учебника для студентов высших учебных заведений», сидят люди, поставившие своей целью подвергать учащуюся молодежь перманентному изошренному мучительству. Представьте себе, что некое юное создание тянет на зачете билет с таким вот «контрольным вопросом»: «Какие вы можете назвать парадигмы?», или: «Что такое международная система?», или: «Что такое национальный интерес?» Или попробуйте назвать «основные составляющие азиатские идеи» (так!).

Что, не выходит?

«Три источника и три составные части» запомнить было, во всяком случае, проще.

**А. Л. Ястребов. Праздник безумства. Дионис и Мельпомена. М., «Аграф», 2000, 544 стр. («Литературный атлас страстей»)<sup>2</sup>.**

«Пьянство создает иллюзию освобождения от гипнотического воздействия социальных институтов, придает бесконечным проблемам ощущение относительности. „Пьяное“ сознание совершает над реальностью провокационную шутку, оно истолковывает мир как набор свободных друг от друга понятий, разряженных по смысловой плотности, утверждает, что исключительно импровизационное мышление способно возратить каждому элементу ощущение значимости. Из документа действительности вещь, слово, поступок, подвергнутое испытанию алкоголем, превращаются в единицу измерения реальности, обретают качество интегрального знака, способного быть и центром мыслительной композиции, и любым фактом ее периферии.

Создается ситуация, когда частность, самая банальная и микроскопическая по значимости, начинает претендовать на статус общей формулы жизнепонимания; раздражители уходят в контекст, и их внешнее отсутствие ставит под сомнение все то, что угнетало сознание трезвого человека. Создаются новые правила коммуникации героя с миром. Законы существования превращаются в набор ничтожных условностей, страхи отступают, оставляя человека наедине с его личным эмоциональным опытом и бессознательно забываемым источником раздражения».

Проверил, похоже. Зато поутру...

**К. В. Фараджев. Владимир Соловьев: мифология образа. М., «Аграф», 2000, 160 стр.**

Из редакционной (авторской?) аннотации: «В книге, посвященной великому русскому философу и поэту Владимиру Соловьеву и изданной к 100-летию со дня его смерти, исследуется проблема возникновения мифологических черт у личности, которая на протяжении долгого времени существует в истории культуры и стимулирует новые творческие искания. В этой связи особое внимание в книге уделяется противоречивости душевной жизни философа, воплощаемой в целостность интимно-лирических концепций и поэтических опытов».

Никакие мифологические черты у личности в книжке не исследуются, автор снабжает достаточно вольными и выдержанными в вышеприведенном стиле толкованиями цитаты из нескольких изданных в последние годы сборников соловьевских работ (к выходу которых приложили усилия как автор «Полки», так и его коллеги). Из всего этого следует, что Владимир Сергеевич был человек со странностями, переживал невроз от полового бессилия и одновременно боялся заразиться венерическими заболеваниями. Философ он был весьма путаный, воззрения его имели «оттенок утопичности», который, впрочем, порой соседствовал с глубоко пронизательными суждениями.

Что ж, и на том спасибо.

---

## КИНООБОЗРЕНИЕ ДМИТРИЯ БЫКОВА

### ЗНАНИЕ, ИЛИ ТЯЖЕСТЬ И НЕЖНОСТЬ

**В** октябре 2000 года умер Петр Луцик. Ничего более важного, знакового и страшного в российском кино последних двух лет не случилось. Бывают отсутствия, которые больше, значимее иных присутствий; бездны, которые красноречи-

---

<sup>2</sup> Продолжение. Начало см. в «Книжной полке»: Ястребов А. Богатство и бедность: поэзия и проза денег. — «Новый мир», 2000, № 9, стр. 237.

вее вершин. Ни один киношедевр, появившись он в последнем году двадцатого века в России, не мог бы заслонить этой смерти, — и то, что и не появилось никакого шедевра, только подчеркивает значимость и знаковость происшедшего, окружает его скорбной тишиной. Пятилетнее молчание Луцика, прерванное «Окраиной» (1998), было оглушительно — по крайней мере для любого, кто умел слушать. Уход его поставил диагноз не только родному кинематографу, но и эпохе, из которой Петр Луцик и Алексей Саморядов выламывались самым решительным образом.

Когда-нибудь история их жизней станет материалом для блестящего сценария — который, впрочем, они и так фактически написали, многое предсказав в «Дюбе-дюбе». Какое мощное социальное кино можно было бы поставить об этой фантастической паре — по точному определению Андрея Шемякина, о единственных постсоветских сценаристах, сумевших создать своего героя, свой мир! В самом деле, мы можем говорить о кинематографе Дунского и Фрида, Шпаликова, Рязанцевой, Клепикова, Григорьева, Ал. Александрова, Миндадзе — дальше тишина, ибо кончилась эпоха людей, приходивших в кино с собственным цельным представлением о мире, с насущной потребностью высказаться. Наступило аморфное, вялое время, мешавшее даже талантливым людям энергично выстроить сюжет и до конца выдержать единую стилистику. Явилась эклектика, начался кислый новорусский декаданс, в котором, конечно, ни о какой «гибели всерьез» речи не шло — гибли те, кто не вписывался в эту парадигму.

Луцик и Саморядов противостояли эстетике 90-х не только своим творчеством, но и обликом, и опытом. Среди неструктурированных времен, лозунгом которых было «текущее и повальное попустительство своим слабостям» (Л. Аннинский), они явили подлинно высокую планку, бешеную энергетику, живого и действующего героя. И время в очередной раз сделало безошибочный выбор, не пощадив именно их.

Смешно говорить, что Луцику и Саморядову не дали состояться. Никто не может дать или не дать художнику права на реализацию: состоялся любой, кто сказал свое слово. Сценарист, возразят мне, не может считаться состоявшимся, если замысел его ни разу не получил адекватной экранной реализации; но драматургия Луцика и Саморядова не привязана к конкретной эпохе, многие коллизии их сочинений могли бы иметь место и при совке, и после совка, иные вообще происходят в условном, сдвинутом пространстве, и потому оба еще дождутся своего режиссера. Бытует и обратное мнение — слава Богу, что ни один фильм по сценариям Луцика и Саморядова толком не получился, тем очевиднее их литературная одаренность. Осмелюсь возразить: Луцик и Саморядов были именно кинематографистами, прямыми наследниками советского большого киностиля (что Луцик и подчеркнул так явно своей единственной полнометражной режиссерской работой — «Окраиной», быть может, даже слишком цитатной). Они указали путь, на котором советское кино (вообще наименее советское из всех искусств, ибо реальность-то из кадра не выкинешь, за словами не спрячешь) могло бы сохранить все лучшее, что в нем было, — масштаб страстей, крепкий сюжет, неоднозначность, социальную остроту, яркого и активного героя, не слишком склонного к рефлексии, — и, не копируя голливудских стандартов, выйти на новый виток. Кинематограф Луцика и Саморядова — очень советский, со всеми его плюсами и минусами. Перед нами новые русские сказки, и не случайно действие их всегда происходит где-то. Где-то под Оренбургом, где-то за Ташкентом, где-то в Сибири... Это неспроста. Это очень советская вера в то, что где-то есть настоящий народ и настоящие люди. Они условны, как всякие сказочные персонажи, и столь же убедительны. Для них нет невозможного. Они могут выпить все, что горит, подмять под себя и влюбить в себя все, что движется. Они живут в правильной России, которой никто никогда не видел.

Безусловно, эта литература «убрала», оттеснила бы многое из того, что мы читали в 90-х да еще похваливали. И уж во всяком случае, скорректировала бы масштаб таких явлений, как Алексей Варламов, Олег Павлов, Владимир Сорокин или Сергей Болмат. Почвенникам Луцик и Саморядов показали бы, что такое настоящий русский герой на новом витке его истории, западников научили бы строить сюжет. Поистине надо быть слепорожденным или рожденным в 60-е, чтобы не ви-

деть стили их картин, совершенно отчетливо прописанного в каждом сценарии. Минимализм вообще был им мил, он только подчеркивал фантастическое напряжение рассказанных ими историй. И — герой, брутальный, широкий, неповоротливый, сильный, страстный. Такого могли бы сыграть невестребованные и лучшие актеры 90-х, из которых состоятся, кажется, удалось одному Сидихину (он и сыграл в «Детях чугунных богов»): ни Машкову, ни Миронову, ни Меньшикову, ни пустому, как бублик, Бодрову-младшему — культовым персонажам 90-х — эти типажи были заведомо не по плечу. Кишка тонка. Ариф Алиев — это да, это их сценарист...

Но ничего страшного. Не беда, что из большинства картин Луцик и Саморядов в конце концов хотели снимать свои фамилии (их не устраивал ни «Праздник саранчи», в котором они даже потребовали сменить название, надеясь еще найти режиссера для этой повести, ни даже самые талантливые фильмы по их сценариям — «Дети чугунных богов» и «Гонгофер»). Не страшно, что их работы, написанные по заказу, чаще всего не устраивали заказчика, ибо заказывали им копейку, а они приносили полновесный рубль (так осталась непоставленной их удивительная и победительная повесть «Анна» — для Аллы Пугачевой, ожидавшей очередную «Женщину, которая поет»). Эти сценарии — надолго, они дождутся своего часа, как дождались его многие работы Шпаликова, обретшие экранную жизнь уже после его смерти. Режиссер, адекватный Луцику и Саморядову, придет обязательно. Смею думать, что даже Луцик таким режиссером все же не был (хотя по полутора фильмам судить невозможно — думаю, он рос). Мера обобщения, высота взгляда, которые есть в их кинопрозе, требуют временной дистанции.

Подождем лет сто — для большой прозы это не расстояние.

Кто же такие были Луцик и Саморядов, два самых талантливых кинематографиста своего поколения — что признавалось и этим поколением, и мэтрами-шестидесятниками, и критикой?

Оба не москвичи, оба с азиатских окраин империи, из тех самых степей, где впоследствии развернутся почти все их истории. У обоих были все предпосылки к тому, чтобы не состояться: ни одного кинематографиста в роду, семьи очень среднего достатка, совершенно бандитское окружение («Мне здесь одна дорога — или в канаву, или в тюрьму», — признавался Саморядов). Но в начале 80-х были еще педагоги, готовые «тащить» талантливого ученика, всерьез заниматься им. Это тоже было наследие советских времен — в нынешнее время, боюсь, самородку уже не пробиться, что мы и наблюдаем, в сущности, — ротации никакой, новых имен в литературе и кинематографе минимум, а если и заговорит в чьих-то стихах или прозе окраина — так это окраина не столько пермская или свердловская, сколько гандлевская или петрушевская. Луцик и Саморядов осуществились только благодаря тому, что их педагоги Вера Тулякова и Одельша Агишев вытащили их в Москву, научились справляться с ними, невзирая на достаточно сложные характеры обоих подопечных, доброжелательно и заинтересованно встречали каждую их новеллу — и в результате получили в качестве диплома за третий курс ту самую знаменитую, самую многообещающую киноповесть 90-х, после публикации которой в «Альманахе сценариев» двадцативосьмилетние авторы проснулись знаменитыми. Это была «Дюба-дюба» — история о любви и смерти, а не о сексе и разложении, в отличие от большинства сценариев последних лет.

Я помню, как проглотил первую часть «Дюбы», как ждал альманаха с продолжением, как караулил его в киосках. История была захватывающая, простая, и страстная, и необыкновенно точная: ничто не названо, все угадывалось, но угадывалось сразу, и в этом с самого начала была определяющая черта луциковского и саморядовского кинематографа. Герой по имени Андрей любил когда-то девушку Таню, дело было в родном его городе — обычном, окраинном, пятиэтажном, бандитском. Да и Таня его, наверное, любила — в общем, были у него основания так думать... Он уехал учиться во ВГИК, а Таня сошлась с местным авторитетом и села за наркотики. Герой узнает об этом случайно, от приехавшего в Москву одноклассника. И с этого момента у него не осталось других дел и мыслей, кроме единственного тайного замысла: вытащить Таню. Любой ценой.

Для персонажей Луцика и Саморядова нет невозможного, и в этом тоже была существенная черта их сочинений: к реальности они имели отношение весьма опосредованное. То есть имели-то самое прямое, но к реальности высшей, художественной. Их герои все меньше походили на наших современников, все чаще выглядели воплощением некоего духа, воли, не находящей себе применения силы. (Сила эта проявлялась и в каком-то безудержном эротизме — вот уж где «тяжесть и нежность», «в тяжелых, нежных наших лапах»: поражала нежность героев именно к врагам. Их сначала били, а потом гладили по голове; в «Дюбе» был страшноватый эпизод, где герой, пытая богача и выбивая из него сведения о тайнике, начинал его ласкать. Чрезвычайно русское было это у Луцика и Саморядова, очень узнаваемое родное садо-мазо; любопытно, что в «Окраине» крестьянин загрызает «обкомовца» — тоже очень близкий контакт, почти проявление любви, да и вообще от любви до ненависти у всех персонажей этого тандема один шаг: только что дрались — и вот целуются. Это иррационально, страшновато, и никто, кроме них, этого не умел. Ну представьте вы Данилу Богрова целующим своего противника!)

Именно избыток силы и страсти толкал Андрея на бессмысленный и безнадешный подвиг — подвиг, пожалуй, даже и в نابокoвском смысле. Таню он, естественно, спасал — но вмешивался фатум, вечная и роковая женская природа: посещающая родной город (естественно, строго конспиративно), герой не уследил за героиней, и она отправилась на свидание к тому, кто предал ее на суде. Опять тайная, темная, стихийная сила — что говорить, любовники из «Дюбы-дюбы» стояли друг друга. И конечно, оба погибли: Таня вешалась в тюрьме, куда снова попадала (на квартире местного бандита ее ждала засада), Андрей подрывал гранатой себя и того самого бандита. На робкий вопрос мастеров своего курса, нельзя ли хоть Таню оставить в живых, Луцик и Саморядов решительно покачали головами; вероятно, оба понимали, что персонаж такого типа подчиняется иной, немилосердной логике, да и собственная судьба была уже им ясна. После был Голливуд, «Северная Одиссея», тоже по разным причинам не поставленная, и несколько историй, написанных для родного кинематографа. Правда, еще до «Дюбы» был замечательный «Праздник саранчи» — не менее четкое, а пожалуй, по молодости лет даже более откровенное предсказание собственной судьбы. Герой — типичный интеллигент-горожанин — попадал в рабство к азиатам, все происходило случайно и неожиданно — вот она, грань между привычным миром и адом, грань, истончившаяся до волоска, еще одна главная тема Луцика и Саморядова: вышел на полустанке — дуло уперлось в ребра — и ты пленник. Это предощущение катастрофы, постоянное ее соседство чувствовалось и в единственной их совместной режиссерской работе — четырехчастевке «Кануны» по собственному сценарию: какой-то вокзал, забитый беженцами, предчувствие краха империи и гигантских миграций, — но именно эта обстановка, соседство бездны, было для них наиболее органичной средой. Сергей из «Праздника саранчи», вернувшись в город, немедленно погибал там, как рыбка-бананка, которой уже не втиснуться в прежнюю нишу: он научился стоять за себя, спасать друзей, быть мужчиной — по таким правилам в городе не играют. Здесь это — самоубийство.

Более точного определения собственного места и собственной участи у Луцика и Саморядова не было.

Ошибкой, однако, счел бы я попытку представить их такими неотесанными, стихийными самородками, не владевшими собой, не вписавшимися в тусовку: тусовались они мало, что да, то да, — все время уходило на сочинительство, а заказами они обделены не были. Им заказывали то либретто для какого-то музыкального шоу, то новеллу для киноальманаха. Не работали они, пожалуй, только в рекламе — все прочие киножанры были им по плечу, оба были добротными профессионалами, начитанными и насмотренными, и оба вели свою игру честно, но хитро: выстроили имидж и соответствовали ему. Саморядова любят изображать бесшабашным, безбашенным, — он действительно прожил свои тридцать два года очень бурно, лихо, пьяно, но написал и придумал при этом столько, что, конечно, ни о какой богемности применительно к нему говорить невозможно. Сказок и сюжетов роилось в его голове несметное количество. Бахыт Килибаев (постановщик

«Гонгофера», звезда казахской «новой волны», прославившийся, однако, рекламой АО «МММ») признавался, что идея мини-сериала про Леню Голубкова была вполне саморядовской по духу и выросла из замысла «дембельского альбома» — набора открыток, которые Саморядов предполагал выпускать: дубоватые дембеля с какими-нибудь стишками или поговорками. Он думал вообще о серии таких семейных открыток с узнаваемыми типажками — что-то, а уж типажей этих он знал отлично: мать семейства, вечно вытирающая руки; отец семейства, вечно возящийся в гараже; сынуля-балбес (бледные тени этих персонажей появились потом, годы спустя, в программах ОСП-студии, — у Саморядова, конечно, краски были погуще). Это был большой народный проект. Попытку осуществить его (он так и назывался «Русским проектом») предприняли потом Эрнст с Луциком: помните трехминутные ролики — «Все у нас получится», «Наши девушки лучше»? И опять ничего не вышло: вместо работы с народным подсознанием получилось очередное заигрывание. Вы ж наши дорогие, вы ж наши корни... Пожалуй, только ролик с Нонной Мордюковой — крохотный сюжет о дорожных работницах — да история с алкашам и медсестрой (Галина Волчек) чем-то напомнили луциковско-саморядовское кино — более точное, менее лакировочное, чем советское, но с тем же могучим и всевыносящим человеком труда в центре внимания...

Иногда я думаю, что была еще одна причина у почти стопроцентного неуспеха этих сценариев, чуть только дело доходило до воплощения. Иными словами, мне ясна причина подмены: вместо мощного действующего героя — Андрея — в эстетской «Дюбе» Александра Хвана появлялся рефлексирующий, нервный Меньшиков, героиня вообще отходила на второй план и предельно вульгаризовалась... Даже в «Детях чугунных богов», удавшихся хоть наполовину именно потому, что на Россию в них глазами испуганного и восхищенного чужака смотрел молодой венгр Томаш Тот, — вместо победительного и умного русского Рэмбо (таким его видели авторы) появился хоть и чрезвычайно крутой, но все-таки несколько дегенеративный тип. Сидихин умеет не быть таким, но здесь потребовалось именно это... Короче, чтобы снять кино, мало сценария. Нужна еще какая-никакая реальность, материал, из которого можно слепить экранное действие. В начале 90-х ничего этого не было. Вот почему придется долго ждать — может быть, до следующей исторической эпохи, — прежде чем Луцик и Саморядов обретут и своего интерпретатора, и своих героев. Они смоделировали тех новых людей, которых *должна была* породить реальность 90-х. Это люди свободные, смелые и умеющие за себя постоять, но при этом блюдущие некоторый простой нравственный кодекс, у них есть свои святыни: дружба, любовь, труд...

90-е же породили совсем другого героя, которого Луцик и Саморядов не могли предвидеть и не хотели изображать. Отличается он от их сквозного персонажа примерно так же, как жуликоватый и суетливый герой «Лимиты» в исполнении Машкова — от могучего, умного и медлительного Ивана в их сценарии.

Может быть, мы еще увидим тех новых людей, о которых мечтали Луцик и Саморядов. Но Луцик — уже после гибели Саморядова, когда экранизировал их старый сценарий «Добрые люди» под именем «Окраины», — догадался, что первым действием этих людей, появившись они где-то, будет слом существующего строя. Александр Тимофеевский, помню, даже призывал запретить «Окраину» (не из желания ли сделать достаточно скромной черно-белой картине промоушн?): в ней, мол, содержится призыв к насилию... Правда, увидеть его в такой притче, в такой насквозь стилизованной вещи мог только ну очень напуганный или очень лихо стебающийся критик. Народ попросту не пошел бы на эту картину, Луцик снял ее строго и изысканно. Но диагноз был поставлен точно: компромиссов у этих героев с властью и с ее денежными мешками не может быть уже никаких. Бессмысленно о чем-то их просить, смешно угрожать. И высотка — в которой, согласно сказочной логике, размещаются хозяева страны — полыхает ярким пламенем: весь мир насилья мы разрушим. До основания. Чтобы был вечен вольный труд. Луцик очень хорошо понимал, что время компромиссов закончилось<sup>1</sup>.

<sup>1</sup> Реплика А. Василевского. «Окраина» Петра Луцика вызвала у меня, признаюсь, те же сомнения, что и у Александра Тимофеевского-младшего, резкие слова которого о «запрете»



Я думаю иногда: почему все попытки так или иначе применить приемы Луцика и Саморядова в других сюжетах и других контекстах неизменно проваливались? Возьмем пресловутого «Брата-2», где наши завоевывают Америку, и сравним это с «Северной Одиссеей». Прежде всего: Луцик и Саморядов писали сказку, и общий иронический ее тон (их неизменная, «тяжелая и нежная» ирония — особая тема) позволял дистанцироваться от происходящего, не провоцировал зал на восторженный рев в сценах, где «наши» мочили «ихних». Это не постмодернистская насмешка всех над всеми, а трезвая самоирония сильных людей. Во-вторых, Луцик и Саморядов по-настоящему любили персонажей: это не дубоватые бандиты, это люди труда — тема труда вообще из нашего кинематографа исчезла, а они изо всех сил пытались ее вернуть. «На материале аврала на нашем оборонном заводе можно снять боевик, перед которым „Рэмбо“ покажется ерундой», — сказал мне как-то Луцик, и «Дети чугунных богов» были написаны именно с этой целью: показать жизнь завода как триллер. Наконец, в-третьих, Луцик и Саморядов умели делать своих героев живыми. Не картонными копиями, не бледными тенями, не ходячими штампами вроде Старшего Брата в исполнении Виктора Сухорукова, отлично на самом деле актера, — нет: все они живые. Индивидуальны облик, речь, повадка каждого. Потому что Луцик и Саморядов этих людей видели, знали и из них в конечном итоге выросли — потому и относились к ним, как к своим: с естественной смесью любви и ненависти. Как любой интеллигент в первом поколении, нашедший в себе силы рассказать о своей среде и сочетающий тонкость и ум, всегда присущие таланту, с напором и яростью, которые в ходу на рабочих окраинах. Но сочетание это — взрывоопасное: вот почему в своей среде ни Луцик, ни Саморядов с известного момента не приживались. Ни там, ни здесь не свои, везде одинаково чужие, они опирались только друг на друга и на нескольких сходно мыслящих режиссеров — прежде всего на того же Килибаева. И естественно, что люди, носящие в себе опыт окраинной и степной жизни и одновременно большой художественный талант, — долго не живут. Крестьянин Шукшин, суворовец Шпаликов, страшный красный командир Гайдар — тому примеры. И только отличное здоровье спасло харьковского Вийона — Эдуарда Лимонова. А может быть, счастливые тандемы вообще всегда очень дорого платят за то, что им удалось состояться. Дунский и Фрид отсидели по десять лет, Ильф и Петров погибли молодыми, отлично начинавший Вейцлер умер рано, и Мишарину пришлось работать одному... Алексей Саморядов погиб в январе 1994 года — выпал из окна гостиницы «Ялта», перебираясь от приятеля к себе в номер. Петр Луцик умер шесть лет спустя, во сне, от сердечной болезни. Перед этим он собирался ставить «Дикое поле» — их последний и лучший сценарий. О волшебной степной земле, в которую человека достаточно зарыть на сутки, чтобы он выздоровел от любой болезни и ожил, если мертвый. Иногда на окраинах дикой этой земли появляются странные всадники, тут же исчезают, погрозив... Дикое поле, жизнь, Россия: полное неустойство, пьянство, пустой простор, — зато бессмертие.

В этой волшебной земле лежат теперь Луцик и Саморядов. Я перечитываю их книгу и поверить не могу, что обоих авторов уже нет — такой избыток жизни брызжет с каждой страницы.

Правильно когда-то писал автор из другого тандема, Аркадий Стругацкий: «Жалко не Андрея Тарковского, жалко нас, оставшихся без Андрея Тарковского».

Жалко не Луцика и Саморядова — их час впереди, а они теперь, надеюсь, опять пишут вместе. Жалко нас и наше время, в искусстве которого на месте живого, любящего, трудящегося, борющегося героя зияет дыра. Жалко наше кино,

---

я воспринял в свое время всерьез — как, может быть, преувеличенную, но не беспочвенную тревогу ответственного человека по поводу бесчувственных эстетских экспериментов на тему народного гнева. В этом фильме (1998 года) Луцик играет с огнем даже буквально — восстановление народных прав на землю происходит в фильме через нарастающую в своей жестокости серию (чуть ли не ритуальных) убийств представителей власти и бизнеса и заканчивается поджогом столицы. К счастью, обозначающийся выход из ельцинской России происходит пока не по сценарию Луцика и Саморядова.

нищета которого особенно заметна на фоне этого зияния, этого зияющего отсутствия двух не вовремя посланных нам невероятно одаренных людей.

Впрочем, ничего несвоевременного в настоящем искусстве не бывает.

## WWW-ОБОЗРЕНИЕ СЕРГЕЯ КОСТЫРКО

*О прозе «осеннего Улова» 2000 года, о путевой прозе Марины Фольки, о признаках преодоления «философской интоксикации», о сетевой Антологии неофициальной поэзии*

**О**бзор прозы очередного «Улова» (<http://rating.rinet.ru/images/ulov-2000o.gif>) осеннего конкурса 2000 года начну с меланхолической ноты — из трех уже состоявшихся «конкурсных программ» нынешняя казалась мне при чтении самой невыразительной. Но когда я стал составлять свой итоговый — как члена жюри — список, то обнаружил, что вовсе нет, что плотность хороших текстов тут будет, пожалуй, даже повыше, чем в двух предыдущих «конкурсных программах». Откуда же первое впечатление? Видимо, «вчитался» в интернетовскую литературу, притупилось ощущение свежести и новизны. Это во-первых. И второе — я, кажется, начал догадываться, что не так уж, наверно, много по-настоящему талантливых людей и в Интернете тоже.

Асар Эппель представлен на «Улове» рассказом «Пыня и юбирия», продолжающим уже обжитую нами эппелевскую Йокнапатофу, — повествование об «окраинных типах» советской «окраинной» жизни, в частности, о двух доживающих свою жизнь стариках.

Отрывок из давней уже книги талантливого рассказчика Марка Фрейдкина «Опыты» (1996), названный здесь «Из воспоминаний еврея-грузчика», тоже, естественно, новым не назовешь.

Очень знакомым воспринимается рассказ «Параллельное время» Михаила Федотова, развивающий темы и мотивы уже описанного нами в обзорах его лирико-документального повествования «Я вернулся».

О трех удачных, на мой взгляд, рассказах Сергея Соколовского («Бисквит Берроуза», «Жираф» и «Трагическая история Камилло Сьенфуэгоса, борца за свободу»), прочитанных ранее конкурса, я написал в предыдущем обзоре.

Как продолжение двух, также упоминавшихся в этих обзорах, рассказов Дмитрия Новикова («Муха в янтаре» и «Sektia») читается его новый рассказ «Чувство, похожее на блюз»; он несколько проигрывает предыдущим из-за декларативной выпрямленности внутреннего сюжета (описание полуреальной-полуиллюзорной попытки героя переломить несложившуюся судьбу лишь иллюстрирует мысль писателя, а не выстраивает ее), и тем не менее рассказ «держит внимание» — затягивает сосредоточенность автора на вечном для нашей литературы мотиве: обыденная, «функциональная» жизнь как некая, почти не страшная внешне сила, растворяющая в себе человека, лишаящая его мужества быть собой.

Новый рассказ Льва Усыскина «Сны» о снах конструктора космических ракет Сергея Королева — еще одна вариация советской кафкианы. На эти темы и в подобной манере (жизнь советской элиты сталинских времен как мрачная фантазмагория) написано уже много, и это дополнительное свидетельство одаренности писателя: Усыскин сумел написать свой рассказ.

Рассказы Бориса Кудрявцева (они опубликованы в появившемся недавно в Москве номере журнала «Зеркало») — гротескный вариант метафизики советской обыденности и возвращенного ею мироощущения.

Естественно, не были новостью новомирские рассказы Ильи Кочергина «Алтынай» и Дмитрия Шеварова «Второй день рождения» или знаменская проза Дмитрия Рогозина из повести «Поля боя» и «Афинские ночи» Романа Сенчина.

Иными словами, чтение рассказов, представленных на осенний «Улов», сожало для меня гораздо меньше нового, чем ожидалось. Это была во многом встре-

ча со старыми знакомыми. Праздник кончился, началась обычная жизнь. Но обычная не означает здесь скучная и бессобытийная.

Я не буду подробно писать о тех писателях, тексты которых мне кажутся очевидными лидерами списка, — о Сенчине (о нем уже написала И. Б. Роднянская в этом же номере, и с оценкой ее я согласен), о Соколовском (см. предыдущее обозрение), о Шеварове и Кочергине, которых сам же и выдвигал на конкурс.

Интереснее поговорить об открытиях этого конкурса (открытиях — для меня).

И прежде всего о тексте **Марины Фольки «Берлин. 1999»**, написанном в жанре путевых заметок. (Путевая проза — один из самых загадочных жанров, по-моему, никто не знает, что это такое. «Дерсу Узала» Арсеньева и «Путешествие с Чарли в поисках Америки» Стейнбека относятся к двум очень даже разным литературным «отсекам», да, в конце концов, «Одиссея» и «Улисс» тоже могут проходить по ведомству литературы путешествий.) «Берлин. 1999» написан на материале впечатлений автора от экскурсионной поездки. Здесь есть элементы и географического, и этнографического, страноведческого очерка, но — элементы. У Фольки получилась полноценная художественная проза. Сюжет ее образован взаимодействием двух, скажем так, персонажей. Самим городом, который мы рассматриваем в упор, в котором проживаем с повествовательницей несколько дней, вдыхая его запахи, ощущая неровности замусоренного асфальта, тесноту антикварных лавок и прочую психомоторику. И второй персонаж: автор-повествователь, чей образ достаточно отчетливо прорисован уже избирательностью его внимания, реакциями, культурными и интимно-биографическими ассоциациями, которые вызывает Берлин. В принципе, все это так или иначе, но всегда присутствует в любом «путевом повествовании», хотя обычно это прорывается, так сказать, факультативно, а здесь — образует сюжет. С этого-то собственного ощущения, собственного проживания пути и начинается текст: «Предисловие к Берлину — призрачное бессонное путешествие в душных полутемных поездах. Как-то так вышло, что с полудня в купе было темно, выключен свет, задернуты занавески, за окном — неопределенность, усталость, подаренная на Рождество книга все топталась вокруг способов прогулок в горах, и горы за окном одновременно подтверждали свою самоценность и опровергали возможность какой-либо общности между нами. Поманили снегом, как будто куском прошлого, для меня лично растянутым вдоль окон поезда. Железнодорожники, озабоченные билетами и путями, в руках — красные фонари. Мельканье синих станций, и в результате — в полусне, полусмотрении из окна доехали до Мюнхена, не успев даже сосредоточиться на Австрии, которая в вечерних сумерках так незаметно перетекала в Германию».

Берлин — странный город. При всей своей укорененности в культуру и историю Европы город, как будто недостроенный в культуре, имеющий для многих из нас только два культурных мифа — Набокова и Вендерса (фильм «Небо над Берлином»). И даже это можно сказать с оговоркой: набоковский Берлин — уже давний литературный миф, за которым в нашем сознании хронологически последовал образ толпящегося марширующего города — столицы Третьего рейха и почти без перехода как финал этого марша — панорама руин сорок пятого года. Ну а уж затем, как эпитафия обоим Берлинам, бескрайний архитектурный морок серо-коричневой минималистской (никакой) архитектуры столицы ГДР. И вот этот город, дважды раздавленный собственной историей (гитлеровской, а потом — гэдэровской), как бы заново начинает набирать новое содержание, новый образ, собранный на экране Вендерсом, классиком нового немецкого кино. Но эта новизна — для людей моего поколения. Для Фольки Берлин Вендерса — чуть ли не единственная точка отсчета. Ее Берлин выстроен жизненным опытом молодой, литературно ориентированной (очень выразительно описаны ее «книжные загулы» в русских книжных магазинах Берлина) женщины, выросшей в одном из крупных культурных городов бывшей УССР, а ныне — эмигрантки, живущей замкнуто и сосредоточенно в Италии, в Вероне, то есть молодого человека со специфическим опытом наших 90-х годов. И понятно, почему вендеровский миф о Берлине для нее самый актуальный.

«И небо над Берлином — может вполне быть ясным, но оно — низкое и быстрое, быстрое, как вода в талом ручье, несущем через лед щепки и затухшие про-

шлогодние листья. Небо над Франкфуртом полно самолетов, небо над Берлином полно быстрых облаков, и, может, ни к чему было снимать целый фильм. Небо над Берлином — это готовая поэма». Здесь Фольки как бы решила побороться с Вендерсом за словосочетание «небо над Берлином», и для меня она здесь выглядит победителем, ее образ, кстати, тоже выстроенный по законам кинематографии, перекрывает (пока) ставший уже классическим кинообраз Вендерса.

Другое новое (для меня) имя — **Анна Кирьянова**, автор «простодушного» рассказа «**Ананасы в шампанском**». Как бы просто воспоминание о студенческой молодости и одном из своих сокурсников, портрет двух молодых людей — повествовательницы и отвратного, претенциозного, наглого, и беспомощного, и жалкого, и почти трогательного Шевцова. Рассказ очень женский и по душевной способности проникнуть в другого человека, по способности ощутить чужое, способности к сочувствию, и одновременно по — не вопреки, а благодаря — жесткости, пронизательности взгляда художника (как еще говорят — «цыганского глаза»).

И еще о двух авторах (а если держать в голове названного здесь Дмитрия Новикова, то и трех) — о Викторе Неле и Марине Бувайло-Хэммонд.

Я не буду сравнивать здесь художественный уровень представленных ими рассказов с прозой той же Марины Фольки — рассказы этих трех авторов, скажем так, написаны не всегда ровно. Я — о некоей тенденции, которая в них просматривается. Тенденция радующей. В этих, повторяю, далеко не безупречно написанных рассказах приятно удивляет легкость, с которой авторы берут высоту философской прозы. Слово «философский» я употребляю здесь в буквальном значении. Явление, названное в критике «философской интоксикацией» (Роднянская), — это когда философия в прозе становится, в частности, еще и чем-то вроде престижной одежды, бижутерии, когда она возникает в произведении на уровне некоего громко продекларированного намерения, разного рода аллюзий, реминисценций, скрытого цитирования, шегольства разными редкими терминами, — так вот, это явление как будто вовсе и не затронуло упомянутых авторов. Они обращаются с философскими понятиями как художники. Они возвращают их в — если можно так сказать — изначальную плоть.

Рассказ **Виктора Неля** «**Поэт Мема**» внешне очень традиционен, вплоть до выбранного автором повествовательного приема — исповедь случайного попутчика в купе, история мальчика, убившего своего друга-мучителя и изготовившегося для самоубийства. Причиной самоубийства героя будет не чувство вины и ужаса перед содеянным, а некий метафизический душевный вывих, итог противостоительно раннего (так судьба сложилась) взросления мальчика. Столкнувшись с теневой стороной жизни, герой, познавший уже очень многое, не обнаруживает в себе сил для противостояния злу — он не успел вырастить в себе душу, причиной его слома становится непомерная боль от отсутствия этого необходимого для жизни «органа».

Рассказ **Бувайло-Хэммонд** про головную боль (он дан в цикле из трех ее рассказов без названия) интересен разработкой темы внутренней свободы. Сюжет прост: герой рассказывает о страшных приступах головной боли, возникающих периодически и превращающих человека в комок страдающей без-мысленной плоти. Неотвратимость очередного приступа исключает для героя возможность планировать свою жизнь. Герой вынужден жить тем, что есть его жизнь сейчас, то есть жить тем, что есть реальная жизнь, а не тем, что может быть или не быть его жизнью потом. Случайная травма головы внезапно избавляет его от боли. Герой вдруг обнаруживает, что свободен от своего проклятья, ломающего его «нормальную» жизнь. Но обретенной способности жить своей реальной жизнью не утрачивает. Перед нами, по сути, философский этюд о внутренней свободе<sup>1</sup>.

Здесь можно было бы поговорить еще и о типичных недостатках представленной на конкурс «Улова» прозы, по крайней мере треть рассказов открывает такие возможности, но, увы, недостатки эти типичны, о них мы уже говорили не раз. И поэтому я сразу перехожу к итогам конкурса, моим личным и, так сказать, офици-

<sup>1</sup> Уже на стадии корректуры обнаружилась причина, по которой рассказ этот казался странно знакомым: он печатался в «Новом мире» (1995, № 12) под названием «Календарь». То есть, увы, рассказ далеко не нов, что, впрочем, не умаляет его достоинств.

альным. Вот два списка. Первый список — это мой личный рейтинг по разделу прозы, десять лучших текстов:

**Марина Фольки, «Берлин. 1999»;**  
**Сергей Соколовский, «Три рассказа»;**  
**Роман Сенчин, «Афинские ночи»;**  
**Илья Кочергин, «Алтынай»;**  
**Асар Эппель, «Пыня и юбиря»;**  
**Анна Кирьянова, «Ананасы в шампанском»;**  
**Дмитрий Шеваров, «Второй день рождения»;**  
**Лев Усыскин, «Сны»;**  
**Дмитрий Новиков, «Чувство, похожее на блюз»;**  
**Марина Бувайло-Хэммонд, «Три рассказа».**

Ну а во втором списке коллективное мнение моих коллег по жюри (в жюри входили: Бавильский, Кузьмин, Кукулин, Меклин, Фрай):

1 — 3. **Георгий Балл, «Дыра»** (сайт «Вавилон»);  
 1 — 3. **Сергей Соколовский, «Три рассказа»** (сайт «Вавилон»);  
 1 — 3. **Асар Эппель, «Пыня и юбиря»** (сайт «Страница Александра Левина»).

(Странное обозначение места в списке лауреатов (1 — 3) означает, что все три прозаика набрали одинаковое количество баллов, поэтому здесь нет первого, второго, третьего места, все трое — лауреаты.)

О поэзии «Улова» я напишу в следующем выпуске. А пока — только результаты поэтического конкурса, который оценивали Бавильский, Шкловский, Алехин, Фрай, Василевский, Кукулин, Меклин.

Лауреатами осеннего «Улова» стали поэты:

1. **Владимир Строчков, «Стихи из 19-го приморского блокнота»** (сайт «Страница Александра Левина»);  
 2. **Бахыт Кенжеев, из книги стихов «Снящаяся под утро»** (сайт «Вавилон»);  
 3 — 5. **Юлий Гутолев, из книги стихов «ПОЛНОЕ. Собрание сочинений»** (сайт «Вавилон»);  
 3 — 5. **Сергей Морейно, из книги «Орден»** (сайт «Вавилон»);  
 3 — 5. **Глеб Шульпяков, «Стихи»** (сайт «Журнальный зал»).

А в качестве приложения к обзору (нельзя же заканчивать WWW-обзор без единого нового адреса) письмо Ивана Ахметьева, откликнувшегося на мою просьбу рассказать о своей работе над сетевой «Антологией неофициальной поэзии»:

«Уважаемый Сергей Костырко!

В соответствии с нашей договоренностью сообщаю, что по адресу (<http://www.rvb.ru/np/index.htm>) располагается „Антология неофициальной поэзии” советской эпохи, представляющая собой исправленную, дополненную и комментированную сетевую версию поэтического раздела антологии „Самиздат века” (Минск — М., «Полифакт», 1997). На сегодняшний день в антологии 266 авторов, 5 из которых не было в книге. Подборки 113 авторов дополнены. По сути дела, новая часть антологии по сравнению с книгой — справочный раздел (<http://www.rvb.ru/np/publication/comments.htm>), где приведены сведения обо всех авторах, а также комментарии к текстам. См. также общую библиографию (<http://www.rvb.ru/np/publication/abbrev.htm>). Начата публикация различных исторических материалов по теме (<http://www.rvb.ru/np/publication/miscellania.htm>). Антологию предполагается снабдить портретами авторов и обзором критических материалов о книге-прототипе и о ней самой. Биобиблиографические сведения постоянно пополняются. Работа над комментариями к текстам будет продолжена. См. также список авторов, которых предполагается включить в антологию (<http://www.rvb.ru/np/publication/dopoln.htm>). Антология неофициальной поэзии является частью Русской виртуальной библиотеки (<http://www.rvb.ru>). Иван Ахметьев».

Естественно, прочитав письмо, я зашел на сайт. Официальное его название: «Русская виртуальная библиотека (РВБ)». Из программных заявлений: целью РВБ «является электронная публикация классических и современных произведений русской литературы по авторитетным источникам с приложением необходимого справочно-комментаторского аппарата».

«Культурное и научно-образовательное значение проекта... в том, что пользователи получают доступ к научно выверенным текстам произведений русской литературы, снабженным профессионально подготовленным справочным аппаратом, который в полной мере учитывает новейшие достижения филологической науки и соответствует требованиям современного гуманитарного образования. Деятельность РВБ нацелена на расширение и усиление академического сектора русского Интернета» (<http://www.rvb.ru/about/general.html#toc>).

Публикации Русской виртуальной библиотеки предполагают «максимально широкий охват художественных и литературно-критических произведений, созданных на русском языке с XVIII века до наших дней. РВБ призвана дать читателям наглядное представление о богатстве и разнообразии русской литературы нового и новейшего времени». Руководитель проекта — Евгений Горний.

Но все это пока проект, и проект грандиозный. Скажем, в списке поэтов XIX века, творчество которых будет представлено в РВБ, значится 109 имен, от Сергея Аксакова и Алексея Апухтина (имена в списке даны в алфавитном порядке) до Александра Эртеля и Николая Языкова. Пока же (на 17 декабря 2000 года) сайт имеет только шесть авторских разделов:

1. **Собрание сочинений А. С. Пушкина в 10-ти томах** (изданное «Художественной литературой» в 1959 — 1962 годах, под общей редакцией Д. Д. Благого, С. М. Бонди, В. В. Виноградова и Ю. Г. Оксмана);
2. **«Опыты в стихах и прозе» Константина Батюшкова;**
3. **«Бедовая доля» А. М. Ремизова** (часть первая, в старой орфографии);
4. **«Творения» Велимира Хлебникова** (М., 1986);
5. **«Глоссолоалия» Андрея Белого;**
6. **Собрание сочинений Юрия Мамлеева.**

Исходя из этих шести позиций, можно сделать вывод, что авторы сайта в своем отношении к движению русской литературы — глубочайшие пессимисты: начав свой список Пушкиным, заканчивают, прошу прощения, Мамлеевым.

В списке публикаций РВБ есть и седьмая позиция, которая, собственно, и составляет, на мой взгляд, практическую ценность этого сайта уже сегодня, — это раздел «Неофициальная поэзия», «исправленное, дополненное и комментированное издание поэтического раздела антологии неофициальной культуры советского времени „Самиздат века” (1998)». Это, собственно, и есть та поэтическая антология, о которой писал мне один из ее составителей и комментаторов Иван Ахметьев. В общем списке представленных здесь поэтов, начинающемся именами Дмитрия Авалиани, Геннадия Айги, Михаила Айзенберга, Владимира Алейникова, Геннадия Алексева, Юза Алешковского, всего 271 имя. Судя по тому, что в сравнительно недавнем письме Ахметьева указана цифра 266, работа с антологией идет постоянно. И пока что «Антология неофициальной поэзии» представляет собой самый масштабный проект сайта «РВБ» и один из самых серьезных в сегодняшнем нашем литературном Интернете.

---

---

---

# ИЗ РЕДАКЦИОННОЙ ПОЧТЫ

## О КНИГЕ АЛЕКСАНДРА СОЛЖЕНИЦИНА «УГОДИЛО ЗЁРНЫШКО ПРОМЕЖ ДВУХ ЖЕРНОВОВ»

Уважаемый господин редактор:

Я хотел бы воспользоваться возможностью, чтобы ответить на заявления г. Александра Солженицына, опубликованные в сентябрьском 2000 года номере журнала «Новый мир», касающиеся моей роли в его запланированной встрече с президентом Рональдом Рейганом.

Г-н Солженицын — писатель, поэтому он, как и любой писатель, обладает богатым воображением. Подобное воображение, являющееся, несомненно, добродетелью писательского таланта, может стать помехой в обращении с фактами, так как писатели зачастую обладают тенденцией приписывать и придумывать факты, когда сами факты неизвестны или туманны.

Пренебрежение г. Солженицына фактами очевидно в самом первом предложении (стр. 176) его пересказа событий, когда он пишет, что ранней зимой 1981-го до него дошли слухи от «двух сенаторов — Кемпа и Джексона», что официальное приглашение в Белый дом уже лежало на столе. На самом деле Джэк Кемп был не сенатором, а конгрессменом, и скорее всего это был не демократ Генри Джэксон, а республиканец Роджер Джепсон, который пытался организовать подобный визит. Это, по сути, тривиальности, но они симптоматичны.

Как старшего советника Белого дома по советским делам в то время, меня попросили высказать свое мнение по поводу предложения Кемпа — Джексона. Позвольте мне добавить, что я был в негодовании в 1975 году, когда я узнал, что Киссинджер посоветовал президенту Форду не принимать г. Солженицына, так как сама акция была явной попыткой не раздражать Москву. Но с тех времен многое изменилось. Г-н Солженицын, который в 1975 году был известен лишь как писатель и смелый борец за свободу, после приезда на Запад сделал ряд важных политических заявлений, в особенности в своей речи перед выпускниками Гарварда в 1978 году, где он критически высказался по поводу демократии и западных концепций свободы. Если г. Солженицыну позволили бы лично встретиться с президентом, сам факт подобной встречи мог бы означать, что г. Рейган придерживается подобных мнений.

Складывается впечатление, что г. Солженицын не осознает в полной мере, для чего подобного рода встречи с президентом планируются. Встреча не была семинаром для глубокого обмена мнениями. Последнее редко бывает предлогом для встречи с президентом, и в особенности с г. Рейганом, который не был любителем серьезных бесед. Он был человеком великолепного суждения, но не являлся интеллектуалом. Как это свойственно людям солидного возраста, у Рейгана были свои давно сложившиеся мнения по всем важным вопросам. Цель встречи имела символический характер, а именно — публичная ассоциация с политической оппозицией советского правительства давала еще один сигнал Москве, что дни уступок и умиротворения закончились.

После получения директивы с просьбой высказать свои рекомендации по поводу встречи я проконсультировался с несколькими моими коллегами из Государственного Совета Безопасности. Один из них предложил пригласить вместе с г. Солженицыным представителей других политических течений, а также представителей других, нерусских народов СССР, которые составляли половину населения страны. Мне показалось это вполне приемлемым решением, и я передал это предложение по необходимым каналам. Мое предложение было одобрено. Я связался с домом г. Солженицына и имел довольно прохладный разговор с его женой, которая хотела знать, будет ли еще кто-либо присутствовать при встрече, и если будет, то кто именно.

Перед тем как приглашения были разосланы, мы узнали через каналы русской общины, что г. Солженицын был против приглашения на встречу в компании. Чтобы успокоить его и смягчить ситуацию, поскольку г. Солженицын рассматривал свой статус равноценно статусу главы государства и (как показывают его воспоминания) считал свой визит в Белый дом оказанием услуги президенту, мы предложили организовать короткую, один на один, встречу г. Солженицына с президентом перед обедом. Его ответом послужило письмо, которое он сам опубликовал в журнале «Новый мир». Письмо поражало своей грубостью, г. Рейган, добродушный человек по своей натуре, прочитав письмо, вместо ожидаемого мною (и очевидно, вопреки ожиданиям автора письма) гнева ограничился лишь следующим комментарием: «Мне кажется, что он рассматривает других приглашенных нами гостей как предателей». Это была очень точная оценка.

Кто же были те приглашенные вместе с г. Солженицыным люди, кого он отстранил в качестве «отставных диссидентов»? Среди них были Андрей Синявский, который был приговорен к 7 годам строгого лагерного режима; Петр Григоренко, кто был заключен в психиатрической больнице; баптистский пастор отец Георгий Винс, отсидевший 3 года в трудовом лагере; Валерий Чалидзе, основатель в 1970 году Комитета по Правам Человека в СССР, где г. Солженицын являлся почетным членом. Это были не менее смелые люди, чем сам г. Солженицын, которые не побоялись отстаивать человеческие права и выступить против советского режима, отчего все они соответственно пострадали. Для меня было честью сидеть рядом с ними. Следует добавить, что ни один из них не сделал столько денег и не жил так комфортно в эмиграции, как г. Солженицын.

Я не собираюсь опровергать дотошно многие вымышленные события, упомянутые г. Солженицыным, за исключением тех двух фактов, что я никогда не разговаривал о нем с Робертом Кайзером из газеты «Вашингтон пост» и что я также не уведомлял Государственный департамент после получения отказа о встрече от него о том, что он согласен на встречу. Это плоды воображения. И утверждение того, что г. Рейган не произнес речь во время обеда, тоже неправда. Он выступил с речью. И тот факт, что на обеде не присутствовало телевидение и что после обеда не состоялась пресс-конференция, был не потому, как намекает г. Солженицын, что он отсутствовал, а потому, что один из советников президента, а именно Майкл Дивер, который в то время являлся менеджером по «имиджу» президента, опасаясь того, что широкое освещение события могло привести к росту репутации Рейгана как «воинствующего рыцаря „холодной войны“». На самом деле Дивер был целиком против затеи обеда с русскими диссидентами и предложил вместо этого озаглавить обед как встречу с «этническими американцами!» После того как его предложение было отклонено, Дивер отдал распоряжение, запрещающее какие-либо съемки и официальные заявления, касающиеся обеда, чтобы не раздражать союзников и советское правительство.

Факт остается фактом, что обед, на котором г. Солженицын отказался присутствовать, стал первым и единственным событием, когда президент Соединенных Штатов Америки принял в Белом доме представителей преследуемой в СССР политической оппозиции. Не удивительно, что радио «Москва» в своем комментарии по поводу обеда заявило, что Рейган испытывает удовольствие, встречаясь с людьми, «которые за американские доллары клеветуют на свою родину».

Г-н Солженицын утверждает, что я «испытывал к нему личную ненависть и проявлял ее последовательно и всюду». Подобное утверждение является результатом его буйного воображения. Это он, кто неоднократно совершал нападки на мои работы и на меня лично. В своей речи в Стэнфордском университете в 1976 году, например, он охарактеризовал мою книгу «Россия при старом режиме», копия которой с личным посвящением была отправлена мною ему в Цюрих, как «псевдо-академическая книга... полная ошибок, преувеличений и, возможно, преднамеренных (!) искажений». (В советские времена меня просто называли «фальсификатором истории».) Я никогда не отзывался подобным образом ни об одной работе, написанной им самим. Я не согласен с его интерпретацией русской истории: он полагает, что коммунизм не имеет корней в прошлом России, а я думаю, что имеет. Но я не сторонник перерастания интеллектуальных разногласий в личную не-



приянь. Несмотря на всю ненависть г. Солженицына к коммунизму, к сожалению, он привил в себе самые худшие черты коммунистической ментальности, а именно, что любой инакомыслящий ему человек становится автоматически его врагом.

Я не питаю личных чувств ненависти к г. Солженицыну. Мне просто жаль, что он не в состоянии понять, что у каждого человека есть право думать иначе. Мне кажется, что его интеллектуальная нетерпимость была весомым фактором в несостоявшихся надеждах сыграть решающую роль в эволюции посткоммунистической России.

С уважением  
Ричард ПАЙПС.

США.

---

Уважаемый г-н редактор!

Опять<sup>1</sup> я вынужден защищать свою честь и достоинство от посягательств на них А. И. Солженицына. «Не кто иной, как Давид Бург, благосклонно комментировал книгу Флегона», — пишет Солженицын в последней публикации своих мемуаров (2000, № 12, стр. 127). Книга Флегона — месиво из мерзостей и пошлости. Благосклонный комментарий к ней свидетельствовал бы о низости, да и просто о непроходимой глупости его автора. Я вообще не помню, чтобы я публично высказывался по поводу этой вонючей стряпни (было противно). А любая благосклонность совершенно исключена. Было бы интересно узнать, на чем Солженицын основывает свое высказывание.

Злосчастная тема Давида Бурга нет-нет да и всплывает мутным пятном в солженицынском повествовании. Автору невдомек, что облыжный и безответственный оговор самого незначительного, с его возвышенности, человека ставит под сомнение достоверность повествования в целом. Вопросы о нравственности подобного поведения я здесь не ставлю. Он был бы, очевидно, не по адресу.

С уважением  
А. ДОЛЬБЕРГ (Давид БУРГ).

Англия.

---

<sup>1</sup> См. «Новый мир», 1999, № 4. (Примеч. ред.).

---

От редакции. Публикация мемуарной книги Александра Солженицына «Угодило зёрнышко промеж двух жерновов» будет в текущем году продолжена.

---

# БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЕ ЛИСТКИ

## КНИГИ



**Нина Горланова.** Дом со всеми неудобствами. М., «Вагриус», 2000, 366 стр., 5000 экз.

Повести «Филологический амур», «Коммуналии» и избранные рассказы.

**Юлий Даниэль.** «Я все сбиваюсь на литературу...». Письма из заключения. Стихи. М., Общество «Мемориал», Издательство «Звенья», 2000, 895 стр., 2000 экз.

Лагерные письма поэта, прозаика и переводчика Юлия Марковича Даниэля (1925 — 1988) с 1966 года (арестован в 1965-м) по 1970-й, а также подборка стихотворений, написанных им в заключении. Автор предисловия и комментариев — А. Ю. Даниэль. Ценность развернутых (около 200 страниц) комментариев заключается прежде всего в расшифровке глухих для непосвященного намеков и упоминаний в письмах, что составляет вместе с самими письмами связное повествование о реальной общественной и литературной жизни в СССР.

**Валерий Залотуха.** Последний коммунист. Роман. СПб., «ИНАПРЕСС», 2000, 224 стр.; а также: **Николай Кононов.** Похороны кузнечика. Роман. СПб., «ИНАПРЕСС», 2000, 288 стр.; **Марина Палей.** Ланч. Роман. СПб., «ИНАПРЕСС», 2000, 224 стр.; **Алексей Слаповский.** День денег. Роман. СПб., «ИНАПРЕСС», 2000, 224 стр.; **Светлана Шенбрунн.** Розы и хризантемы. Роман. СПб., «ИНАПРЕСС», 2000, 672 стр.; **Михаил Шишкин.** Взятие Измаила. Роман. СПб., «ИНАПРЕСС», 2000, 448 стр.

Шесть книг, изданных в едином оформлении (каждая тиражом 650 экз.) шести финалистов Литературной премии Smirnoff-Букер 2000 года. Лауреатом премии стал Михаил Шишкин, первая публикация его романа состоялась в журнале «Знамя», 1999, № 10, 11, 12.

**Руслан Киреев.** Уроки любви. М., Рекламно-компьютерное агентство газеты «Труд», 2000, 736 стр., 5000 экз.

Собрание художественно-документальных очерков, посвященных женщинам, оставившим след в творчестве известных писателей. «Великая литература — это литература великих страстей, среди которых на первом месте... любовь», «Но эта книга не только о женщинах в жизни писателей... это в не меньшей степени книга о них самих. Ибо именно в любви наиболее ярко и неожиданно проявляется характер недоужинного человека» (из авторского предисловия). Очерки помещены в двух разделах, в первом — повествования о русских писателях (от Жуковского и Батюшкова до Маяковского и Есенина), во втором — о зарубежных (Лопе де Вега и Джонатан Свифт список начинают, Хемингуэй и Сент-Экзюпери заканчивают).

**Иван Коневский (Ореус).** Мечты и думы. Стихотворения и проза. Составитель Е. Нечепорук. Томск, «Водолей», 2000, 640 стр., 1000 экз.

Самое полное издание сочинений одного из первых русских символистов, знакомство с которым было возможно до сих пор только по антологиям и двум авторским сборникам начала века.

**Михаил Рошин.** Сад непрерывного цветения. Проза разных лет. Том 1. Повести, рассказы, эссе. М., «Пик», 2000, 568 стр., 5000 экз.

**Михаил Рошин.** Серебряный век. Проза разных лет. Том 2. Драматургия, эссе. М., «Пик», 2000, 584 стр., 5000 экз.

Двухтомник известного драматурга, а также одного из «неформальных лидеров» прозы 60 — 70-х годов. В первый том вошло составленное автором микроизбранное из прозы, «все заметные или заветные рассказы», по словам автора («Бунин в Ялте», «Мой учитель Гриша Панин», «Солнце», «Морская торговля», «Сад» и др.), а также рошинский вариант «дневника писателя» — «Блок» ежедневных записей с 1992 по 1996 год. Второй том составили известные пьесы («Седьмой подвиг Геракла», «Старый Новый год», «Перламутровая Зинаида» и др.), а также здесь публикуется новая пьеса «Серебряный век»; завершает том эссеистика из «Блока 1995 — 1996».

**Улов.** Современная русская литература в Интернете. Выпуск 1 (весна 2000). М., «АРГО-РИСК»; Тверь, «КОЛОННА», 2000, 248 стр.

Сборник прозы и поэзии, составленный по итогам литературного конкурса в Интернете «УЛОВ» (<http://rating.rinet.ru/ulov/2000v/index.html>), проходившего весной 2000 года. Произведения оценивались по двум номинациям: проза (рассказ, эссе, отрывок из повести или романа, имеющий самостоятельное значение) и поэзия (подборка стихотворений или небольшая поэма). Лауреатами весеннего конкурса 2000 года стали прозаики Леонид Костюков, Николай Кононов, Владимир Коробов, Константин Плешаков, Асар Эппель и поэты Владимир Гандельсман, Полина Барскова, Ирина Ермакова, Светлана Кекова; их произведения и составили основу сборника, кроме того, в книгу вошли произведения, названные лучшими отдельными членами жюри, в составе которого Алексей Алехин, Дмитрий Бавильский, Андрей Василевский, Сергей Костырко, Дмитрий Кузьмин, Илья Кукулин, Макс Фрай, Елена Холмогорова, Евгений Шкловский.

**Петер Хандке.** Страх вратаря перед одиннадцатиметровым. Повести. СПб., «Амфора», 2000, 414 стр., 6000 экз.

Три, теперь уже можно сказать, классические повести знаменитого австрийца, представшего когда-то перед публикой скандальным представителем молодых европейских интеллектуалов из «бунтующего 68 года»; затем — в качестве одного из лучших мастеров немецкой прозы второй половины века, наконец — драматургом, по сценариям которого Вим Вендерс снял свои знаменитые фильмы «Ложное движение» и «Небо над Берлином». Русскому читателю не повезло — после первой книги Хандке на русском языке «Повести» (М., «Прогресс», 1980) прошло ровно двадцать лет, прежде чем появилась в переводе его вторая книга «Медленное возвращение домой» (см. предыдущие «Библиографические листки»). Аннотируемая же здесь книга издательства «Амфора» полностью повторяет состав сборника Хандке 1980 года: «Страх вратаря перед одиннадцатиметровым» (перевод В. Курелла), «Короткое письмо к долгому прощанию» (перевод М. Рудницкого), «Нет желаний — нет счастья» (перевод И. Каринцевой). Жаль, что издатели не пошли по этому пути дальше и не воспроизвели еще раз вступительную статью Д. Затонского «Художественный мир Петера Хандке» — она гораздо полнее представляет писателя, нежели помещенная в новом сборнике короткая справка.



**2000 лет христианской культуры.** Вестник Российского гуманитарного научного фонда. М., 2000, № 3, 334 стр., 1000 экз.

Специальный тематический выпуск «Вестника...». В нем шесть разделов: «Христианство и развитие гуманитарной мысли», «Христианство и история человечества», «Христианство и духовно-нравственные искания русского общества», «Христианство и словесность», «Христианство и изобразительное искусство и архитектура», «Христианство и музыка». Представлены работы П. П. Гайдено, С. С. Хоружего, А. Б. Тарасова, В. Ф. Федорова, Р. В. Светлова, Б. Н. Тарасова, Е. И. Кириченко и других.

**За Глинку!** Против возврата к советскому гимну. Сборник материалов. Составители М. О. Чудакова, А. Д. Курилкин, Е. А. Тоддес. М., «Языки русской культуры», 2000, 128 стр.

Несколько десятков коллективных обращений к президенту, Государственной Думе, членам Совета Федерации, заявления, выступления, письма, телеграммы, интервью и т. д. с призывом отказаться от идеи сделать гимном новой России музыкальный символ СССР. Под обращениями более ста подписей ведущих писателей, журналистов, художников, музыкантов, священнослужителей, редакторов ведущих газет и журналов, политиков и просто граждан России. Книга оказалась не в состоянии представить имена всех протестовавших, в частности, под текстом заявления «Мы не признаем этот гимн», вывешенным в Интернете ([www.polit.ru/antigimn.html](http://www.polit.ru/antigimn.html)), в книге значится: «3027 подписей на момент сдачи сборника в печать». Для большинства протестующих вопрос нового гимна — принципиальный вопрос: «Возрождение коммунистического гимна сегодня — это не просто тоска по ушедшим временам... ностальгия, воплотившаяся в государственный гимн, — это уже не ностальгия. Это попытка положить отжившие стереотипы в основу новой государственной политики. Это — шаг к реваншу».

**Поляки и русские в глазах друг друга.** Ответственный редактор В. Хорев. М., «Индрик», 2000, 272 стр.

Сборник статей, составленный на основе материалов организованной Институтом славяноведения РАН и Институтом литературных исследований Польской академии

наук конференции «Восприятие поляков русскими и русскими поляков», прошедшей в Москве в 1997 году. В сборнике представлены: Я. Мачеевский («Стереотип России и русских в польской литературе и общественном сознании»), С. Фалькович («Восприятие русскими польского национального характера и создание национального стереотипа поляка»), Б. Носов («Представление о Польше в правящих кругах России в 60-е гг. XVIII в.»), Л. Горизонтов («Выбор носителя „русского начала“ в польской политике Русской империи. 1831 — 1917»), М. Понкинский («Русские и Россия в польской культуре конца XIX — начала XX в.»), В. Тихомирова («Россия и русские в польской лагерной прозе») и другие.

**Курт Рисс.** Геббельс. Адвокат дьявола. Перевод с английского В. Рубцова. М., «Центрполиграф», 2000, 492 стр.

Жизнеописание Геббельса и соответственно некоторых страниц истории фашистской Германии и нацистской идеологии; а также — что делает эту книгу по-настоящему интересной и, увы, актуальной — описание принципов работы машины «геббельсовской пропаганды», отсылающей читателя и к Макиавелли, и к Сталину, и рассказ о том, как закомплексованный интеллектуал-социалист, претендовавший на свое место среди «высоколобых», становится обслугой Тоталитарного палаческого режима и отслуживает свое не за страх, а за совесть. (Об этом см. выразительнейшую публикацию отрывков из дневников Геббельса с развернутым комментарием Елены Ржевской / Ржевская Елена. Геббельс. Портрет на фоне дневника. Перевод фрагментов дневника Й. Геббельса с немецкого Л. Сумм. — «Новый мир», 1993, № 2 — 4/.)

**Олдос Хаксли.** Серое Пресвященство. Этюд о религии и политике. Перевод с английского В. Гольшева и Г. Дашевского. М., Московская школа политических исследований, 2000, 320 стр., 3000 экз.

Впервые на русском языке роман-исследование Хаксли, посвященный жизни и деятельности ближайшего помощника кардинала Ришелье, «серого кардинала», монаха Жозефа, одного из тех, кто реально определял европейскую политику во времена Тридцатилетней войны. В качестве предисловия в книге помещено эссе Исайи Берлина «Олдос Хаксли».

Составитель Сергей Костырко.

## ПЕРИОДИКА



«Арион», «Вести.Ру», «Гражданинъ», «Даугава», «Дружба народов», «Дуэль», «Ex libris НГ», «Завтра», «Знамя», «Известия», «Иностранная литература», «Коммерсантъ», «Кулиса НГ», «Лабиринт», «Лимонка», «Литература», «Литературная газета», «Литературная Россия», «Москва», «Московские новости», «Народ Книги в мире книг», «Наш современник», «НГ-Наука», «НГ-Религии», «НГ-Сценарии», «Независимая газета», «Новая газета», «Новая Польша», «Новая русская книга», «Новая Юность», «Новый Журнал» (Нью-Йорк), «Новый журнал» (Санкт-Петербург), «Общая газета», «Огонек», «Подъем», «Полис (Политические исследования)», «Посев», «Российские вести», «Русская мысль», «Русский Журнал», «Субботник НГ», «Труд», «Урал», «Фигуры и лица»

**Аккадское сказание о Гильгамеше, о все постигшем.** Фрагменты. Стихотворное переложение Семена Липкина. — «Иностранная литература», 2000, № 10. Электронная версия: <http://www.infoart.ru/magazine/inostran>

Стихотворное переложение С. Липкина опирается на научный перевод с аккадского И. М. Дьяконова. В качестве предисловия — статья Вячеслава Вс. Иванова «Еще одно рождение Гильгамеша».

**Геннадий Аксенов.** О гражданской вменяемости. — «Посев», 2000, № 11. Электронная почта: <http://www.webcenter.ru/~posevru>

«Никто не знает, хотел ли Коба быть диктатором? Вряд ли. Его идеалом был — народный герой, абрек, то есть тот же полевой командир. Но десять лет ему кричали отовсюду: бери власть, товарищ Сталин!.. И как представляется по его редким собствен-

ным репликам и фразам, а не написанным речам, основное чувство его по отношению ко всем нам, подданным, — это презрение...»

**Светлана Алексиевич.** Чудный олень вечной охоты. — «Даугава». Литературно-художественный и публицистический журнал. Рига, 2000, № 4, июль — август.

Главы из новой книги, на этот раз — *о любви*.

**Максим Амелин.** На потеху следопытам. — «Знамя», 2000, № 11. Сетевой журнал «Знамя»: <http://www.infoart.ru/magazine/znamia>

«Опыт о себе самом, начертанный в начале 2000-го года», «Катавасия на Фоминой неделе» и другие стихи антибукеровского лауреата.

**Владимир Аникин.** Лев Толстой и Леонид Леонов. — «Москва», 2000, № 11. Электронная версия: <http://www.moskva.cdru.com>

Говорит Леонид Леонов: «Тему „Молодой гвардии“ в ЦК комсомола предлагали и мне, но я отказался».

**Лев Аннинский.** «Век мой, зверь мой...». Из ответов на записки. — «Труд», 2000, № 207, 3 ноября. Электронная версия: <http://www.trud.ru>

«Идеально *перевоспитанного* нового Адама не получится. Его не будет. Это — единственно неоспоримое открытие XX века, результат его опыта, удостоверенная им почва бытия».

**Антимифы Фаины Гримберг.** Беседу вел Максим Гликин. — «Общая газета», 2000, № 45, 9 — 15 ноября. Электронная версия: <http://www.og.ru>

Нашумевшая книга Фаины Гримберг «Две династии. Вольные исторические беседы» направлена против *романовской концепции*, то есть той «писаной» русской истории, в которой все оценено и интерпретировано с точки зрения правящей династии Романовых (см. о книге в «Книжной полке Александра Носова» в настоящем номере «Нового мира»). Автор также считает, что в недалеком будущем вместо истории наций будут писать гораздо более объективную историю территорий.

**Татьяна Бек.** Музыка, разьевшая бетон, или Поэзия как самоорганизующаяся система. — «Арион». Журнал поэзии. 2000, № 3. Электронная версия: <http://www.infoart.ru/magazine/arion>

Дмитрий Сухарев.

**Сергей Бирюков.** Любовь к трем авангардам. Разрозненные заметки. — «Арион». Журнал поэзии. 2000, № 3.

«...Недавний яркий образец такого взаимодействия был явлен на одной из берлинских выставок: Марина Абрамович, которую в Германии называют „бабушкой перформанса“, хотя ей всего 53 года, реализовала блестящую идею. Установив на стене седло от велосипеда и две подставки для вытянутых ног, она предстала перед зрителями в освещенном квадрате (Малевич! Малевич! — *А. В.*) на стене на этом седле и подставках совершенно обнаженной и продержалась так два часа. „Все вибрирует“ — под таким заголовком вышла заметка о выставке в „Кунстшайтунг“. Такова одна из форм поэтического обнажения и взаимодействия с историческим авангардом».

Последняя фраза замечательно воспроизводит интонацию знаменитой концовки из «Случаев» Хармса: *вот какие большие огуры продаются теперь в магазинах!*

**Борис Бухштаб.** «Мы современнее марксистов...». Из записей 1920-х годов. — «Новая русская книга», Санкт-Петербург, № 5. Электронная версия: <http://guelman.ru/slava/nrk/nrk.html>

Публикуемые записи Б. Я. Бухштаба (1904 — 1985) в полном объеме будут представлены в томе его избранных работ, готовящемся к выходу в издательстве «Академический проект» под редакцией М. Д. Эльзона и А. Е. Барзаха.

**Дмитрий Быков.** Тля. — «Огонек», 2000, № 44, ноябрь. Электронная версия: <http://www.ropnet.ru/ogonyok>

Впервые за последние 37 лет переиздан одиозный роман Ивана Шевцова «Тля». Критик считает, что реконструировать 60-е когда-нибудь будут именно по этой *бесценной тле в янтаре исторического времени*.

**Галина Вишневская, Мстислав Ростропович.** Мы не будем слушать этот гимн стоя. — «Московские новости», 2000, № 44, 7 — 13 ноября. Электронная версия: <http://www.mn.ru>

Отношение Галины Вишневской и Мстислава Ростроповича к гимну Александра Ясно из названия их открытого письма. А Никита Богословский («Известия», 2000, № 222, 24 ноября) напоминает, что *музыка в вокальных произведениях пишется на стихи*, а не наоборот, и предлагает правительству сначала объявить конкурс на стихи для гимна, не стесняя поэтов утвержденным ритмом и метром.

**Виктор Ворошильский.** Мои русские. Предисловие и перевод с польского Натальи Горбаневской. — «Новая Польша». Общественно-политический и литературный ежемесячник. Варшава, 2000, № 9 (12).

Страницы книги *«Moi Moskale»*, подготовленной автором незадолго до смерти. В русском переводе из названия исчезают «москали», придающие ему особый оттенок. Персонажи: Блок, Маяковский, Цветаева, Хармс, Высоцкий и другие авторы, которых Ворошильский переводил на польский.

**Линор Горалик.** Стратегический расчет и человеческий фактор. — «Русский Журнал» <<http://russ.ru/krug/razbor>>

Перечитывая Ершова: «Конек[-Горбунок] совершил просчет, типичный для многих великих стратегов: он не учел человеческого фактора. Во-первых, на последнем этапе, готовя убийство царя через сварение заживо, Конек доверился разговорам Ивана о том, что у Царицы „сухотка“ и что она не в Ивановом вкусе. Во-вторых, он недооценил саму Царицу: ему не приходило в голову, что у этой пятнадцатилетней девочки могут быть виды на престол и что она так бесцеремонно, так прямо заявит о них народу. Он также не учитывал готовности народа пойти за молодыми и красивыми, а не за мудрыми и достойными. Как Конек пережил внезапный брак Ивана с Царицей, крушение собственных надежд, чувство провала — Ершов умалчивает».

См. также грустную статью Линор Горалик «Хорошего медведя должно быть много» (<http://www.russ.ru/krug/razbor>) о том, что Заходер умер, а Винни-Пух жив.

**Нина Горланова.** Актеон, подсматривающий за Дианой. Рассказ. — «Урал», Екатеринбург, 2000, № 11. Электронная версия: <http://www.art.uralinfo.ru/literat/ural> или <http://www.infoart.ru/magazine/ural>

«Однако про Дмитрия не верилось! Верилось — на 10% — про А., который всегда забрасывал себя шикарным жестом в кресло и пых-пых. Диана: хе-хе, а он: ге-ге-ге. Потом шлеп-шлеп к шкафу с книгами, бах-бах — такие тектонические подвижки происходили в результате выработки породы, а руки-то, руки — трясь-трясь, мгновенно пьянел. Диана его жалела: алкоголик, если б НЕ СОГЛАСИЛСЯ, то с работы его могли бы пих-пих и ку-ку!..»

См. также рассказы Нины Горлановой «История одной депрессии» и Нины Горлановой и Вячеслава Букура «Поездка в Англию» в новом пермском альманахе «Лабиринт» (2000, № 1).

**Александр Дугин.** Последняя метаморфоза мужчины. — «Завтра», 2000, № 45, 5 ноября. Электронная версия: <http://www.zavtra.ru>

«Все началось с того, что женщина была приравнена к человеку...»

**Никита Елисеев.** <Рецензии>. — «Новая русская книга», Санкт-Петербург, № 5. *Мир Виктории Токаревой, описанный слогом Набокова*, — так характеризует критик роман Ольги Славниковой «Один в зеркале» (М., «Грантъ», 2000).

«Свобода» Михаила Бутова — это наша «Фиеста» с морозом под тридцать градусов и отмороженными ушами. Критик обращает внимание на то, что в журнальной публикации («Новый мир», 1999, № 1, 2) роман назван — «Свобода», а в книжной (СПб., «ИНАПРЕСС», 2000) — «Svобода»: «Согласитесь, это — не одно и то же».

Критик утверждает, что из текста романа Сергея Болмата («Сами по себе». М., «Ad marginem», 2000) явствует: *автора хоть один раз, но били... и сильно, а вот стрелять он не стрелял ни разу.*

**Сергей Есин.** Пир побежденных. Пища — это ликующий стимул жизни. — «Субботник НГ», 2000, № 41, 18 ноября. Электронная версия: <http://saturday.ng.ru>

Чем кормили Есина в армии в 1961 году. Кулинарные рецепты в прозе Айрис Мердок. Меню торжественного *smirnoff*-букеровского обеда в ресторане «Метрополь».

**Александр Закуренко.** Боль и свобода Васыля Стуса. — «Ex libris НГ», 2000, № 44, 23 ноября. Электронная версия: <http://exlibris.ng.ru>

«[Васыль] Стус (погибший в 1985 году в лагерном carcere. — А. В.) — поэт Великой Империи и великая жертва этой же Империи. Не уверен, что ему легче было бы жить в стране победившей моноидеи... даже если эта идея — независимость Украины, поскольку имперское богатство для культуры плодотворней, чем бесконечная спекуляция вокруг страшного прошлого и светлого будущего».

**Сергей Земляной.** Ленин и «третий путь» России. Непраздничные размышления по случаю 7 ноября. — «Фигуры и лица», 2000, № 18, 2 ноября. Электронная версия: <http://faces.ng.ru>

Текст статьи философа Земляного был первоначально выставлен в «Русском Журнале» (<http://www.russ.ru>), а через некоторое время там обнаружился отклик Антона

Крайнего, который отмечает, что в выступлении перед французской общественностью Владимир Путин коротко и ясно сформулировал то, о чем Земляной написал длинно и темно. Например, революцию 1917 года Путин назвал *единственной возможностью для сохранения страны в тех условиях, впоследствии же действия большевиков оказались именно такими, какими они и оказались, из-за чрезмерного увлечения централизацией власти и излишней идеологизации*. Наглый Антон Крайний (воспользовавшийся известным псевдонимом Зинаиды Гиппиус) рекомендует «Русскому Журналу» вместо того, чтобы публиковать тексты Земляного, не имеющие должной политической заостренности (*message*), шире привлекать к сотрудничеству Путина с его блестящей государственно-политической афористикой.

**Михаил Золотоносов.** Умысел и вымысел. — «Московские новости», 2000, № 45, 14 — 20 ноября.

«Не занимаясь конкретными фигурами, он (американский славист Омри Ронен, автор книги „Серебряный век как умысел и вымысел“. — А. В.) описал универсальный механизм, работающий и в отношении литературы 1960-х и всех последующих годов, когда „действующие лица“ окулируют себя фимиамом и создают о себе историко-литературные мифы». Кстати, Ронен раскопал, что впервые выражение «серебряный век» употребил Иванов-Разумник в статье 1925 года «Взгляд и Нечто», употребил в самом *саркастическом* смысле.

**А. Б. Зубов.** Унитаризм или федерализм. К вопросу о будущей организации государственного пространства России. — «Полис (Политические исследования)». Научный и культурно-просветительский журнал. 2000, № 5. Электронная версия: <http://www.politstudies.ru>

«Федерализм как институт, для России неорганичный и объективным потребностям страны внеположный, должен быть, скорее всего, отброшен *in corpore*... Формально юридически для этого есть основания. Если признать незаконным большевистский переворот 25 октября 1917 г., то тогда и акты советской власти не имеют юридической силы, включая те, которые превратили часть России в РСФСР». См. также статью А. Зубова «Политическое будущее Кавказа: опыт ретроспективно-сравнительного анализа» («Знамя», 2000, № 4).

**«И судится Богом человеческое произволение...».** — «Москва», 2000, № 11.

Николай Большунов, недавно доказывавший в журнале «Москва» (2000, № 8), что в штрихкодах нет числа 666, изменил свою точку зрения на противоположную и просит прощения у православных христиан за предшествующую дезинформацию.

**«Извините за мысли...».** Переписка Сергея Довлатова с Игорем Ефимовым [1979 — 1984 гг.]. Предисловие Игоря Захарова. — «Огонек», 2000, № 43, ноябрь.

По мнению Игоря Ефимова, в письмах его корреспондента встречается обидная неправда про живых людей, порой — и обидная правда, а иногда — «прямая клевета, на которую Довлатов в художественном азарте был вполне способен». Цитата: «Иосиф [Бродский] был ужасен. Унижал публику. Чем ее же и потешал. Прямо какой-то футуризм. Без конца говорил, например: „...В стихотворении упоминается Вергилий. Был такой поэт...“ И так далее. Зло реагировал на аплодисменты. Прямо как Жан Татлян. Допускал неудачные колкости... Стихи же — как обычно...» (из письма Довлатова к Ефимову от 31 октября 1979 года). Вопрос для литературной викторины: этот довлатовский пассаж есть а) обидная неправда, б) обидная правда, в) прямая клевета?

**Генрих Йоффе.** Второй российский Октябрь. — «Новый Журнал», Нью-Йорк, № 220 (сентябрь 2000 года).

Июль — декабрь 1993-го в Москве, свидетельства очевидца. Автор — историк, живущий ныне в Монреале.

В этом же номере напечатан сводный указатель к № 211 — 220 «Нового Журнала».

**Александр Казинцев.** Жертва вечерняя. — «Наш современник», 2000, № 11. Электронная версия: <http://read.at/nashsovr>

К 120-летию Блока. В частности, о том, как его знаменитая статья «Народ и интеллигенция» (1908) вызвала *возмущение столичных интеллектуалов*. Цитирую: «Реакция этого спянного кружка показательна. Меры были выбраны вполне полицейские — П. Струве отказался печатать статью в журнале „Русская мысль“, куда Блок первоначально передал ее. Хотя царская полиция, скорее всего, и ограничилась бы цензурным запретом текста, показавшегося ей „вредным“, — интеллигенция оказалась избобрателнее. В выходные русской свободной мысли — Религиозно-философское общество состоялась сокрушительная проработка. „...Огненная ругань Столпнера“, — характеризовал Блок тональность одного из выступлений. Но и этого показалось мало — после-

довала критика в прессе. Профессиональные проработчики тридцатых годов приемы и методы брали уже готовыми...»

У читателя может сложиться впечатление, что а) Струве почему-то *обязан* был напечатать статью Блока; б) из-за Струве статья Блока так и осталась ненапечатанной; в) *непонятно почему состоявшееся* обсуждение ненапечатанной статьи было солидарно-проработочным. Поскольку Казинцев не касается содержания полемики, его, видимо, возмущает сам факт критики (*Блока!*), — мышление вполне «полицейское».

А на самом деле... Из письма матери от 5 — 6 ноября 1908 года: «Я пишу сегодня реферат для религиозно-философского собрания». Спустя неделю Блок прочел в Религиозно-философском обществе доклад о народе и интеллигенции под названием «Россия и интеллигенция», но публичные прения были запрещены полицией, и только 25 ноября состоялось закрытое обсуждение. 12 декабря Блок прочитал тот же доклад в Литературном обществе; именно к *этому* повторному чтению относится упоминание Б. Г. Столпнера. Из письма матери от 14 декабря 1908 года: «Оживление было необычайное. Всего милее были мне: речь Короленко, огненная ругань Столпнера, защита Мережковского и очаровательное отношение ко мне стариков из „Русского богатства“ (Н. Ф. Анненского, Г. К. Градовского, Венгерова и проч.). Они кормили меня конфетами, аплодировали и относились как к любимому внуку, с какой-то кристальной чистотой, доверием и любезностью». В этом контексте даже «огненная ругань» прочитывается иначе. Существо критики (устной и печатной) было для Блока важно, см. тщательно составленное им «Резюме некоторых религиозно-философских и литературных прений (по поводу меня)» в двадцать четвертой записной книжке, запись от 22 декабря 1908 года. Решительно не согласный с выступлением Блока, Струве решил не печатать текст доклада в редактируемом им журнале «Русская мысль»; статья Блока под названием «Россия и интеллигенция» появилась в журнале, основанном предпринимателем П. Рябушинским, «Золотое руно» (1909, № 1). Сравнение с тридцатыми годами оставим на совести Казинцева.

**Николай Калягин.** Чтения о русской поэзии. — «Москва», 2000, с № 1 по № 6, с № 8 по № 10, продолжение следует.

Впервые чтения *о русской поэзии как о части русской православной культуры* были представлены Н. И. Калягиным (род. в 1945) в виде докладов на заседаниях Русского философского общества им. Н. Н. Стрехова (создано в 1992 году в Петербурге). «Подумайте сами, что стало бы с русской литературой Нового времени, если бы Бог не спас Россию в декабре 25-го? В кровавой мясорубке сгнули бы Пушкин и Баратынский, Хомяков и Киреевский. Тютчев прожил бы жизнь нищим эмигрантом, Гоголь — жителем „ближнего зарубежья“. Достоевский и Фет в колонии для беспризорников получили бы новые имена — Бесфамильный и Непомнящий. Лев Толстой вовсе не родился бы. На память о безвременно погибшей России остались бы Ломоносов и Державин, Карамзин и Крылов, мерцали бы начатки какого-то непонятного великого будущего в стихах Жуковского, Батюшкова, молодого Пушкина... И только одно произведение резко выделялось бы своим подавляющим, загадочным совершенством — грибоедовское „Горе от ума“, законченное к началу 1824 года».

**Бахыт Кенжеев.** Взятие Измаила *sub specia aeternitas*. — «Кулиса НГ», 2000, № 15, 17 ноября. Электронная версия: <http://curtain.ng.ru>

Беспримерная апология *трудного* романа Михаила Шишкина «Взятие Измаила» («Знамя», 1999, № 10, 11, 12), который будто бы является *вехой в развитии российского самосознания*. «Может быть, я предпочел бы новую „Капитанскую дочку“, или „Анну Каренину“, или „Дар“ — но поезд ушел, да и кто знает, может быть, современникам так же трудно было понять истинный смысл перечисленных романов, как нам — смысл современной литературы». См. также гораздо более трезвый отклик Марии Ремизовой «Вниз по лестнице, ведущей вниз» («Новый мир», 2000, № 5).

**И. М. Клямкин, Л. М. Тимофеев.** Теневой образ жизни. Социологический автопортрет постсоветского общества. — «Полис (Политические исследования)». Научный и культурно-просветительский журнал. 2000, № 4, 5.

Работа написана на основании данных крупного исследовательского проекта «Теневая Россия» (при поддержке Фонда К. и Д. МакАртуров).

**Вадим Кожинов.** Россия как цивилизация и культура. К 1200-летию России. — «Наш современник», 2000, № 5, 7, 9.

Историософия России. Статья вошла в сборник работ В. Кожинова «Победы и беды России. Русская культура как порождение истории» (М., «Алгоритм», 2000), в котором мое внимание, в частности, привлекло брошенное как бы мельком — в статье о



пушкинской поэзии — замечание, что в наше время не явился еще поэт, могущий действительно говорить об эпохе 1917 — 1991 годов.

*В конце января — когда я читал эту верстку — Вадим Кожин умер. Для меня это большая личная потеря, я в юности бужвально вырос на его книгах о русской поэзии. У меня не было случая (и я жалею, что такого случая не искал) сказать ему об этом. А все «но...», казавшиеся столь существенными при его жизни, уже не кажутся сейчас таковыми...*

**Лешек Колаковский.** О варварстве. Беседа с Катажиной Яновской и Петром Мухарским. — «Наша Польша», Варшава, 2000, № 10 (13).

Польский философ видит особое превосходство европейской цивилизации в том, что она в состоянии (по мнению Колаковского, с XVI века) взглянуть на себя критически, посмотреть на себя со стороны. Беседа происходила в октябре 1997 года.

**Сергей Королев.** Вон из Москвы?.. Нужна ли России новая столица. — «НГ-Сценарии», 2000, № 10, 15 ноября. Электронная версия: <http://scenario.ng.ru>

Не нужна, уже есть *истинная*, выстраданная столица — Москва. О неизбежности москвоцентризма.

**К. Н. Костюк.** Православный фундаментализм. — «Полис (Политические исследования)». Научный и культурно-просветительский журнал. 2000, № 4, 5.

Православная Церковь не тождественна *православному фундаментализму*, который... неправославен. Статья была написана до юбилейного Архиерейского собора. Автор — докторант Католического университета (Айштетт, ФРГ).

**Виктор Кузнецов.** Он скрывал тайну гибели Есенина. — «Новый журнал». Общественно-политическое, литературно-художественное издание. Санкт-Петербург, 2000, № 2.

О троцкисте Георгии Феофановиче Устинове (1888 — 1932), с которым Есенин пил чай в «Англетере» и который повесился в 1932 году (скорее всего, повесили, уточняет автор, — слишком много знал). В. Кузнецов уверен, что Есенин был убит по приказу Троцкого.

Я подозреваю, что создатели *этого* «Нового журнала», зарегистрированного в марте 2000 года, и вправду ничего не слышали о почтенном *ню-йоркском* «Новом Журнале» (см. в настоящем выпуске «Периодики»), что несколько их не извиняет.

**Феликс Кузнецов.** Шолохов и «Антишолохов». Конец литературной мистификации века. — «Наш современник», 2000, № 5, 6, 7, 11.

Главы из книги о том, что роман «Тихий Дон» написан Михаилом Шолоховым. В № 11 «Нашего современника» напечатано письмо Льва Колодного о том, что в книге Феликса Кузнецова (глава «Посредник») содержатся выдумки, порочащие его, Колодного, честь и достоинство, но ему, Колодному, не хотелось бы с именем автора «Тихого Дона» связывать еще один процесс, который бы *доставил радость клеветникам*.

**Станислав Куняев.** Поэзия. Судьба. Россия. — «Наш современник», 2000, № 11, продолжение следует.

Мемуары: главы о студенческой юности и распределении в иркутскую газету перетекают в размышление о том, что такое *знаменитый еврей*. Начало см. в № 1 — 9, 11, 12 за 1999 год и в № 1, 3 за 2000 год.

**Валентин Курбатов.** Отражение небесной битвы. Заметки на полях книг Алексея Варламова. — «Литературная Россия», 2000, № 45, 10 ноября. Электронная версия: <http://www.litrossia.ru>

Кроме проанализированных произведений Варламова «Лох», «Рождение», «Затонувший ковчег» см. также его роман «Купавна» («Новый мир», 2000, № 10, 11), повесть «Теплые острова в холодном море» («Москва», 2000, № 11) и статью «Убийство. Заметки о современной прозе» («Дружба народов», 2000, № 11).

**Александр Кырлежев.** Утвердится ли в России новая ересь? — «НГ-Религии», 2000, № 21, 15 ноября. Электронная версия: <http://religion.ng.ru>

«Если бы составители всех этих текстов (в восьмисотстраничном „Царском сборнике“. М., „Паломник“, 2000. — *А. В.*) не чувствовали все-таки некоторой грани, которая не позволяет им просто, без обиняков, повторить путь „Богородичного Центра“, они бы, конечно, недвусмысленно заявили о том, что Николай II — „новый Христос — для всей Вселенной“... Драматическая история о прославлении царя (как страстотерпца. — *А. В.*) обернулась историей о новой русской ереси. Конечно, тем самым на пороге XXI века Русь явила удивительную способность к религиозному творчеству, своего рода „христианскую пассионарность“, о которой давно устал мечтать гнилой христианский Запад».

**Алла Латынина.** «А вот вам ваш духовный ренессанс». — «Литературная газета», 2000, № 47, 22 — 28 ноября. Электронная версия: <http://www.lgz.ru>

О *неглубоком, но блестящем* романе Татьяны Толстой «Кысь»: «Мастерски смешанный коктейль из антиутопии, сатиры, пародийно переосмысленных штампов научной фантастики, сдобренный изысканной языковой игрой и щедро приправленный фирменной [татьяно-]толстовской мизантропией». Среди неупомянутых ингредиентов составителю «Периодики» привиделась было сильно *разбавленная и непереосмысленная* филологическая фантастика красноярца Михаила Успенского, но оный составитель вовремя вспомнил, что нужно делать, когда *кажется...* См. также рецензию Ольги Славниковой в настоящем номере «Нового мира».

**Александра Левандовская, Андрей Левандовский.** Угол преломления. Русский предприниматель в зеркале художественной литературы. — «Ex libris НГ», 2000, № 45, 30 ноября.

Развернутый вариант статьи — о купцах реальных и литературных — готовится к публикации в рамках тематического цикла «Социальная история и художественная литература» в журнале «Отечественная история».

**Илья Лепихов.** Вася любит папу, или Торжество замполиткорректности. — «Русский Журнал» <<http://www.russ.ru/krug/kniga>>

О недавно вышедшем сборнике «Лиля Брик — Эльза Триоле. Неизданная переписка. 1921 — 1970»: «И если Октябрьская революция совершалась во что-то благо, то этими сомнительными счастливицами едва ли не в первую очередь могут быть названы сестры Каган». См. также язвительную рецензию Михаила Золотоносова «Гнусные ожидания были обмануты» («Московские новости», 2000, № 42, 24 — 30 октября).

**Владимир Лефевр.** Где искать истоки демографического кризиса? Модель человека как сугубо рационального субъекта ведет к массовым моральным депрессиям. — «НГ-Наука», 2000, № 10, 22 ноября. Электронная версия: <http://science.ng.ru>

Выступление профессора Владимира Лефевра (Калифорнийский университет, Ирвайн) на симпозиуме «Рефлексивное управление» (Москва, октябрь 2000 года): традиционные макроэкономические модели, в основе которых лежит представление о человеке как о чисто рациональном существе, исчерпали себя, они не позволяют понять глубокие причины конфликтов, раздирающих сегодняшний мир, поскольку эти конфликты носят в большей степени моральный, чем экономический характер.

**Юлия Лидерман.** Храм после евроремонта, или Как сделано «высокое» в школе-студии А. Васильева. — «Знамя», 2000, № 11.

Хорошая статья, смешная.

**Эдуард Лимонов.** «Путин будет править столько, сколько захочет». Беседу вел Александр Вознесенский. — «Русский Журнал» <<http://russ.ru/krug>>

Беседа с Лимоновым о его мемуарной «Книге мертвых» и о прочих материях. «Как я не считал Венедикта Ерофеева значительным явлением в культуре — так и не считаю. Меня вообще раздражает любовь толп... Скажем, к Булгакову. У нас везде этот Булгаков. А я считаю, что „Мастер и Маргарита“ — достаточно посредственная книга. Она из той же области, что и „Наследник из Калькутты“... Точно так же есть еще одна якобы энциклопедия якобы русской жизни, крайне отвратительная — это „12 стульев“. Гимн пошлости! Очень не люблю я и Зошенко... На самом деле Жданов был прав, когда выступил против Ахматовой и Зошенко. Он с удивительным вкусом выбрал две стоящие того мишени. Пошлость Ахматовой: между будуаром и алтарем (это он еще мягко выразился!), — и Зошенко, который вроде бы сатирик — а на самом деле совершенно противоположное... По отношению к Ахматовой у меня всегда существовал гигантский протест. Я считал, что она недостаточно высокого уровня *artist* — скажем так. Когда я был молодым человеком, я не боялся думать на эти темы, но, может быть, не мог еще в деталях всего понять. Но сейчас, слава богу, понимаю».

**Марк Липовецкий.** Поэзия частного человека. — «Урал», Екатеринбург, 2000, № 11.

Александр Кушнер, Олег Чухонцев.

**Листая толстые журналы.** Подготовил Лев Айзенштат. — «Народ Книги в мире книг». Бюллетень ассоциации еврейских библиотек. Издается с августа 1995 года. Санкт-Петербург, № 28 (август 2000 г.). E-mail: [frenk@lea.spb.su](mailto:frenk@lea.spb.su)

Еврейские темы и авторы в литературной периодике, в том числе в «Новом мире» за 2000 год. В этом же номере бюллетеня есть составленная А. Френкелем библиография книг о Холокосте (начало в № 27).

**Владимир Максимов.** «Я — христианский анархист: мне будет неудобно при самой идеальной власти...». Беседу вел Александр Щуплов. — «Субботник НГ», 2000, № 42, 25 ноября.

Интервью 1994 года. «У меня были хорошие отношения с крупным итальянским политическим деятелем Джулио Андреотти... Будучи главой правительства и — неоднократно — министром иностранных дел, главой партии, он тем не менее в течение сорока лет еженедельно выступал с колонкой в журнале „Европео“. Как-то в разговоре с ним я говорил о том, как мало эффекта приносит мой журнал [„Континент“]. — Вы не правы, — сказал мне он. — Это должно быть регулярно. Я знаю: как бы я ни был занят, каждую неделю какое-то число итальянцев ждет моего выступления. Вы увидите, как с годами это скажется на вас, на вашем отношении к стране и читателю — и на отношении страны и читателя — к вам...» Интервью опубликовано к 70-летию со дня рождения Владимира Максимова.

**Кирилл Михайлов (kmih@vesti.ru).** Библия на скамье подсудимых. — «Вести.Ру» <<http://www.vesti.ru/2000/11/16>>

«Как сообщает агентство „Благовест-инфо“, в Верховном суде Канады рассматривается вопрос о соответствии канадским законам устава Троицкого западного университета (*Trinity Western University*) в провинции Британская Колумбия. По уставу этого частного университета, основанного Евангельской свободной церковью, студентам следует воздерживаться от внебрачных отношений, в том числе и от гомосексуальных. Чиновникам из Коллегии преподавателей Британской Колумбии, призванным следить за стандартами образования и выдавать сертификаты, показалось, что этот пункт устава ущемляет права человека... Коллегия подала в суд и уже проиграла два процесса в судах низшей инстанции. Теперь дело дошло до Верховного суда и получило скандальную огласку. Судья Клэр Л'Эре-Дюбе, известная в Канаде защитница прав сексуальных меньшинств, в запале полемики сравнила дискриминационные, по ее мнению, пункты устава *TWU* с призывами „убивать евреев“ и расизмом... Представьте себе человека, сознательно придерживающегося гомосексуальной ориентации. А теперь представьте, что он учится в христианском вузе и не находит в этом противоречия, хотя в Библии ясно сказано, что мужеложники Царства Божьего не наследуют (1 Кор. 6: 9 — 10) и что гомосексуализм противостоит естеству (Рим. 1: 27). Может ли нормальный человек сочетать в себе такие противоположности, не рискуя при этом впасть в раздвоение личности...»

См. также статью «Скауты против педерастов» в газете «Дуэль» (2000, № 45, 7 ноября), это перепечатка из бюллетеня «Церковные новости» (США, 2000, № 6). «Уже года два подряд в разных штатах шли судебные волокиты о праве скаутов изгонять из своей среды мужеложников. Скауты считаются негосударственной организацией и в вопросе гомосексуализма (так в тексте. — *А. В.*) до последнего времени придерживались христианских принципов. Несколько судебных процессов подтвердили права организации изгонять из своей среды гомосексуалистов, особенно если они являются руководителями молодежи. Однако это постановление Верховного суда Америки очень дорого обойдется всей этой организации. Газета „*The New York Times*“ от 29 августа сообщила, что достигнутый скаутами успех в судопроизводстве лишает их общественной поддержки. Так, в Калифорнии скаутским организациям было сказано, что они больше не имеют права пользоваться для своих сборов парками, школьными зданиями и вообще общественным имуществом. Десятки организаций и предприятий прекратили свою финансовую поддержку скаутам... Представитель банка „Чейз Манхеттен“ сказал, что „надо понять: их (скаутов) позиция создает конфликт с нашими обязательствами поддерживать ценности разнообразия“. В результате банк, который жертвовал скаутам 200 тысяч долларов в год, уже прекратил свою поддержку этой организации. Консультант комиссии по защите прав человека в штате Коннектикут заявил, что 8 ноября [2000 года] там состоится голосование по вопросу скаутов, и если окажется, что они нарушают антидискриминационный закон, то скауты не смогут больше пользоваться никакими общественными местами и зданиями...»

**Александр Могилянский.** Киев и киевляне в годы гражданской войны. — «Новый Журнал», Нью-Йорк, № 220 (сентябрь 2000 года).

«Конкурировать с этой блестящей картиной [„Белая гвардия“] не приходится. Но восполнить как-то ее точными и достоверными данными из других кругов украинской и русской интеллигенции, может быть, имеет смысл».

**Владимир Набоков.** Интервью радиостанции «Голос Америки». Публикация, предисловие и примечания Максима Д. Шраера. — «Дружба народов», 2000, № 11. Электронная версия: <http://www.infoart.ru/magazine/druzhaba>

Машинописная транскрипция радиоинтервью 1958 года хранится в архиве Владимира Набокова в Библиотеке Конгресса США. Рядом напечатана статья Максима Д. Шраера о том, почему Набоков не любил писательниц.

**Андрей Новиков.** Был ли Хоттабыч ваххабитом? — «Лимонка». Газета прямого действия. 2000, № 155, октябрь. Электронная версия: <http://www.geocities.com/CapitolHill/Parliament/5336>

«Мы, русские, по самой своей истории — ваххабиты».

**Лиза Новикова.** Поэт и Интернет. — «Коммерсантъ», 2000, № 217, 18 ноября. Электронная версия: <http://www.kommersant.ru>

«На сей раз поэт [Андрей Вознесенский] познакомился с Интернетом и спешит рассказать о нем читателям (на сайте <http://www.ozon.ru> выставлена его поэма „ru“. — А. В.). Единственно забыв о том, что не знающий Интернета читатель поэму его не найдет». См. еще более суровый отклик бессердечной Линор Горалик ([http://www.russ.ru/ist\\_sovr/time\\_signs](http://www.russ.ru/ist_sovr/time_signs)), которая, в частности, как и Лиза Новикова, отмечает, что «присутствующие в тексте „www.господи!ru” и „www.трубадуры.ru”, так мило выделенные синеньким и подчеркнутые полосочкой, не ведут, естественно, никуда».

На рецензию Лизы Новиковой неожиданно откликнулась сама Аделаида Метелкина (<http://www.russ.ru/krug/period>): «Андрей Андреевич [Вознесенский] вообще человек душевный, кроткий — и достойный при этом. Можно подтрунивать над его шейными платками и хлестаковистыми мемуарами, но нельзя припомнить ни одного случая, когда он наступал бы на кого-нибудь, кому-нибудь мстительно позавидовал, кого-нибудь предал, ошельмовал. Даже намек на подобные случаи не сохранилось в ядовитых анналах современности. Эпоха его не испортила. Мягко говоря, не самый бездарный из плеяды Политехнического, он остался таким же наивным, каким был во времена „Треугольной груши”. Подставился вот, точно неуклюжий подросток, с этой злосчастной ru, и получает по полной программе».

**Александр Панарин.** Агенты глобализма. — «Москва», 2000, с № 1 по № 11. Против глобализма и его агентов.

**Николай Переяслов.** Фактор читателя. Россия в зеркале романа. — «Подъем», Воронеж, 2000, № 12.

Виктор Пелевин. Александр Сегень. Анатолий Афанасьев. Андрей Коровин. Юрий Поляков.

**Геннадий Петров.** Верующий безбожник. — «Фигуры и лица», 2000, № 20, 30 ноября.

«Один из моих принципов: жить так, как будто (курсив мой. — А. В.) какое-то абсолютно справедливое существо видит каждый твой шаг и каждую твою мысль и дает им оценку», — говорит философ Александр Зиновьев.

**Александр Проханов.** Идущие в ночи. Роман. — «Наш современник», 2000, специальный выпуск.

Вторая чеченская. *Fiction*: журналиста, похожего на Бабицкого, благополучно пристрелили. *Non-fiction*: Басаеву оторвало ногу. Кроме Проханова, о Чечне писать некому, ведь правда некому (см. также его роман «Чеченский блюз» — «Наш современник», 1998, № 8, 9).

**Борис Пушкирев.** Врангель в Крыму. — «Посев», 2000, № 11.

15 ноября 1920 года 145 тысяч воинов Русской армии и гражданских лиц, в образцовом порядке, на 126 судах, навсегда покинули родину. В ноябрьском номере «Посев» печатает ряд материалов к 80-летию окончания Белого движения на Юге России. «Белая идея была не просто антиподом коммунистической идеологии, но идеей будущей „Национальной России”. Это — сильное, свободное государство, основанное на принципах частной собственности, развитого местного самоуправления и, самое главное, общественной солидарности, единства интересов всех классов и сословий российского общества...» (из статьи В. Цветкова «„Остров Крым” — начало Белой России»).

**Станислав Рассадин.** Федор Михайлович, Лев Николаевич, соцреалисты. — «Литература». Еженедельное приложение к газете «Первое сентября». 2000, № 43, ноябрь. Электронная версия: <http://www.1september.ru>

Про истинно социалистический реализм Толстого и Достоевского. Все смотрели, никто (кроме Рассадина) не увидел.

«Россия едет в Германию лечиться, учиться и гулять». Публикацию подготовил В. Сукач. — «Гражданинъ». Ежемесячное политическое приложение (№ 2) к газете «Российские вести» (2000, № 48, 22 — 28 ноября). Электронная версия: <http://www.rosvesti.erco.ru>

«...Из мыслей в дороге» и «...Чем мы обманываемся» — два путевых очерка В. В. Розанова о его второй поездке по Германии летом 1910 года. «Сапоги лучшие в

Петербурге — у Вейса. Мебель — у Мертцля. Наконец, о чем узнал положительно с горем, лучшие [соленые] огурцы — у Штурма».

**Георгий Свиридов.** Разные записи. Тетрадь номер 7. 1978 — 1984. Подготовка текста к публикации Серафимы Белоненко. Общая редакция, сопроводительная статья и комментарии Александра Белоненко. — «Москва», 2000, № 11.

«Как ни крути — искусству в нынешнем, буржуазном обществе отведена роль жалкая. Оно — принадлежность комфорта, не более. Но художнику воздается слава и честь, а главным образом ДЕНЬГИ (они же БОГ и СВОБОДА). Имеешь деньги — ты свободен, можешь делать, что тебе угодно, никто тебе не мешает, плати только. А если кто мешает — за деньги можно сделать, чтобы не мешали. Были бы у меня денюжки, купил бы я себе дачу, жил бы припеваючи, отдохнул бы хоть немного, а потом опять за работу. 27/V 1980 г.». При подготовке текста к публикации изменен порядок записей, материал систематизирован по разделам.

**Мария Сетюкова-Кузнецова.** Теплая шапка вечности. — «Литература», 2000, № 42.

Проза Нины Садур как материал для обсуждения на уроках литературы в старших классах. Составитель «Периодики» уверен, что в школе современную литературу не надо изучать *по определению* (не потому, что — плохая, а потому, что — современная); а те немногие часы, что пока еще отводятся на литературу, следует полностью посвящать произведениям, бесспорно вошедшим в национальный канон.

**Евгений Сидоров.** Лев Толстой как зеркало русского пессимизма. — «Русская мысль», Париж, 2000, № 4330, 9 — 15 ноября. Электронная версия: <http://www.rusmysl.ru>

Давно не выступавший в печати критик (в настоящее время — постоянный представитель России при ЮНЕСКО) размышляет над сборником Владимира Николаевича Ильина (1891 — 1974) «Мирозерцание графа Льва Николаевича Толстого» (СПб., Издательство Русского христианского гуманитарного института, 2000), куда вошли главным образом не изданные ранее произведения, собранные вдовой философа Верой Николаевной Ильиной.

**Олег Слепынин.** Русь-Колыма, или Век возвращения к отцу. Повесть. — «Новый Журнал», Нью-Йорк, № 220 (сентябрь 2000 года).

«Моя Колыма — обиталище когдатшних зеков всех мастей и *вольноприехавших*, людей, оторванных от своих корней, и нас, их детей, кому Колыма стала родиной — мистическим полюсом, через который проходит, как игла, ось мира...» Первоначально повесть Олега Слепынина (род. в 1955, Магаданская обл.) была напечатана в литературном альманахе «Новые страницы» (Черкаassy, 1998, выпуск первый).

**Письма К. А. Сомова Клеопатре Матвеевне Животовской.** Публикация Аллы Кторовой. — «Новый Журнал», Нью-Йорк, № 220 (сентябрь 2000 года).

Три письма 1935 — 1937 годов к *Raty*. С Клеопатрой Животовской художник познакомился в 1925 году в Нью-Йорке и до конца жизни переписывался. *Raty* умерла в начале 80-х во Флориде. «Хотя я все еще люблю жизнь и умирать не хочу, но чувствую, что и мозгами я ослаб, память ослабла, скоро устаю и т. п. Но на людях я стараюсь свою старость скрывать. По-прежнему люблю хорошее платье, галстуки и стараюсь иметь вид элегантный, насколько это позволяет моя несурзкая фигуришка. Мои знакомые мне часто говорят, что я *smart*. В *N. Y.* я таким не был еще, т. к. было мало денег, но лет 7 тому назад я много зарабатывал и имел возможность заказать себе платье у первоклассного портного и заказал их тогда так много, что мне их хватит на всю, кажется, жизнь. Не знаю, интересна ли Вам эта подробность из моей жизни, я пишу о ней, т. к. считаю костюм, и вкус, и умение одеваться *very important* и для мужчины» (из письма Сомова от 22 апреля 1935 года).

**Александр Твардовский.** Рабочие тетради 60-х годов. Публикация В. А. и О. А. Твардовских. Подготовка текста Ю. Г. Буртина и О. А. Твардовской. Примечания Ю. Г. Буртина и В. А. Твардовской. — «Знамя», 2000, № 11, продолжение следует.

«Парнишка (Бродский. — *A. B.*), вообще говоря, противноватый, но безусловно одаренный, м. б., больше, чем Евтушенко с Вознесенским, вместе взятые» (из записи от 22 марта 1964 года). Начало см. в № 6, 7, 9 за 2000 год.

**Дмитрий Урнов.** Очередное открытие Америки. — «Наш современник», 2000, № 11.

К 100-летию со дня рождения неполиткорректного прозаика Томаса Вулфа. А также критические размышления об американском студенчестве (автор преподает в США).

**Ольга Фигурнова.** О Мандельштаме, Марии Петровых и раковине в виде пельницы. — «Кулиса НГ», 2000, № 15, 17 ноября.

Беседа с Ариной Витальевной Головачевой, дочерью Марии Петровых, о мемуарах Эммы Герштейн, которые А. Головачева «не читала — из чувства самосохранения», но

поносит отчаянно. См. также публикацию «Умных жен не переносят многие. Семья Шкловских вспоминает Надежду Мандельштам» (беседу вели Ольга и Марина Фигурновы, «Огонек», № 42, ноябрь) с поношением мемуаров Эммы Герштейн, а также воспоминаний Бориса Кузина (с письмами к нему Н. Я. Мандельштам).

**Финал «Двенадцати» — взгляд из 2000 года.** — «Знамя», 2000, № 11.

Сергей Аверинцев, Константин Азадовский, Николай Богомолов, Николай Котрелев и другие гости знаменского *конференц-зала* размышляют о загадочной поэме Александра Блока. Среди прочего: «Если кто хочет искать у Блока подтверждение или опровержение тревогам текущего момента, пусть читает „Скифов“. Это основополагающий текст недоразвившегося, но вечно актуального русского фашизма, его „Майн Кампф“...» (А. Эткинд).

**Борис Херсонский.** Запретный город. — «Арион», 2000, № 3.

Китайские мотивы. «Он был начальником стражи. Знал самого Ли Сы. / Он нес во дворец его голову в полотняном мешке. / Прижил детей, говорят, что от оборотня-лисы, / и что-то лисье было в его коротком смешке».

**Андрей Хржановский.** Точная дата. Столетие Николая Эрдмана подкралось незаметно. — «Известия», 2000, № 216, 16 ноября. Электронная версия: <http://www.izvestia.ru>

Николай Эрдман, оказывается, родился в 1900-м, а не в 1902 году, как ошибочно указано в БСЭ и КЛЭ. Другая интересная подробность: он все писал печатными буквами. «Они (его пьесы. — А. В.) не устареют не только потому, что главным их героем является мешанство...»

Когда этот номер журнала выйдет в свет, юбилей будет уже позади, поэтому позволю себе тихо-тихо заметить, что в своих остросоциальных «Мандате» (1925) и «Самоубийце» (1928) замечательный драматург *смеялся над побежденными*, ну, да Бог ему судья...

**Юрий Пурганов.** Зачем Сталину трехцветное знамя? — «Посев», 2000, № 10.

Из телеграммы наркома иностранных дел В. Молотова советскому послу в США В. Литвинову: «10 января [1943] состоялось заседание Политбюро... Признано своевременным переименование Красной армии в Русскую армию, изменение названия „командир“ на „офицер“, привлечение духовенства всех исповеданий, особенно православного, на службу в армии. По поручению т. Сталина выясните реакцию Белого дома, конгресса и военных кругов на возможность изменения конституции и введения трехцветного государственного флага» (ГАРФ, фонд 5761, оп. 1, д. 9, л. 207).

**Мария Чегодаева.** Из Египта воззвал Я Сына Моего... — «Общая газета», № 52/1, 26 декабря 2000 — 10 января 2001.

Эксперимент, проведенный ведущим научным сотрудником Института искусствоведения Марией Чегодаевой, дал замечательные результаты: компьютерные изображения лика на Туринской плащанице и иконы Пантократора из монастыря святой Екатерины на Синае (одного из первых «портретных» образов Иисуса VI века) полностью совпали. Криминалисты считают, что такое возможно только с изображениями *одного и того же человека*. Причем Пантократор не мог быть в свое время просто срисован с Плащаницы, ибо, как теперь известно, невооруженный глаз видит на Плащанице *негативное* изображение.

**Александр Чудаков.** Ложится мгла на старые ступени. Роман-идиллия. — «Знамя», 2000, № 10, 11.

Северный Казахстан, 40-е. Мощная фигура деда героя/мемуариста. «Рассказывая о собственном становлении, о глубинной связи своего — отнюдь не тривиального — мироощущения с семейным строем и обычаями, Чудаков в то же время стремится доказать: не он один такой», — пишет Андрей Немзер («Внук своего деда. Александр Чудаков написал книгу о том, как сохранилась Россия». — «Время новостей», 2000, № 175, 27 ноября). *У «Нового мира» была возможность напечатать эту книгу, не напечатали — и это, возможно, наша ошибка.*

**Игорь Шайтанов.** Борис Слуцкий: повод вспомнить. — «Арион». Журнал поэзии. 2000, № 3.

«Слуцкий предсказал поразительно много — не только Бродского, но и ситуацию „после Бродского“...» См. также статьи Ильи Фаликова «Красноречие по-слуцки» («Вопросы литературы», 2000, № 2) и Никиты Елисеева «Полный вдох свободы» («Новый мир», 2000, № 3).

**Игорь Шафаревич.** Социалистический опыт нашей страны. — «Независимая газета», 2000, № 213, 10 ноября. Электронная версия: <http://www.ng.ru>

Одно из немногих *антисоциалистических* выступлений на конференции о перспективах социализма в России (Москва, МГУ, 3 — 4 октября 2000 года).

**Георгий Шенгели.** Мир как плоть. Публикация и примечания Ильи Померанцева. — «Новый Журнал», Нью-Йорк, № 220 (сентябрь 2000 года).

Короткая статья Г. А. Шенгели (1894 — 1956) о поэзии Владимира Нарбута (РГАЛИ, ф. 2861, оп. 1, ед. хр. 78).

**Сергей Шилов.** Завершение переходного периода. Россия должна стать большим Западом, чем сам Запад. — «Русский Журнал» <<http://www.russ.ru/politics/meta>>

«Следует понять, что так называемая „западная модель“ в настоящее время сама нуждается в развитии, согласно своим собственным основаниям. В западной экономической науке, как и в правовой теории, по сию пору остаются нерешенными такие ключевые вопросы, как природа денег (мировых денег), взаимоотношения с математической теорией, сущность и структура интеллектуальной собственности, правовое нормообразование, а также его естественно-научная и естественно-историческая фундированность. Стратегический курс Путина тем самым никак не может состояться на путях механического перенимания какой бы то ни было существующей модели, ибо все они принципиально неполны, а значит, он может обрести себя только на основе самого широкого поощрения интеллектуальной деятельности в области разработки новых стратегий развития. Очевидно, что это будут модели развития западнические по своей сути и российские по праву авторства, модели, которые в силу объективных причин еще отсутствуют на Западе. Сегодня мы обладаем достаточными знаниями, опытом и навыками, чтобы стать большим Западом, чем сам Запад».

**Глеб Шульпяков, Роман Стажер.** За рассказ держать надо. Пути и перепутья малой прозы в России. — «Ex libris НГ», 2000, № 44, 23 ноября.

«Ясное дело, что Виктор Ерофеев делает антологию („Русские цветы зла“, „Время рожать“. — А. В.) под себя, вымачивая себе, любимому, контекст из приближенных, — так что правильнее его книги следовало бы выпускать в серии „А по бокам-то все косточки русские“...»

**Глеб Шульпяков.** Грановского, 4. Поэма. — «Новая Юность», № 44 (2000, № 5). Электронная версия: [http://www.infoart.ru/magazine/nov\\_yun](http://www.infoart.ru/magazine/nov_yun)

«...„Пойдем?“ — „Куда?“ — „Пойдем ко мне домой“...» Не так уж много у нас печатается сюжетных поэм.

**Викторс Эглитис.** Неотвратимые судьбы. Главы из книги. Перевод В. Вавере и Л. Спроге. — «Даугава», Рига, 2000, № 4, июль — август.

«Неотвратимые судьбы» (1926) — это вторая часть трилогии В. Эглитиса (1877 — 1945). Первая часть — «Приключения учителя Калейса» (1914), третья — «Мыслящая Рига» (1934). После первой русской революции герой романа учитель Калейс (альтер эго писателя) посещает Санкт-Петербург и Москву. Среди персонажей романа — чета Ремизовых, Вячеслав Иванов и Л. Зиновьева-Аннибал, Николай Бердяев, В. Брюсов, Н. Рябушинский и другие. В качестве предисловия напечатана статья Веры Вавере и Людмилы Спроге «Алексей Ремизов — персонаж романа Викторса Эглитиса „Неотвратимые судьбы“». Ремизов выведен в романе под фамилией Бубука.

**Асар Эппель.** Пыня и юбрия. Рассказ. — «Дружба народов», 2000, № 11.

*Пыня* — это хлеб, *юбрия* — любовь (по-румынски), а *рассказ Эппеля* — это не констатация, а характеристика.

**Константин Эрнст.** «Чтобы на ОРТ не прислали комиссара в пыльном шлеме, я решил заткнуть пробойну сам». Беседу вела Елена Афанасьева. — «Новая газета», 2000, № 67, 27 ноября. Электронная версия: <http://www.novayagazeta.ru>

«Когда затонула американская лодка „Трешер“, ни одна телекомпания США не была допущена на корабли, которые пытались прошупать лодку локаторами. Я считаю, что [российская] власть была излишне открыта со СМИ в этой ситуации (в связи с „Курском“. — А. В.), а СМИ адекватно эту открытость не смогли реализовать», — говорит генеральный директор ОРТ.

**Александр Эткинд.** <Рецензия на книгу М. Н. Золотоносова «Слово и Тело». М., «Ладомир», 1999>. — «Новая русская книга», Санкт-Петербург, № 5.

«Если комар [„Муха-Цокотуха“] — масон, при чем тут Георгий Победоносец?»

**Анастасия Юрьева.** Главными биографами Андрея Платонова стали осведомители НКВД-ОГПУ. — «Фигуры и лица», 2000, № 19, 16 ноября.

Сорок закрытых ранее документов по Платонову были предоставлены архивом ФСБ Институту мировой литературы. Рассказывает член-корреспондент РАН Наталья Корниенко: «Оказывается, нашумевшая во времена нашей перестройки первая публи-

кация [„Технического романа”], — НКВД-ОГПУшная версия. В свое время органы интересовались только компромат, поэтому они сделали из оригинального текста Платонова монтаж, некую компиляцию, то есть сами подготовили антисоветский вариант. В романе, к примеру, полностью упразднена любовная линия. Получается, что в скандальных современных открытиях новых (как бы) текстов Платонова „Технический роман” начинается с фразы, написанной сотрудниками органов, которые работали над этим материалом... Теперь, к счастью (благодаря сотрудникам архива ФСБ и прежде всего Владимиру Гончарову), найдена фотокопия, мы имеем более полный вариант текста и публикуем его с выделениями сокращенных мест («„Страна философов” Андрея Платонова: проблемы творчества», выпуск 4-й)...

**Григорий Яблонский.** Сон ясновидящего и смерть Анны. — «Новый Журнал», Нью-Йорк, № 220 (сентябрь 2000 года).

«Сны в романе [„Анна Каренина”] играют роль *Другой Реальности*, пересекающейся с *Первой* и двигающей сюжет».



АДРЕСА: журнал «Правозащитник»: <http://www.hro.org/editions/hrdef/index>



ДАТЫ: 100 лет назад — в марте 1901 года три петербургских умника — Д. Мережковский, З. Гиппиус и Д. Filosoфoв — предприняли попытку создать Новую Церковь. См. *дневники З. Гиппиус (М., 1999)* и статью *П. Гайдeнко «Д. С. Мережковский: апокалипсис „всесокрушающей религиозной революции”» («Вопросы литературы», 2000, № 5)*; 15 — 27 марта исполняется 120 лет со дня рождения Аркадия Тимофеевича Аверченко (1881 — 1925).

Составитель **Андрей Василевский.**



## ИЗ ЛЕТОПИСИ «НОВОГО МИРА»

*Март*

**10 лет назад** — в № 3 за 1991 год напечатана повесть Марины Палей «Кабирия с Обводного канала».

**35 лет назад** — в № 3 за 1966 год напечатана повесть Чингиза Айтматова «Прощай, Гульсары!».

**70 лет назад** — в № 3 за 1931 год напечатаны двенадцать стихотворений О. Мандельштама из цикла «Армения».



# SUMMARY



This Issue publishes the novel «The Justification» by Dmitry Bykov, the narrative «God in the City» by Vyacheslav Pyetsukh and also the story «The Saint Helena Island» by Anna Matveyeva. The poetry section includes new poems by Svetlana Kekova, Aleksander Trunin, Anatoly Nayman and Maria Vatutina.

Under the heading «The Close Remote Past» is published an article «Charmed country-folk» by Dmitry Shevarov.

In the section «Philosophy. History. Politics» readers can find an article «The Global City: Creation and Destruction» by Aleksander Neklessa, dedicated to not comforting perspectives of total globalization.

The literary critique is represented by articles «The Economics of the Mainstream» by Viktor Myasnikov and «„The Hamburg Score”: Possibility and Reality» by Irina Rodnyanskaya.

---

«Редакция не обязана отвечать на письма граждан и пересылать эти письма тем органам, организациям и должностным лицам, в чью компетенцию входит их рассмотрение» (Закон РФ «О средствах массовой информации», ст. 42).

Рукописи не рецензируются и не возвращаются.

Словесное сочетание «НОВЫЙ МИР» зарегистрировано АОЗТ «Редакция журнала „Новый мир”» в качестве товарного знака по классам МКТУ 16, 38, 41, 42.

Редакция журнала «Новый мир» не имеет никакого отношения к деятельности одноименных компаний в Москве и за ее пределами.

---

Общественный совет: С. С. Аверинцев, В. П. Астафьев, А. Г. Битов, С. Г. Бочаров, Д. А. Гравин, Б. П. Екимов, Ф. А. Искандер, Ю. М. Каграманов, А. А. Ким, А. С. Кушнер, С. И. Ларин, Б. Н. Любимов, А. М. Марченко, В. С. Непомнящий, П. А. Николаев, Т. В. Черевиченко, М. О. Чудакова

Главный редактор А. В. Василевский

Редакционная коллегия: М. В. Бутов, Р. Т. Киреев, С. П. Костырко,  
Ю. М. Кублановский, О. И. Новикова, А. А. Носов, И. Б. Роднянская,  
О. Г. Чухонцев

---

Корректоры Н. Н. Замятина, Т. И. Филиппова	Редактор-библиограф А. И. Фрумкина
Компьютерная верстка — И. Н. Колесникова	Компьютерный набор — Т. В. Дорофеева

Адрес редакции: 103806, ГСП, Москва, К-6, Малый Путинковский пер., д. 1/2.

Телефоны: главный редактор — 209-57-02, ответственный секретарь — 209-91-81,

отдел прозы — 200-54-96, отдел поэзии — 229-56-92, отдел критики — 209-05-88,

отдел публицистики, историко-архивный отдел — 209-12-50,

зав. редакцией (хозяйственные вопросы) — 209-62-68,

для справок, продажа журналов — 200-08-29.

Факс: 200-08-29. Электронная почта: [pmir@aha.ru](mailto:pmir@aha.ru) или [seva@mail.cnt.ru](mailto:seva@mail.cnt.ru) или [butov@aha.ru](mailto:butov@aha.ru);

по вопросам зарубежной подписки: [novy-mir@mtu-net.ru](mailto:novy-mir@mtu-net.ru)

Сетевой журнал «Новый мир»: [http://www.infoart.ru/magazine/novyi\\_mi](http://www.infoart.ru/magazine/novyi_mi)

---

Свидетельство Государственного комитета Российской Федерации по печати № 138 от 9 января 1998 г.

Учредитель и издатель — АОЗТ «Редакция журнала „Новый мир”».

---

Сдано в набор 20.11.2000 г. Подписано к печати 26.01.2001 г. Формат бумаги 70x108<sup>1</sup>/<sub>16</sub>. Бумага кн.-журн.

Высокая печать. Объем 15,0 печ. л., 21,0 усл. печ. л., 27,0 уч.-изд. л.

---

Тираж 12 800 экз. Зак. 2063. Цена договорная.

Отпечатано в Полиграфическом производственном объединении «Известия»

Управления делами Президента Российской Федерации.

103798, Москва, Пушкинская пл., 5.

## **ЛИТЕРАТУРНАЯ ПРЕМИЯ ИМЕНИ ЮРИЯ КАЗАКОВА**

**Премия присуждается с 2000 года автору,  
живущему и работающему в России,  
за рассказ на русском языке, впервые напечатанный  
в текущем году на территории России  
(циклы и сборники рассказов, рукописи  
и сетевые публикации не рассматриваются).**

**Правом выдвижения произведений на премию  
обладают критики, издатели и творческие организации.**

**Жюри формируется из сотрудников «Нового мира»  
и независимых экспертов.**

**Состав жюри 2001 года и денежное содержание премии  
будут объявлены дополнительно.**

**Объявление лауреата и торжественное вручение премии  
состоится в декабре 2001 — январе 2002 года.**

**Контактные телефоны:  
(095) 209-57-02, 209-91-81.**

**E-mail: [butov@aha.ru](mailto:butov@aha.ru), [seva@mail.cnt.ru](mailto:seva@mail.cnt.ru)**